СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

9/4/1
Р-39

№ 3 ЖОРЖ РЕНАР

АРХИВ

Республика 1848 года

(1848—1852)

Перевод с французского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 1923 Петроград

ЖОРЖ РЕНАР

РЕСПУБЛИКА 1848 ГОДА
1848—1852

Перевод с французского
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Москва-Петроград: государственное издательство. 1923

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. **История политическая**

Глава I. Временное правительство. — Будет ли республика социальной?
Глава II. Прием, оказанный республике во Франции и за границей
Глава III. Республиканцы. Клубы и газеты. Образование партии порядка
Глава IV. Мартовские и апрельские дни
Глава V. Выборы в Учредительное Собрание
Глава VI. Первые шаги Учредительного Собрания. 15-е мая
Глава VII. Национальные мастерские
Глава VIII. Июньские дни 1848 г.
Глава IX. Политические последствия июньских дней
Глава X. Конституция 1848 г
Глава XI. Выборы президента, римская экспедиция и конец Учредительного Собрания
Глава XII. Законодательное Собрание. 13 июня 1849 г. Занятие Рима и его последствия
Глава XIII. Преподавание и церковь. Республиканские проекты и закон Фаллу
Глава XIV. Отмена всеобщего избирательного права (закон 31 мая). Партии 1850 и 1851 гг.
Глава XV. Конец республики. Государственный переворот 2 декабря 1851 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. **Политическая и социальная эволюция**

Глава I. Три группы с социальной точки зрения. — Социалисты. — Сторонники государственного вмешательства. — Приверженцы status quo
Глава II. Теория трех групп

Производство

Глава III. Право на труд
Глава IV. Организация труда. — Луи Блан и Люксембургская комиссия. — Производительные общества рабочих
Глава V. Перемены в организации труда
Глава VI. Учреждения для вспомоществования и благотворительности
Глава VII. Сельскохозяйственное и промышленное производство

Обращение

Глава VIII. Кредит и торговля
Глава IX. Перевозочные средства. Распределение.
Глава X. Режим собственности и налоги

Заключение

Глава XI. Поворотный пункт XIX века

Об авторе

РЕНАР, Жорж Франсуа (Georges Francois Renard)

21.11.1847 - 17.10.1930

историк, литератор и обществ. деятель. Участвовал в Парижской Коммуне (секретарь воен. делегата Л.Росселя). После ее поражения эмигрировал в Швейцарию. В 1875-79 - проф. Лозаннского ун-та. Вернувшись в 1879 во Францию, продолжил науч. деятельность. В 1907 возглавил кафедру истории труда в Коллеж де Франс. Был одним из организаторов (1904) Общества по изучению истории революции 1848 и бессменным редактором его печатного органа "La Révolution de 1848". В 1906 опубликовал один из классических трудов по истории революции 1848 во Франции – «La république de 1848, 1848-1852» (J.Rouff et cie, 1906).

Следует добавить, что данная работа Ж.Ренара вошла в серию «Социалистическая история 1789-1900», задуманную и редактировавшуюся Жаном Жоресом. Первому изданию книги было предпослано предисловие Александра Мильерана. Французский оригинал оцифрован, его можно скачать и читать здесь:
http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_socialiste/La_République_de_1848

Материалы о европейских революциях 1848-1849 гг. –
раздел библиотеки **Vive Liberta - ИстМат**
http://istmat.info/node/28559

Вторая республика во Франции.

(1848 — 1851);

Жорж Ренар.

Несомненно интересной представлялась бы задача проследить изо дня в день, и, так сказать, шаг за шагом ход событий, которыми полна эта мятежная и чреватая последствиями эпоха и отметить при этом в той же последовательности, как отражались эти события на жизни французского общества. Но для выполнения этого потребовались бы более широкие рамки, нежели те, которые представлены мне в настоящей работе. Намеченные рамки исследования побуждают меня раз'единить и представить в отдельном изложении с одной стороны политическую историю эпохи, а с другой — экономическую и социальную эволюцию — два ряда явлений, в сущности совпадающих во времени.

Я начну с изложения фактов из области государственного управления, при чем подробно отмечу все этапы, которыми республиканская Франция опять вернулась к империи. А затем прослежу как в области идейных течений, так и в области практики за длительной и великой борьбой, об'ектом и ставкой в которой является для одной стороны общественный строй, основанный на трудовом начале, а для другой — общественный строй, покоящийся на начале собственности.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ.

ГЛАВА I.

Временное правительство — Будет ли республика социальной?

Общий ход революции 1848 г. во Франции и своеобразен, и в то же время очень прост.

Обыкновенно революция в своем течении представляет кривую, то восходящую, то нисходящую. Так, например, 9 термидора в первой французской революции обозначает собою конец движения вперед и начало поворота назад. В данном случае ничего подобного.

Кульминационная точка достигнута с самого начала. В продолжение нескольких недель ведется борьба с колеблющимся успехом между силами, желающими удержать Францию на этом уровне и силами, стремящимися заставить ее снова сойти с холма, на который она успела взобраться в три дня.

Эта борьба сил, в сущности борьба классов, которая обнаруживается с первых минут, ожесточается, быстро переходит в острый конфликт и дает окраску дням, которые следуют друг за другом из месяца в месяц с удивительной регулярностью: 25-е февраля, 17-е марта, 16-е апреля, 15-е мая, 22-е июня.

В течение этих четырех месяцев каждый из двух классов и двух противоположных тенденций по очереди берут друг над другом верх; но за каждой эфемерной и неполной победой одного из них следует реванш со стороны другого, и так продолжается до тех пор, пока в крови гражданской войны торжествует свою победу класс и направление буржуазные над классом и направлением народными. С этого момента победоносная реакция усиливается, не дремлет и рядом поражений заставляет народ и даже самую буржуазию снова пасть еще ниже той точки, с которой они отправились на завоевание Республики. Но несмотря на видимую бесполезность усилий, окончившихся неудачей, остается уже кое-что повергнутым, что уже больше не подымется, есть успехи достигнутые, которые не перестанут быть общим достоянием, есть зароненные мысли, которые продолжают свое движение по белу свету.

24 февраля 1848 года, в то время как Париж еще шумит, дымится и кипит, как вулкан во время извержения, первой задачей пред победителями, пораженными легкостью своей победы, которая явилась, по выражению Кабэ, как бомба или молния, является установление нового правительства. Возникает вопрос должно ли это быть—регентство или республика?

Значительная часть буржуазии без всякого сомнения удовлетворилась бы переменой, ограничивающейся переложением короны с одной головы на другую. Умеренные республиканцы считали Республику преждевременной. Адвокат Мари, один из вожаков оппозиции при Луи-Филиппе, говорил: „Ее время еще не пришло. Я ее слишком люблю, чтобы желать ее появления на свет раньше времени". Позднее и Беранже написал: „Мы хотели итти со ступеньки на ступеньку; нас заставили перепрыгнуть через этаж". Но нужно было считаться с защитниками баррикад, которые не желали, чтобы возобновилось то, что они называли „надувательством 1830 года".

Народ уже праздновал по-своему похороны королевской власти, сжигая с насмешливым весельем парадные кареты и трон. В палате исчезла мысль о регентстве раньше, чем оно успело осуществиться; герцогиня Орлеанская, герцог Немурский также были изгнаны как и Луи-Филипп и было решено выбрать временное правительство.

Список кандидатов при полной сумятице был представлен, я не скажу, на голосование Собрания (ибо уже больше нет Собрания в настоящем смысле этого слова), но на одобрение пестрой толпы, которая теснилась, наводняя залу.

Ламартин, Араго, Ледрю-Ролен были провозглашены без баллотировки; вместе с ними легко проходит Дюпон де Лёр (Dupont

de L'Eure), патриарх демократии, в почтенном величии своих 82 лет.

Мари, Кремье, Гарние-Пажес прошли, несмотря на довольно резкие протесты. Имя социалиста Луи Блана, произнесенное несколькими голосами, было намеренно пропущено Ламартином, который помогал составлять список.

Но существует революционная традиция, своего рода церемониал, заранее установленный. После этого подобия парламентских выборов, временное правительство должно отправляться в Ратушу, чтобы быть признанным, или так сказать, санкционированным народом. Здесь оно очутилось лицом к лицу с другим течением, другим списком, исходившим от передовой прессы и от тайных обществ. Происходит борьба. Подобие выборов, которые происходят в зале Сен-Жана, заканчивается соединением двух соперничающих списков: Марраст, Флокон и Луи-Блан представители „le National" и „la Réforme", и Альбер, механический рабочий, только накануне оставивший свою рабочую блузу и принадлежности своего ремесла и являющийся кандидатом от тайных обществ,—присоединяются к списку уже назначенных депутатов. Трое последних получают или скорее вынуждены принять звание секретарей и из них Альбера забывают пригласить на первые же собрания.

Таким образом уже с самого начала сам выдает себя скрытый раскол в среде этих одиннадцати людей, взявшихся заведывать судьбами Франции. Среди них можно отметить три разные группы. Наиболее многочисленная состоит из умеренных республиканцев, тех, которые считают, что революция закончена с того момента, как цензовая монархия и палата господ были сметены народом. Это—Дюпон де-Лер, Араго, Кремье, Гарние-Пажес Ламартин, Мари и Марраст. Группа наиболее передовая состоит из республиканцев глубокого экономического преобразования. Между этими двумя крайностями, помещаются, как маятник колеблющийся справа налево, радикалы, демократы Флокон, Ледрю Ролен. Они весьма искренно желают социальных реформ, сами не зная хорошенько каких именно, но они не желают, чтобы касались института частной собственности и строя, основанного на наемном труде.

Первые относятся к той средней буржуазии, образованной и зажиточной, которая чувствует себя зрелой и способной управлять общественными делами без короля, двора и без дворян; последние воплощают в себе фрондерские и расплывчато-гуманитарные пожелания мелкой буржуазии, мелких лавочников, мелких ремесленников,—и они страдают от неправильного распределения податей, от неравенства, освященного законом, увеличившегося благодаря развитию крупной торговли и крупной промышленности, но не доведены еще до шаткого положения рабочих, вынужденных продавать свою рабочую силу.

Наконец, остальные являются представителями рабочего класса в собственном смысле и его стремлений не вполне еще определившихся, но определенно направленных к более справедливому строю, который должен установиться при помощи ассоциации людей и обобществления предметов. Все они, впрочем, отражают мнения и представляют интересы городов, но не деревни.

Это правительство концентрации, правительство компромисса, разнородное по составу и несогласное, способное сойтись на некоторых пунктах узкой программы, но обреченное, как только представляется вопрос жгучий, на бесконечные пререкания, на взаимное недоверие, ожесточенные споры, на двусмысленные и ублюдочные решения. Смесь противоположных элементов, которая может быть пригодна для сопротивления общим врагам или в спокойное время, но совсем неспособная действовать и негодная для революционного момента. Такое правительство это пагубный эклектизм, который парализует смелую инициативу и мешает всякой энергичной и последовательной политике. Оно вновь было организовано таким образом в 1870 году, имело не больший успех, чем в 1848; ибо единство управления есть необходимое условие спасения во время великих кризисов.

Неизбежные споры между большинством и меньшинством должны были привести к нейтрализации стремлений, к бессилию, которое порождается несогласием.

От этой-то врожденной болезни должно было страдать временное правительство, о котором Прудон мог сказать: „оно не умело, не желало и не дерзало".

Едва организовавшись, оно уже колеблется самоопределиться, связать себя бесповоротно. Республиканское по существу, будет ли оно называться республиканским? Осмелится ли оно опередить желание нации в таком важном вопросе? Очевидцы этих смутных

часов единогласно отмечают сомнения и влияния Мари, Гарнье Пажеса и даже самого Ламартина, но целый день из среды вооруженных групп, которыми кишит Гревская площадь, раздаются требования покончить скорее с этим вопросом. Распайль дает правительству двухчасовой срок, чтобы вынести решение. Лагранж и повстанцы, импровизированные уполномоченные народа, водворившись в Ратуше — наблюдают и торопят хозяев положения. Ламартин предлагает длинную и тяжеловесную формулу. В нее вносят поправки, упрощают ее. Умеренные не хотят слишком резкой редакции: „*Временное Правительство провозглашает Республику*". Передовые не желают редакции слишком робкой: „Временное Правительство *желает* республики". Кремье дает перевес редакции средней: „Временное Правительство *желает* Республики, но только с утверждения народа, мнение которого будет немедленно спрошено".

Тотчас же рабочие расписывают углем громадными буквами на широкой полосе белого холста следующие слова: „Во Франции провозглашена Республика единая и нераздельная". Они вскарабкиваются на выступ окна и при свете факелов развертывают плакат. Могучие возгласы оглашают воздух, но за ними следует крик отчаяния. Один из рабочих только-что упал на площадь и его уносят совершенно окровавленного. Древние увидали бы в этом предзнаменование. Увы! Республика 1848 года, возбудив порыв энтузиазма, должна была пасть сама в крови рабочего.

Республика была провозглашена. Но что она должна была собою представлять? Будет ли она простой переменой в политическом строе Франции? Коснется ли она и экономического ее уклада? Вот важный вопрос, который смутно вырисовывался в этот критический час, но которому суждено было явиться в полном свете и стать основным вопросом момента.

Во время битвы, буржуа слышали возглас, которого они не понимали: „Да здравствует демократическая и социальная Республика". Социальная! Но что бы это в сущности могло обозначать?

Эстамп того времени изображает февральскую революцию в виде классического сфинкса — пожирателя людей; и на самом деле это была ужасная, смертельная загадка, которую революция задавала Франции и Европе.

Это было уже заметно с утра 25 февраля. Из предместий и бедных кварталов явились на Гревскую площадь люди, вооруженные ружьями, саблями, кто с красными поясами и красными колпаками, кто с красными лентами на шапках; они раздавали окружающим красные значки; над их головами развивались по ветру красные знамена; вскоре дома, Ратуша и статуя Генриха IV расцветились красным. От Временного Правительства потребовали, чтобы оно заменило трехцветное знамя — красным.

Рассматривая обстоятельства хладнокровно, если вспомнить происхождение трехцветного знамени, то нужно сознаться, что оно имеет мало смысла как символ Республики. Всякому известно его происхождение: когда Людовик XVI возвратился из Версаля в свою столицу, белый цвет, эмблема династии Бурбонов, был вставлен в знак примирения народа с королевской властью, между красным и синим — цветами третьего сословия и Парижа. Но тем не менее, первая Республика его сохранила; Империя носила его в тысяче сражений; Реставрация повергла его; Революция 1830 года восстановила его снова: это были его старые заслуги. Зато под его сенью приютилась монархия Луи-Филиппа, исключительное владычество буржуазии, режим этот только-что погиб: оно могло сойти в качестве компромисса во время поражения. Это были его свежие прегрешения.

Красное знамя развевалось на баррикадах; оно фигурировало во многих мятежах, уже по одному тому оно сделалось революционным, что его приходилось развертывать каждый раз, когда именем закона требовали, чтобы рассеялось сборище. Знамя подавления силой стало знаменем вооруженного восстания. Восстание оказалось победоносным; казалось и его знамя имело право делить с ним его почести, как оно участвовало в его битвах.

К несчастью символы по самой своей природе неопределенны; обыкновенно они имеют то значение, которое им придают и красное знамя было символом двух разных понятий, которые не всегда точно различались даже теми, кто подымал это знамя, те же, кого оно пугало, упорно их смешивали или из страха, или из расчета.

С одной стороны оно было символом трагического прошлого, живущего и горящего еще в памяти, — 1893 года, гражданской

войны и войны против всех тронов, эшафота, террора; с другой стороны — символом завоевания народом власти, обязательства для третьего сословия считаться с четвертым сословием, занятия бедными равного положения с богатыми, труда, поднявшего голову пред капиталом, стремления к уничтожению классов и наемного труда—всего этого смутного целого, что под именем социальной Республики вырисовывалось наполовину задернутое туманом будущего.

Оба эти значения красного знамени, одинаково неприятные для буржуазии, ясно всплывают в конфликте, о котором идет речь. Ламартин, который руководит противниками его признания, ставит ему в вину, что оно является „символом крови", забывая, что красный цвет в христианской церкви считается эмблемой милосердия и что он блистал на орифламме (государственная хоругвь) французских королей; он протестует против цвета, „который возбуждает людей как зверей"; он обвиняет его, как провозвестника „судорожной республики"; и, когда он, сладкогласный магнетизер народного возбуждения, бросает свою знаменитую фразу:—„красное знамя обошло только Марсово поле, влекомое в крови народа в 91 и 93 г., тогда как трехцветное знамя обошло весь свет вместе с именем, славой и свободой отечества",—он не только делает красноречивую историческую ошибку,—потому что Бальи, мэр города Парижа, был осужден именно за то, что велел стрелять в граждан, не развернув знамени, предупреждавшего о применении силы — но он искусно оставляет в тени половину вопроса. Повидимому он осуждает только то, что он называет „Знаменем террора" и, однако, он знает отлично, что есть нечто другое в завязавшемся споре, что, требуя замены трехцветного знамени, его противники имеют в виду уничтожить тот строй, „при котором богатый продолжает наслаждаться, а бедный—страдать, а фабрикант эксплуатировать человека, обрекая его или на продажу своего труда, или на голод"; одним словом, он отлично чувствует, что дело идет о борьбе классов, противоположных не только в их средствах, но и в цели, к которой они стремятся. „Это была",—писал он,—„открытая борьба пролетариев против буржуазии".

Ламартин, рассказывая позднее об этом дне, который был его днем, заканчивает рассказ о нем в блеске апофеоза, которого он, казалось, был блестящим центром и, поверив его рассказу, угодливая история покорно приняла легенду о массах, охваченных неистовством и внезапно умиротворенных силой великого очарователя и обманщика.

На самом деле нужно было нечно совсем другое, чтобы утишить бурю. Нужна была благоразумная уступка желаниям народа, встретившим поддержку в самом правительстве, в лице Луи-Блана. „Монитёр" (le Moniteur) от 27 февраля опубликовал следующий декрет:

Временное Правительство об'являет, что национальное знамя—это знамя трехцветное, цвета которого будут восстановлены в порядке, принятом Французской Республикой. На знамени написаны следующие слова: *République Française, Liberté, Egalité, Fraternité* — три слова, которые наиболее широко выражают смысл демократических учений, символом которых является это знамя, в то время, как его цвета продолжают их традиции. Как знак об'единения и знак признательности за последний акт народной Революции, члены Временного Правительства и другие власти будут носить красный значок, который будет помещен также и на древке знамени".

После этого решения, которое было немедленно сообщено толпе, делается более понятным, почему она так мирно разошлась; этим без сомнения об'ясняется также и то, почему Бланки, человек-загадка, неутомимый подготовитель смелых переворотов, но также и светлый ум, который шестнадцать лет тому назад указывал, как на основу политических распрей, на „войну между бедными и богатыми",—после того, как он велел утром расклеить по стенам Парижа угрожающую афишу: „Победоносный народ не спустит своего флага"... советовал в тот же вечер своим разойтись, ничего не предпринимая. Во всяком случае между правительством и теми, кто толкал его вперед, только что был заключен настоящий компромисс, компромисс, отмеченный еще более тем, что Марраст, Флокон, Луи-Блан и Альбер перешли незаметно из звания секретарей в звание членов Временного Правительства.

Вместе с двумя последними в особенности туда вошло немного красноты, оживившей слишком бледный цвет, которым и сам народ был недоволен. В тот же вечер, целой серией декретов пытались одновременно удовлетворить и умеренных, и республиканцев авангарда.

Преобразование Тюильери в приют для граждан инвалидов, усыновление детей, отцы которых только-что погибли, сражаясь за отечество, освобождение всех политических заключенных, наконец, уничтожение смертной казни по политическим делам,— полумера, которая не провозглашала неприкосновенности человеческой жизни, как это несправедливо утверждалось в одной из об'яснительных записок, редактированных Луи-Бланом, но которая свидетельствовала о великодушии победителей и успокаивала умеренных, доказывая им, что гильотина 1893 года отправлена в музей древностей.

Однако, тяжелый вопрос, скрытый в основе конфликта двух знамен, вовсе не был разрешен и он снова появился в другой форме, более определенной. Пред правительством шумно появляется вооруженная делегация под предводительством рабочего, по имени Марш, одного из тех неизвестных, которые благодаря их энергии делаются вожаками в моменты возмущений. Он требует немедленного признания „права на труд". Правительство пытается сопротивляться этому повелительному требованию. Ламартин усиливается поймать рабочего на удочку своего красноречия. „Довольно этого разглагольствования!"—грубо прерывает его молодой человек. Однако, он, может-быть, и поддался бы, если бы Луи-Блан после минутного колебания не высказался в его пользу.

Луи-Блан вместе с Флоконом и Ледрю-Роленом составляют во время заседания следующий декрет с повторениями, свидетельствующими о спешке импровизации:

„Временное Правительство Французской Республики обязуется обеспечить существование рабочего трудом.

Оно обязуется обеспечить трудом всех граждан. Оно признает, что рабочие должны об'единиться между собой в союзы, чтобы пользоваться доходами своего труда".

Ледрю-Ролен присоединяет еще следующий параграф, который напоминает дар по случаю радостного вступления на престол:

„Временное Правительство возвращает рабочим по принадлежности миллион, который должен остаться от цивильного листа".

Все подписались, многие, конечно, скрепя сердце. Однако, это был наиболее революционный акт, который удалось у них еще вырвать.

Декрет был торжественным обязательством Государства вмешаться в область экономических отношений, преобразовать промышленный и земледельческий строй в смысле благоприятном для трудящихся. Он указывал в неопределенных выражениях на ассоциацию, как на средство к достижению этой цели.

Социальная революция здесь нашла свою туманную формулу. Социализм впервые вышел из книг, чтобы вступить на тернистый путь жизни.

Если можно верить свидетельствам современников, то Марш будто бы сказал: „Народ подождет; он предлагает три месяца нищеты к услугам Республики". Народ, терпение которого так легко учитывали, оказалось не был расположен к столь долгим ожиданиям. Утром 28 февраля, в день, в который Республика должна была быть официально провозглашена на площади Бастилии, тысячи рабочих, выстроившись по роду их ремесел, покрыли Гревскую площадь; они несли знамена с надписями: *Министерство Прогресса. Организация труда. Уничтожение эксплуатации человека человеком, и* Временному Правительству было доложено о новой депутации от народа.

Происходит великое смятение среди его членов; можно с уверенностью сказать, что в истекший промежуток времени умеренные спохватились, что они терпят страх из-за своего собственного декрета, что они совершили оплошность, дав столь поспешную санкцию словам, которые шли дальше их мыслей. Ламартин явился истолкователем этого поворота; он заявляет, что для него *организация* и *труд* — два несовместимых термина и что он не может понять их сочетания. Он отказывается подписать новый декрет, которого требуют от правительства и ему удается добиться как бы единогласия своих коллег.

Луи-Блан с своей стороны вовсе не желает согласиться с отказом от обязательств, принятых по отношению к народу. Он подает вместе с Альбером в отставку. Но ведь так недалеко и до баррикад! Не будет ли это сигналом к новой уличной войне?

Начинают искать компромисса. Вот если бы Луи-Блан и Альбер согласились председательствовать в комиссии, которая заседала бы в Люксембурге и составила бы, при помощи самих рабочих, план организации труда!.. Комиссия — вместо министерства; совещательное собрание—вместо органа деятельного

Ни денег, ни власти, чтобы осуществить вожделенные реформы. Прогулка на голоде пред голодными; говорильня „вокруг пустого котла". Была сотня причин, чтобы отказаться, но были причины более могучие, которые заставили Луи-Блана согласиться. Боязнь ли открыть снова эру мятежей? Мелочное ли тщеславие председательствовать в парламенте труда? Надежда ли создать официальный центр социалистической агитации? Или, быть-может, стыд показаться отступающим пред решением задачи, идея которой была у него позаимствована? Кто осмелится решить это? Кто может читать в сердцах? Известно, однако, то, что он принял предложение, которое было своего рода замаскированным способом обойти требования пролетариата; он прикрыл это своего рода отступление красивыми фразами, которые он потрудился написать в начале декрета:

„Принимая во внимание, что революция, сделанная народом, должна служить на пользу народа; что уже пришло время положить предел долгим и несправедливым страданиям трудящихся; что вопрос труда есть вопрос первостепенной важности; что нет более высокой и более достойной из забот республиканского правительства"...

Это были слишком громкие слова для ничтожного учреждения. Правда, что оно получило громкое название: „Правительственная комиссия для трудящихся", правда, что Луи-Блан был ее президентом и Альбер вице-президентом. Спрашивается не следует ли видеть маккиавелевское намерение в этом акте, которым умеренные из временного правительства ссылали таким образом в Люксембург двух своих наиболее смелых товарищей. Это возможно; но возможно также и то, что это была мера, настоящего значения которой в ту минуту никто не понимал, ни Луи-Блан, ни Ламартин, и что, повидимому, говорит в пользу такого предположения, так это-то беспокойство, которое было вызвано Люксембургской комиссией даже среди тех, кто ее устроил и те постоянные усилия, которые они употребляли, чтобы свести ее значение на-нет.

Они принялись за это еще накануне. Не желая и не умея организовать труд, они поспешили организовать милостыню. 27-го февраля был опубликован следующий декрет:

„Временное правительство декретирует устройство национальных мастерских. Исполнение этого декрета поручается министерству общественных работ".

Это вовсе не было новостью. Напротив, устраивать в моменты экономических кризисов для безработных эти, как их называли, *благотворительные мастерския* было старой французской традицией. Старый порядок широко пользовался этим крайним средством в тяжелые дни[1]) и XIX век от него не отказался.

После 1830 года, правительство Луи-Филиппа с одной стороны роздало 30 миллионов на поддержку торговли и промышленности, т.-е. хозяевам, с другой стороны открыло для рабочих мастерския, которые обеспечивали им временный заработок.

В 1837 году снова были приняты по отношению к рабочим подобные меры. Лилль и Дуэ имели уже до революции свои коммунальные мастерския. Этот способ трудовой помощи, войдя таким образом в обычай, естественно должен был снова появиться на сцену в тот момент, когда окончание работ, предпринятых для укрепления Парижа, промышленный и торговый кризис, перешедший на континент из Англии в 1847 году, земледельческий кризис вследствие плохих урожаев и, наконец беспорядки, неотделимые от всякой революции, обрекли тысячи и тысячи рабочих на вынужденное бездействие.

Снова воскрешая это спасительное учреждение, вовсе не руководились социалистическими принципами, — организация его была даже доверена Мари, безусловному противнику социализма, — и старинное название *благотворительных мастерских*, должно было снова появиться в министерских циркулярах Ледрю-Ролена, так же, как и во многих коммунах, последовавших примеру Парижа.

Другая мера служила дополнением к этой. Это было учреждение национальной гвардии (garde nationale mobile); в нее вербовали среди молодежи предместий, многие из которой сражались на баррикадах, и назначили им жалованье по $1^1/_2$ франка в день.

*) Во время Лиги и немного позднее при Генрихе IV они были учреждены в Париже и в других городах. В конце царствования Людовика XIV в 1693, 1695 гг. прибегали к этой мере в борьбе с нищетой. Мы встречаемся с нею довольно часто и в следующем веке, а именно в 1764 г. и в годы предшествовавшие революции. Известно, что во время революции 1789 г., когда мастерские были открыты, на Монмартре для безработных, парижские буржуа были так этим обеспокоены, что с оружием в руках стали штурмовать холм с намерением их уничтожить.

Этими двумя способами большинство из Временного Правительства надеялось привлечь на свою сторону рабочих, которых оно боялось. Может-быть, оно расчитывало отвлечь их от мысли о социальном перевороте, мысли, которая назревала в наиболее горячих головах. или, быть-может, оно питало иллюзию сделать все, что было законно и возможно для улучшения участи трудящихся, приложив к жизни то, что Ламартин называл „принципами благотворительности между различными классами граждан".

Но ни в чем другом лучше не обнаружилось разногласие, существовавшее между членами правительства. Там, где большинство говорило—*благотворительность*, меньшинство отвечало—*справедливость*. Вся политика Временного Правительства в вопросе о труде заключается в этом противоречии.

ГЛАВА II.

Прием, оказанный республике во Франции и за границей.

Я показал первые симптомы борьбы классов, проявившейся на следующий день после 24-го февраля; но картина будет неполная и неверная, если я не укажу на другую сторону,—на видимое об'единение классов в это солнечное утро второй Республики.

Я не думаю, чтобы был когда-нибудь на свете более роскошный расцвет грез о братстве и чистосердечного энтузиазма, чем ранней и теплой весною 1848 года.

Парижский народ—театрал, если можно так выразиться, народ—любитель зрелищ, говорящих глазам, и волнующей драмы, говорящей сердцу, был охвачен опьянением шума, движения и жизни. Как-будто внезапный солнечный удар привел всех в экзальтацию. Какие перемены в несколько часов! Все свободы завоеваны разом! Свобода все печатать и все расклеивать на стенах! Свобода собираться и публично обсуждать какие угодно вопросы! Свобода об'единяться в союзы и вотировать порядок дня в своего рода законодательных собраниях! Свобода устраивать на улицах живописные шествия с развевающимися знаменами! Свобода распевать во все горло „великую *Марсельезу*" и ту самую *песнь жирондистов*, которая чисто по-парижски неожиданно выходит из театра, чтобы войти в историю! И во всем этом сколько свежести и мягкости утренней зари.

У победителей наивная вера в нарождение новой эры. Твердое решение оказаться достойными ее. Доброта, широко распространяющаяся на всех угнетенных, вдохновляемая желанием принести им всем освобождение, пышный расцвет братства, казалось, плавали в млечном море.

Те, кто тогда омочили свои губы в зачарованном напитке иллюзий, на всю жизнь сохранили его опьяняющий вкус вместе с томной грустью, хотя на дне кубка они и выпили отвратительную горечь. Можно было бы так определить революцию 1848 г.—*романтизм в политике*. Это была лирическая разнузданность фантазий, разгул идеализма.

Понятно, что одним из ее руководителей был такой поэт, как Ламартин, который говорит в своем ответе студентам: „Мы сегодня творим высшую поэзию.

Это блуждание в небесной лазури было возможно только благодаря перемирию или лучше — минутному исчезновению партий.

Луи-Филипп обратился в позорное бегство и, говоря словами Токвиля, о нем не было больше вопроса „как, если бы он принадлежал к династии Меровингов". От ареста Гизо воздержались и он отправился в Англию, чтобы соединиться с королем. Все рабы вчерашних владык, как по мановению ока, обратились в республиканцев. Такие именно с наибольшей пылкостью и треском присоединились к Республике. Крупные банкиры с Ротшильдом во главе устраивают подписку в пользу раненых в феврале. Сановники церкви уверяют в своей евангельской любви к равенству. Монашенки предлагают свои монастыри для помещения в них инвалидов труда. Герцогини вместе с женами новых хозяев власти устраивают благотворительные общества, *братства*, для борьбы с нищетой. Магистратура, университет, армия, бывшие министры монархии, приближенные и сыновья павшего короля, принцы из фамилии Бонапартов, все почтительно склоняются пред величием народа. Только кое-где произошли легкие беспорядки, подавленные без кровопролития. Никогда Революция не была менее кровавой. В охваченном лихорадкой большом городе, господствовало нечто в роде детски добродушной анархии. Толпа мирно удовлетворяла свою потребность в деятельности, сажая деревья свободы. Их украшали лентами,

их носили с большими церемониями и в процессии духовенство браталось с учениками школ и с жителями предместий, а церковные напевы чередовались с революционными песнями. Повсюду на празднествах и в речах повторяется призыв к дружественному соглашению классов, намеки на всеобщую гармонию интересов.

Встряска, происшедшая в умах, все еще вызывала бесчисленные демонстрации. Кто перечислит тысячи делегаций, отправлявшихся к Временному Правительству, чтобы принести ему свои симпатии, свои пожелания, свои жалобы, и в обмен уносивших хорошие слова или какой-нибудь мелодический куплет Ламартина, этой большой шарманки Революции? Это целый церемониальный марш англичан, швейцарцев, греков, венгров, норвежцев, бельгийцев, ирландцев, итальянцев, румынов, поляков и т. д.; демократическая Европа, голосом своих сынов, живших в Париже, приветствовала наступление демократии во Франции.

Все группы и все слои населения, начиная от протестантских консисторий, евреев и заведующих церковными имуществами и кончая учениками школ и лицеев, инвалидами, барабанщиками и пожарными, произносили речи и по очереди приветствовали друг друга. Но что всего больше поражает—это пробуждение корпоративной жизни; как-будто вся армия труда устраивала себе смотр, как-будто она вспоминала времена, когда каждое ремесло имело свое почетное место в публичных церемониях. Плотничьи подмастерья, общество которых существовало в отдаленные времена, водовозы, и служащие национальных заведений, почтовых карет, обреченных на скорое исчезновение, работники и работницы мелких мастерских, ювелиры, полировщики мрамора, маляры, мастера седельные, брючные и жилетные; рабочие крупной промышленности, железнодорожные, рабочие из газовой компании, сахарных заводов, с фабрик химических продуктов, с заводов Дероси и Кай, сменяли друг друга, как бы для того, чтобы не дать забыть в высших сферах, что и четвертое сословие требует своего места на жизненном пиру.

Рабочий, который таким образом появился из темноты, в которой его раньше удерживали, стал настоящей персоной, героем этих первых недель Революции. С ним обращались, как с новоиспеченным сувереном; ему льстили, за ним ухаживали, ему подражали. Официальные ораторы восхваляли его храбрость в битве и великодушие в победе, его преданность общему благу, его политический ум,—похвалы, конечно, заслуженные, но преувеличенные, и похвалы, которые больше имели в виду будущее, чем настоящее и походили на советы, сдобренные медом. Песенка того времени является наивным свидетельством идолопоклонства, предметом которого был этот святой «каналья»:

Chapeau bas devant la casquette!
A genoux devant l'ouvrier! [1])

Буржуа пытался сколько возможно приблизиться к этому идеальному существу.

Небрежная одежда, свободный галстук, мягкая шляпа, отпущенная борода, простые, даже немного развязные манеры, фамилиарный тон и при случае тривиальный, гуманные фразы, в которых слово *гражданин* слышится на каждом шагу—вот что заменяет недавний изысканный тон и костюм.

В Comédie Française, ставшей театром Республики, в то время как на сцене Рашелль на коленях, задрапировавшись в складках трехцветного знамени, декламирует Марсельезу, можно видеть среди ее аудитории, по виду чисто народной, рабочие блузы, которые покрывают тонкое белье.

Одна дама из английской аристократии, которая жила в то время в Париже, пишет: «Мы все надеваем грубые башмаки; мы все ходим с зонтиками и мы все стараемся насколько возможно больше походить на наших привратников». «*Revue des deux mondes*», этим сказано все приветствует правительство, провозгласившее право на труд.

Что же скрывалось за этой выставкой нежности к рабочим? Без сомнения чувство страха пред этими загадочными массами, вышедшими из их темных конур; почтение к их могуществу, проявившемуся не только в той легкости, с которой они давали толчки во Франции министру и даже королю, но и в своего рода потрясении трона, которое встряхнуло все столицы Европы; может-быть, также и скрытая признательность к этим умиравшим с голода, людям, которые, ставши хозяевами громадных богатств, спасали бриллианты короны и расстреливали без сожаления воров; наконец, у значительной части населения просто искренний порыв

[1]) Долой шляпу перед картузом!
На колени перед рабочим!

человеческих братских чувств. Один современник, в то время бывший простым рабочим, пишет: Я думаю, что ни в какую другую эпоху нашей истории общественное мнение не проявило большого расположения к улучшению моральных и материальных условий жизни народа».

Конечно, не было недостатка и в дурных побуждениях, но они благоразумно скрывались. Этот первый день после бури был одним из тех редких моментов безоблачности, когда голубое небо шлет свою улыбку земле, земле еще усеянной осколками!

Затишье обманчивое, пожалуй, и уже сверкают молнии, возвещающие новый порыв ветра; но короткая стоянка, давая отдых усталым народам, пробуждает в них надежду на долгий мир и образ его, блестая пред ними, помогает им итти дальше по их каменистому пути!

Этот золотой век Революции, «который был больше похож на праздник, чем на катастрофу», был кроме того озарен тем приемом, который оказала новому строю провинция.

Средства сообщения между столицей и остальной страной в то время были медленные; нужно было двенадцать дней, чтобы обменяться письмами между Парижем и Нижними Альпами.

Можно было ожидать столкновений в некоторых отдаленных частях, в которые новости попадали всегда с опозданием. Но ничего подобного не было. Не так давно Генрих Гейне писал с дерзкой развязностью: «Во Франции то, что думает провинция, имеет не больше значения, чем то, что думают мои ноги».

Париж привык в государстве, крайне централизованном со времени Наполеона I, брать на себя инициативу всех крупных перемен в политике; города следовали за Парижем и деревни следовали за городами. Кто мог бы противиться перемене уже осуществившейся? Церковь вместе с легитимистами мужественно боролась против павшего правительства. 260.000 избирателей, которые составляли «легальную страну», были слишком рассеяны, слишком изолированы друг от друга, чтобы составить солидное ядро сопротивления. Монархия Луи Филиппа не имела своей Вандеи, она рассыпалась как карточный домик; Париж ее опрокинул одним дуновением, другие ее не поддержали!... Объявление Республики было принято, смотря по местности, то с радостью, то с тупою покорностью. В промышленных городах рабочие—этот республиканский авангард,—приветствовали с энтузиазмом Республику, которая была для них обещанием лучшего будущего.

В Лионе, который был в то время рабочей столицей Франции, городом восстаний социального характера, они водрузили красное знамя, развевавшееся несколько недель на занятых ими фортах; они разрушили крепостную стену, благодаря которой их предместья были под пушечным огнем, они атаковали монастыри, работные дома, которые составляли конкуренцию их мастерским; в течение нескольких недель они были хозяевами улицы и Ратуши, то же самое было и в Лиможе. В Лиле они сбросили в канал бюст короля, побили стекла и сожгли вокзал. В Руане они также разрушили дебаркадер и угрожали некоторым особнякам богатых промышленников. Этим они с самого начала показали, что для них движение имело значение принижения великих и возвышения малых. Тут, как и в Париже с полной ясностью проявился их антагонизм с буржуазией, и старания комиссаров, посланных центральной властью, было направлено на то, чтобы сдержать нетерпение одних, успокаивая страх других. В Альзасе задача эта оказалась наиболее легкой, потому что просвещенные хозяева, особенно в Мюльгаузе уже давно позаботились о том, чтобы просвещать рабочих своих заводов и обращаться с ними как с людьми.

В больших торговых городах, каковы Марсель или Нант, Республика возбуждала меньше надежд, а следовательно и меньше страхов; она была принята без хлопот и без шума.

В Тулузе и в Нанси ее приветствовали даже раньше, чем стало известным то, что происходит в Париже; только в Бордо произошел маленький бунт буржуазии против комиссара, которому приписали террористические замыслы.

Во многих местах устраивали для безработных мастерския или раздавали им боны на получение хлеба. Что касается маленьких городов и деревень, то в них, как это было в Буссах, происходит взрыв энтузиазма, изливающийся в дифирамбах: «Парижский народ велик и достоин удивления на вечные времена. Он только что в три дня открыл новую эру для человечества», то, как в Альзасе инстинктивное возмущение против еврейских ростовщиков, или, как это было во многих местах, возврат к старым обычаям, по которым прибрежным жителям позволялось запасаться дровами в государственных лесах.

Повсюду устраиваются праздничные банкеты, похоронные церемонии февральским жертвам и с участием духовенства, при звоне колоколов и при звуках Марсельезы, которая пелась даже в церквах, водружаются деревья свободы. «Крест, водруженный на Голгофе,—восклицал один священник из Луарэ,—был первым древом свободы, посаженным на земле». Одним словом, на всем протяжении Франции и даже Алжира, Республика с самого своего появления, получила этот поразительный и неожиданный результат: почти единодушное одобрение.

Оставались иностранные государства. Как будет принято это восстановление Французской Республики, которая оставила у государей столь мучительные воспоминания и порабощенным нациям дала столь заразительные примеры? При получении известия о событиях 24 февраля царь, говорят, воскликнул: «на коней, господа!» С другой стороны писатель Щедрин так рассказывает об эффекте, который произвела эта новость во время спектакля в Итальянской опере в Петербурге, куда она упала как бомба: «Старики не скрывали своего дурного настроения; мы же, молодежь, едва сдерживали нашу радость... Франция казалась нам страною чудес». Норвежец Ибсен, будущий драматург, а в то время простой приказчик в аптеке, думал, что он присутствует при начале всеобщей революции.

Манчестерские рабочие разразились криками ура, по поводу того, что Альбер такой же рабочий, как и они сами,. стал членом Временного Правительства. Что касается Германии, то там мобилизовали два армейских корпуса и выставили пушки на валу в Кельне. Казалось, близка битва между революционной Францией и Священным Союзом Королей.

Но обстоятельства уже были не те, что в 1792 г. и в Европейских монархиях, и в новой Республике. Без сомнения республиканская французская партия почти единодушно желала прежде всего независимости всех угнетенных наций и освобождения подданных, лишенных свободы, а затем Священного союза народов и создания Соединенных Штатов Европы. Moniteur от 27-го февраля выражал надежду на такую федерацию и это было, насколько мне известно, первый правительственный документ, в котором было формально выражено пожелание, чтобы она осуществилась. Но если все были согласны в цели, то далеко не все в средствах к ее достижению.

Одни хотели достигнуть ее войною, другие—миром. Первые вспоминали, как они из всех сил протестовали при Луи Филиппе против унижения во имя «мира во что бы то ни стало» вдохновляясь наполовину Наполеоном, на половину «патриотами» 1793 года, они настойчиво потребовали, чтобы не возобновлялись договоры 1815 года.

Некоторые публицисты в припадке воинствующего национализма даже требовали установления французской границы на Рейне.

В особенности в среде, окружающей Ледрю-Ролена, в которой охотно брали себе за образец Конвент, смотрели на французский народ, как на вооруженного миссионера демократии; ему приписывали долг распространить за пределами своих границ антимонархическую пропаганду.

В одной из излюбленных песенок того времени говорится:

[1]) Les peuples sont pour nous frerès
Et les tyrans, dos ennemis

Экспедиция для свержения тронов и освобождения притесненных всех стран, казалось, соответствовала духу республиканских традиций. Некоторые люди действия думали таким образом добиться того, что Комитет общественного спасения станет необходим. Наконец, изгнанники всей Европы, которые живо сбежались со всех сторон, как бабочки на огонь, к этому очагу волнения, который только что зажегся, надеялись обратить его в громадный пожар. Их насчитывали в одном Париже 15000 человек. Поляки, ирландцы, немцы, бельгийцы, итальянцы волновались и устраивали заговоры; из их пылкой среды шел воинственный дух, который еще укреплялся католиками—друзьями Польши и Ирландии, и офицерами, охотниками до получения крестов и чинов по какому бы то ни было предлогу.

Но этому воспрепятствовало течение мирное. Коммерсанты и промышленники, поглощенные всецело своими делами, не желали вооруженного вмешательства. Газета «la Presse» не без успеха проповедывала даже всеобщее разоружение. Буржуазия в громадном большинстве была на стороне благоразумной политики. Даже

[1]) Народы для нас братья, тираны—враги.

в среде самого рабочего класса далеко не все были склонны рискнуть на это кровавое и опасное предприятие. Не один из них, выпивая за «независимость всего мира», повторял прекрасный стих Пьера Дюпона: «Любовь сильнее, чем война».

Пьер Леру уже сказал прозой: «Любовь делает больше, чем сила и война». Кабэ, в своей прокламации от 25 февраля, выставлял вооружение народа, как действительную гарантию «всеобщего мира». Консидеран озаглавил свою газету: «Мирная демократия».

Нарождающийся социализм заглушал в сердцах своих приверженцев старинную жажду удовлетворения мелочного тщеславия и военных завоеваний, заменяя ее желанием экономических реформ.

Сам Ламартин отмечает влияние в этом направлении социалистической проповеди на народные массы.

В то время, как большая часть французской демократии высказалась за этот мирный интернационализм, аристократия и монархии колебались с одного конца Европы до другого.

Швейцария положила начало в 1845 г., смело вступив на путь демократии. За ней поднялись раньше Парижа в январе 1848 г. Мессина, Палермо и Неаполь.

После же удара молнии, каким было 24 февраля, 13 марта восстает Вена, 18 Милан и Берлин и 26 Мадрид. Где же остановится пороховой шнур, который, казалось, пролагал себе дорогу под минированной землей?

У обеспокоенных, напуганных государей, было вполне достаточно своих собственных хлопот, чтобы не пытаться помешать Франции произвести у себя переворот.

Могущественные державы, в свою очередь, завершали ту эволюцию, которую долгое время проделывало французское государство и благодаря которой оно долго удерживало свое первенство в расчлененной Европе. Они были заняты борьбой с одной стороны с националистскими стремлениями, которые проявлялись то в стремлении к единству, пагубному для маленьких княжеств, то в вспышках восстаний в завоеванных, но еще не ассимилированных провинциях; с другой стороны боролись против развития реформаторских партий, из которых некоторые в своих намерениях не шли дальше учреждения конституционного правительства, но зато другие доходили до попыток установить демократию. Эти два движения, которые переплетались друг с другом, то идя в одном направлении, то глубоко расходясь, производили ту смуту, которой отличается эта эпоха истории и вполне гарантировали Францию от опасности европейской коалиции. Иностранные могущественные державы, по выражению Фаллу, могли быть названы *иностранными бессильными державами*.

Англия, бесспорная хозяйка океана, только и думала о том, чтобы толкать вперед свое экономическое развитие; у нее были свои внутренние затруднения: кризис, который переживали ее мануфактурная промышленность и банки, и шумное движение среди демократов, которых называли *чартистами*.

Итак, Франция была вне опасности атаки извне, но поведет ли она атаку сама? Возьмет ли она на себя героическую и гордую роль паладина справедливости и милосердия, сказав: «Всякая несправедливость меня касается», и бросив тяжесть своего меча на весы судьбы, чтобы заставить их склониться в сторону правды? Или она откажется прийти на помощь слабым? Обманет ли она трогательную доверчивость, которую она им внушала. Замкнется ли она в своем эгоизме холодно-благоразумном и неумолимом? Тяжелая задача, которая много раз вставала в течение XIX века и которую никто не мог разрешить с легким сердцем.

В одном случае это означало европейскую войну с сомнительным успехом, с несомненными ужасами и с неизбежным отражением на делах внутренних лихорадочного подъема этой колоссальной борьбы; войну с пустой кассой в руках, с неурядицей, которой сопровождается всякая ломка внутреннего строя, максимум с 108 тысячами людей, которых можно было выставить в строю.

В другом случае это означило: отказ от великодушной традиции, замыкание в самого себя, которое могло быть истолковано, как трусость и нанести смертельный удар высокому мнению, которое имелось о Франции, могло отчудить от нее народ, не привлекши к ней государей, лишить ее удобного случая обеспечить за собой перевес и торжество демократии и скомпрометировать таким образом авторитет ее правителей в глазах тех самых, кто создал республику.

Временное Правительство, будучи жертвой разнородности своего состава, колебалось, лавировало и балансировало между двумя возможными решениями. В то время, как некоторые из его членов подбодряли изгнанников соседних стран и потихоньку помогали

им в их попытке поднять своих сограждан, в то время, как они оффициально устраивали или позволяли устроиться маленьким предприятиям [1]) в этом направлении, официально отвергнутым, Ламартин в качестве министра иностранных дел выпустил письменное обращение, в котором он пытался примирить два непримиримых направления политики. Он высказывался за мир. Он отвергал всякую мысль о наступательных действиях. Он объявлял войну великим коллективным преступлением и он ее отталкивал, как опасность для свободы, как прелюдию к диктатуре: «Солдаты,—говорил он,—забывают учреждения для людей. Троны соблазняют честолюбцев. Слава ослепляет патриотизм. Престиж победоносного имени прикрывает покушение на национальный суверенитет. Конечно, Республика желает славы, но она ее желает только для себя, но не для Цезарей и Наполеонов». Он напоминал, обращаясь к Барбэсу и к членам нео-конвента, что во время первой революции война была желанием «монархистов и жирондистов», но не более передовых демократов. Он выступал во имя интересов самого народа, в защиту спокойного и постепенного развития. «Народ и мир, писал он, это одно и то же слово». И он расчитывал на время и на разум, чтобы добиться установления международного братства на земном шаре. В деле прозелитизма он допускал только прозелитизм, вызываемый чувствами уважения и симпатии; он вводил республиканскую Францию в мирный круг своих принципов.

Однако в то же время, он делал уступки воинственно настроенным. Он не только поместил в начале своего обращения следующее заявление, продиктованное элементарным чувством национального достоинства: «объявляется, что Республика не имела надобности быть признанной, чтобы существовать»; не только он соглашался под давлением Луи-Блана и меньшинства на формулу в которой говорилось, что договоры 1815 года, от которых отказались, не порвав их, продолжали фактически быть основой дипломатических сношений, не существуя больше *юридически;* больше того в неясных выражениях он заявлял, что: «если прозвучит в повелениях Провидения час восстановления каких-нибудь задавленных национальностей в Европе или в другом месте»; если бы стали угрожать Швейцарии, если бы вторглись в независимые провинции Италии; если бы захотели им помешать объединиться между собой,—Франция сочла бы себя в праве вмешаться и, если было бы нужно, применить силу. Изгнанники—ирландцы и поляки, так же как и итальянцы, и немцы могли усмотреть в этом полуобещание и делается понятным, что Лионские рабочие могли приветствовать Ламартина за его обращение.

Чтобы оградиться от всякой случайности, он способствовал созданию комитета национальной защиты, председателем которого сделался Араго. По его настояниям были сформированы четыре армии: на севере, на Рейне, на границе Пиринеев и у подошвы Альп; армии, которые имели разные назначения, чтобы воспрепятствовать всякой попытке вторжения и реставрации и, в особенности, чтобы подавлять рабочее восстание. Одна из них могла также подбодрять тех, кто трудился над освобождением и объединением Италии. Ламартин бесспорно покровительствовал им, и недаром генерал Удино, главнокомандующий Альпийской армией, говорил своим солдатам в воззвании, с которым он к ним обращался: «Республика—друг всех народов; в особенности она питает глубокую симпатию к Итальянскому народу». Но с этой стороны Ламартин натолкнулся на недоверие Карла Альберта, Сардинского короля, который боялся больше союза с Францией, чем борьбы с Австрией. Этот государь боялся потерять Савою и Ниццу, он боялся также проникновения в среду его подданных республиканских идей, и на предложение вооруженной помощи, которое было сделано ему из Парижа, он ответил следующими высокомерными словами, не оправданными его успехам: «Italia farà da se (Италия без посторонней помощи сумеет выйти из своего положения). В остальном Ламартин решил держаться statu quo; он искал соглашения с Англией и не давал воли ирландским беглецам; он делал авансы по отношению к Пруссии; он довольно сурово приглашал поляков, живущих в Париже, сохранять спокойствие; он был даже сторонником тесного соглашения с Россией. Союз с Россией—это крик природы для того, кто может слышать; это откровеннее географии; это военный союз

---

[1]) Дело Risquons tout в Бельгии. Попытка *Демократической германской лиги*, начальником которой хотел быт Карл Маркс и которую Жорж Гервег, немного окрепя сердце, вел в Баден.—Вторжение „*Varaces*" (Лионское республиканское общество) в Савою.

двух великих рас против превратностей будущего. Это средство обеспечит равновесие на континенте при помощи «двух равных и значительных тяжестей в Петербурге и в Париже».

Могущественные державы, за исключением Австрии, были таким образом успокоены насчет намерений Французской республики и естественно, что они ее легко признали.

Швейцария, Аргентинская республика, Уругвай, Соединенные Штаты—были первыми, кто приветствовал ее появление; другие в свою очередь не замедлили сделать то же самое и всеобщее уважение, которое она получила так быстро, прибавило еще луч к светлой ясности ее зари.

ГЛАВА III.

Республиканцы. Клубы и газеты. Образование партии порядка.

К несчастию, смута уже висела в воздухе, сдвигались тучи, быстрые, густые, несущие бурю... За внешней гармонией скрывались глубокие несогласия. Они росли и расширялись. По вине отдельных людей? Да, конечно, отчасти. Известен жестокий ответ Беранже одному из правителей, который пытался оправдать их постоянные ссоры: «чего ж вы хотите?—говорил он... разница в наших мнениях»... — Скажите лучше—сходство в ваших самолюбиях,—ответил поэт. Но больше по вине тех больших общих движений, в которых поглощены отдельные силы и катятся как капли воды в волне, идущей из глубин, по вине скорее вещей, чем людей, по вине самих обстоятельств, в которых жило французское общество.

Февральская революция была направлена против привилегий, остававшихся в руках класса богатых, привилегий управления общественными делами. В области политической это был переход от плутократии к демократии. Но силой логики этот переход влек за собой исчезновение многих и других привилегий. Он предполагал изменение, в направлении благоприятном для трудящихся, системы налогов, военной организации, судебной, административной системы образования, права собственности, условия труда и т. д. Столько пунктов, в которых буржуазия и пролетариат имели противоположные интересы! Борьба между этими двумя классами была неизбежна.

Она привела к исчезновению в стране прежних партий и к временному замещению их двумя обширными группировками в два противоположные блока, требовавшие в области экономической и социальной, один—серьезных преобразований, другой—сохранения statu quo. В правительстве она проявилась в аналогичной борьбе большинства с меньшинством. Она проявлялась в конфликте прямо противоположных направлений, в уличных демонстрациях, в газетах, в клубах, в выборах, в национальном собрании; вплоть до того времени, когда она закончилась открытой войной.

Передовые республиканцы в Париже и в провинции, *красные*, как их быстро прозвали после истории с красным знаменем, были далеки от того, чтобы составить компактное целое. Между ними шли ссоры из-за доктрин и на личной почве. Радикалы были несогласны с социалистами, вожаки школ завидовали друг другу и вели между собой споры.

Чтобы познакомиться с их деятельностью, нужно обратиться к клубам, газетам и брошюрам.

Клубы нарождаются сотнями на следующий же день после 24-го февраля. За один первый месяц их создалось в одном Париже и его предместьях 250. Тут есть клубы и мужские и женские, и белых и черных, и французов и иностранцев, клубы драматических артистов и клубы бакалейных торговцев, клубы репетиторов и профессоров, литераторов и прислуги, студентов и рабочих, коммерческие клубы и клубы военных демократов, франкмассонские, и клубы республиканцев-протестантов.

Социалисты имеют свои клубы, так же как и умеренные, сторонники порядка—свои, сторонники братства—тоже свои. Но все же элемент революционный преобладает в этих политических союзах.

Некоторые из них украшаются знаменитыми именами: клуб Якобинцев, клуб Парижской коммуны, клуб Горы... В этом чувствуется желание пробудить великие воспоминания первой Революции. В то время эта мания обращения к прошлому играла значительную роль. Иногда она была невинной.

Когда провозглашают *Республику единую нераздельную*, эта

священная формула может вызвать только улыбку: какая часть Франции намерена была в то время отделиться от национальной территории? Кому не покажутся глупостью эти этикетки и видимости; все эти имена якобинцев, монтаньяров, красные колпаки, жилеты à la Робеспьер, эти—«Ça ira» и «Mourir pour lapatrie»—только литературные заимствования, естественные у людей, воспитанных на великих делах их отцов. Не нужно забывать, что и Тьер, и Бюшэ, и Луи-Блан, и Ламартин, и Мишле, и Кинэ наперерыв, каждый по своему, возвеличивали, поэтизировали, обоготворяли деятелей грозного переворота, с которого ведет свое летосчисление современная Франция.

Они стояли на пороге века, как гиганты, которым слишком много удивлялись, чтобы не пытаться им подражать.

Но подражание не всегда было безопасно. Нельзя безнаказанно играть в Конвент.

Война против тиранов допустима не во всякое время. Желая без надобности вызывать все новые параксизмы энергии и страсти неотделимые от состояний как бы безнадежности, рискуешь двояким образом: или дать повод к насмешкам над тем, что кажется ребяческим преувеличением, пародией, которая тем более смешна, чем более она делается всерьез, или же отпугнуть сочувствующих бесполезным обилием решительных жестов и громких криков.

Эти два результата имели место в 1848 г. В некоторых клубах, где шли заседания под пиками, с надетыми на них фригийскими колпаками, где приглашали граждан заседать в рабочих блузах, где предлагали изолировать богатых, поставив вокруг их домов санитарный кордон, и уморить их голодом, слушатели были близки к тому, чтобы положить конец этим фанфоронским украшениям и пламенным речам. Тридцать лет мира не прошли напрасно для Франции: нравы смягчились и люди стали человечнее.

Благодушный характер революционеров 1848 г. сквозит во всех их предложениях, даже наиболее жестоких.

Светские господа и дамы, которые искали приключений в этих трущобах, как в зверинцах для диких зверей, ради удовольствия, лишь только почувствовали легкую дрожь в спине, тотчас обнаружили скромных барашков, скрывавшихся под шкурами тигров.

Пораженные, быть-может, с первого раза, они скоро пресытились, успокоились и стали насмехаться.

Но люди ловкие понимали, каким отравленным оружием против Республики могут послужить эти нелепые и дикие речи ораторов, вдохновляемых фантазией, и что их усердствования, тщательно подобранные, должны запугать провинцию и деревню.

То же самое следует сказать и о газетах с громкими заглавиями, которые появились в течение этих недель горячки.

La Commune de Paris, le Nouveau Cordelier, le Père Duchêne, la Guillotine, l'Ami du peuple, в сравнении с листками 1793 года, которые они желали воспроизвести, были как бы выходцами с того света, сфабрикованными с головами мертвецов, в белых простынях, чтобы пугать робкие души. О них судили слишком много по их внешности. Тот, кто их пробегает, находит часто неожиданную умеренность тона. По крайней мере, это справедливо по отношению к Père Duchêne, «газете Революции», которую редактировали Тюйлье и Кольфаврю.

Чтобы оценить влияние этих листков по их настоящему значению, нужно было бы знать сколько читателей имел каждый из них и сколько дней он существовал. Следовало бы также знать по отношению к некоторым из них, кто снабжал их деньгами и не были ли они подкуплены с целью нагнать страх. Пока это исследование еще не сделано, следует быть благоразумным и не принимать трагически излишество языка, которое можно в них обнаружить.

В конце-концов недоставало многого, чтобы клубы и газеты передовой партии не были только ящиками с запасом громких слов и зажигательных предложений. Многочисленная публика, которая посещала заседания Центрального Республиканского Общества в зале консерватории (а приезжие иностранцы и светские люди охотно доставляли себе это удовольствие) часто с удивлением слушала Бланки с его тонким голосом, с руками, всегда затянутыми в черные перчатки, который в весьма керректных выражениях, с математической точностью и с сдержанным пылом обсуждал самые жгучие вопросы минуты. В клубе Революции, любители лихо надетых султанов, великоречивой честности, рыцарских поз наслаждались, слушая Барбэса, которого называли Баярдом демократии и который соединял в своем сердце культ

Бога и Жанны д'Арк с культом равенства. *В центральном братском обществе* Кабэ, иногда в сопровождении английского социалиста Роберта Овена, проповедывал свой евангельский коммунизм; в другом месте Распайль выражал свое неизлечимое недоверие к полиции и к лекарям. *В клубе клубов*, который представлял собою своего рода федеративную связь между всеми этими обществами, которые росли, как грибы, главные республиканские группы, оспаривавшие друг у друга руководство умами, встречались, чтобы поделить между собою средства и почти официальные полномочия, которые им тайно раздавались. Во всех этих местах собраний парижская демократия, правда наскоро и беспорядочно, но тем не менее с пользой, получала свое политическое воспитание, так долго задерживавшееся; тут же она обучалась красноречию и действиям под открытым небом.

В газетах было также не мало потрачено жару, таланта и энергии. Никто не имеет права относиться с пренебрежением к прессе, в которой каждый день обращался к толпе великий разрушитель Прудон, пророк Ламенэ, апостол Консидеран, шумливый и неустойчивый полемист Жирарден, не считая сорванцов литературы, имена которых: Бодлэр, Шампфлери, Александр Дюма или Жорж Занд, которая стала как бы официальной истолковательницей Республики народу.

В самом деле встряска, испытанная мозгами, пустила в ход множество интеллектуальных сил, которые задвигались в изумительном беспорядке. Тут переживал процесс брожения весь состав кандидатов на власть, которые наблюдали, критиковали и подталкивали временное Правительство. Можно было среди них различить два разных течения, которые, однако, иногда смешивались друг с другом. Одно из них было прежде всего демократическим, т.-е. оно стремилось обеспечить руководство политикой за парижским народом, хотя бы ценою новой революции, которая поставила бы во главе Франции более смелых республиканцев и которая не побоялась бы в случае надобности объявить войну европейским суверенам. Барбес и Бланки, ненавидевшие от души друг друга, были двумя главарями этой группы, всегда готовой действовать, которых больше всего слушали. Другое течение было скорее социалистическим, т.-е., будучи более глубоким в то же время более миролюбивым, оно тяготело больше к экономическим реформам, которые оно считало возможным провести без насилий, как внутренних, так и внешних. Фурьерист Консидеран, теоретик непротивления злу—Пьер Леру и Кабэ представляли эту группу, мало склонную к заговорам и смелым предприятиям. Распайль служил между ними связью, Прудон, хотя и сохранявший суровое одиночество, был более близок ко второй.

На ряду с этой партией движения вперед сформировалась партия охранительная.—Она состояла прежде всего из монархистов всех оттенков, но легитимисты, орлеанисты и бонапартисты скромно стушевались; было заявлено, что роялистов больше не существует, по крайней мере, в Париже. Кто же думал низвергнуть Республику? Вся консервативная реакция была направлена на область отношений социальных. Лозунг был найден: *Партия порядка*. Программа мало-по-малу сложилась и была выражена в следующей гибкой формуле: защита собственности, семьи и религии.

Но как сложилась эта троица, предложенная в таком виде на поклонение верующим? «Мы снова начинаем год страха», писала Жорж Занд в одном из своих писем. Действительно, красный страх 1848, как его окрестил Луи Вейльо, нисколько не уступает великому страху 1789. Страх богатых, которые осаждали министерство иностранных дел, чтобы получить паспорта, которые закапывали свои драгоценности, относили свое серебро на монетный двор, перебирались за границу, унося свои титулы. Страх, который распространялся наподобие эпидемии даже на деревни, где капитал также скрывался и убегал, как и в городах. Страх, который объединяет, сближает и сплачивает между собой всех собственников, «каково бы ни было их происхождение, их предшественники, их воспитание, их имущество». «Собственность,—говорит Токвиль,—для всех тех, кто ее имел, стала своего рода братством». В самом деле, все привилегии, которые маскировали привилегию собственности, исчезли, оставив ее неприкрытой. Имущие уже более не чувствовали себя в безопасности, видя оголенным и поставленным под удар тот принцип, на котором покоилось их благосостояние. Они ожидали, что их будут обирать и, не зная в какой форме будет сделано нападение, они готовились встретить нападающих.

Социализм или коммунизм (это было для них одно и то же) были врагами, против которых нужно было объединиться. Пусть

обобществление будет противоположностью разделу. Все равно! Сторонники коллективной собственности были заклеймены именем «partageux» (приверженцев раздела земли) и, как таковые, отданы в жертву ярости крестьян.

Рядом с собственностью, объявленной священной и неприкосновенной, на тот же алтарь положили семью. Но чем же ей угрожали? Разводом, о котором снова заговорили, равенством, или, по крайней мере, равноценностью, которую пытались установить между мужчиной и женщиной? Но этого было недостаточно, чтобы кричать о ее ниспровержении, тем более, что Луи-Блан делал из нее образец, по которому он хотел устроить все человечества, что Кабэ уважение к ней простирал настолько, что от своих приверженцев требовал безусловной моногамии, что Прудон расточал свои проклятия попыткам женской эмансипации. Но некоторые секты, некоторые газеты (в частности *les Communistes materialistes* и *l'Humanitaire*) уже много лет как требовали расторжения семейной связи и проповедывали свободную любовь. Мюссе высмеял их теории в своем известном стихотворении:

De magistats, néant. De lois, pas davantage.
J'abolis la famille et romps le mariage.
Voilà. Quant aux enfants, en feront qui pourront.
Ceux qui voudront trouver leurs pères chercheront *).

Отец Анфантен, изобретает «Coupl-prêtre», и Фурье, защитник «de la Papillonne» пустились в странные фантазии по этому деликатному предмету. Наконец, и больше всего было нападений со стороны массы писателей на наследство, этот цемент буржуазной семьи, экономическую связь имущих поколений. Этого было более чем достаточно, чтобы при смелом обобщении, преобразить всех коммунистов и социалистов в людей, которые желают общности жен так же, как они желают общности имуществ.

Что касается религии, то сначала удивились, когда увидали, что она фигурирует в числе тех вещей, которые необходимо охранять от новаторов.

Революция 1848 г. была бесконечно более милостива к церкви,

*) Магистраты—ничто. Законы не более того. Я упраздняю семью и разрываю брак. Что же касается детей, то пусть их производит кто может. Те же, кто пожелает найти своих отцов пусть ищут.

нем буржуазная революция 1830 года. Когда народ, наводнявший Тюльри нашел там великолепное распятие из слоновой кости, то один политехник тотчас схватил его и с возгласом: «Вот он, наш господин!» перенес его среди собравшейся толпы в ближайшую церковь. Эта сцена без конца воспроизводилась в гравюрах. На эстампах того времени Республика постоянно изображалась между Христом и рабочим, поддерживаемая ангелом, в раме из молитв или библейских стихов. Священники много раз сами благословляли деревья свободы, повторяя на все лады, что республиканский девиз совершенно тот же, что и христианский. Депутации священников ходили к Временному Правительству с уверениями в своей преданности. Формально, а иногда страстно, изъявляли свою привержнность к Республиканской Франции епископы, папский нунций и, что еще больше, священный памфлетист из «L'Univers,—Луи Вейльо. Маленькая брошюра под заглавием «Республиканский Катехизис»—на вопрос: что такое Республика?—отвечает следующим определением:—«Это, воистину, царство Божие на земле». Совершенно подобные выражения можно найти в социалистических сочинениях. Кабэ претендует на то, что он устанавливает «христианство в его чистом виде» и следует примеру великого коммуниста Иисуса.

Консидеран, Пьер Леру и Луи Блан в душе религиозны и воспитаны на Евангелии. Сам Прудон, если даже он и писал однажды: Бог—это зло, в другой раз возносил молитву Богу равенства.

Итак казалось, что согласие между церковью и революционерами, не скажу столь правоверным, но столь проникнутыми христианским духом, было легко осуществимо. Кроме того между церковью и ими был, так сказать, мост. Он был перекинут христианскими демократами, которые были и искренно верующими, и искренними революционерами: Ламенэ, перешедшим всецело от папы к народу, и тем не менее остававшимся верующим, Арно де Ариежем, наконец, доминиканцем Лакордэром, который основал газету под заглавием «Новая Эра» и, который в течение нескольких недель собрал 3200 подписчиков в духовном мире [1]). Кроме того рабочие знали, что католики (Бюре, Вильнев-Баржемон, виконт

[1]) Аббат де ла Трапп выставлял правила своего ордена, какъ образецъ республиканского и социалистического строя.

де Мелэн) действительно работали бок-о-бок с доктором Треля и Ледрю-Роленом над смягчением их нищеты и не только щедрой благотворительностью, но и требуя покровительственных законов для детей и женщин.

Однако, это согласие было скоро совершенно нарушено причинами очень важными и многочисленными.

В вещах есть своя логика. Католицизм, основанный на строгой иерархии высших и низших, ставший в XIX веке абсолютной монархией, имел естественное сродство с обществами, в которых власть сосредоточена в одном лице и в которых разделение на классы твердо установлено. Он может примириться с Республикой и демократией, но внутренне он к ним не расположен. Затем, покоясь на теократическом принципе, по которому религия должна главенствовать над гражданской жизнью, он наталкивается в области политической на светский принцип, по которому государство должно быть нейтральным по отношению к различным вероисповеданиям, так же как в области доктрин, покоящейся на теологическом принципе, который полагает истину непреложной или в одном человеке, или в соборе, или в традиции, он наталкивается на философский принцип, по которому всякое мнение подвержено контролю разума и свободному исследованию. Отсюда и произошел неустранимый антагонизм между католической церковью и Революцией.

И с той, и с другой стороны было ядро людей, которые чувствовали этот антагонизм и являлись его представителями. Со стороны республиканской это были мыслители, большей частью академисты, еще не остывшие после своих споров с иезуитами, таковы—Кинэ, Мишле, Литре. Они противопоставляли свои научные изыскания утверждениям веры, мораль справедливости—морали прощения. За ними следовало изрядное количество людей из народа, который сохранял инстинктивное недоверие и ненависть к тому, что на народном языке грубо называлось «la prêtraille» (поповщина).

У Беранже, который так смело высмеял «черных людей», была масса поклонников по мастерским, которые повторяли за ним его песенки. Со стороны католиков представителем был Монталамбер, трибун аристократии, как его называл Луи-Блан, раскаявшийся либерал, который, стоя некогда на той же точке зрения, что и Ламенэ, но развившись в обратном направлении, объявил победу радикализма в Швейцарии новым вторжением варваров, и который писал в мае 1848 года: «двадцать лучших годов моей жизни я посвятил химере—примирению Церкви с современными принципами. И теперь я начинаю думать не только, что невозможно примирение, но, что современные принципы, как это показал Мишле в своей последней книге о революции, являются исключительно делом Вольтера и Руссо и суть антиподы христианства. Затем аббат Дюпанлю, еще до революции говоривший проповеди на евангельский текст, который он обращал в защиту счастливых мира сего: «Всегда вам будут сопутствовать бедные». В тот день, когда нужно было сделать выбор между народом и буржуазией, между пролетариями и собственниками, все они перешли на сторону достаточного класса, желавшего сохранения существующего строя.

Они пошли в эту сторону тем более охотно, что буржуазия, бывшая до 1848 года вольтерианской, как было вольтерианским дворянство до 1789 года, по примеру этого последнего и по тем же причинам проделывала то же превращение. Церковь—этот древний привилегированный союз, сохранившийся среди раздробленной нации, проповедница дисциплины среди мятежного вихря, который расстраивал ряды общества, церковь, которая настаивала на вечности нищеты и вечности милостыни в противовес мечтаниям о равенстве социалистов,—казалась убежденным консерваторам той крепкой скалой, у которой можно было бросить якорь во время бури, истинным и единственным оплотом против революционного духа. Можно сказать, что, та же симметрично происходившая, эволюция сделала католицизм буржуазным, а буржуазию католической.

Точнее было бы сказать, что она стала клерикальной, так как поворот был сделан не во имя догм, а во имя социального значения церкви. На следующий день после 24-го февраля, Кузен, этот первосвященник и отступник философии, Кузен, о котором его друзья говорили: «он будет кардиналом», восклицал: «Скорее в объятия епископов; они одни могут спасти нас». Тьер, которого один из епископов называл «этот гадкий маленький хамелеон», писал в мае 1848 г.: «Я изменился. И я стал таков, каков я есть не вследствие революции в моих убеждениях, а вследствие революции в социальном положении». Таким образом

он переносил в область политики известную формулу: вне церкви нет спасения! Его изобразили на одном эстампе с восковой свечей в руке, приносящим публичное покаяние от имени *Constitutionnel*, старой газеты «пожирательницы попов». Так дело церкви слилось, как бы по договору с делом собственности, т.-е. реакции. Это справедливо главным образом по отношению к религии католической, так как в тех местах, где католики и протестанты жили бок-о-бок, последние постоянно, во все время существования второй республики, были известны, как республиканцы, тогда как первые наполняли собою армию приверженцев порядка.

Следующие факты менее важные, хотя все-таки серьезные, еще ускорили этот поворот в сторону реакции католической партии. Во многих городах как-то в Лионе, в Сент-Этьене, в Нанси, рабочие волнения направились против монастырей и сиротских приютов, которые составляли страшную конкуренцию свободному труду, производя товары более дешевые, пользуясь дешевым или совсем даровым трудом. Конгрегации иезуитов и капуцинов были изгнаны из этих городов, как не разрешенные. Временное Правительство смотрело на это сквозь пальцы или даже с одобрением, лишая таким образом духовенство источника богатства и силы. Был и еще один повод для жалоб. Ламартин, восприняв идею, которую превозносил Ламене и Монталамбер во время его молодой любви к свободе, заявил папе «что с республикой связана необходимость более или менее скорого отделения светского от духовного». Он получил, по его словам, одобрение этой реформы, на которую он смотрел как на «главный камень свода революции», из Рима от Парижского архиепископа и от «высших духовных лиц». Однако, надо полагать, что перспектива церкви независимой от государства, но принужденной платить жалованье своим правителям, напугала даже тех, кто в глубине души сочувствовал этому разводу; так Монталамбер в своем письме к епископам Франции, от 10 марта, приглашал их требовать от всех кандидатов, которым они будут оказывать поддержку, обещания настаивать на сохранении бюджета вероисповеданий.

Наконец, чтобы понять поведение солдат в столь дисциплинированной армии, как католическая церковь, необходимо знать, что представлял из себя ее начальник. Папа же, выбор которого приветствовали «как великое счастье для человечества», и который казался сначала пропитанным вполне современным либерализмом, был напуган быстрым распространением новых идей. Будучи принужден пойти дальше отечески-деспотического режима, даровав 15-го марта конституцию своим подданным, влекомый в то же время иезуитским орденом назад и чувствуя возрастающее охлаждение к нему римлян, Пий IX смотрел с неудовольствием на революцию, противодействие которой угрожало его светской власти. Он был мало склонен поощрять ее в той стране, из которой явилась искра, охватившая его государство, и его влияние на верных во Франции могло направляться только в сторону укрепления их на пути консерватизма.

18-го марта он писал Никейскому архиепископу, апостолическому нунцию во Франции с тем, чтобы дать ему понять, что никем и ничто не может быть изменено в порядке дисциплины и организации духовенства помимо римского первосвятителя. В Риме говорили, имея в виду демократию: «нужно ее окрестить—эту дикую героиню». Но было ясно, что, крещеная или нет, она все равно останется вне церкви. Кроме того, по поводу бюджета вероисповеданий папа добавлял: «этот способ приношений есть лишь весьма слабое вознаграждение за громадные церковные имущества, отчужденные в этой стране в несчастные времена бывшей революции. Отказаться от этого приношения, значит подвергнуть самую религию большой опасности». Отсюда видно, что святой Петр, как по поводу прошедшего, так и будущего давал тревожный, предостерегающий сигнал.

Католическая партия, став настоящим центром партии порядка, в течение первых месяцев воздерживалась от того, чтобы громко и определенно высказаться. Показывая то свой евангельский лик друга народа и покровительницы бедных, то физиономию жандарма, одетого в сутану,—защитника собственности, она прибегала к увертками и молча подготовляла свой триумф, сосредоточивая на себе симпатии, которые направлялись на нее и сверху, и снизу. Она действовала главным образом в провинции, где городское население воспроизводило более или менее парижское деление на фракции, но, где в то же время происходило смутное брожение огромного неизвестного—деревни.

Так как консервативная масса намеренно стушевывалась, не осмеливаясь еще высказаться против Республики, то борьба, на-

правленная на то, чтобы затормозить движение вперед, в то время поддерживалась так-называемыми трехцветными республиканцами, которые сами себя называли «честными и умеренными». Они были господами положения; они занимали наиболее важные официальные посты; в их руках была должность парижского мэра, президента Совета и все министерства, кроме министерства внутренних дел, которое было в руках Ледрю-Ролена. Больной Флокон был обречен на бездействие, но радикалы сохраняли еще за собою командование национальной гвардией, доверенное генералу Куртуа; управление почтой с Этьеном Араго во главе его; полицейскую префектуру, в которой водворился гигант Коссидьер, окруженный своими монтаньярами в красных поясах, и своего рода маленькими крепостями в роде той, в которой заседал на Риволи Собрие со своими шайками, столь же безвредными, сколь страшными на вид. Что касается социалистов, то они, кроме выпавшей на их долю чести председательствовать в Люксембургской комиссии, не располагали другим авторитетом кроме того, который они могли приобрести благодаря своей личной ценности или вследствие того, что предполагали, что за ними стояли народные массы. Истинными правителями, следовательно, были умеренные и Ламартин их глава и выразитель, почитался ими, как мессия и спаситель общества.

ГЛАВА IV.

Мартовские и апрельские дни.

Столкновение интересов и мнений, происходившее внутри нации, сильно отражалось и на правительстве. Значение его возрастало оттого, что постоянно то та, то другая группа парижского населения стремилась оказать давление на решения Совета, заставляя то большинство, то меньшинство итти на уступки или даже устраняться совсем.

Четыре вопроса прежде всего занимали всех. Два из них были экономические. Нужно было поддерживать общественные кассы. Нужно было поднять торговлю и промышленность, чтобы дать таким образом возможность существования безработным. Мы об этом поговорим позднее. Два других вопроса были политические. Дело в том, что нужно было определить роль армии и национальной гвардии внутри страны.

Нужно было затем организовать выборы, которые должны были быть произведены на основе всеобщего избирательного права. Два последние вопроса особенно возбуждали страсти в ту минуту.

Спор шел с одной стороны о сроке законодательных выборов, которые парижские революционеры (может-быть, напрасно) хотели оттянуть как можно дольше, с другой стороны о необходимости преобразования общественной власти. С самого начала обнаружилось существование двух основных взглядов по этому предмету. Во-первых, считали нужным сократить армию только для внешней службы и поэтому распустить некоторые корпуса, как, например, муниципальную гвардию, которая была ничем иным, как вооруженной полицией, наемником на жалованьи у власти, и вывести из Парижа и из других больших городов полки, которые не были предназначены вовсе для уличной войны. Во-вторых, хотели вооружить весь народ и включить всех в состав милиции, которая до того времени состояла исключительно из буржуазии, так чтобы всякий гражданин должен был быть в то же время национальным гвардейцем; это означало признание права за всяким, способным носить оружие, требовать себе ружье и возложение обязанности защищать общество на всех его членов, независимо от их имущественного положения. Правительство сначала приняло и провозгласило новые принципы, но скоро, как в его среде, так и вокруг него, началась глухая борьба, бывшая только новым видом борьбы классов.

Буржуазия считала, что она должна погибнуть, как только она потонет в народных массах, отныне снабженных оружием. Большинство членов правительства разделяло это опасение. И вот насколько было возможно при вооружении и обмундировании национальной гвардии были пущены в ход всевозможные уловки. Вооружили и навербовали преимущественно школьную молодежь. Если же раздавали оружие и жителям предместий, то патроны сохраняли в магазинах. Однако, пришлось, под давлением клубов и демократической прессы, решиться мало-по-малу открыть доступ в ряды национальной гвардии и пролетариям. Особенно приводило в смущение то обстоятельство, что каждый легион

должен был сам выбирать своих офицеров. Знать была уверена, что она будет снова выбрана в богатых кварталах, что же касается кварталов бедных, то легко можно было предвидеть, что в них народным голосованием будут избраны передовые республиканцы. Была пущена в ход масса интриг, чтобы помешать доступу к высшим чинам лиц с репутацией людей опасных. То выборы назначились на слишком близкое число с тем, чтобы рабочие не успели записаться и так, чтобы они не имели времени прийти к соглашению по поводу кандидатов; то их устраняли из штаба каким-нибудь искусным маневром. Отсюда—неудовольствия, ссоры, петиции к Временному Правительству. Несмотря на все это пробоина была сделана. Передовая партия могла расчитывать не только на Куртуа, главного начальника Национальной гвардии, но и на Гинара, который стоял во главе ее артиллерии; Барбес, Эдгар Кинэ и много других были начальниками легионов и с тех пор стали различать батальоны в е р н ы е и батальоны подозрительные, наименования, которые, понятно, имели разный смысл; сообразно с тем был ли правый или левый тот, кто их употреблял. Однако, наиболее влиятельными и наиболее солидарно действующими все-так оставались начальники из прежних, имевшие преимущество богатства и военного воспитания уже испытанного.

Все эти причины несогласий скоро проявились в уличных демонстрациях. Буржуа первые нарушили перемирие золотых дней. 9-го марта начался бунт черных сюртуков. Около трех тысяч торговцев и капиталистов, отправившись из биржи, с шумом явились в Ратушу требовать отсрочки всех платежей на три месяца; когда же правительство отказало в этом, один из манифестантов разразился целым потоком резкостей, в которых обнаружилась скрывавшаяся ненависть: «Ваших рабочих, говорил он, мы выгоним из мастерских, мы выбросим их на мостовую, мы им скажем, чтобы они шли к вам требовать хлеба и посмотрим удовольствуются ли они выслушиванием прославления их патриотизма». Школы между тем сбегались для защиты Правительства, которому угрожали. Всякая попытка оказать давление на правительство отныне должна была иметь свой противовес.

Спустя неделю, 16-го марта, была устроена новая манифестация зажиточным классом. Она известна под именем М а н и ф е с т а ц и я м е д в е ж ь и х ш а п о к и л и м у ф т... Повод был ребяческий, если смотреть только на внешнюю сторону. Отборные роты Национальной гвардии собрались, чтобы требовать знака отличия, которого их только что лишили, с целью ввести их в общий строй. Каррикатура того времени изображает депутацию бурых медведей, явившихся благодарить правительство за меру в высшей степени благоприятную для их породы. Но если обратиться к существу спора, то, там обнаружится борьба классов, которая начинала обостряться. Богатые не хотели быть смешиваемы с бедными; они желали носить форму, которая бы их отличала. Прозвучавший в тот день возглас: «Долой коммунистов», который не имел никакого отношения к медвежьим шапкам, означал также требование неравенства. Эти же самые люди, заботясь о том, чтобы не быть смешанными со сволочью, нанесли оскорбление своему главнокомандующему, которого называли «генералом народа», вырвав у него его шпагу и сорвав эполеты. Максим дю Кан сознался, что у них было смутное намерение выбросить в окно часть членов правительства. Ламартин волей неволей должен был стать осью новой комбинации. Буржуазная гвардия мало-по-малу приобретала привычки насильничества и манеру прежних франтов-роялистов; она ворвалась в женский клуб и избила некоторых из его членов. В тот же день она кричала: «Смерть Ледрю-Ролену». И за что? за то, что он в одном из своих циркуляров приглашал избирателей голосовать за настоящих республиканцев, а не за будущих. Монархисты, приставшие к республике, которых было много, содрогнулись и Ламартин, выступив выразителем их мнения, требовал немедленного осуждения своего коллеги; он предложил прокламацию, в которой он между прочим любопытно разделался с социальным вопросом, говоря по поводу всеобщего избирательного права: «Со времени издания этого закона во Франции больше нет пролетариев». Громко и твердо заявил он: «Выясним же раз навсегда, есть ли в нашей среде два непримиримых направления политики и на которую из двух вы даете ваше согласие». Это было сказано как раз в тот момент, когда пред Ратушей раздавались крики отборных рот. Меньшинство уступило, подчинилось требованию и это было по отношению к нему маленьким coup d'Etat умеренных.

Но предместья уже собирались. Национальная гвардия богатых кварталов была сдавлена и тонула среди враждебной и насмешли-

вой толпы, и на следующий день безрассудная выходка аристократов буржуазии получила свой ответ. Рабочие уже несколько дней готовились, чтобы устроить в пятницу 17 марта большую манифестацию. Инициатива ее принадлежала корпорациям. Луи-Блан и Альбер были о ней извещены в Люксембурге и знали, что будут выставлены требования удаления войск из Парижа и отсрочки выборов как Национальной гвардии, так и Национального Собрания. Они сообщили вечером, 16 марта, эту новость своим коллегам, но она была принята так, что они оба подали в отставку. Большинство уступило в свою очередь, оно просило их остаться. Реванш готовился. За ночь клубы постарались поставить на ноги всех своих завсегдатаев, так что на следующий день опытным глазом можно было различить два течения в громадном кортеже, который развернулся в полном порядке по улицам, направляясь к Гревской площади. Одно следовало внушениям Луи-Блана и стремились только к укреплению авторитета передового меньшинства Временного Правительства, другое, руководимое Бланки, имело целью произвести чистку в этом самом Правительстве, то-есть выгнать из него Ламартина и главных членов большинства.

Тревога была внезапна. Но благодаря корпорациям спокойным и покорным, благодаря Барбесу, ярому врагу Бланки, благодаря Кабэ, Распайлю, Собрие, которые, быть-может, боялись, как говорил Ламартин: «чтобы 18 брюмера народа не повело к 18 брюмера деспотизма»,—целость правительства была спасена. «Однако, и ты тоже предатель!» воскликнул один из лейтенантов Бланки, повар Флотт, потрясая за руку Луи-Блана, который больше чем кто-либо способствовал спасению правительства. Нет, Луи-Блан не был предателем; он просто оставался сторонником концентрации, которая должна была связать в один пук республиканские силы. Но возможно, что Бланки лучше разобрался в данном случае. Несомненно, однородное правительство было бы более ценным, нежели беспорядочная смесь, разрываемая на части, в которой социальное несогласие было сильнее, чем политическое сродство.

Как бы то ни было, результат этого дня был неясен. С одной стороны налицо было поражение народа, так как республиканцы, представленные у власти, отделились от своего авангарда, что всегда бывает пагубно; они положили начало реакции против тех, кто так же, как и они, и даже еще больше, чем они, способствовал учреждению республики. Они толкали в оппозицию людей деятельных, предприимчивых, смелых; они возвращали их снова к темным заговорам, к рискованным предприятиям. Утверждают, будто Бланки и его друзья задумывали устранить Ламартина в ближайшую ночь. С другой стороны была и внешняя победа народа, так как требования его были приняты; если правительство, чтобы не показать вида, что оно уступает пред угрозой, и не обещало тотчас же отложить выборы, то оно дало все-таки понять, что оно на это решилось; однакоже, их отложили только на несколько дней, давая таким образом как бы удовлетворение, но по букве, а не по смыслу петиции. Что же касается вопроса о войсках, то Правительство, устами Ламартина, утверждало, что оно никогда и не думало приближать их к Парижу. «Мы об этом и не думали, и не думаем и никогда не будем думать... Республика внутри страны не нуждается ни в каком другом защитнике, кроме вооруженного народа». Торжественные и пустые уверения, которые Ламартину, слабому до двоедушия, пришлось, несколько дней спустя, плачевным образом опровергнуть, когда он стал торопить с возвращением в Париж нескольких полков, составлять с генералом Негрие, командовавшим северной армией, таинственный план кампании и репрессий, трудиться вместе с Марастом над устройством из Ратуши настоящего укрепленного лагеря.

День 17 марта, был днем Луи-Блана, как 25 февраля был днем Ламартина. Социалист, как и поэт, думал, что он спас общество и он не поколебался написать позднее, что этот день «был, быть-может, самым великим из всех исторических дней на памяти людей». На самом деле было то, что этот день дал на несколько дней заметный перевес в Совете членам меньшинства, что он имел результатом уничтожения налога на напитки, что он принес рабочим Люксембурга визит Правительства, но в то же время он взволновал и, наконец, разбудил буржуазию. Битва стала неизбежной. «Это была только тревога, говорил Максим дю Кан, но она имела ту хорошую сторону, что она дала нам возможность перевести дыхание».

В самом деле конфликт в Правительстве упорно продолжался, споры и взаимные подозрения стали в его среде настолько острыми, что некоторые члены клали заряженные пистолеты на стол, за кото-

рым заседал Совет. Все интриговали против всех. Полиция и контр-полиция тайно следили друг за другом. Усилия умеренных были направлены на то, чтобы отделить от социалистов Луи-Блана и Альбер,—радикалов Ледрю-Ролена и Флокона, которые служили буферами между двумя крайними группами. Ламартин всех больше старался над этим разделением. Чтобы получить реванш за беспокойство и унижение, которое ему причинило торжество Луи-Блана, он обласкивал, льстил и соблазнял Ледрю-Ролена. Он тайно видался с теми вожаками клубов и сект, которые были заведомо известны, как противники его соперника: Ламенэ, Распайлем, Кабэ, даже самим Бланки, и хвастался, что принял этого последнего с открытой грудью, как будто бы он проявил героизм, не побоявшись обыкновенного убийцы, и в нем он вдруг с удивлением открыл способности и такт дипломата. Когда позднее его обвиняли в том, что он тайно сговаривался с ними, он ответил: «Да, так же, как громоотвод с молнией». На самом деле, он намеревался, так сказать, поглотить их и сделать их безвредными для успеха идей, которые были для него дороги. В то же время Мараст занят был устройством обороны Ратуши, спрашивал у генералов Бедо и Шангарнье стратегических советов, удостоверялся в преданности национальной гвардии, настраивал против Луи-Блана и его друзей рабочих национальных мастерских, из которых хотели сделать наемников буржуазии, которых набирали и которым платили жалование с тем, чтобы воспользоваться ими, как оплотом против люксембургских рабочих, и подвижную гвардию, раздраженную тем, что она не имела еще своей формы и убежденную, что замедление с ее выдачей было результатом злой воли социалистических портных из Клиши. Все подготовлялось для решительного удара.

Тактика скрытых роялистов, которые боролись в то время за спинами умеренных, состояла в том, чтобы исказить и извратить преувеличением идеи, высказанные в Люксембурге и в клубах, а также поддерживать и раздувать опасения, которые внушали эти идеи; но кроме того и главным образом она состояла в том, чтобы очернять, скрываясь за щитом анонимов, людей, пропагандировавших эти идеи. Этой системой они широко воспользовались в консервативных газетах, как только получили уверенность в безнаказанности. Сначала благоразумно почтительные к народу, они привыкли, видя его столь благодушным, провоцировать чудовище, колоть его, дразнить, как быка, вялого в бое. Обильно снабженные деньгами, они могли оплатить талант и толкать литераторов на ту дорогу, на которую большинство из них, принадлежавшее к буржуазному классу, только и желало вступить. Начались бесконечные насмешки над народным потом, пародии на Марсельезу, язвительные шутки по поводу странностей, которые процветали в большом волнующемся городе. Тут были и клеветы, грубые, непомерные, к которым поэтому самому относились с презрением те, кто были их жертвами, но которые беспрестанно повторяемые и распространяемые производили, однако, впечатление. Кто укажет те границы, до которых может дойти человеческое легковерие, особенно когда оно является результатом ненависти или страха? Такой элементный листок того времени, как *Lampion* был настоящей фабрикой скверных шуток. Разбойники прессы беспрестанно выдумывали истории, делавшиеся салонным угощением. Рабочий Альбер, социалист Луи-Блан, казались опасными; нужно было их обесчестить, чтобы их уничтожить. И Альбер превращался в миллионера, а Луи-Блан отказывался сдавать простонародью дом, которого у него не было, но адрес которого указывали на улице Сен-Жерменского предместья. Люксембуржцы оказывались новыми Лукуллами; они употребляли вместо скатерти шаль экс-королевы Амелии, они питались пюре из ананасов, заказывали прекрасные завтраки, стоившие по 6 франков в день на человека. Демократа Ледрю-Ролена тоже не пощадили. *Constitutionnel* приписывал ему тонкий завтрак в Трианоне и охоту с борзыми в Шантильи. В другой раз рассказывали, что он был должен 25000 франков золотых дел мастеру за купленные им драгоценности. В деревнях скоро стали говорить, что герцог Ролен устраивал оргии с двумя женщинами легкого поведения—Мари и Мартин.

К этого же сорта нападкам личного характера относится обвинение против Бланки, исходившее из лагеря умеренных. С 22 марта ходила по рукам, 31 марта появилась напечатанной в *Revue retrospective*, выходившего под редакцией Тасшеро, бумага, бросавшая на Бланки подозрение, всего более способное убить политического деятеля, подозрение в измене своей партии. Это был документ, похищенный, по словам сообщения, в кабинете Гизо, во время баталии и помеченный октябрем 1839 года. В нем были

важные разоблачения, касавшиеся тайного общества Времен года и людей, принимавших в нем участие. Он был озаглавлен: «*Показания, данные XXX-ю министру внутренних дел*». В октябре 1839 года Бланки был в заключении. Некоторые подробности несомненно относились к нему. Барбес заявил: «Тут есть факты, которые мы одни могли знать, Бланки и я». Больше ничего не требовалось, чтобы заключить, что Бланки выдал в приступе слабости, а некоторые даже говорили, что продал тайны своих товарищей по несчастью.

Какое значение имело это обвинение? Против него была налицо бедность обвиняемого, его долгое пребывание в тюрьме, вся его жизнь. Этот документ без подписи был только копией неведомого оригинала. Он имел подозрительную физиономию полицейской бумаги. Свидетельство Барбэса было подозрительно, приняв во внимание недружелюбные отношения, бывшие между этими двумя ветеранами бунта, игравшими оба видные роли. Тайны общества *Времен года* прекрасно могли быть разоблачены другими, если вспомнить, что в его комитете фигурировали один полицейский и один будущий королевский прокурор. Серьезные основания, чтобы усомниться! Но как сделать из этих соображений доказательство невиновности? Суды чести, страстные обсуждения в печати и в клубах, ничего не могло установить истину. Еще до сих пор историки расходятся во мнениях по этому поводу. Все еще ждут неопровержимого документа, который бы заставил исчезнуть этот досадный вопросительный знак.

Пока же что, вопрос о виновности Бланки был семенем раздора, предметом бесконечных ссор между передовыми республиканцами; все это роняло авторитет Бланки, мешало его деятельности, вынуждало его защищаться, составлять ответы, начинать процесс против своих обвинителей; он исчезал по несколько дней, пренебрегал общественными делами из-за своих личных и его полуотсутствие отвечало надеждам тех, кто бы они ни были, которые выдумали это жестокое и верное средство поразить его в самое сердце.

Луи-Блан, на которого также нападали, чувствовал, что необходимо начать наступление. Он сделал ошибку, изолировав себя и отвергнув с молчаливым презрением предложение, которое ему письменно сделал Прудон 8 апреля. Он расчитывал на корпорации, чтобы повторить триумфальную манифестацию предыдущего месяца. Он нашел предлог: собрание рабочих на Марсовом поле для избрания из своей среды 14 офицеров в штаб национальной гвардии; затем с Марсова поля он отправился с длинной невооруженной процессией, чтобы отнести в Ратушу изъявление патриотических чувств и петицию. Какова же была эта петиция? В тексте ее говорилось: «Народ желает Демократической Республики; народ желает уничтожения эксплуатации человека человеком; народ желает организации труда путем ассоциации». Это была та же программа Люксембурга. Это была Республика, решительно заявлявшая себя социалистической.

Этого совершенно достаточно, чтобы объяснить великое волнение умеренных в Совете, при известии о народной демонстрации, опрометчиво сообщенном им Луи-Бланом и Альбером за два дня заранее. Они с гневом почувствовали, что их хотели запугать. Думали ли они, или только делали вид, что думали, что их отлично могли бы вытеснить и заменить Временное Правительство Комитетом Общественного Спасения? Они действовали во всяком случае так, как если бы они это думали. Они распространили слух, что у клубов и Бланки, вечного пугала буржуазии, был, уже вполне готовый список кандидатов и, кажется, этот список был действительно составлен. Они говорили о диктатуре Луи-Блана. (Мысль о диктатуре была тогда у всех в головах). Ламартин поспешил предупредить и поставить на ноги все буржуазные силы, которыми он мог располагать; хозяев предпринимателей, содержателей квартир, учащуюся молодежь, офицеров национальной гвардии и легионы пригородов, о которых он знал, что они преданы делу консерватизма.

Но силы эти были не регулярны, недостаточны. Нужно было собрать пред Ратушей национальную гвардию, в которую рабочие вошли только в небольшом количестве. Только один министр внутренних дел мог дать приказ бить сбор. Итак, вокруг Ледрю-Ролена концентрируются все усилия в ночь и утро воскресения 17 апреля. Он нерешителен, он колеблется, как все мелкие буржуа, представителем которых он является, между социализмом и старой политической экономией. Но вот он решается, бежит к Ламартину и заявляет, что он не хочет изменять своим коллегам и подписывает приказ бить общий сбор. По городу распространяются странные слу-

ресах общих группе человеческих существ, объединенных в общество, было таким образом приложено далеко не во всей своей целости. Во-первых, принятая система исключала женщин, то-есть половину взрослого человечества. Петиция Жанны Деруен в пользу женского избирательного права не имела никакого успеха, так же как и проект выставить кандидатуру Жорж Занд, вопреки ее воле. Затем вместо того, чтобы предоставить гражданам решение всех общих дел, оно предоставляло им только заботу об избрании людей, на обязанности которых было бы их обсуждение и решение вместо избирателей. Но и в таком виде, будучи введено в большом государстве, оно было актом доверия способностям нации, если не вести самое себя, то, по крайней мере, указать направление, в котором она желает, чтобы ее вели.

Конечно, оно могло показаться преждевременным. Всеобщее избирательное право требует, как необходимого условия, всеобщего образования. Если посоветоваться с логикой, то именно это последнее должно быть декретировано первым. Чтобы хорошо управлять своими делами, конечно, нужно быть в состоянии знать их; французы же, гражданское воспитание которых далеко не было закончено, были еще, по большей части, лишены знаний самых элементарных; половина среди них не умела читать. Однако, история не всегда следует ходу, который указывается здравым смыслом; страсти и интересы становятся наперекор и заставляют, свернуть ее с пути. «Народ», который должен был бы быть образован раньше, чем быть объявленным хозяином своих судеб и который мог бы перейти постепенно от положения пассивного гражданина на степень гражданина активного, не имел возможности получить образование, прежде чем он не был бы признан суверенным. Пока буржуазный класс занимал господствующее положение, он ревниво держал народ в стране, как от знания, так и от власти. Таким образом разумный порядок вещей оказался извращенным: за отсутствием реформ, совершилась революция; так произошел одним скачком переход от избирательного права, бывшего привилегией богатства, к праву голосования, признанному за всяким совершеннолетним французом.

Был сделан скачок в неизвестность. Первые результаты применения этого права поставили в тупик всех, как сторонников его, так и противников. И те, и другие могли бы подписаться под следующим размышлением Токвиля: «Большие массы людей двигаются по причинам почти столь же неведомым самому человечеству, как причины, которые управляют движением моря». Сначала последовало, как бы уничтожение значения столицы за Парижем. Не было никакой надобности в перенесении заседаний Собрания за пределы столицы, как этого требовала *la Presse*. Уже по одному тому, что провинция была массой, она была силой; она завоевывала в области политической такой перевес, которым она никогда не располагала. Жизнь, сосредоточенная в голове распространялась по всему телу. Соответствующее же перемещение отношений произошло между городами и деревнями. Крестьяне, которые во Франции количественно были по отношению к горожанам в отношении двух к одному, оказывались по той же причине облеченными неожиданным могуществом. Деревенское население начинало затоплять своими глубокими волнами городское население, в особенности рабочих, которые на поверхности страны были только архипелагом разбросанных островов. Отсюда произошло недоразумение между этими двумя группами трудящихся, одинаково достойными, одинаково полезными, недоразумение, которое будет существовать на протяжении около полувека.

Разом изменилась не только ось политики, но и ее характер. Эстамп того времени изображает гражданина, национального гвардейца с двумя родами оружия, которыми ему отныне придется действовать: справа от него было изображено ружье—оружие для борьбы против внешних врагов, слева — избирательный бюллетень—для борьбы с противниками внутренними. Это означало не что иное, как то, что эра конспираций и бунтов уступала свое место эре борьбы нового рода, столь же пылкой, но более мирной, более широкой, более открытой. Республиканцы, подготовившие Республику в тени тайных обществ, были удивлены и приведены в замешательство широтою поля действия, которое вдруг раскинулось перед ними и новыми приемами, к которым они должны были прибегнуть. К их большому удивлению преимущество оказывалось на стороне прежних партий, у которых были свои комитеты, установленные уже за долго раньше и практика всех избирательных хитростей. Часто указывали, не давая этому, однако, достаточного объяснения, на то, что римские плебеи, получив право иметь консулов из своего сословия, долгое время продолжали вы-

бирать патрициев. Точно так же новые граждане, как истинные новички, должны были сначала сохранять наследственное уважение к высокому социальному положению и поддаваться на корыстные заигрывания с ними их недавних господ.

Как же, однако? Неужели возможно, чтобы народ вотировал против своих, против своих самых преданных друзей, против собственных детей? Причина основательная для демократов, которые возлагали все свои надежды на всеобщее избирательное право, чтобы прийти в замешательство и даже в огорчение. Для демократов, которые его прославляли, как панацею, которые верили вместе с Руссо, что «воля общая не может ошибаться», которые возвели в догму непогрешимость народа!

Правда, что всеобщее избирательное право, кроме непосредственных результатов, допускало еще и другие, столь же верные, сколь далекие. Когда между членами одного государства объявлено политическое равенство, то оно влечет за собой требование равенства и экономического; когда каждый имеет свою часть верховной власти, каждый хочет иметь и свою часть собственности; самому бедняку, когда он знает, что его голос равноценен голосу богатого, самолюбие и гордость не позволяют больше быть во власти того, кто владеет землею или деньгами. Кроме того, и это не менее важно, класс народный, который всегда бывает наиболее многочисленным, становится грозной силой, с которой нужно быть осторожным. Уже больше нельзя его игнорировать, нельзя им пренебрегать; он становится предметом забот государственного деятеля, как бы мало он ни был к нему расположен.

Оставаясь в течение веков в трагикомедии истории только хором смиренным и робким, который взирает на дела великих мира, подчиняется им, комментирует их, он всходит на сцену с тем, чтобы в свою очередь играть на ней первую роль.

Пока что подготовили, как могли лучше, первый опыт системы, которая должна была поставить на ноги в один день миллионы избирателей, систему, которую, говорят, премудрость Института объявила неприменимой на практике. Было сделано много различных предложений; некоторые требовали двухстепенной системы подачи голосов, при которой депутат проходил через более строгую сортировку и увеличивалось расстояние между ним и его избирателями. В одной брошюре предлагалась система подачи голосов по квартирам так, чтобы переносная урна переходила из дома в дом с барабанным боем, собирая голоса. Настаивали на том, что полномочия депутата несовместимы с исполнением функций префекта, магистрата, священника; была смутная идея своего рода представительства интересов, при которой солдаты выбирали бы солдат, рабочие рабочих и т. д. Но авторы официального проекта, выработанного Корменэном и Изамбером с поправками Мараста, были особенно заняты двумя обстоятельствами. Прежде всего они хотели устроить так, чтобы депутаты не были рабами интересов своей колокольни, и они предпочитали голосованию поименному голосование по спискам, при котором депутаты избавлялись до некоторой степени от влияний и домогательств местного характера, которое давало кроме того до известной степени возможность заменить обсуждение лиц обсуждением программ, но которое было весьма несправедливо в том отношении, что, не будучи дополнено пропорциональным представительством, оно подавляло меньшинство иногда деревенское, всего же чаще городское, в целом департаменте, вынуждало кандидатов на компромиссы, которые нарушали ясность выбора, и приводило иногда избирателей к необходимости голосовать ощупью, благодаря тому, что приходилось избирать сразу по 30 человек, из которых многие были им неизвестны. Затем они задались целью сделать депутатские полномочия доступными интеллигентным, но мало зажиточным гражданам; вот почему они назначили депутатам ежедневное вознаграждение в 25 франков, вознаграждение, которое некоторые богатые кандидаты с благородством, которое должно было доставить им голоса, предоставляли своим избирателям; это были те самые знаменитые 25 франков, которые реакционные газеты беспрестанно бросали в лицо депутата и которые, наконец, стали ненавистными простонародью, слишком наивному, чтобы понять, что отсутствие вознаграждения и значило бы: «Назад, беднота»!

Но во время избирательной борьбы обнаружилось, что нужно было принять много предосторожностей; возникло много неожиданных вопросов, которые нужно было разрешить. Одним из самых спорных вопросов был вопрос о сроке выборов. Можно было произвести их очень скоро, воспользовавшись подъемом духа,

которым сопровождалась революция, расстройством, внесенным ею в лагерь консерваторов. Это было бы решение несомненно самое выгодное для республиканцев. Многие правительственные комиссары в провинции, а в Париже *Демократическое общество 1-го округа* настаивали на решении в этом смысле. Но большая часть клубов действовала в направлении противоположном, надеясь в выигранном промежутке времени вырыть пропасть между вчерашним и завтрашним днями, сформировать народные массы по своему желанию, или, наконец, вырвать у власти какой-нибудь непоправимый декрет. Под их влиянием выборы были отложены с 9 апреля на 23-е. «Это было слишком много или слишком мало», сказал Луи-Блан. Жар первых дней остыл; напротив реакция, которая последовала за 16 апреля, действовала во-всю. Как не вспомнить изречение Токвиля по поводу членов Временного Правительства: «они не умели ни воспользоваться всеобщим избирательным правом, ни обойтись без него?» Всего хуже то, что день выборов пришелся таким образом в день Пасхи. Священники стали, было, жаловаться на это, но более ловкие, каких было большинство, предпочли этим воспользоваться; литургии были отслужены и часто прямо из деревенской церкви с хоругвями и священником во главе, отправлялся кортеж избирателей в центральное место кантона, чтобы подавать там голоса в другой церкви. Ламартин приветствовал это согласие между церковью и Республикой. Все это было на руку духовенству и католической политике. Система подачи голосов в центральном месте кантона была другим пунктом, который вызывал оживленные обсуждения. Правительство держалось за нее трудно сказать почему. Без сомнения оно имело в виду придать этим некоторое действительное значение, некоторый raison d'être, распределению избирательных округов по кантонам, но это значило, главным образом, затянуть подачу голосов, которая должна была продолжаться в течение 2 дней. Это значило вынуждать к тяжелому путешествию крестьян и бедных ремесленников, которые должны были во многих местах сделать пешком пять-шесть миль под проливным дождем, чтобы выполнить свой гражданский долг. Это значило создать значительные затруднения для таможенных досмотрщиков, жандармов, почтальонов, телеграфистов, которые были бы вынуждены отказаться голосовать или в течение целого дня не исполнять своих прямых обязанностей. Это значило подвергать деревни, покинутые на много часов всем мужским населением, опасности со стороны воров или, по крайней мере, страху. Деревенские жители, претерпевавшие все эти неприятности, были недовольны, что не послужило на пользу Республике.

Между тем многоцветные программы испещряли стены. Кандидаты исчислялись тысячами. В одном департаменте Эндр был выставлен 41 кандидат на 7 мест. Когда перелистываешь теперь эту предвыборную литературу, то поражаешься обилием программ, в которых, конечно, встречаются туманные фразы, излияния в духе братства, шарлатанские рекламы, странные мысли и выражения, грандиозные планы политического и социального перерождения; но на ряду с этим много здравых, ценных, практических мыслей. Бесплатное обязательное и профессиональное образование для всех детей; общая для всех совершеннолетних воинская повинность и постепенное уменьшение воинского состава и сокращение времени, проводимого под знаменами; подоходный налог и даже прогрессивный налог в замену косвенных налогов; пенсионные кассы для граждан-инвалидов... таковы реформы, которые всего чаще упоминаются. Что еще поражает, так это то, что по общему признанию есть нечто, что нужно сделать в области труда. Поверх самых неожиданных подписей встречаются выражения с полусоциалистической физиономией. «Не политическая революция кончается, а начинается революция социальная», пишет Фиалэн де Персиньи. «Государство имеет право на то, чтобы сделать орудие труда доступными наибольшему количеству людей... Государство может ограничить рост высших классов, заставить их выносить на себе большую часть общественных повинностей», утверждает экономист Леон Фошэ. Другой кается в том, что он «разделял невежество большей части политиков по некоторым социальным вопросам, которые теперь занимают столь большое и столь справедливо принадлежащее им место в заботах страны»,—имя его Монталамбер. Знатные роялисты произносят смелые надгробные речи монархии. Дворяне, генералы, магистраты уверяют в своей любви к Республике. И когда сопоставляешь принятые кандидатами на себя обязательства с их прошлым или с их будущим, то преисполняешься некоторым презрением к роду человеческому и горестным сожалением к добрым людям, которые идут на приманку позо-

лоченных слов. Какой памятник политического непостоянства коллекция этих обещаний, данных с таким шумом и так скоро забытых. Невозможно ввести в строгие рамки ясно разграниченных партий эти бесчисленные и велеречивые кандидатуры, внешнее сходство которых не мешало очень чувствительным различиям по существу; но что ясно здесь выступало, так это столкновение двух обширных групп интересов и мнений; с одной стороны были все присоединившиеся к Республике, в сущности монархисты, под управлением католической партии, с другой демократы и социалисты.

Войну вели в сущности католики. Не считая церковной организации, которая давала возможность епископам постоянно сговариваться с приходскими священниками и викариями, у них имелись комитеты защиты, которые функционировали несколько лет в каждом департаменте; у них был центральный комитет, объединявший все их разбросанные силы; у них была газета: «*l'Election populaire*», которая два раза в неделю распространяла по провинции инструкции начальства. Монталамбер, светский папа французской церкви, ввел необыкновенно ловкую тактику. Не надо нападений на республиканскую форму правления, важно то, что будет вложено в эту пустую форму. А что следует в нее вложить, так это католическую душу, то есть свободу преподавания для церкви, свободу епископов и соборов, освобожденных от уз конкордата и в то же время сохранение бюджета вероисповеданий, на который смотрели, как на гарантию этой свободы. Чтобы достигнуть этой цели не нужно заботиться о том будут ли кандидаты орлеанистами, легитимистами или республиканцами; нужно поддерживать всех тех, кто примет программу, выражающуюся в двух пунктах: защита *социального и религиозного строя*. Не нужно слишком много духовных кандидатур, которые могут отпугнуть избирателей. Монталамбер и епископы видели с некоторым беспокойством, что многие священники заявляли себя республиканцами-демократами; конечно, они боялись встретить со стороны этих членов низшего духовенства, из которых некоторые мечтали даже о реформе самой церкви, противодействие движению, которое вело католицизм назад к его старой роли цитадели европейской реакции.

Однако, католики редко имели особенные списки кандидатов; во всяком случае их списки никогда не бывали строго замкнутыми. На Западе они входили в соглашения с легитимистами, на севере с умеренными республиканцами. Повсюду полицейские донесения отмечали «поразительную деятельность» духовенства. В Вандее правительственный комиссар ставил ему в упрек, что оно грозило женщинам вечным огнем, если они не заставят своих мужей вотировать за религию. В этой области Франции с роялистской трагедией республиканцы уже были объявлены «врагами Бога, низвергателями алтарей, сообщниками Антихриста». Один епископ, а именно из Суассона, заставлял только петь: *Господи, спаси твой народ*. Он проклял имя Республики. Но такие проявления непримиримой откровенности были редки. Реннский епископ, давая своим приходским священникам и своим верным разрешение опоздать, если будет нужно, на 8 или 15 дней с выполнением своего пасхального долга и со своими приношениями, предлагал им в своем пастырском послании список кандидатов, в котором среди ярых монархистов фигурировало и имя Ламартина. В городах церковь имела на своей стороне крупных торговцев, крупных промышленников, значительную часть буржуазии и здесь она доходила до того, что покровительствовала рабочим кандидатурам. Корбон и Пенен, которые были выбраны в Париже, обязаны ей своим избранием. Но в деревнях она вела пропаганду чисто консервативную. К тому же она там встречала и благоприятную почву. Сорока-пяти сантимовый налог, придуманный Гарнье-Пажесом, тяготел над земельной собственностью и бил по карману крестьян. Общины были раздражены декретом, который налагал на них обязанность экипировки национальной гвардии. Известия, приходившие из Парижа искусно преувеличенные и извращенные, порождали новое зло—ненависть к столице и страх пред нею. Так как думали, что собственности угрожали ученики «отца коммунизма», то предпочитали подавать голоса за крупных собственников, которые больше всего были заинтересованы в ее защите. Если к этому прибавить, что во многих местах деревенские жители, в виду их безграмотности, получали свои избирательные бюллетени из рук своих приходских священников, то делается понятным это грозное «остановись», которое раздавалось из среды деревенской массы.

Против этой коалиции стояли республиканцы, разделившиеся,

неискусные. Умеренные почти повсюду вступили в смертный бой с передовыми. С самого начала они почувствовали недоверие к Ледрю-Ролену. Ведь министр внутренних дел мог больше чем кто-либо влиять на общественное настроение и на выборы. Он был вдохновителем *Бюллетеня Республики*, взявшего на себя миссию разъяснять населению новый порядок вещей. В его руках была полиция и чрезвычайные комиссары, которые заменяли в администрации департамента префектов. Приходилось следить за ним, сделать его нейтральным. Еще на памяти гневные крики, вызванные VII номером *Бюллетеня*, в котором избирателей приглашали остановить свой выбор на республиканцах, бывших таковыми уже раньше. Это место Бюллетеня было торжественно осуждено.

Ободрившаяся консервативная пресса была с этого времени на стороне всякого слова, всякого поступка, могущего доставить случай подобный победы. Министр народного просвещения Ипполит Карно, который вовсе не был радикалом, заявил в одном из своих циркуляров, что для нового положения нужны новые люди и написал: «Самая большая ошибка, против которой нужно предостеречь население наших деревень, заключается в представлении, что будто бы для того, чтобы быть депутатом, необходимо иметь образование или состояние»! С недобросовестностью, которая в партийных раздорах была ходячей монетой, закричали, что это значило из невежества сделать диплом на представительство и требовать посылки в Палату безграмотных. Министр ответил, что он желал только выбора крестьян, людей практики, «преданных интересам класса самого многочисленного и самого бедного». Это было объяснение, только отягчавшее его вину и оно вызвало только новые протесты. Протесты многозначительные, показавшие сколько было людей, которые принимали только на словах политическое равенство, выражением которого было всеобщее избирательное право. Не могли также простить министру, что он приглашал учителей добиваться депутатских мест. Школьные учителя в Собрании! Они были хороши, чтобы обучать народ за жалованье в 400 франков в год, но являться его представителями! Помилуйте!

Еще было хуже, когда в XVI-м *Бюллетене*, вышедшем 15 апреля, у Жорж Занд, предоставившей свое золотое перо к услугам Республики, проскользнули неосторожные слова: она выражала опасение, как бы выборы не закончились торжеством «интересов касты», как она выражалась и она прибавляла: «И тогда оставался бы только один путь к спасению для народа, строившего баррикады: это вторично заявить свою волю и приостановить решения национального лже-представительства». Угроза была тем более серьезной, что она делалась под прикрытием Временного Правительства. Жорж Занд, которая одна была за это ответственна, была таким образом верна старой революционной традиции пылкого меньшинства, увлекающего за собою инертное большинство. Не требовал ли Огюст Конт в это же самое время, чтобы право выбора исполнительной власти было привилегией столицы. Но всеобщее избирательное право изменяло все. Внезапно проснувшаяся провинция не ждала, чтобы Париж заставлял ее двинуться и вполне законное чувство возмущения против того, что могло показаться попыткой застращивания бросило ее в направлении, противоположном тому, в котором хотели ее толкать.

К подобным же результатам привели усилия комиссаров, которые стремились повлиять на подчиненные им департаменты. В тех случаях, когда они были местного происхождения, когда они в данном месте занимали уже раньше прочное положение, им иногда удавалось заставить себя слушать. Но многие из них, свалились туда из Парижа как аэроплан. Некоторые из них вышедшие из парижской богемы, скандализировали провинциальную буржуазию небрежностью своей одежды и своим поведением. Известны приключения того самого Фанжо, который в звании генерального инспектора республики важно путешествовал в департаментах Северо-Востока, а за ним следовал судебный пристав, который постоянно налагал запрещение на его чемоданы и на его жалование. Другие, очень корректные, отличались, однако, резкостью мнений, которая слишком превышала обычную для того округа, в который они попадали. Ледрю Ролен в своем знаменитом циркуляре объявил их власть неограниченной; его заставили потом от этого отказаться, но в таком централизованном государстве, где префект был как бы маленьким королем, для них оставалось достаточно могущества, чтобы можно было им злоупотреблять. То тут, то там делались попытки оказать официальное давление в пользу кандидатов, которые сами часто были правительственными комиссарами; распространялась в тысячах экземпля-

ров Декларация прав человека, субсидировались или издавались официальные газеты, устраивались соглашения с городскими клубами, члены которых за плату вели пропаганду в деревнях; наконец, что всего важнее, по всей Франции была рассеяна целая стая соглядатаев, которые являлись из Парижа и, снаряженные на средства казны клубом клубов, делали с прискорбным рвением свое вредное дело.

Если, таким образом, был подорван успех радикальных кандидатур, то что же говорить о кандидатурах открыто-социалистических. В провинции их было мало. Однако добивалось избрания значительное число рабочих. Но сколько среди них было лже-рабочих, начиная от инженера, который выдавал себя за пильщика досок и, кончая капиталистом, который выступал под видом разгрузчика на том основании, что он состоял почетным членом богатой корпорации марсельских разгрузчиков! В Париже приходилось кассировать выборы за присвоение модного звания.*) За неимением лучшего, буржуазные кандидаты хвастались, устанавливая свою плебейскую генеологию, доказывая свое происхождение из рабочей знати. Но настоящие рабочие чувствовали себя побежденными заранее. Во многих местах, то из-за апатии, то из-за уверенности в своем бессилии, они пренебрегали заботою о занесении своих имен в избирательные списки. Да и кроме того они видели, что политическому равенству служит помехой неравенство экономическое; что нужны деньги, чтобы выставить кандидатуру и, что хозяин, у которого есть деньги на то—чтобы отдать напечатать и разослать списки, имеет кроме того шпионов для наблюдения за тем, как вотируют его люди.

В Париже умеренные из National повели ожесточенную кампанию с целью внести раскол в среду рабочих. Им удалось заставить стараться на пользу буржуазии и вотировать за нее милитаризованные массы из национальных мастерских. Мараст и Мари, по соглашению с директором мастерских Эмилем Тома, пожелали устроить им смотр накануне выборов; но так как выборные маневры оказались слишком громоздкими, то смотр был отменен так же, как и прибавка жалования, объявленная для этого случая.

*) Въ пьесе Лабита выставлялся на сцене хлыщ кандидатъ, который говорилъ: мой отец былъ рабочимъ, рабочимъ-нотаріусомъ... я же самъ былъ рабочимъ, рабочимъ... докладчикомъ въ Контрольной Палате.

Зато помощник директора Жем, хотя он и был решительно объявлен Этьеном Араго, Прудоном, Корбоном и т. д. человеком с запятненной репутацией, упорно оставался на своем посту и раздавал по пяти франков каждому из восьми сот членов общества безработных художников с тем, чтобы они распространяли списки, из которых были вычеркнуты имена Ледрю-Ролена, Флокона, Луи-Блана и Альбера. Независимые рабочие с своей стороны совершенно не умели объединиться. У них имелось несколько соперничающих списков кандидатов, из которых в свою очередь были исключены умеренные члены Правительства. Всего многочисленнее и всего лучше организованы были те, которые следовали направлению Люксембурга; из 34 мест, которые нужно было заместить, 4 они предоставляли меньшинству из Временного Правительства, оставляя двадцать для членов разных корпораций, остальные же 10 они замещали только социалистами, политическими заключенными и главами клубов, которых вызывали к себе и подвергали суровому допросу. Они не достигли настоящего соглашения со старым обществом подмастерьев, которому они уделяли только три депутатских места, одно из которых должен был занять Агриколь Пердигье, столяр по прозвищу «Авиньонец-Добродетель». Они отклонили по разным причинам кандидатуру Беранже и Ламенэ, Прудона, Кабэ и Бланки. Они составили список, которому всю его окраску придавало имя Луи-Блана. Это было решительно, гордо и дерзко. Предоставленные своим собственным силам, при слабой поддержке со стороны товарищей, из которых многие относились с презрением к занесению себя в списки, они были обречены на поражение и на один из пролетариев, которые опирались исключительно на Люксембург, не вышел победителем из баллотировки.

Великое национальное совещание было выполнено почти во всей Франции со спокойствием, которое удивляло иностранцев. Единственные ссоры, которые имели место, произошли между рабочими и жителями деревенских коммун, у которых хотели вырвать, или заставить их показать их бюллетени. В Лионе, после объявления имен избранных, недовольными рабочими было устроено несколько шумных прогулок. В Лиможе, городе горячих голов, в «священном городе социализма», как говорится в документах того времени, когда оставалось только проверить голоса военных, урны

были захвачены, бюллетени изорваны и истоптаны ногами. Благодаря благоразумию мэра, который потребовал, чтобы оружие войска и национальной гвардии было разряжено и патроны заперты на ключ, спокойствие было восстановлено без кровопролития. К несчастью, того же не было сделано в Руане. Рабочие, сетовавшие на подлоги и ухищрения, которыми добились их поражения на выборах, стали угрожать Ратуше и принялись, за постройку баррикад. По требованию генерального прокурора Сенара, который был одним из избранных, генерал Жерар, стоявший во главе войск и национальной гвардии подверг их ружейному и пушечному обстрелу. Около сотни убитых и раненых, мужчин, женщин и детей пали со стороны повстанцев. Эта битва, которая была досадно похожа на простое убийство (потому что никто не погиб со стороны нападавших), была печальной развязкой долгой вражды, которая с начала революции натравливала друг на друга буржуазию и рабочих Руана. Увы, она была только прелюдией! Временное Правительство, которое хотело «умереть чистым», по выражению Ламартина, забрызгалось кровью.

Словом, повидимому, торжествовала умеренная Республика. Ламартин, первый избранник Парижа, был выбираем десять раз, и республиканцы его оттенка, казалось, были наиболее многочисленны, поскольку можно судить по очень неясным результатам выборов, как это всегда бывает, когда вотируют больше за людей, чем за направление. Однако, легитимистов было довольно много (от 130 до 150), орлеанисты из династической оппозиции снова появились массами; два Бонапарта были посланы Корсикой; депутатами католиков были Монталамбэр, Лакордэр, де Фаллу и несколько епископов; не считая того, что во всех партиях были люди, связанные с ними. Радикалы были побиты повсюду за исключением двух или трех городов; социалисты были раздавлены. Луи-Блан и Альбер, несмотря на их официальный престиж, с трудом прошли в Париже; главари «красных» клубов,—Бланки, Распайль, Собрие, остались за флагом. Франция принимала Республику на свою ответственность, но заявляя, что она не желает социальной революции, что она желала бы даже революцию политическую свести до минимума. Это означало победу буржуазии над пролетариатом, провинции над Парижем, населения деревенского над городским.

Раз Учредительное Собрание было избрано, Временному Правительству оставалось только исчезнуть. Одним из первых актов Собрания было признание за Временным Правительством важных заслуг пред отечеством.

И в самом деле нельзя не признать за ним заслуги в том, что оно было честно, гуманно, уважало свободу, что оно было великодушно до непорочности, кротко до слабости по отношению к своим противникам; в том, что оно управляло, опираясь исключительно на нормальную силу в течение трех месяцев лихорадочного возбуждения и притом во время исключительного острого экономического и финансового кризиса. Но, будучи парализовано смутой, в которой очень верно отразилось разделение социальных классов, оно не оказалось на высоте для выполнения гигантской работы, которая легла на его плечи в виде внезапно возникшей задачи вместе с появлением демократии во Франции—этой стране с республиканским духом и монархическими нравами, стране, в которой крупная промышленность существовала на ряду с могущественным земледелием, у которой, благодаря неравному развитию городов и деревень, голова была далеко впереди тела. Предпочитая говорить вместо того, чтобы действовать, Временное Правительство было близоруко и ограничивалось робкими пожеланиями там, где было бы едва достаточно отважности гения. За неимением определенного метода и твердой воли, оно сеяло свои идеи на плохо подготовленной почве, вместо того, чтобы сначала ее глубоко вспахать; оно довольствовалось полумерами, которые не удовлетворяли никого и не давали уверенности в невозможности поворота назад. Жестокая ирония! Оно сделало все, чтобы избежать гражданской войны и оно оставляло страну в таком положении, что гражданская война была неизбежна.

ГЛАВА VI.

Первые шаги Учредительного Собрания. 15-е мая.

Слышите ли вы гром возгласов? Это Учредительное Собрание на своем первом заседании кричит 17 раз под ряд: «да здравствует Республика»! и повторяет возглас в 18-й раз пред наро-

дом на подъезде Бурбонского дворца. Но кто этот монах, которого с триумфом несет толпа? Это Лакордэр, который занял место на крайней левой Горы, откуда он скоро сойдет, исполняя волю своих начальников. Католик Бюшэ выбран президентом и Собрание всеми голосами, за исключением Барбеса и пяти или шести других, единодушно принимает резолюцию, что Временное Правительство оказало важные услуги отечеству.

Этот странный беспорядок мог бы ввести в заблуждение относительно намерений Учредительного Собрания. Но первые его действия обнаружили их истинное значение. Прежде всего предстояло заместить правительство. Ламартин мечтал о триумвирате; некоторые мечтали о его диктатуре, но Собрание предпочло назначить исполнительную комиссию из пяти членов, снабдив ее полномочиями на время, пока Франция не будет одарена конституцией. В ее состав вошли Араго, Гарнье-Пажес и Мари. Ламартин был выбран только четвертым, потому что он не пожелал быть покорным исполнителем у злобствовавших консерваторов, потому что он выступил в защиту своего коллеги радикала Ледрю-Ролена и заставил его выбрать.

Назначение этой комиссии в таком виде было новой попыткой республиканского блока, но на основаниях более узких, потому что социалистический элемент был изгнан. Комиссия была продолжением Временного Правительства, но в уменьшенном виде, ампутированного, чисто трехцветного, без красной розетки. В то же время Собрание отвергло, не без ропота со стороны некоторых депутатов, учреждение министерства Прогресса; оно чувствовало злобную радость при виде того, как это предложение Луи-Блана насмешливо оспаривалось католиком рабочим Пенэном. Проектам, выработанным Люксембургом и внесенным в его бюро, оно не оказало даже чести обсуждать их. Оно перешло к порядку дня, к Руанским делам, и выбрало одним из вице-президентов Сенара, того самого, который приказал стрелять в рабочих. Чувствовалось со стороны собрания недоверие к народу, недоверие к Правительству. Оно запретило приносить к решетке дворца петиции. Оно предоставило своему президенту право вызывать войско и выбрать специального комиссара с тем, чтобы он наблюдал за безопасностью Собрания. Оно было готово оставить за собой право назначения министров. Оно требовало, чтобы члены исполнительной комиссии присутствовали на его заседаниях. Само Собрание разделилось на пятнадцать больших постоянных комитетов; их обязанностью было подготовление всех законодательных работ. Собрание намеревалось управлять политикой.

Передовые партии следили с гневом за этими симптомами, которые не предвещали ничего доброго. Газета *La commune de Paris* на другой день после выборов писала: «Если Собрание пойдет вперед, это будет внушение народа. Если Собрание остановится на месте или пойдет назад, народ сам даст себе конституцию». Рабочие Люксембурга, бывшие политические заключенные, заявили, что они не примут участия в празднике Согласия, только что объявленном; праздник пришлось отложить. Смутно поговаривали в некоторых кругах о том, что упрямых депутатов следует выбросить за окно. Главное внимание было направлено на то, чтобы заставить этих провинциалов голосовать за демократические законы.

Мало-по-малу слагался проект организовать большую манифестацию, которая дала бы понять Собранию волю Парижа. На первое место выдвинули идею, могущую привлечь разносторонние симпатии, а именно вмешательство в пользу Польши. Польша была старым другом Франции, каждый год Палата при Луи-Филиппе выражала платоническое пожелание ее освобождения. Теперь она притеснялась больше, чем когда-либо; поднявшиеся патриоты погибли в изгнании; эмигранты, отправившиеся к ним на помощь, попали в засаду и были перебиты; остатки их вернулись в жалком виде. Не наступил ли момент спасать народ, который душат, заняться его восстановлением? Не приложить ли к делу тот принцип национальной неприкосновенности, который волнует всю Европу? Католиков обязывала честь желать возрождения государства, которое было оплотом христианства. Среди самых умеренных из депутатов были некоторые, как, например, экономист Воловский, которых самое их происхождение обязывало поддержать дело народа-мученика. Несомненно, это будет началом европейской войны. Но пусть будет война! Она будет быстрым решением мучительной задачи, которая терзала Францию. Из безработных пролетариев она сделает солдат свободы. Она даст им славу за недостатком хлеба. Она прозвучит похоронным колоколом старинным насилиям. Она разбросает

по всему свету армию революционной пропаганды. Здесь обнаружилась неожиданная связь между вопросами польским и социальным. Война есть предлог для крайних мер. Кто знает, не породит ли она новый комитет общественного спасения; не будет ли она средством, чтобы произвести во Франции и в других местах великий переворот, из которого выйдет обновленное общество?

Конечно, это редкое зрелище, делающее честь поколению 1848 года, зрелище народа, восстающего из братского сочувствия к страданиям другого народа. Но благоразумных людей страшил этот припадок рыцарского безумия. Министр иностранных дел Бастид отрицал за Францией право одной разрешать европейский вопрос; Луи-Блан, Кабэ, Распайль понимали, как опасно требование, которое хотели внести в Собрание. Прудон в своей газете предлагал отказаться от этого замысла; Барбэс и Бланки колебались. Они держались того мнения, что не следует шутить с войной, они скорее следовали за своей армией, чем вели ее. Они громко заявляли, как и Гюбер, что манифестация будет мирной и ограничится представлением петиции.

В первый раз, 13 мая, длинный кортеж тронулся в путь и дошел до площади Согласия. 15-го мая манифестация возобновилась. Что же произошло в промежуток между этими днями? Нужно ли верить Ледрю-Ролену, что беспорядки были вызваны бонапартистскими агентами, которые ловили рыбу в мутной воде за счет тех, кто им платил; верить ли Распайлю относительно темного замысла полиции, Марраста и умеренных, желавших безвозвратно скомпрометировать парижских революционеров; верить ли в макиавеллевский расчет Бланки и некоторых главарей клубов, производивших свой учет борьбе, трупам и возобновлению трагедии, которую вызвало падение монархии? Или просто хотели (что кажется всего вероятнее) окружить и застращать Собрание и вынудить его вести обсуждение под давлением народных масс? Как бы то ни было, колонна манифестантов двинулась с площади Бастилии, не зная, что ей предстоит. Генерал Куртуа, накануне назначенный главнокомандующим национальной гвардии, отдавал неопределенные, противоречивые приказания, так что у него не оказалось под руками достаточно сил, чтобы преградить ей дорогу. Он пытался увещанием остановить колонну, но она его не слушала и перешла мост Согласия, который не был защищен. Бурбонский дворец охранялся батальоном подвижной гвардии. Пустит ли он в ход оружие? Генерал не решается на это, предвидя неизбежность кровопролития. Он позволяет или даже приказывает убрать штыки. Осаждающие перепрыгивают через решетку и открывают ее. Другие обходят здание. В ту самую минуту, когда Воловский, автор запроса, который обсуждался в этот день, требует во имя справедливости освобождения Польши, зала наводняется толпой. Напрасно Ледрю-Ролен, Ламартин и, с разрешения президента Бюшэ, Луи-Блан пытаются успокоить толпу и заставить ее разойтись. Луи-Блана, которому аплодируют, но не повинуются, помимо его воли несут с триумфом. Между тем Распайль подымается на трибуну и читает петицию. После него хочет говорить Бланки. Барбэс опережает его, он поздравляет народ с завоеванием права петиций и приглашает Собрание исполнить то, чего у него требуют. Затем, когда, наконец, Бланки удалось провозгласить требование уничтожения нищеты и организации труда, Барбэс снова требует от Собрания объявления войны, декретирование налога в один миллиард на богачей и удаление войск из Парижа. Шум все возрастает. Вдруг какой-то человек с бледным лицом и длинной рыжей бородой, только что оправившийся от глубокого обморока, взбирается в свою очередь на трибуну и провозглашает: «Именем обманутого своими представителями народа Собрание распускается». Это был Алоизий Гюбер, загадочная фигура, профессиональный бунтовщик, президент клуба, имевший странные сношения с Марн и Маррастом, человек, которого многие считали провокатором, и который, может быть, был просто помешанным.

Церемониал совершаемых народом государственных переворотов, был, таким образом, проделан во всех подробностях. Нельзя сказать, как это наивно утверждалось в официальной анкете: «Нет во всемирной истории примера такого вторжения». Напротив, все было точным повторением того, что произошло 24 февраля. Для завершения сходства, Барбэс и Альбер отправились в Ратушу. Списки членов нового правительства были изготовлены и разбросаны через окна. Но 24 февраля национальная

гвардия была с народом; тут она была против него. 24 февраля разогнанная Палата была истощена долгими скандалами и представляла только малую часть страны, тут она имела свежие силы и была избрана всеобщим голосованием, правильно проведенным. Одилон Барро рассказывает, как один из манифестантов, сапожник по ремеслу, подсел к нему и сказал: «Разве вы не наши приказчики? И разве нам нельзя всегда притти и спросить у вас отчета?» В этом-то и была ошибка. Необходимое условие и в то же время изъян парламентской системы в том, что властелин народ на время отрекается от своего суверенитета, передавая его в руки доверенных, и что он не может, по своему желанию, вне определенного порядка, взять обратно полномочия, которыми он их снабдил.

Кроме того, парижский народ не был народом всей Франции. Даже Париж далеко не весь был представлен манифестантами. Стали бить сбор и на звуки его начали сбегаться легионы из богатых кварталов; за ними следовали войска; национальная гвардия из пригородов, из Мелена, Кана, Амьена двинулась в путь.

Палату освободили; Ратушу отобрали. Барбэс вместе с Альбером, Распайлем и Собрие были арестованы и отведены в Венсенскую башню, где к ним присоединился через 15 дней Бланки. Выпущенный на свободу Гюбер спасся бегством. Тогда под предлогом защиты национального представительства буржуазная реакция стала бешено неистовствовать. Генерал Куртуа, который, быть может, был неспособным или слишком гуманным для генерала, но который не был предателем, был оскорблен, избит и едва не задушен своими собственными подчиненными; у него сломали шпагу, сорвали эполеты; его хотели разжаловать и бросить в Сену. Луи-Блан, который всеми силами противился вторжению, но который был виновен в том, что он представлял Люксембург, что он был идолом рабочих и воплощением социализма, в самой Палате подвергся нападению исступленных солдат; с платьем, изодранным в лохмотья, с выдранными волосами, с вывихнутыми пальцами, он едва ускользнул, спасенный своими коллегами; но когда он хотел говорить, его слова покрывались оскорбительными возгласами и все время раздавались крики: «Долой коммунистов!».

Теперь была очередь за национальной гвардией спасать общество. При Луи-Филиппе было в моде насмехаться над этими солдатами-гражданами за их малое рвение при исполнении служебного долга. Изобретатель придумал для них ружье, модель которого можно видеть в музее Карнавале: штык преображается в трехцветный зонт. В те времена это можно было принять за эмблему мирных служак. Но как только дело коснулось их классовых интересов—эти бароны пришли в неистовство. Национальная гвардия 16 апреля воскресла, по выражению Ламартина. Теперь, как писал генерал де-Кастейлан, «она—хозяйка положения», и она давала это чувствовать. Теперь была ее очередь спасать общество. Собственной своей властью она закрыла клубы Бланки, Виллэна и Собрие; она вломилась в квартиру Собрие и захватила в ней проекты декретов, содержание которых, если только оно подлинно, указывает на то, что существовала какая-то смутная мысль о коммунистической и социалистической революции. В продолжение нескольких дней Париж находился под страхом нового террора. «17-го мая, среди белого дня,—пишет Жорж Занд,—я едва решилась выйти из дома, окруженная друзьями: в городе царил порядок». Порталис с одобрением докладывал в Палате об арестах «людей, державших коммунистические речи». Несколько легионов подписали петицию, требовавшую восстановления эшафота для политических. Другие легионы, прибывшие из провинции, еще более усилили возбуждение. Этот злополучный день 15-го мая был громадной ошибкой республиканской партии; больше, чем ошибкой политической,—ошибкой моральной по словам Жорж Занд. Этот день не только обессилил партию, но и уменьшил ее численность. Из простого упрямства, без достаточных мотивов, она подала сигнал восстания против закона, но это был закон республики; она заронила в умы постоянный фермент беспокойства; она оправдала в некотором роде будущие насилия; она дала возможность врагам социализма приписывать ему с некоторым правдоподобием самые черные замыслы. Два дня спустя можно было прочитать в *Moniteur* о том, как Барбэс был прерван криками: «Дайте нам два часа на грабеж!». Вероятно, это клевета! Об этом эпизоде рассказывается только во второй версии, которая составилась уже задним числом, и когда того, кто при-

нес это известие в *Journal officiel*, заставили явиться пред судом, он формально от всего отрекся. Клевета тем не менее облетела Францию и Европу.

На Собрании можно проследить последствия неудач 15 мая: между двумя течениями республиканской партии происходит схватка, умеренные действуют заодно с роялистами, чтобы отделаться от «красных»; атака направляется прямо против вожаков рабочего класса; Изамбер вносит предложение закрыть все клубы; мнение, которое еще не подвергалось обсуждению, но которое остается, как заложенное начало; вносится предложение судебного преследования против Луи-Блана, обвиненного в соучастии с вторгшимися в Собрание; это требование представлено Жюлем Фавром в слащаво-желчном докладе, который сравнивали с чашей отравленного молока, и в котором автор приходил к заключению о необходимости предания суду. Несмотря на полное отсутствие в нем доказательств, этот доклад был отвергнут большинством только 32 голосов; Коссидьер был обвинен в свою очередь и ему удалось обезоружить враждебность к нему только своим добродушием и, главным образом, тем, что он во-время пожертвовал своим званием префекта и депутата, выйдя в отставку. Передовая партия была побита, сбита с позиций и вынуждена к оборонительному положению, но в свою очередь партия умеренная попала в такое же положение. Исполнительная комиссия потеряла всякое уважение, ей было поставлено в вину то, что она не сумела предотвратить унижение, которому подверглось Собрание. Еще немного и ее стали бы упрекать в том, что она «была в стачке с производившими беспорядок». Уже были выставлены кандидаты для ее замещения. Ламартин подымался на трибуну уже не в качестве властителя, любимого оратора, всесильного, вызывавшего восхищение; его принимали с ледяной холодностью или со смехом.

Короче, Республика сошла еще на одну ступень с наклонной плоскости, по которой она катилась. Трехцветные республиканцы начали казаться слишком смелыми. Роялисты собрались с духом. Начались происки легитимистов и орлеанистов. Претенденты обеих соперничающих ветвей одинаково были осуждены на изгнание, но Луи-Наполеон Бонапарт, таинственный и внушающий опасения, появился из мрака, который его окружал. Избранный четырьмя департаментами, он был допущен в Палату; Жюль Фавр и Луи-Блан с рыцарской безрассудностью способствовали открытию для него ее дверей, которые хотели закрыть пред ним Ламартин и Ледрю-Ролен. Со своей двусмысленной фигурой иноземного авантюриста, он представлялся одним как человек, незначительный и почти смешной другим—как гуманный мечтатель об *«уничтожении пауперизма»*; наиболее же проницательным, как центр, объединявший самолюбия, разочарования, опасения, вызванные головокружительным ходом событий. Но было еще слишком рано, чтобы выдвигаться вперед и, удовольствовавшись завоеванием права быть народным представителем, он послал из Лондона свою отставку вместе со следующей рискованной фразой в цезаревском духе: «Если народ возложит на меня обязанности, я сумею их выполнить». Одновременно с ним (и ничто лучше не показывает разделение избирателей на два противоположных блока) в Париже были выбраны демократы,— Коссидьер, Пьер и Прудон, и консерваторы; среди них Тьер, которому суждено было стать настоящим главою парламентской реакции. Ловкий и самолюбивый маленький человек появляется снова и тем более грозным, что для того, чтобы быть выбранным, он должен был пройти через Кавдинское ущелье церкви и заключить с нею своего рода договор за счет Республики и светского режима.

Партия порядка, почувствовав себя более сильной, стала более агрессивной. Она бесстрашно встречала приближение решительной борьбы. 25 мая у Токвиля на обеде, на котором вместе с другими гостями присутствовали Кузен и Молэ, все говорили в один голос, что раньше, чем через три месяца, будет уличное сражение, в котором анархическая партия будет раздавлена.

Буржуазия могла в этом расчитывать на армию. В то время армия состояла из набранных по жребию, которые служили в течение семи лет из вольноопределяющихся и старых солдат или унтер-офицеров, которые поступали вновь на службу за высокое жалование. Сыновья буржуазии могли освободиться от неприятностей и опасности службы, нанимая бедных юношей, которые их замещали. Цены были различны; был свой курс на человеческую жизнь, был рынок пушечного мяса, и этот рынок обильно снабжался. На 380.000 человек приблизительно

бывших под оружием, считалось 180.000 заместителей. Итак, это была армия, состоявшая из пролетариев, но пролетариев, оторванных от своих корней благодаря продолжительному пребыванию под знаменами; оторванных от своего класса, укрощенных и приспособленных дисциплиной к их роли машин для убийства, и, кроме того, окруженных офицерами, которые почти все вышли из зажиточного класса, так как они выходили из Сен-Сирской школы или из Политехнической школы, куда можно было попасть только после долгого учения, дорого стоившего. Вследствие всего этого армия носила резко-профессиональный характер. Корпоративный дух в ней был чрезвычайно силен; военная карьера не только для офицеров, но и для унтер-офицеров и солдат была очень похожа на ремесло. Эта армия обычно играла двойную роль. На ее обязанности лежало поддержание внутреннего порядка, для этого она несла гарнизонную службу в больших городах, в промышленных центрах, и экономисты отчасти этому приписывали большое количество в них незаконнорожденных. Она была ответственна также за защиту национальной территории против иноземцев, но в течение 20 лет она никогда не сражалась вне Франции, если не считать Алжира. Там погибло много людей, но по выражению Токвиля: «Солдат сеяли безрассудно и от времени до времени пожинали одного генерала». Так же как во всех колониальных войнах, в которых европеец смотрит на себя, как на имеющего дело с низшей расой, борьба против бедуинов была школою столько же жестокости, сколько храбрости и тактики. Тот же Токвиль говорил о генерале Бедо: «Он человечен, как будто бы он не участвовал в Африканской войне». Начальники возвращались из этих свирепых кампаний с привычками к жестокости, от которых они уже не могли отделаться. Маршал Бюжо благодаря этому заставил парижское население возненавидеть себя от всей души и скоро всем пришлось увидеть, как не один «африканец» отличался неумолимой жестокостью при подавлении гражданских волнений или даже делался участником государственного переворота.

К тому же начальники этой армии сохранили чувство стыда и досады за свое жалкое поражение на голову в феврале! Раненый Ламорисьер затаил в сердце глухую злобу. Полковники, которых их же полки хотели прогнать, дулись на Республику. Временное Правительство, конечно, не обратило никакого внимания на предложение Эмиля де-Жирардена, требовавшего немедленного уменьшения состава войска (на 200.000 человек. Напротив, оно постаралось восстановить престиж армии. Оно пожелало призвать на пост военного министра генерала Евгения Кавеньяка, «африканца», из военной республиканской знати, если можно так выразиться, так как он был сыном члена Конвента и братом того самого Годефруа Кавеньяка, раннюю смерть которого оплакивали как смерть дофина Республики. Но оно натолкнулось на высокомерный отказ. Генерал ответил из Алжира, куда он уже был назначен губернатором колонии: «Как политический деятель, если я буду обречен стать таковым, я никогда не пожертвую своими убеждениями солдата». Итак, будучи солдатом прежде всего, он заявлял, что его программа будет состоять в том, чтобы укрепить, поднять армию, дать ей сознание своей силы и своего достоинства; что, наконец, он станет работать только с известными людьми. Генералу ответили довольно решительным приказом оставаться в Африке, и Араго занял место, которое ему предназначалось. Этот гражданский министр проектировал уничтожение права замещения, введение двухгодичной службы и хотел взять за образец систему, практиковавшуюся в Пруссии. Таким образом, он добился большей популярности у народа, чем у буржуа, которые предвидели введение службы обязательной для всех, и так как он устроил Варфоломеевскую ночь офицерам генерального штаба, из которых 17, и в том числе Кастеллан и Фабвие, были отозваны, то он больше завоевал симпатии среди солдат и унтер-офицеров, чем среди их начальства. Когда же Кавеньяк согласился принять от исполнительной комиссии военное министерство, военный элемент должен был снова взять верх. Воспоминание о его быстром поражении пред баррикадами было для него всегда несносно. Однако, если рабочие обнаруживали к нему упорное недоверие, то буржуазия кричала: «Да здравствует армия!». И как будто бы желая побудить к скорейшему отмщению, богатые легионы реорганизованной национальной гвардии устраивали банкеты войскам парижского гарнизона, «банкеты, на которых взаимно возбуждали друг друга, чтобы объединиться для защиты».

Подвижную гвардию также приглашали на эти банкеты с тем, чтобы ее чествовать. Названная так потому, что в случае войны она могла быть мобилизована и послана на границу, она родилась, как и в 1830 году, из революционной мысли. Ветеран уличной борьбы, так называемый генерал Дюбург, предложил 24 февраля набрать ее из молодежи предместий, чтобы сделать из нее стража Республики и зародыш народной милиции. Эта идея, которую подхватил Ламартин, стала в его руках консервативной. Он считал, что эти «бледные оборванцы», как их называл Барбье, если их ввести в военный строй, дисциплинировать, держать взаперти, милитаризировать их и хорошо им платить могли бы стать поддержкой той самой буржуазии, которую они терроризовали. Он назначил им жалованье в 1½ франка в день, то-есть в шесть раз больше, чем получали солдаты. Он поставил во главе их генерала Дювивье, военного человека, добродушного парня, упрямца, обращенного на путь истины, в котором умеренные были уверены. Позаботились о том, чтобы возбудить тщеславие этих уличных парижских мальчишек, весьма счастливых тем, что они играли в солдатиков; их дурное настроение обратили против Ледрю-Ролена, который хотел отставить их главнокомандующего, против Луи-Блана, который, как им говорили, был причиной того, что им не роздали красивую новую форму, о которой они мечтали. Короче, из этих двадцати тысяч молодых людей сделали преторианскую стражу Республики, которую, насколько было возможно, изолировали от их родных предместий и которая, взяв в свои руки ружья, горела желанием пустить их в ход.

Таким образом все готовилось для сражения. Рабочие со своей стороны тайно запасались оружием, пулями, патронами. Два лагеря измеряли взаимно друг друга глазами, подстрекая жестами и словами. Национальные мастерские подали повод, может быть, искомый, во всяком случае ожидаемый.

ГЛАВА VII.

Национальные мастерские.

Известно, что национальные мастерские явились результатом неотложной необходимости, благотворительности и старой традиции. Вследствие экономического кризиса, осложненного кризисом политическим, масса рабочих оказалась на мостовой. Чтобы не дать им умереть с голода или собраться в беспорядочные шайки, было решено с 28 февраля открыть работы, стоявшие на очереди, главным образом, земляные. Чтобы попасть на работы рабочий, не имеющий занятий, по предъявлении удостоверения от своего квартирохозяина или домохозяина, засвидетельствованного комиссаром квартала, получал в участке своего округа особое разрешение. Если ему удавалось найти занятие, он получал жалованье 2 франка в день; если работы для него не находилось, то он получал пособие в 1½ франка. Чтобы избежать обманов и бесполезной ходьбы, запросы на труд мало-по-малу были сосредоточены в двух бюро. У бывшего ученика Центральной школы, Эмиля Тома, который имел бонапартистские симпатии и сам признавал себя республиканцем завтрашнего дня, явилась мысль завершить эту централизацию. Он изложил Мари, министру общественных работ, и Гарнье-Пажесу, мэру города Парижа, сен-симонистскую идею организации рабочих по-военному, и с их полного одобрения 5 марта он получил звание комиссара Республики и управление центральным бюро, которое должно было быть даровой и общедоступной справочной конторой для найма и которое было устроено в пустых зданиях парка Монсо; он получил также право заключать договоры с предпринимателями. Затем он разделил рабочих на небольшие отряды, бригады, лейтенантства, компании, службы и округа и назначил офицерами этой промышленной армии своих молодых товарищей из Центральной школы, ставших его помощниками.

С самого начала могло показаться страшным такое скопище на одном месте тысяч людей без занятий, кроме того, можно было опасаться, что бюрократическая концентрация повлечет за собою создание излишних должностей, а также инертность и дурные намерения со стороны официального корпуса инженеров путей сообщения, который смотрел с большим презрением и с некоторой враждебностью на инженеров, выходивших из школы, которая вовсе не была учреждением государственным. Эмиль Тома требовал, чтобы была отнята монополия этой организации, которая имела возможность дать работу и, казалось, не делала никаких усилий, чтобы найти занятие для возраставшей массы без-

работных, достигшей к 15-му мая до 14.000 человек; из полезных работ, которые можно было бы им предоставить, не находили ничего, кроме насаждения деревьев, поваленных во время сражения, и выравнивания некоторых улиц и площадей, на что можно было употребить самое большее 2.000 рабочих. Для других предлагали начать постройку большого цирка, могущего вместить 20.000 зрителей. Э. Тома прибавлял к этому замащивание дозорных дорог вдоль городских укреплений. Это было все и этого было мало, принимая во внимание, что безработные были самых разнообразных профессий. С этого момента свели на один франк пособие тем, кто не имел работы, и обещали им работу через день, что могло бы еще быть достаточным, если бы обещание это не было призрачным.

С этого времени следует разделить историю национальных мастерских на два периода: один, кончающийся вместе с Временным Правительством, другой, который продолжается до их роспуска.

В первый период они играют роль политическую и роль экономическую. В отношении политическом они являются орудием в руках умеренной партии. Из их батальонов делают консервативную силу. Ими пользуются, чтобы внести раскол в среду парижского пролетариата, чтобы бороться с народом при помощи народа же, чтобы нейтрализовать рабочих социалистов рабочими податливыми и покорными. Доказательств этому масса. Э. Тома был во власти Мари и Марраста. Он получал каждый день от них инструкции, и Ламартин мог писать, не боясь возражений: «Эти мастерские, находясь под начальством, управляясь и будучи сдерживаемы начальниками, разделявшими тайные мнения антисоциалистической правительственной партии, вплоть до созыва Национального Собрания, были противовесом рабочим-сенктантам Люксембурга и бунтовским рабочим из клубов. Они мозолили своим количеством и бесполезностью своих работ глаза Парижу, но они защищали и спасали много раз Париж помимо его ведома. Они далеко не были, как это говорили, на жалованьи у Луи-Блана, напротив, они были настроены в духе его противников. Когда Эмиль Тома 23 марта выразил свои опасения по поводу их непрерывного роста, Мари ему ответил: «Не беспокойтесь насчет их количества, если вы держите их в руках, оно никогда не будет слишком велико, но ищите средства, чтобы рабочие к вам искренно привязались. Не жалейте денег: в случае надобности их предоставят вам из секретных фондов». И если можно в этом поверить Э. Тома, министр будто бы прибавил, чтобы пояснить свои советы: «Быть может, не далек тот день, когда нужно будет их послать на улицу».

Факты подтверждают эти сообщения. Мари и Марраст посещали национальные мастерские, раздавали им знамена, и первый из них пользовался ими, чтобы задеть Луи-Блана: «Я предпочитаю дела словам, в особенности, когда дело идет о судьбе рабочих». Он разрешил устройство специального клуба, который должен был иметь честь «воздвигнуть свой алтарь против алтаря Люксембурга». Э. Тома и его приверженцы с этого алтаря говорили свои проповеди. Жэм, его правая рука, отсюда так резюмировал свою программу: «Граждане, будущее рабочих—это порядок... Все заключается в этом слове—порядок». Было решено, что все предметы политические и социальные будут исключены из обсуждения. Э. Тома восклицал в свою очередь: «Мы заявляем, я со своими товарищами из Центральной школы: пока занимаются основами труда, мы займемся трудящимися». В нем чувствуется претензия быть представителем духа практичности в противовес химерам. Ежеминутно в их речах они возвращались к прямым или скрытым нападкам на социалистическую утопию. «Мы не желаем неосуществимых теорий... Рабочие не нуждаются ни в ком, чтобы сорганизоваться». Между прочим, в качестве директора, он запрещал своим подчиненным участвовать в манифестациях, которые устраивались с целью поддержать меньшинство из Временного Правительства, в манифестациях 17 марта, 16 апреля; я уже говорил раньше, как во время выборов он сделался агентом большинства. В то же время рабочие из Люксембурга пытались сблизиться со своими товарищами из национальных мастерских. «Если мы будем разделены, то наше дело будет потеряно», резонно говорили они. Но Эмиль Тома противился всякому соглашению между ними; он воклицал: «Да здравствует Республика порядочных людей!». В день выборов, со своими собратьями, он охранял порядок вокруг Люксембурга. Он праздновал как личную победу, поражение

красных рабочих и, чтобы предупредить всякое смешение своих с ними, он установил, как правило, чтобы ни один бригадир, ни один начальник отряда национальных мастерских не мог принимать участие в каком-либо другом объединении, или быть от него делегатом. Еще одна подробность показывает, каково было тогда поведение подчиненных Эмиля Тома. Многие среди них, узнав о восстании в Руане, хотели туда отправиться для защиты порядка против руанских рабочих. Словом, цель, к которой стремились, была достигнута. Национальные мастерские исполнили свою функцию разложения пролетарского класса. Они стали настоящей армией наемников на жаловании у буржуазии.

Какова же была их экономическая роль в это время? Общее количество их членов выросло непомерно и вина в этом лежит и на умеренной части Правительства, и на капитале, и на рабочих. Умеренные облегчали набор в мастерские, чтобы отвлечь, по возможности, больше людей от страшного влияния социализма. Капитал устроил стачку; деньги эмигрировали и скрывались, фабрики закрывались то из страха, то с целью увеличить затруднения для власти, которая признала право на труд. В списках кандидатов, которые часто составлялись на скорую руку, встречались имена детей от 10 до 12 лет. Это хозяева подмастерий таким образом изыскивали себе дополнительный доход. Предприниматели в свою очередь вознамерились свести жалования до смешных размеров платы в национальных мастерских, благодаря чему служащие с негодованием покидали их. Рабочие с своей стороны захотели воспользоваться случаем, чтобы поднять заработную плату; имея мастерские в виде резерва, они легче шли на стачки, так как чувствовали жизнь свою обеспеченной пока и без необходимости прибегать к резервному фонду. Быть может, некоторые из них видели в этом средство заставить капитулировать класс хозяев. Из провинции начался наплыв рабочих, толкаемых нищетой и надеждой попользоваться официальной манной. В конце мая в парижских меблированных комнатах насчитывалось 30.000 постояльцев вместо обычных для этого времени года 8—10 тысяч. Наконец, весьма довольные возможностью жить в качестве получающих жалованье нищих, профессионалы тунеядства (если можно так выразиться), какие всегда существуют, являлись требовать работы с тем большей настойчивостью, чем лучше они знали, что работы нет. Итак, количество возрастало быстро. В конце марта оно достигло 40.000 человек, не считая женщин, и ежедневный расход на них возрос до 70.000 франков. 15-го апреля Э. Тома со своего рода гордостью говорил: «Скоро вас будет сотня тысяч!». Эта почтенная цифра действительно была достигнута в начале мая. Однако, где же работа? Было много проектов: постройка жилищ для рабочих, рытье каналов, постройка железных дорог, расчистка Сен-Морского лагеря. От правительства требовали задатков для подрядчиков по строительным работам. Но у правительства денег не было. Дела не шли. Занятия стали даваться только на один день из четырех. И это было уже не только нищетой, но и деморализацией для рабочего класса. Он привык получать милостыню и тратить свое время в трактирах или в шумных прогулках, которые представляли некоторое подобие бунтов; пресса была переполнена жалобами и опасениями буржуазии.

И не один Париж был заражен язвой пауперизма. «Благотворительные мастерские» существовали тогда во многих городах провинции; они существовали в Лионе, где они вмещали 25.000 рабочих, в Марселе, в Нанте, в Руане и т. д.; несколькими месяцами позднее тридцать три департамента, обремененные долгами, просили разрешения на изыскание чрезвычайных источников, чтобы покрыть издержки по устройству этой помощи трудом. Но эти мастерские имели то преимущество, что, не находясь в правительственном центре, они, таким образом, не могли иметь честолюбивого стремления оказывать давление на государственную жизнь. Они были менее обширны, находились под более тщательным надзором и во многих местах употреблялись на полезные работы. Их мирная история теряется в сумятице, в которой погибли парижские мастерские.

Учредительное Собрание, когда оно собралось, очутилось пред серьезной задачей; нужно было или организовать труд, по формуле Люксембурга, сделать опыт социализма, то-есть то, чего не желало его громадное большинство; или же продолжать оказывать денежную помощь голодающим до нахождения ими снова работы в отдаленном будущем, помощь, которая истощала

казну и которая никогда не приводила к такому положению вещей, когда она уже становится больше ненужной; или же, наконец, отказаться от обязательства, взятого на себя Временным Правительством: «обеспечить заработок всем гражданам», и послать назад в мастерские, к их предпринимателям, к прежним жестоким условиям спроса и предложения тех, которые надеялись на обновление экономического порядка.

Рабочие национальных мастерских самостоятельно склонялись к первому из этих решений. Они шли в ту сторону, где для них блестел луч надежды. Они постепенно освобождались от консервативного влияния. Уже некоторые из них склонны были приветствовать Ламартина, не пожелавшего пожертвовать Ледрю-Ролленом. Хотя 15-го мая еще не было видно ни одного их знамени в наводненной толпою Палате, однако, в демонстрации их участвовало 14 тысяч. Эмиль Тома во время осмотра мастерских был встречен криками: «Да здравствует Луи-Блан!», — криками, терзавшими его сердце. Но большинство зарегистрированных рабочих колебалось еще высказаться за социальную республику; они это обнаружили, не присоединившись во время празднества 21-го мая к тем, кто ее провозглашал. Но постепенно без шума совершалось частичное сближение с представителями Люксембурга. Единство рабочего класса стремилось восстановиться. Две ветви, на которые его так старательно разъединяли, начинают замечать, что их интересы общи. Несомненно, в этом запоздавшем примирении «красных» с «желтыми», как мы выразились бы теперь, лежит основание той упорной легенды, которая приписывает социалистам то, что создалось без них и вопреки им. Более или менее бессознательно смешали две вещи, не имеющие между собою ничего общего: социальные мастерские, создать которые хотел Луи-Блан, и национальные мастерские, которые он окрестил «эпической глупостью». С этого же времени умеренные члены правительства охладели к этим мастерским, потерявшим после выборов всякий смысл для них, и которые стали им казаться, вместе с их директором, стеснительной и опасной организацией. Палата тоже, естественно, склонялась к этому мнению. Она находила нужным отменить эту временную и разорительную меру. Один только Эмиль Тома высказывал желание сохранить национальные мастерские на неопределенное время. Они были делом его рук, он им был обязан своим могуществом, кроме того, они могли послужить ему в избирательной борьбе, помочь ему в довольно сомнительных проделках, которыми он тогда был занят для успеха своей кандидатуры, а, может быть, и в пользу бонапартистских происков. Что бы он ни делал, национальные мастерские были обречены на гибель с 15-го мая. Оставался открытым вопрос только о том, будет ли их гибель медленной или скорой.

Чтобы решить этот вопрос, нужно терпеливо и тщательно разобраться в спутанном сплетении событий, отделить индивидуальную ответственность от коллективной. Этот вопрос занимал внутри Учредительного Собрания и вне его такое множество комитетов, комиссий и подкомиссий, что большинство историков теряется в этой путанице. Да простят мне, в виду важности предмета, если я остановлюсь на этом вопросе и проведу желающих следовать за мною по этому лабиринту.

Три власти участвовали в распущении мастерских Сены. Во-первых, правительство, которым и являлась исполнительная комиссия и на которое, по странному стечению обстоятельств, департамент и город Париж взвалил все это дело. Управление женскими мастерскими немногочисленными и содержание которых обходилось в виду продажи их работ всего по 15 сантимов на человека ежедневно, было возложено на министра финансов Дюклера. Мужские же мастерские, число работающих в которых увеличилось после присоединения к ним мастерских, существовавших раньше отдельно на Марсовом поле и в пригороде, зависели от министра общественных работ Треля. Доктор Треля был очень честный и даже превосходный человек, его противники называли его «святым мирянином» за его рвение к благотворительности, но он не был подготовлен своим медицинским образованием к тем новым функциям, которые выпали на его долю. Его благим намерениям мешала его техническая и политическая неопытность так же, как и его отвращение к социализму. Что же касается исполнительной комиссии, которая распадалась на те же группы, что и Временное Правительство, то она колебалась то направо, то налево; она абыла нерешительной, неустойчивой, судорожной, изменчивой. Она не смела не отбросить, ни

привести в исполнение обязательства власти, которой она унаследовала. Один из членов оппозиции сравнил ее впоследствии, правда, неблагожелательно, но зато и не без справедливости, с положением Дон-Жуана Мольера между Шарлоттой и Матуриной. Народ вследствие ее инертности назвал ее впоследствии *неисполнительной комиссией*. Благодаря всему этому Собрание все более и более забирало в свои руки кормило правления. Оно разделилось на три группы, получившие название от тех помещений, в которых они собирались. Во-первых, группа *rue de Poitiers* *) католическая и консервативная—собрание провозглашавших себя друзьями порядка. Затем группа—*Palais National* **), где социалисты были исключены, и влиятельными членами которой были республиканцы, очень умеренные, кандидаты на замещение правительственных постов: Сенар, Гудшо, Кавеньяк и др., группа *rue des Pyramides* ***), в которую входили радикалы и демократы. И наконец, среди комитетов, на которые распалось Собрание, был один, в котором выступали представители, более всех интересовавшиеся судьбами *народных классов:* то был Комитет труда или трудящихся. Корбон был его председателем. Демократы и социалисты, хотя Луи-Блан отказался от участия в нем, встречаются. В нем на ряду с экономистами, промышленниками, филантропами и католиками, занятыми общественными делами. Здесь вырабатывались главные экономические реформы, которые затем предлагались или принимались законодательным порядком.

Эти три власти начали, казалось, свою деятельность в полном согласии. 17-го мая Треля назначил внепарламентскую комиссию, состоявшую из государственных и гражданских инженеров с целью выяснить, что можно сделать. На следующий же день комиссия собралась и приступила к обсуждению. Доклад, в котором приходили к выводу о невозможности сохранения настоящего положения вещей, был составлен в ту же ночь, прочитан, обсужден, принят и сообщен утром 19-го числа министру, который его одобрил и немедленно велел отпечатать. В тот же день Палата послала комитету труда два предложения, требовавшие немедленного закрытия мастерских. Таким образом казалось, что дело идет налад. Но неожиданно правительство изменило свое мнение. Доклад вместо того, чтобы быть розданным депутатам, был днем 20-го мая задержан и сохранен в строжайшей тайне. Так он и остался в тайне до наших дней, так что мы вынуждены делать только предположения относительно его таинственного содержания. Если верить согласным показаниям Луи-Блана, Прудона и Эмиля Тома, правительство, вероятно, испугалось проекта, формально признававшего право на труд. Страх пред социализмом преследовал его, как привидение.

Но этот призрак всюду снова появлялся. Эмиль Тома организовал несколько специальных мастерских, продукты которых уступались по стоимости производства рабочим, нуждавшимся в них. В конце апреля он внес проект их преобразования [1]).

План этого преобразования, за исключением некоторых подробностей, удивительно напоминал идеи Люксембурга. Со своими мастерскими и магазинами, субсидируемыми государством, со своими кооперативными булочными и общественным распределением прибылей, он являлся настоящей организацией труда, и Луи-Блан (как он сам об этом заявил) охотно бы подписался под ним. Умеренные члены Временного Правительства отвергли его без всяких колебаний. Тома же, вызванный 22-го мая в Комитет труда, повторил свои предложения, добавив к ним новую статью: Рабочие, занимавшие в Париже меблированные комнаты

*) Улицы Пуатье.
**) Национального дворца.
***) Улица Пирамид.

[1]) Его можно резюмировать следующим образом: в каждой отрасли промышленности следует создать синдикат, наполовину из хозяев, наполовину из рабочих, который бы выбирал старшину и профессионального заведующего. Будучи правильно организованы, синдикаты должны были бы составить путем посылки по два делегата от каждого синдиката ремесел (ремесла: строительное, мебельщиков, производства одежды, пищевых продуктов и прочее). Эти последние должны были в свою очередь образовать генеральный совет промышленного производства при министерстве общественных работ или министерстве торговли. Каждый синдикат должен был установить временную таксу труда, принимая час за единицу измерения. Затем каждый синдикат должен был отправить своего регистратора в управление национальных мастерских, куда принимались бы на половинном жалованьи безработные данной профессии. Помещения и необходимые орудия должны были доставляться по низким ценам бездействовавшими фабриками. Продукты, служа обеспечением государственных субсидий, должны были продаваться так, чтобы имелась возможность расплатиться с государством, и прибыль, если бы таковая была, должна была итти на устройство вспомогательных касс для синдикатов. Наконец, в своего рода рабочих городах, снабженных всем возможным комфортом, можно было бы достигнуть дешевой жизни при помощи устройства общественных булочных и кухонь.

менее шести месяцев, должны быть отправлены на родину. Он требовал в то же время, чтобы национальные мастерские, орудие слишком сильное в руках исполнительной власти, были переданы в заведывание Комиссии Палаты, в которую сам бы он входил лишь на правах ответственного агента. Этот проект, таким образом, был с одной стороны окрашен социализмом и стремился сохранить национальные мастерские на неопределенное время, с другой стороны, он являлся предложением изъять это дело из рук правительства, которое обвинялось в плохом ведение его и в том, что оно могло использовать его в целях политических. Таковы были главные меры, которых требовал Эмиль Тома. Этого было более, чем достаточно, чтобы этот директор, которым так долго дорожили умеренные члены Временного Правительства, стал для них подозрительным и заслуживающим, по их мнению, устранения.

Треля, присутствовавший в заседании комитета, сделал следующее заявление по поводу национальных мастерских: «Необходимо, чтобы они как можно скорее прекратили свое существование». Еще утром 15-го мая Коссидьер получил приказ, подписанный Гарнье-Пажесом и Араго и оставшийся мертвой буквой, который предписывал записать на военную службу всех рабочих национальных мастерских в возрасте от 18 до 25 лет и прогнать всех, которые не пожелали бы записаться. Ради исполнения тех же намерений Эмиль Тома получил утром 24-го мая приказ министра, сущность которого заключалась в следующем:

1) Рабочие, холостые и в возрасте от 18 до 25 лет, приглашаются записаться на военную службу Республики для пополнения различных полков армии. Те же, кто откажется записаться волонтерами, будут немедленно вычеркнуты из списков бригад национальных мастерских.

2) Рабочие, которые не смогут доказать своего шестимесячного пребывания в Париже сроком до 24-го мая, будут рассчитаны и им будет прекращена выдача жалования и вспомоществований.

3) Хозяева могут потребовать столько рабочих, сколько они заявят необходимым для восстановления или продолжения производства. Отказавшиеся итти к ним будут тотчас же вычеркнуты из общего списка национальных мастерских.

4) Остающиеся рабочие должны работать сдельно, а не поденно

5) В самом непродолжительном времени будут организованы рабочие артели, которые будут отправлены в департаменты и будут заняты большими публичными работами под управлением министерства путей сообщения.

В ответ на этот ультиматум, который он должен был привести в исполнение «с наивозможной скоростью», Э. Тома выставил обязательство, принятое Временным Правительством, доставить работу всем гражданам и опасность, которую представляет для общественного спокойствия проведение ряда таких решительных и суровых мер. Он отказался быть козлом отпущения, на которого пала бы ответственность за те беспорядки, которые можно было предвидеть. Очень понятный отказ и очень явное неповиновение. Он, видимо, все-таки упорно хотел остаться во главе того дела, которое он создал, и не хотел его разрушить; но 25-го вечером он узнал, что министр учредил вторую комиссию национальных мастерских, уполномоченную предложить «все меры, которые, не нарушая священного принципа обеспечения труда, являлись бы, по ее мнению, наиболее пригодными для облегчения бремени, лежащего на государстве». Это была скрытая отставка. Опасались ли того, что Эмиль Тома постарается воспрепятствовать работам новой комиссии, что он злоупотребит своим влиянием на рабочих и возбудит их в пользу претендента, которого уже начали побаиваться? Уже в газетах появились протесты рабочих, против проектов, которые не могли не получить огласки. Как бы то ни было, вечером 26-го мая Э. Тома был вызван в министерство общественных работ, где Треля потребовал, чтобы он подписал свою отставку; затем, тут же, не позволив зайти домой, его отправили на почтовых в сопровождении двух полицейских в Бордо, под предлогом исполнения какого-то технического поручения. Изъятый таким образом из обращения и отправленный как бы путем lettre de cachet, он был, кроме того, арестован телеграфно; затем выпущен на свободу, снова задержан на несколько дней в Бордо, откуда он мог возвратиться только после 4-го июня, т.-е. после выборов в Законодательное Собрание, где он выступал кандидатом в одном списке с Луи-Наполеоном. Он не был избран.

В этот промежуток времени он был замещен новым директором Лаланом, инженером путей сообщения, что было реваншем

Политехнической школы по отношению к Центральной школе. Но затем исполнительная комиссия, повидимому, совершенно изменила свой взгляд на вопрос о распущении национальных мастерских. Она больше не желала их немедленного закрытия. Насколько она раньше торопилась их уничтожить, настолько же она теперь была озабочена тем, чтобы действовать с осмотрительностью и не спеша.

Чему приписать этот поворот во мнении? Изменению политического положения исполнительной комиссии. Она сначала предоставила себя течению реакции, которая набегала, как поток, затем, почувствовав опасность быть им захваченной и сметенной, она пыталась удержаться за прибрежные ветки. Уже наиболее умеренные ее члены стали жертвою инсинуаций, подобных тем, которые были ранее пущены по адресу Альбера и Луи-Блана; Мари упрекали за то, что он разгуливает во дворце Люксембурга. Кремье и Ламартина обвиняли в приобретении лесов и замков. Самому существованию правительства угрожали интриги не только бонапартистские, но и парламентские. Боязливые жаловались, что ими недостаточно управляют; люди же ловкие эксплуатировали эту жажду сильной власти, давая понять, что необходима сабля. И группа Palais National, сближаясь с консерваторами rue de Poitiers, мечтала о такой комбинации, которая потопила бы это Временное Правительство, упрямо желавшее продолжать свое существование под другим именем. Дело шло о дальнейшем шаге назад, о передаче власти в руки республиканцев еще более бледного оттенка. Консерваторы способствовали этому, как только могли. Намерения исполнительной комиссии их беспокоили. В самом деле, она заявила о своем намерении поставить на голосование вопрос о прогрессивном подоходном налоге, о реформе ипотек, о распространении примирительных судов, о государственном страховании, о бесплатном и профессиональном образовании и в особенности о выкупе железных дорог. Дюклер предложил 17-го мая законопроект, который должен был лишать железнодорожные компании их привилегий. Среди финансистов началась большая тревога. Старые парламентские деятели, засевшие в комитете финансов, ставшем их крепостью, бомбардировали оттуда правительство, и Тьер, записавшийся в комитет тотчас по возвращении, вскоре должен был встать во главе этой интриги. Договор, заключенный между буржуазией и церковью, связывал их все теснее, и уже можно было предвидеть его условия: принесение одной стороной в жертву своих светских принципов, другой—реформаторских пожеланий на пользу бедных.

Чтобы защититься от этих интриг и многочисленной оппозиции, исполнительная комиссия бросилась влево. Она полагала создать себе поддержку в народе. При посредстве Ламартина она старалась обеспечить себе помощь рабочих в борьбе против Луи Бонапарта, который беспокоил ее. По той же причине она отложила роспуск национальных мастерских на неопределенное время и намеревалась произвести его постепенно, человечно, мирно и делая переход нечувствительным. Она хотела иметь их у себя под рукой в качестве силы, способной в некоторых случаях оказывать давление на Собрание; она думала также воспользоваться ими в качестве решительного аргумента в пользу выкупа железных дорог, выставив это лучшим средством дать занятие множеству безработных.

В то время, как исполнительная комиссия, а за нею и Треля меняет таким образом точку зрения, Собрание, путем вполне понятной перемены позиции, переходит все более и более право и всеми силами стремится ускорить роспуск мастерских. С тех пор между Учредительным Собранием и правительством завязывается по этому вопросу борьба, сначала глухая, а затем все более и более острая. Вопрос о национальных мастерских стал как бы тараном для пробивания брешей в исполнительной власти. В течение месяца стычки беспрестанно следуют одна за другой. Но в этом длинном ряде сражений три даты выделяются с особой силой: 30-го мая, 14-го июня и 21-го июня.

30-го мая Собрание обсуждало и голосовало законопроект, внесенный от имени комитета труда виконтом Фаллу, человеком, который впоследствии выявил себя. Это анжуйский дворянин тонкого ума, выдержанной воли и с кошачьим характером, идущий бесшумными шагами к цели, которую он себе тайно наметил. Так как он был католиком и роялистом, то целью его было восстановление церкви и монархии во Франции. Как оратор, он был противоположностью Монталамберу, другому светскому лидеру партии духовенства. Этот последний дерзок, вы-

сокомерен и намеренно груб; по словам современника, он всегда как будто хотел сказать: «В обиду будь вам сказано». Красноречие его властно, повелительно, резко. Красноречие же Фаллу совершенно медовое с виду, когда содержание его полно желчи. Гладким и спокойным тоном светского человека он нападает на своих противников с корректной жестокостью. Он опутывает их выражениями мягкими, вежливыми, почти ласкающими, откуда выступают, когда этого всего меньше можно ожидать, отточенные когти. Он остается всегда спокойным, улыбающимся, неуязвимым. Он очень лукав, по словам Токвиля, но лукавство его редкое и весьма опасное, в том смысле, что он, без всяких колебаний и не думая о своей собственной выгоде, ради пользы своего дела, руководится известным правилом: «цель оправдывает средства»; он так лукав, что, смешивая в собственных мыслях правду с ложью, он становится искренним во лжи; будучи легкомысленным по природе, он стал рассчетливым в силу воспитания и привычки. Он отражает в Собрании салон, ставший штабом католической партии в Париже: это салон г-жи Свечиной, русской барыни, перешедшей в католичество и рьяной, как все новообращенные; салон, и в то же время часовня, имеющий вид ризницы, пропитанной мистическим запахом ладана. Жозеф де-Мэстр был великим человеком этой светской прихожей рая (хорошо умереть, чтобы стать великим человеком), Фаллу же — ее человеком действия.

Выступив докладчиком подкомиссии, которой комитет труда поручил осмотреть национальные мастерские, и получив нужные сведения от Эмиля Тома, он 29-го мая внес в палату, в виде неотложной меры, проект декрета.

Он воздал должное мысли, лежавшей в основе этого учреждения. Он оправдывал основателей и нынешних руководителей этого дела. Он возлагал всю ответственность за зло на самих рабочих, которые или по своей развращенности, или подчиняясь влиянию своих товарищей, отказывались от работ, которые им предлагали, так что пришлось один заказ из колоний передать за границу. В заключение он предложил принять следующие четыре меры:

1) Поденная заработная плата должна быть заменена поштучной.

2) Чтобы ускорить возобновление общинных департаментских и частных работ, должны быть вотированы специальные кредиты в виде авансов и премий.

3) Рабочим, живущим менее трех месяцев в департаменте Сены, и их семьям должны быть выданы путевые листы. Им должны быть возмещены издержки по переезду, половина во время пути, половина на месте назначения.

4) Декрет этот должен иметь законную силу для тех городов и коммун департаментов, которые того потребуют.

Эти заключения были приняты комитетом труда; раньше Фаллу требовал (25-го мая) зачисления на военную службу рабочих от 18 до 25 лет, а пастор Кокерель требовал немедленного роспуска мастерских. Новые заключения Фаллу относительно умеренны, но основания их гораздо менее умеренны, а именно, национальные мастерские это — не что иное, как постоянная и добровольно допускаемая стачка, обходящаяся в 170 тысяч франков в день, при чем праздность перешла в обычай и к ней силой принуждают даже тех, которых хотят работать. Очаг политического брожения, ежедневное расточение общественных сумм, и развращающая среда для рабочего класса.

Заседание 30-го мая обнаружило еще бо́льшую суровость. Два крупных фабриканта Севестрэ и Гранден указывали на обойщиков, слесарей, шапочников, жилетчиц, которые продолжали бастовать благодаря поддержке в виде платы, которую они ежедневно получали, и, обобщая частные факты, они утверждали, что она возлагает всю свою надежду на общественный переворот, власть, пользуясь своего рода нравственным террором, отвлекает рабочих, готовых за нее приняться. Они обвиняли массу в том, что она возлагает всю свою надежду на общественный переворот и заявляли правительству: «Или устраивайте организацию труда, или поддерживайте порядок; не надо полумер!». Жуанъо, Бенуа, Мишо, Рейналь возражали, противопоставляя приведенным фактам—факты противоположного характера. «Для механического производства потребовалось 1.500 рабочих—на работу явилось 3.000. Несправедливо ставить в вину целому то, что, может быть, относится лишь к его небольшой части; несправедливо изображать в виде добровольных стачечников жертв ужасающего кризиса. Не следует говорить, не сделав никаких попыток, будто за-

дача неразрешима. Лучше было бы обратиться к социалистическим новаторам, чем выставлять их в смешном виде». «А вот как!»—прерывают их возгласами. Правительство же с упорством держится того двойственного положения, которое оно заняло с самого начала. Треля признает, что надо что-нибудь сделать для рабочего класса, весьма достойного внимания, но не касаясь экономического строя и не стремясь к новому «общественному порядку, который ни к чему не приведет, кроме нищеты и ухудшения положения».

В общем во время этого обсуждения обнаруживалась с ясностью та классовая борьба, которая скрывалась в его основе. Тщетно Фаллу выставлял «принцип, который мы все уважаем и провозглашаем, право на труд и обязанность трудиться». Напрасно Воловский заявляет о своем расположении к рабочему классу. Напрасно Гранден говорил, что фабрикант тот же рабочий. Вопреки или, лучше сказать, благодаря стараниям прикрыть истину она обнаруживается. Антагонизм капитала и труда, сюртуков и блуз бросается в глаза даже тем, кто решился ничего не видеть.

Рабочие национальных мастерских не обманывались на счет происходящего. Декрет, который был вотирован, затронул их меньше, чем комментарии, которыми он был уснащен. Будучи обвинены в добровольной праздности, они почувствовали в этом презрение к себе и скрытый удар. Они энергично возражали на намеки Фаллу, которые он бросил им с высоты трибуны, и заявляли, что они были бы рады, если бы их сумели применить к полезному труду. Они требовали объяснения по поводу удаления их директора Эмиля Тома и с раздражением повторяли слова нового начальника национальной гвардии, Клемана Тома, обращенные к их делегатам: «Вам ответят 500.000 штыков!». С 29-го мая они собираются каждый вечер между Porte Saint Denis и Porte Saint Martin и время от времени слышатся их возгласы: «Мы получим. получим!»—Молчание... «Что?», спрашивает один голос. Отвечают: то «Республику, демократическую и социальную», то «Наполеона! Наполеона!». Между этими двумя ответами нет той огромной разницы, которую можно было бы предположить. Часто в ходе истории повторялось одно явление: рабочий класс, не ожидая больше ничего от буржуазии, обращает взоры на одного человека, на спасителя, на диктатора. Диктатура — это обычный результат гражданских войн. Но вопреки агентам, ведущим демагогическую игру в пользу претендентов, наиболее развитые и рассудительные из рабочего класса предостерегают своих товарищей от подобной авантюры. Бывшие делегаты Люксембурга вместе с старшинами-бригадирами национальных мастерских составили воззвание с предостережением против всякой попытки бонапартистского мятежа. В понедельник, 12-го июня, объявление генерала Пиа также приглашало их не слушать мятежников, пользующихся именем Наполеона, чтобы возбудить их. Между тем каждый день был сбор, национальная гвардия все время была на ногах, происходили столкновения, аресты. Со злобой повторяли слова Клемана Тома: «Ударьте по этой сволочи!».

В то время как волнение возрастает в рабочем классе, в другом лагере происходит то же самое. *Constitutionel* так оценивает выборы в Париже 4-го июня, где из одиннадцати выборных прошло 5 демократов: «Борьба идет открыто между порядком и беспорядком, между истинными принципами современных обществ и доктринами якобы социальными, но на самом деле гибельными для всякого общества. В этом суть дела». Тревога растет, потому что организуется большой демократический банкет с входной платой в двадцать пять сантимов с человека, под названием «Банкет национальных мастерских»; газета *L'Organisation du Travail* дает список банкиров, агентов меняльных контор, нотариусов и их адреса. Собрание делается все более и более сумрачным. 7-го июня выходит закон о вооруженных и невооруженных скопищах, закон суровый, стесняющий по инициативе правительства свободу на улицах, закон, который всегда пугает больше всего народ, еще не вполне освободившийся. Слышатся угрозы против клубов, против печати, Бишо делает доклад против выкупа железных дорог с тем большей поспешностью и энергией, что уже образовалась братская организация механиков, работающих на Орлеанской линии, готовая начать работу и на других линиях. Таким образом большие предприятия в области передвижения готовы перейти в руки рабочего класса; переход этот был бы победой того социализма, на который буржуазия смотрит как на смерть цивилизации.

Между тем правительство начало проводить в исполнение декрет. Рабочие были отосланы в провинцию. А, вот чем можно

занять тысячи людей! 7-го июня Треля с невинной радостью внес шесть проектов общественных работ: устройство каналов, дорог, портов и железных дорог. Работы хватит на целых десять миллионов людей. Казалось, что инженеры путей сообщения, освобожденные от присутствия Эмиля Тома, вдруг изобрели целый ряд немедленно осуществимых предприятий. Когда эти проекты были вотированы, Треля предложил седьмой. Леон Фоше просил десять миллионов на сооружение других железнодорожных путей. Де-Мотрель хотел бросить 200 миллионов на колонизацию Алжира. Происходит соревнование между правительством и комитетом труда, кто создаст большее количество проектов. Но эти попытки раздражали Собрание больше, нежели удовлетворяли его. *Пора кончить!* Эти убийственные слова у всех были на устах, так что неизвестно было, кто первый их произнес. Нечего церемониться. Теперь вопрос не в том, чтобы дать работу мастерским, а чтобы уничтожить их, по возможности, скорее, а вместе с ними и исполнительную комиссию. Умеренные на своем групповом собрании ясно выразили свою волю в этом направлении.

Это стремление скорее с ними покончить завершилось решительным днем 14-го июня. В одно и то же время отняли полномочия у исполнительной комиссии и у комитета труда, которые не отвечали больше желанию большинства. С этих пор стали сдерживать правительство при помощи кошелька, давая ему каплю по капле те кредиты, в которых оно нуждалось. Его упрекали в бездеятельности, не давая ему в то же время средств для деятельности. Сверх того назначили через бюро специальную комиссию из среды Палаты, которой было поручено наблюдать за правительством, держа его все время под страхом.

Это поворотное движение было опять делом Фаллу, выступавшего от имени комитета трудящихся. Но он был вынужден признать, что когда этот вопрос был поставлен и обсуждался, комитет заседал в очень небольшом числе и председатель его отсутствовал. Он склонил министра испросить кредит в 3 миллиона для национальных мастерских и основал на этой просьбе, им провоцированной, ядовитое обвинение против исполнительной комиссии и министра.

Ничего не было сделано. Нужно было бы декретировать труд, как конвент декретировал победы. Вместо всего этого прибегали к увертками и занимались пустяками. Неужели хотят, указывая на отчаянное положение 115 или 117 тысяч человек, занятых в национальных мастерских, оказать давление на голосование по поводу выкупа железных дорог? Треля, захваченный врасплох, мог только требовать немного терпения и просить, чтобы его закон был сдан в бюро. Таким образом без шума под конец заседания быстрым и смелым маневром все акты министерства, касающиеся национальных мастерских, были подчинены постоянному контролю парламентской комиссии, в состав которой вошли вместе с Фаллу враги и будущие заместители исполнительной комиссии Гудшо, Сенар и другие.

На следующий день, 15-го июня, обсуждалось положение в Алжире. Но жгучий вопрос дня внезапно прервал дебаты. Пьер Леру, взяв слово после многих других ораторов, указывал на земледельческую колонизацию, как на средство против обнищания. В своей речи, в которой соединяется статистика и мистицизм, он обвинял старую, лживую и бессмысленную политическую экономию в бессилии разрешить задачу и приглашал представителей народа изучать проекты ассоциаций, являющихся совершенно мирной программой социализма. Он заклинал их не противодействовать зарождению нового общества. «Как задержать то, что должно произойти, то, чего требует божественный закон?».

В то время, как таким образом был выдвинут социальный вопрос во всей его широте, по палате пробегает трепет. Монталамбер и Фаллу сочли своим долгом подойти пожать руку оратору Гудшо, который, заместив Леру на трибуне, начал свою бессвязную, но пылкую речь с признания, что февральская революция обещала разрешить этот вопрос. Надо, следовательно, организовать труд, что является весьма сложной задачей. Но пока что, надо заняться изменением его условий, что является делом неотложным, и для этого необходимо, чтобы национальные мастерские исчезли, исчезли бы немедленно, в тот же день. Не надо никакого социализма. Так как одною из причин зла было то, что сказали рабочим: «Сложите руки. Мастерские опустеют. Мы же их экспроприируем для общественного пользования и оттадим вам». Рабочие таким образом перестали быть честными... Свою речь он закончил двумя требованиями: чтобы исполнительная комиссия сделала заявление, в котором она изложила бы, что она

намерена сделать для рабочего класса и чтобы национальные мастерские были немедленно распущены.

Немедленное распущение! Оставляя в стороне то дополнение, которое было сделано к этому требованию, реакционная пресса ухватилась за это предложение, высказанное республиканцем. Она с радостью стала хоронить национальные мастерские, повторяя вслед за Гудшо, будто они наполнены добровольными забастовщиками, руководимыми социалистами. Тщетно протестовал Луи-Блан; тщетно рабочие в афише от 18-го июня еще раз высказали свое желание работать, лишь бы им дали работу; тщетно они спрашивали, что станут делать со 110 тысячами человек, которые внезапно окажутся без средств существования. «Предоставят ли их дурному влиянию голода и порывам отчаяния»? Толчок был дан. Специальная комиссия, назначенная палатой, с Гудшо в качестве председателя и Фаллу—докладчика, взяла все управление в свои руки и вызвала к себе Треля, Ланланна и Эмиля Тома. В этой замкнутой среде были произнесены резкие речи. О рабочих говорили, как о преступниках. Депутатам говорили: «Надо с этим покончить. Не забывайте, что вы будете обсуждать выкуп железных дорог». Треля боролся с этой бесчеловечной поспешностью, напоминая, что рабочие—им братья. Напрасный труд. Было ли это неосмотрительностью? Или желанием вызвать взрыв? Некоторые депутаты ожесточенно подливали масла в огонь. Один из них, по имени Тюрш, внес агрессивное презрительное предложение: «В течение трех дней все освобожденные каторжники, самовольно вернувшиеся из изгнания в департаменты Сены, должны быть возвращены на указанное им местожительство, под угрозой ссылки. В течение пяти дней все рабочие, проживавшие в Париже менее года, должны быть высланы в свои коммуны. Все те, зажиточность которых будет установлена, должны быть подвергнуты преследованию, как воры; даже бедные рабочие должны быть наказаны, если они в течение пяти дней не сделают заявления о времени своего проживания в столице. Все другие немедленно должны вернуться в частные мастерские. Хозяевам должна быть оказана помощь при возобновлении работ. Все стачки с этого времени воспрещаются и будут караться как мятеж». Вслед за этим рядом свирепых мер, правда, предлагалась широкая программа проектов в пользу рабочих, но без срока их выполнения и без определенного содержания. Они чуть было не прошли en bloc. Но рассмотрение этих предложений было отложено на пятницу 23-го июня. Увы! Гражданская война должна была в тот день ответить на этот вызов.

Несколько минут спустя Фаллу прочел доклад парламентской комиссии. Он жаловался на медлительность правительства, требовал, чтобы впредь голосовали миллион за миллионом нужные средства для поддержания национальных мастерских, и потребовал продления полномочий комиссии, членом которой он состоял. Он заявил, что нет никакой связи между роспуском мастерских и выкупом железных дорог. Кроме того, он намекнул, что есть наготове второй доклад на тот случай, если правительство откажется действовать. Исполнительная комиссия и министр были под Дамокловым мечом. Треля ответил, что партии рабочих уже отправлены, другие отправляются. Только что передали бюро петицию 835 рабочих, желающих ехать в Алжир. Он предложил свою отставку, если полагают, что он действует недостаточно поспешно. Продолжая, однако, защищаться, он стремится устроить диверсию, сделав нападки на социалистов, которых он обвиняет в том, что они посеяли ненависть в сердцах. Но этого было недостаточно, чтобы возвратить себе большинство. Он вызвал бурю, разоблачив те оскорбления, жертвой которых были рабочие в исполнительной комиссии, оскорбления, которые отрицались Фаллу, но были подтверждены министром Агриколем Пердигье и которые были очень правдоподобны; так, в консервативной печати не переставая одни повторяли, что в национальных мастерских находится 5.000 каторжников, другие—10 или 15 тысяч, третьи—40 тысяч.

Все чувствовали готовящуюся катастрофу. 20-го июня Виктор Гюго указывал на два подстерегающих Францию чудовища — гражданскую войну и войну рабов. Он умолял не спускать их с цепи, но разве была еще возможность преградить им пути? Леон Фошэ заявлял, что выкуп железных дорог уже больше не может разрешить вопроса и что это было бы средство, которое только бы затруднило его решение; он предлагал устранить из всех законов вредные принципы, все нападки на собственность, все скрытые намеки на право на труд. Но что же, однако, делать? Начались запоздалые и жалкие препирательства между государ-

ством и городом. Коссидьер при поддержке Вальдека Руссо сделал еще одно безнадежное усилие; он требовал от имени комитета труда, чтобы бросили в один мешок все несогласия, как он выражался на своем образном языке, чтобы действовали, а не болтали, чтобы ассигновали, если нужно, миллионы и миллионы, чтобы при помощи премий поднять вывоз, чтобы распахать невозделанные земли и общинные владения. Но парламентская комиссия, мнение которой требовали по этому поводу, уклонялась от решительного ответа. От ее имени Гудшо заявил, что комиссия займется изучением вопроса, что она делает изыскания. Фаллу хвастается в своих воспоминаниях, что он внес массу проектов, которые были выработаны им в полном согласии с виконтом Мелэном, проектов, которые все бы спасли, как будто хочет он сказать: проект оздоровления бедных кварталов, уничтожения не удовлетворяющих санитарным условиям жилищ, охраны детского труда на фабриках, усовершенствования сберегательных касс и т. д. Он уверяет, что республиканцы были поражены его реформаторским рвением и что Гудшо воскликнул: «Я тону в этом потоке нововведений!». Это значило бы слишком легко пугаться! Эти благонамеренные, болеутолительные средства, квинтэссенция католической благотворительности, были средствами слишком медленно действующими, они были похожи на то, как если бы стали лечить сиропами и настойками из трав умирающего раненого, истекающего кровью! Так, конечно, и смотрела на дело комиссия, когда она большинством одного голоса отложила этот великолепный проект. Что же касается правительства, у которого просили, чтобы оно попросту ссудило несколько миллионов хозяевам, как это было сделано в 1830 году, то он отказало в этой просьбе за неимением денег. Одним словом, не было сделано никакого практического шага, который предотвратил бы грозившую опасность. Ничего, кроме принятия декрета, предложенного комиссией, декрета, который ставил правительство в зависимость от ее усмотрения!

Правительство слабое, до конца взяло на себя роль палача, которую ему навязали. Утром 21-го июня в *Moniteur* было напечатано распоряжение, гласившее, что все рабочие от 18 до 25-летнего возраста, занесенные в списки национальных мастерских, должны быть занесены в армию, и что остальные должны быть готовы, чтобы отправиться в департаменты, которые им будут указаны для производства земляных работ. К этим «драконовским» мерам добавили уничтожение бюро помощи и медицинского бюро, увеличение на половину цен обуви и одежды, продаваемой рабочим, и прекращение всех начатых строительных работ. Э. Тома поспешил к Фаллу с тем, чтобы предупредить его, что за этими мерами должно в самом непродолжительном времени последовать ужасное столкновение с рабочими; Фаллу ответил ему, что он считает все эти опасения преувеличенными. Но все ли это? Нет, еще не все. Палата высказалась, сверх всего этого, за восстановление ненавистного налога на напитки, несмотря на предупреждения Дюклерка, который говорил: «Это вас доведет до ружейной стрельбы, будьте в этом уверены». В Париже, 22-го июня, началось обсуждение вопроса о выкупе железных дорог, что не было, быть может, простой случайностью, и Монталамбер, который с 24-го февраля действовал всегда только за кулисами, счел случай подходящим для того, чтобы снова выступить в парламенте, где он произнес речь, в которой объявлял выкуп началом коммунизма. Таким образом католическая партия взяла на себя, благодаря своим двум главным вожакам, тяжелую ответственность; один из них настойчиво требовал немедленного распущения национальных мастерских; другой старался уничтожить последнюю возможность дать занятие 100.000 безработных, скопившимся в Париже. Таким образом она оказала двойную и весьма существенную услугу реакции.

Можно себе представить, какие результаты вызвала эта провокация. Мастерские зашумели, как осиное гнездо, опрокинутое ударом ноги. Вечером 21-го они собрались вместе с делегатами от корпораций и решили на следующий день протестовать всей массой. И действительно, утром 22-го, они, в количестве от 1.200 до 1.500 человек с знаменами во главе шествия, отправилась на площадь Пантеона, которая была назначена местом встречи. Часть из них, под предводительством одного из своих лейтенантов, Луи Пюжоля, направилась к Люксембургу. Этот Пюжоль, бывший африканский охотник, в достаточной мере недисциплинированный человек, выпустил после 15-го мая за своею подписью брошюру под заглавием: *Предсказание кровавых дней*, в которой он в библейском стиле, подра-

жая Ламенне, клеймил отношение сильных мира сего к рабочим требованиям. «Они сказали вам: мы имеем право на труд и жизнь, и вы ответили им: мы имеем право предоставить вам умирать с голода, если вы не хотите трудиться так, как мы этого желаем». Поэтому-то он и считает неизбежной гражданскую бурю, из которой должна выйти лучезарная Свобода. Выступая постоянно в качестве оратора на сходках, он сделался выразителем желаний своих товарищей. Когда он вместе с другими четырьмя делегатами был представлен Мари, этому отцу национальных мастерских, он хотел изложить ему их жалобы. Но тот не пожелал его выслушать. Пюжоль продолжал настаивать, заявляя, что рабочие решились на все, даже пожертвовать жизнью, чтобы не попасть снова под иго. «Если рабочие не желают отправляться в провинцию,—закричал Мари,—то мы заставим их силою... слышите ли, силою!».

Увы! угроза была услышана и понята слишком хорошо; Пюжоль доложил своим товарищам о результатах возложенной на него миссии. Пошел слух, что Мари третировал, как сволочь, рабочих депутатов. Вскоре длинные процессии безоружных мужчин и женщин двинулись по извилистым улицам. повторяя время от времени: «Хлеба или свинца! Свинца или или работы!». *La Presse* в тот же день говорила, что план умеренных состоял в том, чтобы дать разрастись восстанию с тем, чтобы диктатура генерала Кавеньяка стала необходимой. Этому можно было поверить, приняв во внимание бездействие полиции и военного министра. Не было ни войскового сбора, ни патрулей, чтобы помешать движению этих народных масс, которые кричали: «Да здравствует Барбес! Да здравствует Наполеон! Не уезжать!». И на следующий день, 23-го июня, не было предпринято ничего, чтобы помешать торжественному паломничеству этой толпы к Бастильской колонне, пред которой, взывая на коленях к героям июля 1830 г. и февраля 1248 г., она трагически восклицала: «Свобода или смерть!». К $10^1/_2$ часам были построены баррикады. на которых красовались то трехцветные знамена национальных мастерских, то красные и белые знамена. К полудню вся восточная часть Парижа была уже загромождена баррикадами! Гражданская война была объявлена. Слово было за пушкой.

ГЛАВА VIII.

Июньские дни 1848 г.

В рамки этой работы не входит передача героических или диких эпизодов и подробный рассказ о военных операциях, которыми была полна трехдневная битва на улицах Парижа. Мы должны только отметить ее социальный характер и ее последствия.

Достаточно сказать, что правительство, неуверенное в успехе, но уверенное в том, что нужно опасаться своих помощников так же, как и противников, решилось с болью в сердце начать сражение, что с этого времени верховенство перешло к военным, что национальная гвардия, полная пыла в богатых кварталах, но равнодушная или расположенная к повстанцам в кварталах бедных, первая была пущена в дело и скоро стала сражаться с тем героизмом, который называется героизмом испуга; что подвижная гвардия, колебавшаяся вначале, но «ловко обойденная Ламорисьером», решилась окончательно итти против рабочего населения, из которого она была набрана, что армия, сосредоточенная вокруг Собрания, долго оставалась в бездействии, приберегаемая на случай массового крупного движения, и что некоторые полки отказались стрелять в народ; что вследствие этого беспокойство настолько возросло, что подумывали, по совету Тьера, отступить к Версалю, откуда затем напасть на Париж, навязчивая идея Тьера, которую он высказал в феврале 1848 г. и которую он, наконец, осуществил в 1871 году.

Что же, однако, делало Собрание в течение этого дня? В то время, как некоторые из его членов бегали от повстанцев к солдатам и обратно, оно возвращается к своему порядку дня: обсуждение вопроса о выкупе железных дорог. Оно пользуется даже этим, чтобы отложить обсуждение проекта, внесенного Треля, по просьбе лионского мэра, и имевшего в виду дать работу рабочим этого города, разрешив постройку железной дороги между Коллонжем и Шалоном. Затем снова появляется Фаллу с докладом от имени *парламентской комиссии национальных мастерских*.

«Комиссия,—говорит он,—продолжает с совершенным спокойствием свои занятия».—Несомненно, лучше было бы, если бы было немного поменьше спокойствия и немного больше братского духа. Дюпон-де-Бюссак вышел из комиссии, чтобы не быть соучастником этой провокации. Депутат Рейналь, зная, что доклад предлагал новые строгости, заявил, что теперь не время его читать. Но Фаллу настаивал и угрожал подать в отставку, если ему не дадут тотчас же прочесть доклад, который, однако, должен был быть доложен собранию только на следующий день, 24-го июня. Он начал читать и после неясных фраз в пользу рабочего класса, которому депутаты просили «обеспечить немедленно покровительственные учреждения», «вотированные уже в их сердцах», он приходит к заключению о необходимости закрыть национальные мастерские, за исключением мастерских для женщин, через три дня после обнародования декрета. Он допускал выдачу жалованья в половинном размере в течение трех месяцев бригадирам и прочим служащим (то-есть тем, кто был ближе к буржуазии). Три миллиона предназначались для выдачи вознаграждений и пособий всем остальным (это было, приблизительно, по 30 франков на семью), но этой помощи будет лишен всякий, принимавший участие в скопищах. Наконец, он предложил, чтобы государство дало свою гарантию в размере до 5 миллионов подрядчикам по строительным работам.

Нельзя было придумать лучшего способа уничтожить всякую возможность примирения. *Комитет труда*, который позднее протестовал против тех, кто его смешивал с парламентской комиссией, от которой исходил этот холодный и резкий, как лезвие стали, доклад, пытался ослабить его суровость. Он вносил в него смягчающие поправки. По крайней мере, его председатель Корбон, без обычного обсуждения, но с одобрения многих членов комитета, потребовал ассигновки трех миллионов на поощрение рабочих ассоциаций. Однако ему не удалось получить согласия на эту ассигновку. Этой минутой воспользовался другой депутат, Кретон, чтобы потребовать отчет от *Временного Правительства* и *Исполнительной комиссии*, и была вотирована неотложность этого запроса. Третий предложил понизить возраст, дающий право на запись вольноопределяющимся в армию, до 17 лет. своеобразный подарок, который был сделан бедным семьям! Взволнованное, трепещущее Собрание было охвачено тем безумием, которое является болезнью толпы. Консидеран заговорил о фатальном недоразумении. Раздались крики: «К порядку! Это—убийцы». Он предлагал выпустить воззвание, чтобы остановить заблудшихся. «С бунтом не заключают мира», возразил президент. Консидеран, однако, предложил адрес, обращенный к рабочим, в котором говорилось: «Знайте, будьте уверены, что в своей душе и в своем сознании,—Собрание заявляет вам об этом перед богом и человечеством,—оно желает неустанно работать над окончательным установлением социального братства. Собрание желает освятить и развить, воспользовавшись всеми возможными и практически осуществимыми средствами, законное право народа, право всякого человека, появляющегося на свет, жить трудясь». Но Собрание отвергло адрес Консидерана, сняв обсуждение его с очереди. «Наш долг,—сказал Баз,—оставаться бесстрастными».

Коссидьер возобновил давление. Наступила ночь. Он требовал, чтобы при свете факелов депутатами было принесено к баррикадам воззвание, и предложил себя самого в качестве заложника, если бояться, что делегация будет оскорблена повстанцами. Собрание осталось немо и неподвижно. Оно говорило устами своего президента только для того, чтобы заклеймить этих новых варваров: «Однако, чего же они хотят? Теперь это известно, они хотят анархии, пожаров, грабежа». Этого было мало. Дегуссэ желал бы, чтобы были арестованы опасные журналисты и сосланы, после простого удостоверения их личности, зачинщики беспорядков, и Дюклерку пришлось воспротивиться этому, воскликнув: «Вы требуете от правительства государственного переворота? Оно не станет его делать». На следующий день, 24-го июня, правительство, на которое так долго нападали, было опрокинуто. По предложению Паскаля Дюпра и многих других, Собрание объявило свои заседания непрерывными; Париж, благодаря Бастиду и несмотря на оппозицию шестидесяти членов, был объявлен в осадном положении, и все власти были сосредоточены в руках генерала Кавеньяка. Едва не высказались за роспуск *Исполнительной комиссии;* ограничились тем, что приняли ее отставку и отставку министров. Когда Кавеньяк был таким образом облечен диктаторскими полномочиями, Треля побежал к нему с проектом, в котором он предлагал средства, как

остановить кровопролитие. От него потребовали час на размышление, в течение которого распространили слух, будто он требует 150 миллионов для подкупа восставших; его сын, который стал протестовать, был освистан и осыпан угрозами; сам он ушел, ничего не получив. Больше ничего не желали, кроме обращения к силе. Повстанцев стали сильно теснить, с обеих сторон было проявлено много храбрости, отваги, было много мертвых; генералы и депутаты падали ранеными и убитыми; из провинции прибыла национальная гвардия, иногда в странном снаряжении, но воодушевленная яростью против парижан, которых ей представили, как людей, желающих низвержения Республики и общества.

В воскресенье 25-го была сделана запоздалая попытка к примирению. Кавеньяк и Сенар (не было ли это результатом их удовлетворенного самолюбия?) протестовали в своем воззвании против всякой мысли о репрессиях и заявляли восставшим: «Придите к нам, как раскаявшиеся братья, покорные закону. Республика всегда готова принять вас в свои объятия». Три миллиона были ассигнованы Собранием под видом помощи нуждающимся. Слишком поздно. Страсти были возбуждены до последней степени. Было известно, что арестованных расстреляли. Передавались рассказы, которым верили, не проверяя их, о разных жестокостях. Пресса разносила эти рассказы, с ядовитыми комментариями. У Итальянской заставы генерал Бреа, осмелившийся проникнуть к повстанцам для переговоров с ними и принятый за Кавеньяка, был окружен вместе с одним из своих офицеров и убит. Парижский архиепископ, монсеньор Аффр, который с распятием в руках попытался выступить посредником между сражавшимися, был убит пулей, посланной, весьма вероятно, со стороны солдат. Между тем баррикады падали одна за другой. Оставалось только Сент-Антуанское предместье. Сделали попытку соглашения. Было заключено перемирие. Рабочие делегаты получили свидание с президентом Собрания, который, провозгласив вместе с ними тост за демократическую и социальную республику, повел их к Кавеньяку. Однако диктатор соглашался только на капитуляцию без всяких условий. «Смерть палачу народа!»—раздался крик толпы, и окруженное осыпанное картечью предместье было взято приступом. В понедельник, в 11 часов 20 минут утра, Сенар возвестил Собранию эту новость в таких выражениях: «О! как я счастлив, господа! Возблагодарите бога, господа!» (Слово *гражданин* начало исчезать из официального языка.) Вскоре донесение Кавеньяка подтвердило, что восстание окончилось, и в провинции на стенах была расклеена следующая телеграмма:

Париж, 26-го июня, 2 часа пополудни. «Сент-Антуанское предместье, этот последний пункт сопротивления, взято. Повстанцы усмирены; борьба окончена. Порядок восторжествовал над анархией. Да здравствует Республика!».

В этой бойне история должна не только оплакивать проявленное неистовство бесчеловечия, она должна также заклеймить целые потоки клеветничества. В консервативной прессе всеми было решено, что повстанцы это—дикари, вандалы, отбросы человечества! Вскоре один буржуазный романист написал такие строки: «Неизвестно было, сохранит ли Франция свое положение в ряду цивилизованных наций или она спустится до уровня негрского племени, с древесной корой вместо одежды и человеческим мясом в качестве лакомства». Мари впоследствии говорил в самой Палате: «Нет, это не Республика сражалась с Республикой; это было варварство, которое осмелилось поднять голову против цивилизации».

Повстанцы убили Бреа; очевидно, они были способны на все и им щедрой рукой приписывали всякие жестокости: тут были и гвардейцы, распиленные между двумя досками, и мятые и надрезанные пули, заживо сожженные офицеры и изуродованные трупы, черепа, превращенные в плошки и в миски, сердца, нанизанные на концы штыков, похищенные и изнасилованные молодые богатые девушки, отравленная водка и сигары, которые продавали солдатам, защищавшим порядок, склады пороха для взрыва зданий и целых кварталов и т. д.

Это были басни, сводившие с ума, и пока они не были опровергнуты, наводившие панику; светившаяся в пятом этаже лампа оказывалась сигналом; подземный шум указывал на то, что катакомбы были минированы. В то же время это были басни зловредные, имевшие следствием то, что генерал Лебретон стал называть законной местью. Остатки повстанцев были за-

травлены в каменоломнях Монмартра и в окрестных деревнях около Парижа. Демократов Лагранжа и Ледрю-Ролэна преследовала неистовая национальная гвардия. Луи-Блан должен был несколько дней скрываться у одного из своих друзей, так как ему приписывали роль отца тех самых национальных мастерских, которые были устроены для того, чтобы подготовить его падение. В Собрании произошло смятение из-за того, что Дюклерк заявил, что сражались одинаково храбро с обеих сторон. «Это кощунство», закричали ему. Когда монсиньор Паризис заявил, что удостоверено, что пуля, которая убила архиепископа, прилетела не из рядов повстанцев, ему закричали: «Довольно! Довольно!» и когда Белэй подтвердил это, «голос», который не имел смелости себя назвать, прервал его следующими словами: «Нужно быть вполне уверенным в этих вещах, когда о них говоришь». Одно шло к другому; убийцы Бреа должны быть убийцами и архиепископа, и реакция превосходно использовала эти два трупа, воспроизводя во множестве эстампов эти трагические сцены смерти. Нужно ли после всего этого удивляться, если направо и налево стали убивать людей в рабочих блузах и с черными руками; если казарменные дворы стали настоящими бойнями; если Эдмунду Адаму и многим другим пришлось вырывать из рук солдат подвижной гвардии жертвы, которых эти зарвавшиеся молодцы не успели еще расстрелять; если стража стреляла через отдушины в заключенных, напиханных и задыхавшихся в тесном подземелье, которое тянется в Тюльери под земляной насыпью вдоль берега реки; если на Карусельной площади другие заключенные были умерщвлены ночью несколькими военными отрядами, которые в смятении стреляли как попало, взаимно поражая друг друга; если в крепостях и в тюрьмах стариков и детей расстреливали вперемежку со взрослыми; если раненых стаскивали с постелей и приканчивали ударами сабли; если изветы расцветали на этой почве, утучненной человеческими жертвами, как ядовитое растение; если во всех кварталах национальная гвардия стала исполнять роль судей и «вспомогательной полиции»?

Тех, кто пожелал бы познакомиться с подробностями этих отвратительных жестокостей, с документами, доказывающими их достоверность, я отсылаю к приложению смелого труда Луи Менара, написанного им несколькими месяцами позднее и озаглавленного: *Пролог революции.*

Да, конечно, нужно сожалеть о павших в этой уличной войне офицерах и генералах, потому что это была такая же человеческая и французская кровь, обагрившая землю; но за одну каплю буржуазной крови сколько пролилось ручьев крови плебейской! Сколько было жертв этой битвы! Герцен, который жил в то время в Париже, находил, что ужасы казацкого вторжения в 1815 году были превзойдены. Насчитывают до 25.000 арестованных, из которых около половины было освобождено. Английская печать насчитывала до 50.000 убитых. Полицейская же префектура признавала их только 1.460. Цифра очень высокая—с одной стороны, и очень незначительная, с другой, однако, трудно дать им надлежащую оценку; когда общество переживает бедствие гражданской войны, оно не делает строгого учета своих потерь людьми. Нам только известно, что когда коммерческая палата производила в тот год промышленную анкету, то она нашла целые опустевшие улицы; что такие корпорации, как, например, корпорация машинистов, были до такой степени опустошены, что многие мастерские должны были бездействовать за недостатком рабочих. Не будем высказываться определенно, чтобы не ошибиться. Но, не рискуя преувеличить, можно сказать, что кровопускание было ужасное и унесло несколько тысяч человек.

Пусть же спят, отдыхая теперь бок-о-бок друг с другом победители и побежденные, мы же попытаемся определить значение этих кровавых дней, значение, которое было неясно для большинства современников.

Было ли восстание направлено против Республики? Победители хотели убедить в этом. Собрание усыновило детей тех, кто погиб, как оно говорило, «защищая порядок, свободу и республиканские учреждения». Когда Гинар, командовавший артиллерией национальной гвардии, не решался обстреливать народ из пушек, Кавеньяк, чтобы заставить его решиться, убеждал его, что дело шло о защите Республики. Но Вилемэн, увидав, как несли трупы (защитников порядка) с похоронной надписью: «Умершие за Республику», не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: «Какая ложь пред потомством!». Однако, где же

правда? Вполне достоверно, что были очень искренние республиканцы, которые считали, что Республика подвергалась нападению. В начале битвы Флокон, как будто стыдясь за эту братоубийственную борьбу, пытался свалить вину за нее на иностранное золото и на интриги претендентов. И на самом деле, видели, как развевались белые знамена, видели графа Фушекура, командовавшего на баррикаде; были арестованы люди, распространявшие печатные роялистские воззвания и монеты с изображением Генриха V, вечного короля—кандидата легитимистов. Но кажется, главным образом, питала надежду воспользоваться беспорядком партия бонапартистская. Знаменитая газета *L'Organisation du Travail* *), которая взяла на себя задачу возбуждать междуклассовую ненависть, субсидировалась бонапартистами. В то время, как *Père Duchêne* **) предостерегал рабочих против провокации, другой листок, *Le Petit-fils du Père Duchêne* ***), будучи его наполеонистской подделкой, пускал в ход политику перекупщиков и пытался противопоставить банкету с входной платой в 25 сантимов, на который к 8-му июня подписалось до 165.532 человека, банкет еще более демократический с платой в 10 сантимов. Еще до главного столкновения были заключены в тюрьму 60 человек, за крики и шумные манифестации в честь Луи-Наполеона. Во время битвы один депутат разыскивал того же Луи-Наполеона, про которого говорили, что он скрывался на улице Шерш-Миди, с намерением застрелить его. Еще более важное свидетельство! Луи-Блан цитирует письмо, которое видал Шарра и некоторые другие: оно было адресовано на имя генерала Рапотеля и было написано приблизительно в таких выражениях:

Лондон, 22 июня 1848 г.—Генерал, я знаю ваши чувства к моей семье. Если события, которые готовятся, обратятся в сторону, благоприятную для нее, то вы будете военным министром.

Луи-Наполеон Бонапарт.

---

*) Организация труда.

**) Отец Дюшен.

***) Внук отца Дюшена.

У одного 14-летнего ребенка было найдено десять тысяч франков золотом; порядочное количество бонапартистов было среди заключенных. При арестах, произведенных в последующие дни в провинции, их было взято также довольно много. Например, один человек был заключен в тюрьму за то, что он предсказывал новое восстание в пользу Луи-Наполеона, «которое не может не восторжествовать, потому что рабочим Республика опротивела». Я уже говорил о том, как распространена вера в действительность сабли при разрешении социальных затруднений. Буржуазия думала на этот счет так же, как и многие рабочие,—свидетельство тому диктатура Кавеньяка. Нельзя отрицать, что это мнение способствовало парижскому восстанию, но нельзя так же отрицать и того, что оно имело только второстепенное значение.

Было ли, однако, это восстание социалистическим? Ошибаются те, которые ожидают встретить в нем движение, которого желала партия, организованная и руководимая видными социалистами. Думать так—это значит забывать, до какой степени Кабэ, Пьер Леру, Консидеран были людьми мирными, кабинетными и разъединенными. Ламартин, который хорошо их знал, писал: «Справедливость не есть изъявление нежных чувств, она—долг. Социалисты были не виноваты в этих фатальных днях». На самом деле восстание было анонимно и непредвиденно, у него не было ни начальников, ни программы. В призыве к оружию, расклеенному на стенах повстанцами, было следующее выражение: «Защищая Республику, мы защищаем собственность». Разве так стали бы говорить люди, желавшие сделать попытку коммунизма?

Прежде всего это было восстание голода и отчаяния. Широкие массы поддаются только одному подстрекателю—нищете. Смертельно раненый генерал Дювивье, испуская дух, сказал: «Нужно бы что-нибудь сделать для этих бедных рабочих; нужно им дать работу; нужно, чтобы отечество протянуло им руку помощи». Отмечено, что среди сражавшихся было много женщин. Виктор Гюго видел двух на одной баррикаде и они были первыми жертвами. Токвиль говорит, что у них не было другого исхода, они не могли вести свое хозяйство, им нечем было кормить детей. Франсуа Араго, пытавшемуся было выступить в каче-

стве посредника, был брошен следующий, ужасный в своей простоте ответ: «А, господин Араго, вы никогда не голодали!». Нельзя не видеть во всем этом последних конвульсий обезумевшего народа, у которого вдруг отняли все средства существования, которому отказали в *собственности, труде и помощи* и который предпочел внезапную смерть смерти медленной.

Но можно ли сказать, что никакая идея не парила над этим полем битвы? Это было бы удивительно для того идеалистического времени. В умах блуждала неясная мысль об экономическом освобождении. Это была та самая мысль, которую пытались формулировать с первых дней революции. «Мы желаем социально-демократической республики», говорилось в заглавной фразе того призыва к оружию, который мы цитировали выше. Рабочий класс надеялся, ждал сверху серьезных перемен в старых условиях труда; по истечении четырех месяцев он стал протестовать против невыполнения обязательств, которые были приняты по отношению к нему, и он умирал, потому что ни он, ни люди, бывшие у власти, не сумели осуществить того, что он скромно потребовал: «права жить, работая, для всякого, кто обладает только руками и рассудком». Вот что придавало общее значение и как бы символическую ценность его безнадежной агонии. Люди проницательные поняли глубокое значение этих событий, которое столь многие хотели свести на степень простого бунта. Например, Токвиль писал: «По правде говоря, это была не политическая борьба, а борьба классов, своего рода война рабов». Генеральный прокурор Амьена определил ее как «социальную войну самого опасного свойства», и он рассказывал, что в городе, где он жил, говорили следующее: «Дело идет не о республике, а о битве между хозяевами и рабочими, и мы должны итти сражаться за рабочих против хозяев». Кавеньяк благодарил свои войска за правильное отношение к *«несчастным заблуждениям»*. Выражение было странным, оно подразумевало уничтожение социальной ереси. Та же мысль, более ясно выраженная, встречается в письме Токвиля, помеченном 21 июля 1848 г.: «В июньском восстании,—писал он,—было нечто бо́льшее, чем простое проявление дурных склонностей: в нем была сложная идея. Многие из этих людей, шедших на низвержение наиболее священных прав, руководились ошибочными правовыми понятиями. Они искренно считали, что общество основано на несправедливости, и они хотели поставить его на другую основу. Это та революционная религия, которую же разрушат наши штыки и пушки». После этих событий мечты о социальном преобразовании можно было отложить на отдаленные и неопределенные времена; буржуазия и пролетариат соприкоснулись друг с другом, приобрели полное сознание и увидали тот широкий ров, который отделял их друг от друга на долгие годы, ров, отныне наполненный кровью и еще более ненавистью и злобой.

ГЛАВА IX.

Политические последствия июньских дней.

«Республика умерла», говорил Ламеннэ, после июньских дней. «Сердце мое надорвано,—писала Жорж Занд.—Я не верю больше в прочность республики, которая начинает с того, что убивает пролетариев». Однако, республика сохраняла видимость жизни; но ей была нанесена глубокая и неизлечимая рана, которая превращала ее существование в медленную и мучительную агонию.

Грохот пушек, которые разбивали дома предместья Тампля и Сент-Антуанского предместья, громко отдался за границей. Победа порядка во Франции была победой всемирной реакции. Одни смотрели на нее как на искупление, другие — как на отречение от 24-го февраля, все—как на падение Парижа, этого революционного города, руководителя народов, отечества изгнанников, места свиданий для новаторов и грозы для иммобилистов всех стран. Короли, троны которых пошатнулись, поняли значение этих событий. Франция, эта последняя надежда притесняемых народностей, не была больше страшна для притесняемых народностей, не была больше страшна для притеснителей. Она сама обрекла себя на невмешательство в дальнейшем в их защиту. Она оставила свое место в авангарде. В самом деле, также и даже больше, чем 9 термидора во время первой революции, эти плачевные дни отметили собою остановку в ходе событий и перемену направления в движении европейских народов.

Во французской провинции впечатление было не меньшее. Изумление, беспокойство, неурядица. Травля в лесах и как на волчьей охоте в полях за воображаемыми разбойниками. Недоверие и злоба к Парижу, изменчивому и страшному, как океан. Что это еще за коммунизм, который он намерен ввести? В открытом письме одного добровольца, который отправился вместе с Канской национальной гвардией на усмирение парижского восстания, есть следующие угрожающие фразы: «Если Париж не понимает нас, если он будет настолько слеп в непонимании своих интересов, что отдастся безумию коммунизма, то мы предоставляем ему погибнуть, но пусть он не рассчитывает больше на золото и кровь провинции. Разрыв будет тяжел, но он будет»... Еще больше увеличивало смятение то, что в некоторых местах произошли стычки. В Эссонах прозвучал сочувственный отзвук тому, что в бо́льших размерах разыгрывалось в Париже; в Марселе было самостоятельное движение, которое с 18-го июня волновало город по двум причинам: парижские волонтеры, которые были назначены для защиты Италии и которые, будучи жертвами нарочитых опозданий, терпели сильную нужду, заявляли свои требования; и затем распространялся слух, что Собрание намерено уничтожить декрет, ограничивавший рабочий день десятью часами. Отсюда шумные манифестации, недоразумения, кровавые стычки между солдатами и рабочими, несмотря на уступки префекта Эмиля Оливье. Один повстанец, говорят, выразился так, вполне в духе южан: «Я хотел бы пить кровь солдат и национальных гвардейцев так, как я пью этот стакан вина»; были построены баррикады, которые, однако, легко брались войсками; затем 153 человека были преданы суду. Остальная провинция знала о бунте, который ей казался «бунтом без знамени, без имени, без понятых мотивов и без оправданий», лишь по выпавшим на ее долю репрессиям, таинственным исчезновениям ее друзей и родственников, живших в большом городе, по арестам беглых повстанцев. Однако, его социальное значение обнаружилось довольно скоро. В Треву рабочие заявили в одной лавке: «Ну-ка, буржуа! смотрите, не обвешивать! Мы рабочие и возвращаемся с парижской битвы». В Бетуне некто, носивший красный пояс, был посажен в тюрьму на этом основании». Доносов было много повсюду. В Рибейре был сделан донос на Маркса Дюфресса в том, что он выкинул из своего окна «трехцветное знамя, осквернение красным колпаком». В Бордо двое рабочих были приговорены к 3 дням тюрьмы, один за то, что он кричал: «Вперед рабочие!», другой: «Да здравствует красная республика!». К рабочим относились с подозрением, почти как к преступникам, и прикрепили их на половину к месту их жительства; 6 октября 1848 года был разослан министром внутренних дел префектам следующий циркуляр: «Предлагаю вам распорядиться чрез жандармерию, чтобы рабочие не могли переезжать из одного департамента в другой без паспортов». Тем, что отняли у них свободу передвижения, не ограничились. Чиновникам, от которых они могли зависеть, было предписано следить за тем, чтобы они не занимались политикой, о чем свидетельствует следующий циркуляр главным инженерам от 16 ноября 1848 года. Если ложные учения и разрушительные теории будут около вас совращать с пути истины темные и доверчивые умы, то вы должны просветить их, оказать на них спасительное влияние... Вы должны отвращать ваших подчиненных, а в случае надобности и запрещать им от имени правительства ронять свое достоинство, принимая какое бы то ни было участие в банкетах, собраниях и манифестациях, иногда опасных и всегда бесплодных».

Но всего сильнее сказались последствия поражения пролетариата в Париже. Кавеньяк говорил: «В Париже я вижу победителей и побежденных, пусть будет проклято мое имя, если я соглашусь видеть тут жертвы!». Сенар написал: «Республика протягивает вам руки». Оба они так говорили 26-го июня в медовый месяц их пребывания у власти. Слова добрых граждан, которые не подтверждались, однако, их делами! В тот же день в Собрание Сенаром был внесен проект закона, начинавшийся так: «Всякий, кто возьмет в руки оружие, будет немедленно сослан в одно из наших владений, находящихся за морем, кроме Алжира». Алжир считался слишком близким; нужно было поставить глубину и пространство океана между обвиненными и их отечеством. К статье было прибавлено еще следующее дополнение: «Это постановление не вносит никаких изменений в военную юстицию, применяющуюся к тем, кто совершил акты измены или нарушил законы человечества». Удивительно характерно то, как был при-

нят этот проект, имевший столь важное значение. Когда потребовали, чтобы по этому поводу был сделан доклад и велись обсуждения. Бонжан (из консервативного большинства) воскликнул: «Займемся его обнародованием, а не *этими мелочами*. Это жалкое занятие!». Докладчик Меолль заявлял, что нужно заставить замолчать законность. Нужно мерами общественного спасения заставить исчезнуть всех тех, кто объявил смертельную войну обществу. Поступая так, говорил он, «мы заслужим одобрение Франции и всей Европы». Это мнение было выражено в двух статьях: первая предписывала *высылку* в колонии содержащихся в заключении за участие в восстании; вторая—предавала военному суду, учрежденному Кавеньяком, главарей, зачинщиков и подстрекателей, которые совершили какой-нибудь акт, отягчающий их вину участия в мятеже. Следует отметить, что *ссылка* (departation) была заменена высылкой (transpartation), так как ссылка должна была сопровождаться вмешательством в дело суда, тогда как высылка могла производиться без судебного приговора. Это был способ отнестись с уважением к закону, обходя его. Депутаты Горы требовали по крайней мере некоторой отсрочки. Разве можно было вотировать с такой лихорадочной поспешностью эту чудовищную меру, эту массовую проскрипцию? Флокон напоминал, что всякий раз, когда люди осуждали таким образом людей, история в свою очередь всегда осуждала судей. Коссидьер протестовал против ненавистного лицемерия, с которым делали вид, *будто* считались с интересами осужденных; в самом деле, когда их высылали без всякого процесса, то это делалось будто бы для того, чтобы избавить их от ярости тех, кто иначе умертвил бы их. Другие замечали, что при таком положении дел невозможен никакой контроль, чтобы избегнуть возможных ошибок или исправить их; что таким образом всякий заключенный тем самым объявляется и виновным. Что за важность! Зачем контроль, зачем суд? Даже несовершеннолетние и старость не были достаточно смягчающими обстоятельствами. Внесенные поправки, в которых предлагалось заключенных старше 60 лет и моложе 18, даже 16 лет, освобождать от высылки в тропические страны, были отвергнуты. Согласились только на то, чтобы женам и детям было позволено следовать за море за обвиненными, так как лучше, если заодно с ними уберутся и вол

чицы с волчатами. И то один голос прокричал: «На свои средства!». Мало того, пятьсот человек, высланных первыми, были взяты ночью, без сообщения их имен, без разрешения им пред отъездом повидать своих. Что же касается их семей, которые оставались, то тем хуже для них, если они вымирали. Дополнения, в которых предлагалось выдавать им вспомоществования, были отвергнуты. Католики Лабули и де-Монтрейль отличились среди самых жестоких. Фаллу предложил отправить вместе с обвиненными миссионеров, которые проповедывали бы им во время пути евангелие. Печальные партии высылаемых отправлялись в Гавр, Шербург, Брест, Лориан, Бель-Иль, где им предстояло прозябать на галерах или за крепостной оградой, в то время, как арестованных вместе с ними женщин поместили в центральной тюрьме Клерво. Восемь военных комиссий, которые были в сущности смешанными комиссиями, так как дела их были подчинены магистратам, начали энергично действовать. Парижский генеральный прокурор доказал свою независимость и смелость, потребовав освобождения заключенных, против которых не было никаких улик. Но ему ответили отказом. 5-го октября законодательная комиссия снова отказала заключенным в гласном суде с прением сторон, и если Собрание разрешило высылку в Алжир, то только потому, что переправка в другие колонии стоила бы слишком дорого, при чем было сделано исключение для «тех развращенных людей, у которых враждебность ко всякой социальной организации возведена в систему».

На требования амнистии со стороны левых получался всякий раз презрительный ответ о ее неприемлемости [1]). В одном докладе говорилось: «Разве перестали распространяться разрушительные учения, которые совратили этих несчастных и толкнули их на преступление?». Конечно, нет. Стало быть, простить их было бы опасно и несвоевременно. Обсуждение предложений об амнистии откладывалось четыре раза тайным голосованием, ко-

[1]) По официальным данным, число арестованных превосходило 15.000, аресты продолжались и после усмирения. После 27-го июня их было произведено 16.970. Над 10.057 было начато упрощенное следствие. 6.374 были освобождены. 4.348 осуждены на высылку, и среди них офицеры национальной гвардии, сражавшиеся с повстанцами, настолько велика была спешка. 951 из этих несчастных разными комиссиями были объявлены заслуживающими снисхождения.

торое прикрывало трусость анонимных репрессий. В Собрании до последнего дня его существования полагали, как говорил Леон Фошэ, что для этого восстания, подобного которому никогда еще не видала история, искупление было еще недостаточно; это Собрание вполне заслужило имя, которым назвал его депутат Лосседа «*Неумолимого Собрания*».

Что же, однако, произошло за это время с национальными мастерскими? Предложение о их роспуске, внесенное, но не принятое 23-го июня, снова было внесено 28-го июня одним из членов Собрания. 3-го июля Кавеньяк заявил, что он велел на время восстания продолжать выдачу в них жалований, с целью отвратить, по возможности, больше людей от участия в восстании, и что таким образом ему удалось устранить из борьбы большинство тех, кто числился в мастерских. Он объявил затем, что отныне они распущены и что следует только еще в течение нескольких дней выдавать пособия этим людям, «которые по большей части требуют только возможности работать». Два дня спустя Фаллу публично выражал сожаление, что слишком затушевали то участие, которое принимали в этом решении Собрание и парламентская комиссия, в которой он был докладчиком. Казалось, он был горд своей ролью, которую он в нем сыграл.

Он требовал своей доли почета за участие в спасении общества. Но интересное превращение: десять с половиною месяцев спустя, когда была восстановлена безопасность и пробудившаяся совесть стала возмущаться гнусностью совершенных убийств, он стал проявлять запоздалую скромность, он защищался, заявляя, что никогда он не действовал по своей собственной воле; он низводил себя на степень простого исполнителя распоряжений комиссии. Но как бы он ни старался умыть руки, следы крови на них остались.

Национальные мастерские департамента Сены обошлись в 14.500.000 фр. Женские мастерские, в которых работало 25.000 работниц, обошлись только в 328.627 франков. Предметы, которые они производили, продавались настолько хорошо, что трудовая помощь, которой они пользовались, обошлась всего в 15 сантимов в день на одну женщину. Убытки, нанесенные июньскими днями, исчислялись в 76 миллионов. Можно было сделать экономию в деньгах, экономя на человеческой жизни.

В то время, как таким образом заканчивалось систематическое подавление пролетариата, были еще и другие побежденные, на которых нападала Палата. Кавеньяк, передавший в руки Собрания свои полномочия, был в свою очередь провозглашен спасителем общества, оказавшим большие услуги отечеству; затем его вновь назначили главой исполнительной власти и он составил кабинет, в который вошли Сенар, Ламорисьер и Гудшо, бывшие во время борьбы наиболее деятельными его сотрудниками. Республика перешла еще один этап по пути удаления от демократии. Правительство изгнало из своей среды весь радикальный элемент. Только присутствие в нем Мари и Бастида еще напоминало о недавнем существовании *Временного Правительства*. И тотчас начинается работа по уничтожению всего того, что сделало это правительство.

Во-первых, чтобы не было больше разговоров о вооружении народа, Кавеньяк положил начало, приказав разоружить всю ту часть национальной гвардии, которая не явилась на сбор. Была вотирована благодарность, даны знаки отличия и миллионные награды национальной гвардии, защищавшей порядок, и подвижной гвардии. Во-вторых, были распущены легионы из предместий. Мало-по-малу возвращались к мысли о чисто-буржуазной гвардии: ружья только для тех, у кого есть что защищать; никакого оружия для пролетариев.

Затем нужно было наказать Париж. Был поставлен на обсуждение временный муниципальный закон; Париж ставился вне действия общего права; в то время, как другие коммуны и департаменты предполагалось оставить под управлением выборных советов, Париж и департамент Сены должны были управляться комиссией, назначаемой исполнительной властью. Самое большее, на что соглашались, это чтобы продолжалась обычная выдача субсидий национальным театрам. Провинциалы протестовали. Зачем оплачивать парижские развлечения? Нужно было, чтобы Феликс Пиа и Виктор Гюго выступили в защиту бедного Парижа, из которого хотели сделать «громадный Карпантра», и решающим для голосования, быть может, был странный аргумент, что редкая толпа устоит против открытия театра и что никакая не устоит против бесплатного зрелища. «Однако, при условии,—рассудительно прибавил Флокон,—чтобы эта толпа предварительно

пообедала». Остальные большие и маленькие города также попали под подозрение, хотя и не в такой степени, как столица. Главные города департаментов и даже округов лишились права выбирать себе мэров, которые должны были назначаться из среды муниципальных советников исполнительной властью. Всеобщему голосованию не доверяли.

Было принято и много других мер, которые наносили урон демократии. По приказанию Кавеньяка были закрыты клубы и запрещены газеты с репутацией опасных; он дошел даже до того, что своей собственной властью посадил в тюрьму Эмиля Жирардена, который ему мешал. Он выступил с поддержкой осадного положения. Таким образом, он подавал Собранию пример, которому нужно было только последовать. Когда собранию стало известно, что закрыты опасные клубы, некоторые члены воскликнули: «Они будут закрыты все!». Еще не решались пока окончательно и попросту уничтожить свободу собраний; однако, их обставили стеснительными правилами, и 11-го июля министром внутренних дел Сенаром был внесен проект в этом смысле. Как все проекты того времени в этом роде, он начинался с подтверждения закона, который предполагалось урезать. Принцип, как древнее жертвенное животное, украшали гирляндами, принося его в жертву.

Прежде всего занялись клубами. Им вменялось в обязанность подавать заявление о месте и времени своих заседаний; запрещалось учреждать закрытые комитеты; одна четвертая часть мест должна была быть предоставлена для публики и одно место правительственному агенту по его выбору, который мог без предварительного предупреждения констатировать нарушения правил и потребовать внесения в протокол своих замечаний, когда он сочтет это нужным. Члены президиума должны были во время самого хода обсуждения вести протокол и все подписывать его в конце заседания. Они не должны были разрешать обсуждение каких бы то ни было предложений, противных закону, общественному порядку и нравственности. Само собою понятно, что под этими неясными словами подразумевались всякие нападки не только на лиц, но и на самый принцип семьи и собственности. Никакие сношения и связи между разными клубами не должны были иметь места. Все нарушения формальностей, касающихся открытия клуба и хода его заседаний, должна была ведать исправительная полиция; остальные нарушения подлежали суду присяжных; наказаниями, смотря по случаю, были: штраф, заключение в тюрьме, лишение гражданских прав и закрытие клуба. Однако, все ли это? Нет. Несовершеннолетние и женщины были исключены. Было запрещено продолжение заседаний позднее часа, когда закрывались трактиры. Запрещалось устраивать собрания клубов в коммунальных или национальных зданиях. Ясно, чем должен был быть этот клуб, изолированный, отданный под надзор, стесненный тысячей формальностей, под страхом беспрестанно переступить границу, где кончалось узкое пространство, отведенное для него, постоянно преследуемый судом за обсуждение каких-нибудь доктрин, за критику чиновника, за резкое слово, вырвавшееся у какого-нибудь оратора. Закон был полон по отношению к нему самого мрачного недоверия.

После клубов та же подозрительность была проявлена по отношению к непубличным политическим собраниям, которые не могли состояться без формального разрешения со стороны муниципальной власти. Кружки и собрания, не имеющие политических целей, могли устраиваться свободно лишь после предварительного заявления. Но право собраний и право союзов настолько близко соприкасаются друг с другом, настолько тесно связаны между собою, что невозможно было коснуться одного из них, не затронув другого. Так и в этом законе вдруг появилась следующая статья: «Тайные общества безусловно воспрещаются». За нарушение этой статьи грозили самыми строгими наказаниями. О том, чтобы сказать определенно, в чем состоит тайное общество, и определить, что считается предметом политическим, не позаботились, оставляя таким образом широко открытой дверь для произвола. Как тайное общество, могло рассматриваться всякое собрание, о котором не было сделано надлежащего заявления, и всякая объединившаяся группа людей, настоящая цель которой была не та, о которой было заявлено ее членами. Ничего не было опаснее такой растяжимости текста статьи; рабочим обществам пришлось позднее испытать это на своей шкуре; даже благотворительные общества, которые номинально составляли исключение, не надолго избегали администра-

тивных придирок. Однако, декрет претендовал на либеральную внешность. Умеренные хотели сохранить известную меру в реакции. Демократы иронически требовали хоть столько свободы, сколько ее было при империи.

Некоторые статьи проекта в его первоначальной редакции были сочтены чрезмерными Дюфором и Фаллу. Нужно было внести к ним поправки. Даже самые бледные республиканцы не могли отделаться от некоторой неловкости при мысли, что ведь переворот 24-го февраля был произведен во имя свободы собраний. Но, несмотря на некоторые смягчения, этот закон был помехой на долгие годы для развития всеобщего голосования; он крепко связывал граждан, которые и так по отношению к государству были как бы пигмеями, по отношению к гиганту; он расколол класс простого народа, тогда как церковь—с одной стороны и франк-массонство—с другой оставались нетронутыми, составляя исключение из правил, прилагавшихся к простым смертным; тогда как у буржуазии была тысяча средств сконцентрировать и объединить свои силы в клубах, биржах и т. п.; он был в высшей степени удобен для того, чтобы держать под опекой невежественную массу и не давать ей научиться свободно обсуждать свои собственные интересы.

Этому закону предшествовали меры, принятые против вывешивания объявлений и газетных крикунов. Он был дополнен двумя законами, направленными против периодической печати, одним предупредительным и другим карательным.

Первым восстановлялся для газет залог, который фактически был почти упразднен со времени революции. Залог определили в 24.000 франков для всякого ежедневного листка, выходящего в департаментах Сены, Сены и Уазы и Сены и Марны. Париж продолжали наказывать исключительными мерами. Провинция же пользовалась привилегией, платя при таких же условиях лишь 6.000 франков в больших городах и 3.600 в маленьких. Внося и защищая этот проект закона, правительство находилось в весьма затруднительном положении. Во-первых, 2-го марта Временное Правительство напечатало в *Moniteur*: «Мысль должна быть освобождена окончательно... не должно больше быть ни гербовых сборов, ни залогов, так как ничто не должно мешать свободному обмену мнений». Больше того! 22-го июня исполнительная комиссия единогласно высказалась за этот новый принцип. А ведь в кабинете еще оставалось несколько затерявшихся членов бывшего правительства, и, в частности, Мари, министр юстиции. Он-то и был тем хорошим защитником дурного дела, который приносили публичное покаяние в рыцарских и великодушных намерениях, которые он разделял вместе со своими бывшими коллегами. Трудная задача, выполнение которой стоило ему многих суровых отповедей! Ледрю-Ролэн и Дюрье разоблачили это отречение, иронически подчеркнув нарушение торжественно принятых обязательств. То была рыцарская эпоха,—воскликнул один.—Древняя история!—прибавил другой. На самом деле с тех пор прошло пять месяцев.

Однако, не одно только правительство отрекалось от своего прошлого; кто из республиканской партии не кричал во времена Луи-Филиппа с негодованием против покушений на свободу прессы? Сам докладчик проекта некогда написал целую брошюру против залогов, которые он превозносил теперь. Было заметно некоторое смущение. «Мы далеки, — говорило правительство и его сторонники,—от намерения стеснять свободу мысли фискальными мерами! Это закон временный, вызванный исключительными обстоятельствами. Как можно допустить нападение на гранитные устои, на которых покоится общество? В минуты междуцарствия в области моральных правил необходимо требовать от журналистов гарантию их зрелости, их солидности. А денежная гарантия и есть ее осязаемый признак! Кроме того, старый закон монархии смягчен. Раньше требовался залог в 100.000 франков, мы же требуем всего 24.000 франков. Наконец, какая же партия не имеет 24.000 франков, чтобы основать газету?».

У противников закона (Луи-Блана, Феликса Пиа, Ледрю-Ролэна, Матье де-ла-Дром) не было недостатка в веских аргументах. Среди них были аргументы политические; обращались к примеру Швейцарии и Соединенных Штатов. Обращали внимание на то, что это значило нанести урон, главным образом, газетам демократическим, что это странный способ утвердить демократию. Республиканцам задавали вопрос, откуда явилось у них это стремление к самоубийству. Настаивали на социальной стороне этой меры. Требовать залога, это значит прилагать тот же цензовый порядок к периодической печати, признавать владычество денег в

области журнализма, отдавать мысль на усмотрение капитала, делать из писателя орудие в руках дельцов. Хуже того, это пережиток того времени, когда право писать зависело от имущественного положения так же, как от него зависело право голоса; это было способом отнять у бедного класса, имеющего интересы, противоположные интересам класса богатого, возможность их отстаивать; лицемерное и верное средство, чтобы убить листки по одному су, которые только и доступны для скудного бюджета рабочего.—«Молчание для бедных», красноречиво заявлял Ламеннэ.

Аргументы столь же справедливые, сколько и бесполезные! Буржуазия, привилегиям которой угрожали, хотела восстановить власть денег и решительно приносила в жертву политические свободы своему страху пред социальной революцией.

Еще с большей ясностью это обнаружилось в репрессивном законе, который последовал за законом о печати. Правительство одним скачком возвращалось к законодательству 1819 и 1822 г.г. времен Реставрации. Оно поставило только слово Республика там, где раньше было слово Монархия. Оскорбление Собрания и исполнительной власти наказывалось так же, как наказывалось раньше оскорбление короля и двух палат. Наконец, были добавлены еще специальные карательные меры, за нападки на суверенитет народа и на всеобщее избирательное право. Кавеньяк, лично способствовавший проведению этих мер, был убежден, что *следовало и что было возможно изъять из предметов обсуждения* республиканский принцип. Старая статья закона, дававшая правительству право запрещать опубликование протоколов парламентских и судебных прений, была удержана. Так давало себя чувствовать вечное недоверие сабли к мысли. Но главной была статья, при помощи которой намеревались поставить вне обсуждений «основы общества»! Жюль Фавр выдвигал этот оплот. Умеренные республиканцы и монархисты были согласны в том, что следовало запретить под страхом строжайшего наказания «какие бы то ни было нападки на свободу вероисповеданий, на право собственности и на семейное право». Религия, собственность и семья—вот настоящая Святая Троица того времени! Прудон справедливо писал: «Запретить всякое обсуждение гражданского кодекса, торгового кодекса, политической экономии... социалистических учений... Будет дело вернее... откровеннее». Ему возражали, что философское обсуждение будет разрешено. Но по какому признаку будут отличать нападки от обсуждения? Ему не могли этого сказать. Пьер Леру задавал вопрос, подлежит ли также уничтожению старый французский закон, который не признавал безусловного права за капиталом, и осуждал, например, за ссуды под проценты. Другой депутат Пьер Лефран ужасался чрезмерностью предложенной формулы. Как! догма собственности объявляется неприкосновенной под страхом за нарушение ее отлучения от церкви. Но как же тогда быть с законом об отчуждениях в видах общественной надобности? Ничего не хотели слушать. Наплыву социалистических идей хотели противопоставить плотину! Для этого решили задушить еще одну свободу, свободу мысли в области религиозной и социальной. Республика, руками умеренных республиканцев энергично подготовляла почву для деспотизма.

Следует упомянуть еще целую груду демократических проектов.

30-го июня Воловский ходатайствовал в *комитете трудящихся* об отмене декрета, ограничивавшего продолжительность рабочего дня. Выкуп государством железных дорог и страхования, прогрессивный подоходный налог, реформа ипотечных ссуд,—все было оставлено, взято обратно министрами, покорными слугами большинства. Один из них еще думал, что необходимо сделать более серьезным и более доступным народное образование—это был Карно. Но улица Пуатье решила его судьбу. На него начались жестокие нападки. И под каким предлогом? Все из-за той же опасности разрушительных социалистических учений. 5-го июля Бонжан сделал донос на *Manuel républicain de l'homme et du citoyen* *), которое выходило под покровительством министерства народного просвещения и автором которого был философ Шарль Ренувье. Книга была написана в форме вопросов и ответов в разговоре между учителем и учеником. В ней был следующий отрывок диалога: «Есть ли средство помешать богатым оставаться праздными и бедным быть поедаемыми богатыми?». В ответ говорилось, что для того, чтобы этого достигнуть, можно ограничить права наследства и сделать прибыль, по

*) Руководство республиканца человека и гражданина.

возможности, незначительной. Затем говорилось, что крупные собственники, которые ничего не делают, были бы вынуждены продать свои земли, если бы они платили налог соответственно их имуществу, что свободная конкуренция приводит к сосредоточению богатства в немногих руках, что государство в праве вмешаться, чтобы исправить эти последствия свободы промышленности.—Это справедливо,—воскликнули некоторые.—Но дело не в том, справедливо ли это или нет,—возразил Бонжан,—дело в том, отрицает ли эти идеи министр, а так как он отказался осудить это руководство, предназначавшееся не для детей, а для учителей, то он и был беспощадно низвергнут.

Однако, социализм не умер. Чудовище снова появилось во время выборов. Оно снова появлялось на трибуне в лице загадочного могучего существа, наполовину школьного учителя, наполовину придунайского крестьянина, с честным, розовым и спокойным лицом, на котором блестели живые, смягченные очками, глаза, существо с душой, кипящей идеями и гневом, с речью, уснащенной цифрами, силлогизмами и сарказмом, бывшего в постоянном противоречии и с другими и с самим собой. Прудон (так как это он появлялся на сцене) взял себе девизом: *Я разрушу и создам снова*. Но февральская революция со всею своей разрушительной работой застала его врасплох. Будучи революционером по темпераменту, он принял в ней участие, хотя он находил, что она наступила слишком быстро и что он предпочел бы совершить в тридцать лет то, что совершилось в три дня. Он подписался под прокламацией, в которой парижанам давался такой совет: Луи-Филипп поступает с вами так же, как и Карл X—отправьте его к Карлу X. Когда трон был опрокинут, он, видя, что взаимные обвинения не имеют никакого смысла, бросился в борьбу, но без энтузиазма; в качестве критика, каковым он был, он действовал, отдавая себе отчет в том, что делал, обсуждая как свои поступки, так и поступки других. Он основал газету *Le Representant du Peuple* *) и так как к нему обращались с требованием разрешить социальный вопрос и он обещал это сделать, то он изложил свою теорию в ряде горячих статей и в брошюрах с громкими заглавиями. Он ставил в упрек Временному Правительству запрещение красного знамени, «союзного знамени человечества»; он нападал на Луи-Блана, который напрасно с презрением отверг его предложение союза. Будучи в первый раз выставлен кандидатом (что мало вязалось с его страстным презрением к парламентаризму), он потерпел неудачу; когда затем он был избран в Париже, он записался в *Комитет финансов* и тем, кто этому удивлялся, хладнокровно отвечал: «Я финансист». Но в Собрании он почувствовал себя потерянным; он потерял связь с народом в этом, как он его называл, «изоляторе»; он не мог ни предвидеть, ни предупредить июньских дней; он мог их только оплакивать. Они были для него поводом для внутреннего кризиса, решительным событием, которое толкнуло в практическую политику этого человека, всю жизнь поносившего политику. Он смотрел без сожаления на гибель Луи-Блановских проектов. «Не знаю, гордость это или помешательство,—говорил он,—но я решил, что день мой настал». Момент показался ему подходящим для того, чтобы поставить в порядок дня свою собственную систему. 8-го июня, обращаясь к мелким лавочникам, он писал в своей газете: «Срок платежа! Вот он срок платежа, чем же мы будем расплачиваться?.. Идите просить у ваших пресловутых консерваторов труда, кредита, хлеба! А они вам предложат для вас, для ваших жен и детей крови и трупов». Затем, вопреки своим правилам он, обращаясь к властям, поместил в своей газете проект петиции, составленной скорее в повелительном тоне, чем в просительном. Он предлагал всем фермерам, всем квартирантам, всем должникам требовать от Собрания декрета, которым бы приказывалось всем собственникам делать в течение трех лет скидку в размере трети с квартирной платы, с аренды, с долговых обязательств. При помощи полученных таким образом 1.500 миллионов франков, можно было бы пустить снова в ход «социальные часы, остановленные революцией». Часть этих денег была бы возвращена, таким образом, государству, часть—частным лицам, и промышленность, и торговля возобновили бы свою деятельность. Эта статья повлекла за собой закрытие Кавеньяком газеты. Тогда, воспользовавшись своим депутатским правом инициативы, Прудон снова взялся за свой проект петиции, выдвинув его в форме предложения закона, который был сдан в *Комитет финансов*. Прудон был в

*) „Народный Представитель".

нем, не считая Пьера Леру, который его вовсе не посещал, единственным представителем своего мнения. Напротив, цвет ортодоксальной политической экономии был представлен в нем в значительном количестве в лице Тьера, Бастиа, Леона Фошэ, Баррье и Дювержье де-Оранна. Возмущенный *Комитет* поручил Тьеру требовать у Палаты вотума громкого осуждения. Доклад об этом был прочитан 26-го числа со ошеломляющим успехом. Тьер, благоразумно остававшийся за кулисами, выступил на сцену с блеском. Пришла его очередь спасать общество. Как истребитель социализма, он изображался в виде святого Михаила, поражающего дракона.

Однако, зверь защищался. 31-го завязался спор: настоящий поединок между старым и новым мирами. Это был великий день короткой парламентской карьеры Прудона. С гордостью, которая была одною из его сильных сторон, он заявил, что это был день, в который революция стала ясна для всех, в который, слушая его, поняли, что смыслом ее была социальная ликвидация. «С 31-го июля, писал он,—революция стала неизбежной». Он хвастал, что в этот день, он показал самым слепым бешеную борьбу классов, что он толкнул нацию помимо ее воли на дорогу социализма, что он владычествовал над сознанием целого народа. Все это нуждается в поправках. Правда то, что и на сей раз он, по своему обыкновению, произвел грозный выстрел в воздух. Заседание (мы еще вернемся к нему), как и нужно было ожидать, было бурное. Прудон говорил плохо, как и большинство социалистов того времени. В самом деле, где же они могли научиться говорить в стране, в которой до того времени для них были закрыты все трибуны? Прудон вышел из затруднения, принеся речь написанной, и один против всех, пренебрегая смехом, шиканьем, криком, призывами к порядку, подбирая выражения, наиболее способные разозлить, напутать его слушателей, смотря без сомнения с тайным чувством удовлетворенности на то, как Гудшо вышел из залы вне себя от нервного возбуждения и негодования, он в течение нескольких часов боролся против бури. Затем на оратора посыпался целый град формул перехода к очередным делам. Их было не менее пятнадцати. В одной из них требовали, чтобы его речь не печаталась в *Moniteur* и чтобы газеты, которые осмелятся ее напечатать, подверглись преследованию; в другой предлагалось наказание презрением, в виде снятия вопроса с очереди без обсуждения; и это не считая тех, которые председатель не решился даже прочитать. Наконец, согласились на следующей бесцветной формуле:

Национальное Собрание, приняв во внимание, что предложение гражданина Прудона представляет собою злостные нападки на принципы общественной нравственности; что оно заключает в себе нарушение права собственности; что оно поощряет изветы; что оно взывает к самым дурным страстям; кроме того, признав, что оратор оклеветал Революцию 1848 года, приписав ей солидарность с теми теориями, которые он развил,— переходит к очередным делам.

Это полное отлучение от церкви было принято 691 голосом против 2. Прудон был осужден всеми своими коллегами за исключением одного лионского рабочего, Греппо. Не только присутствовавшие на заседании монтаньяра, но и социалисты Луи-Блан и Консидеран высказались против него. Был ли он этим опечален? В этом можно усомниться, если судить по тому, как он описал это неистовство, предметом которого он был:

Я стал... *чудовищем*... Меня увещевали, изображали на сценах, воспевали в шансонетках, поносили, писали мою биографию, изображали в карикатурах, ругали, оскорбляли, проклинали, но мне выказывали презрение и ненависть, отдавали на суд моим коллегам, преследовали, судили, мои избиратели осуждали меня, мои политические друзья стали относиться ко мне с подозрением, за мной шпионили мои сотрудники, на меня доносили мои единомышленники, от меня отреклись сторонники одной со мною религии. Ханжи угрожали мне в анонимных письмах божьим гневом; благочестивые женщины посылали мне образки; проститутки и каторжники обращались ко мне с приветствиями, непристойная ирония которых свидетельствовала о превратном понимании моих мыслей. В Национальное Собрание обращались с петициями, требуя моего изгнания, как недостойного.

Или я жестоко ошибаюсь, или в этой тираде сквозит скрытая радость. Каковы же были непосредственные результаты этого знаменитого заседания, в котором Прудон хотел говорить через головы заседавших в Бурбонском дворце?

Социализм явился тут агрессивным, угрожающим, трубящим победу над буржуазным классом. Другой социализм—примирительный, мирный, еще веровавший в сотрудничество классов, в преобразовании общества, расплатился за невоздержанность этого брата-близнеца.

В то время, как Прудон пребывал в своем положении упрямого спорщика, в котором он всегда находил удовольствие, «сбивая предметы и людей, как кегли, не крича им—берегись», на-

водя ужас на буржуазию и раздражая социалистов, давая первым в руки оружие и создавая для вторых врагов излишеством в своих словах, Собрание готовилось покончить со всеми теми, в ком бродили еще мало-мальски революционные дрожжи.

Большинство, которое продолжало называть себя и, быть может, считало себя республиканским, имело глупость 26-го июня в пылу сражения выбрать комиссию, которой было поручено выяснить, при помощи анкеты и всеми другими средствами, причины июньских дней и покушения 15-го мая. Оно снабдило ее полномочиями вызывать лиц и требовать предъявления ей всяких данных, которые могли бы выяснить дело. Комиссия, состоявшая из 15 членов, избранных в закрытом заседании бюро, выбрала своим председателем Одилона Барро последнего министра Луи-Филиппа и докладчиком Квинтена-Бошара, новичка, который был в то время послушным исполнителем желаний своего коллеги и соотечественника. Это значило, что она должна была быть орудием мести и уничтожения против исполнительной комиссии, Временного Правительства, и даже самой февральской революции, виновной в том, что она погубила в зародыше министерство Одилона Барро.

Прежде всего начались вопли против социалистов. Прудону один из его коллег приписывал следующие слова в героическом духе, от которых он тщетно много раз отказывался, будто он пошел на площадь Бастилии, чтобы увидать вблизи «страшный и величественный ужас канонады». Ограничились намерением убить его морально, но, кроме того, нужно было убить политически Луи-Блана. Его нельзя было обвинить в причастности к восстанию. Против него нельзя было выставить ничего, кроме неопределенного обвинения, в моральном соучастии. Тогда обратились к 15-му мая. Одилон Барро должен был сознаться, что Луи-Блан в этот день совсем не был в Ратуше. Собрание однажды уже высказалось по этому поводу; оно не дало разрешения на его преследование. Ну что же! Оно отделается от своего решения, отменив его! В ночном заседании, которое продолжалось до шести с половиной часов утра, Собрание, основываясь на обвинительной речи генерального прокурора, немедленно поставленной на обсуждение после решительного вмешательства Мари и Кавеньяка, без всяких улик постановило передать Луи-Блана в руки так называемого правосудия. Но никто не заблуждался на этот счет. Всякий знал, что в его лице преследовали учение, идею, направление. Социализм ставили вне закона.

Затем очередь дошла до Коссидьера. В его лице хотели поразить тайные общества. Время было уже не то (оно летело с головокружительной быстротой в 1848 году), когда буржуазия была ему признательна за то, что он водворил порядок при помощи беспорядка. Его имя выкрикивалось повстанцами. Преступление достаточное! Его соблаговолили освободить от военного суда, как невиновного в июньских днях, но затем он подвергся преследованию за 15-е мая, хотя и был уже однажды оправдан по этому пункту. Так покончили с двумя стеснительными противниками. Правительство дало возможность этим двум жертвам возродившегося греческого остракизма, выбраться в Англию, откуда они более не возвращались.

В то же время сделано было нападение и на Ледрю-Ролэна. Но он не поддался; он перенес открыто этот политический вопрос на политическую почву; он представлял его, как желание павшей монархии отплатить республике. Дело идет о спасении народного представительства, потому что раз брешь пробита, то нельзя предупредить тех насилий, которые увеличат ее с тем, чтобы выбросить в нее все Собрание». Главное же то, что он удовлетворялся требованием таких социальных учреждений, которые вовсе не затрогивали основ современного строя. Чувствовалось, что за ним стоит значительная часть мелкой буржуазии. Его не осмелились поместить на колесницу обвиненных. Однако, реакционная партия имела успех, превзошедший ее ожидания. Многим политическим группам, главным вожакам республиканской партии пришлось защищаться пред теми самыми людьми, которых они устранили от власти; они вынуждены были допустить нарушение неприкосновенности их жилищ и захват их бумаг; при насмешках со стороны своих противников, они взаимно оговаривали друг друга, опровергали, оскорбляли, и эта парламентская анкета, сотканная из изуродованных показаний, коварных пересуд, анонимных доносов и искусных инсинуаций, ставших тем более смертоносными, что они делались под видом слащавых призывов к согласию, явилась пред общественным мнением как бы арсеналом, из которого черпали свое оружие все враги

нового строя, и неопровержимым свидетельством слабости, в которую с тех пор впал этот новый строй.

Умеренные, которые допустили и поощряли это дело ненависти и разъединения, заметили, но немножко поздно, что они были обмануты своими союзниками справа. Самому Кавеньяку было поставлено в упрек то, что он дал вырасти восстанию для того, чтобы его заслуга в подавлении его была больше и чтобы было больше основания передать ему верховную власть. Возник вопрос о контр-анкете. Но предложение было похоронено. Старые парламентские пройдохи, которых было много среди консерваторов, сильно остерегались вложить этот отравленный стилет в руку своих противников.

Политическое положение можно резюмировать в следующем признании Кавеньяка: «Большинство Собрания руководит всем. Я только орудие в его руках». Роман-памфлет того времени описывает положение в следующих выражениях: «Стали жить в более спокойной атмосфере, клубы безмолствовали, прессу едва было слышно; не было больше ни групп, ни песен на перекрестках. Военный режим приносил свои плоды. В этот-то момент и в этих условиях должно было делаться самое важное дело Учредительного Собрания—выработка конституции Французской республики.

ГЛАВА X.

Конституция 1848 года.

Учредительное Собрание 1848 года, как и все Учредительные Собрания, бывшие во Франции, сделало большую ошибку, не отдавшись исключительно тому делу, которое выпало на его долю. Этой трудной задачи, преобразования в демократическом направлении французского общества, было вполне достаточно для его деятельности. Но у этого Собрания на все руки, волнуемого беспрестанно всевозможными вожделениями и страстями, которые окружали власть, отвлекаемого раздражающими мелочными вопросами минуты, вынужденного посвящать свое утреннее время текущим делам и только послеобеденное время работам над конституцией, не было ни спокойствия, ни досуга, необходимых для выполнения серьезной законодательной работы, которая была ему поручена.

Этому Учредительному Собранию ставили в упрек, что оно действовало на скорую руку. Упрек преувеличенный, но в нем есть большая доля правды. Что ему особенно не хватало,— это медленного высиживания, из которого родились бы жизнеспособные реформы, предварительного обсуждения, во время которого сложились бы в умах декреты, которые оставалось бы затем только проредактировать. Нация, застигнутая врасплох внезапностью революции, не подвергла предварительно глубокому изучению деликатные проблемы, которые предстояло разрешить ее депутатам. Но этих последних нельзя обвинять ни в недостатке компетентности, ни в лености. *Комитет* восемнадцати, выбранный Собранием 17-го и 18-го мая, состоял из уважаемых людей, представлявших все партии, кроме партии легитимистской, которой не было никакого дела до организации народного суверенитета, так как она почти в полном составе оставалась верной королевской власти, наделенной божескими правами. Умеренная республика была в нем представлена Корменэном, бывшим в начале его председателем, Маррастом, его докладчиком, Вуареем—секретарем, затем Волабеллем и пастором Кокерелем и Карбоном—рабочим, который был более близок к буржуазии, чем к своим товарищам. Монархисты, приставшие к республике, старые пройдохи парламентаризма, бывшие во время Луи-Филиппа в оппозиции, фигурировали в значительном количестве: Одилон Барро, Дюфор, Дюпэн старший, Вивиен, Токвиль и его друг Бомон, которые ездили в Соединенные Штаты изучать демократию, но которые больше знали ее, чем любили. Эти две группы были преобладающими в комитете. Истинно демократическому духу было отведено только небольшое место в лице Ламенэ и Консидерана; этот последний, несмотря на то, что был социалистом, заставлял относиться к себе с уважением, благодаря «умеренности своих доктрин, умению держать себя и осторожности речи», говоря словами одного из его противников.

В течение месяца был выработан один проект; он был внесен 9 июня и сдан на рассмотрение в бюро. Настали июньские дни; было бы невероятно, если бы они не оказали влияния на

судьбу проекта. Делегаты бюро потребовали серьезных изменений его; Кавеньяк и министры также высказались по этому поводу; и новый проект, представленный 30 августа в Собрание, вместе с докладом Марраста, уже значительно отличался от первого. Разницу можно резюмировать таким образом: тон менее евангельский, тенденция менее космополитическая; свободе, демократическим и социальным реформам отводилось меньше места; заметная и общая потеря красок.

Обсуждение его началось 4 сентября и без перерыва продолжалось до 27 октября. Шести недель для дебатов по предмету такой важности было мало. Однако, спешили выйти из предварительной стадии. Как только комитет просмотрел текст, принятый Палатой, назначено было второе чтение на 31-е октября и после двухдневного обсуждения, 4-го ноября было произведено окончательное голосование.

Принятая таким образом конституция состояла из двух частей, весьма неравных по своему значению: из вступления, в котором были изложены основные положения, из ряда статей, которые являлись его приложением.

Вступление, редакция которого была поручена Корменэну, Консидерану и Волабеллю, сначала должно было быть декларацией прав и обязанностей гражданина. Это было воспоминанием о великом Учредительном Собрании. Были перечислены и определены следующие семь прав, гарантированных конституцией: равенство, свобода, безопасность, образование, труд, собственность и помощь. Но бюро испугалось уступок, сделанных народу; третье бюро, устами Тьера, решительно высказалось против этой, как он ее называл, ереси; он утверждал, что общество должно только обещать, но не гарантировать труд, образование и помощь, потому что от него не зависит предоставить их тем, кто в них нуждается. Вследствие этого, вступление явилось перед Собранием, сильно подслащенным. Но от этого нападки не ослабели. В прениях по поводу него всего лучше обнаружился дух времени. Много было сказано ораторами пустых, напыщенных фраз, приводилось много философских, метафизических и полу-религиозных соображений, которые минутами заставляли сомневаться, было ли это политическое собрание или академия, или собор. Велся квази-теологический диспут между епископом и пастором по поводу того, что следует поставить в заголовке: «Перед Богом» или «Именем Бога». Только один голос в седьмом бюро требовал упразднения этой мистической формулы. Ему ответили, что Бог есть начало и конец всего. Был тут наивный порыв национальной гордости в заявлении, сделанном вселенной о том, что Франция устанавливает у себя Республику, чтобы сохранить за собой «инициативу прогресса и цивилизации». Знаменитая речь Пьера Леру, который резонно говорил, что политическая наука переживает еще детство и который доказал это тем, что критиковал все целиком, не предлагая ничего определенного взамен. Главным же образом, старались придумать такие двухсмысленные формулы, которые давали бы обещания, не связывая; в которых провозглашалось бы нечто новое, но не говорилось бы, что именно; которые успокоили бы буржуазию, не давая народу повода жаловаться на то, что все остается без перемены; которые щадили бы прошлое, не открывая и в то же время не запирая дверей в будущее. Все вступление едва не было упразднено, как излишнее и опасное, после иронической речи Фресно. Однако, его удержали, потому что сочли необходимым запечатлеть в нем смысл Революции.

Но это было чрезвычайно трудно. Политический ее смысл был ясен; во внутренней политике получение всеми совершеннолетними французами права голосования; во внешней—больше не было речи о человеческом братстве первых дней, но все еще провозглашался всеобщий мир и взаимное уважение между нациями; не должно быть больше завоевательных войн; посягательства «на свободу какого бы то ни было народа», как это говорилось в статье V. Правда, один депутат, Лафайет, задавал вопрос, как можно примирить с этим положением завоевание Алжира; ему ответили (ответ неудовлетворительный), что Алжир был завоеван законно за оскорбление, нанесенное французской нации. Учредительное Собрание остановилось на полпути в своих мирных и братских намерениях по отношению к другим народам. Оно отвергло поправку Кинэ и Виктора Гюго, которая состояла в следующем: «Франция намерена свободно добиваться прогресса цивилизации и человечества». И когда Франциск Бувэ, депутат Эна, заявил, что международный третейский суд, всемирный и постоянный кон-

гресс народов, когда-нибудь заменит войну и будет разбирать споры между народами, гарантировать договоры и регулировать человеческую деятельность на пользу мирного развития обществ в духе нравственности и благополучия, ему ответили насмешками и шутливыми возгласами.

Итак, согласие на этой почве было далеко неполным; но по поводу социального значения Революции споры были еще более страстные. На этом вопросе мнения разошлись всего больше. Право на труд было центром сражения. Это была главная позиция, на которой хотели утвердиться, осаждающие и которою в конце-концов они не смогли овладеть. Но, мы пока не будем говорить об этой главной борьбе; мы посвятим подобающее ей место во второй части этой книги, где мы проследим развитие фактов и теорий в области экономической. В настоящую минуту достаточно отметить те перемены, которые были внесены в политическую и административную организацию Франции...

В этой области целью всякой конституции является определение функций общества и тех коллективов, которые оно в себе заключает, а также определение предела, свободной личной деятельности. Конституция 1848 года, как и другие, попыталась установить это спорное разделение.

Она различала «права и обязанности, подчиненные положительным законам, и права, неподчиненные и независимые от этих законов». Таким образом в ней утверждалось, что человек не весь целиком входит в область общественного договора, что известная доля его существа и его жизни остается свободной от вмешательства закона и что за ним остается право протестовать и не повиноваться в этой области. Она не определила точно границы, всегда трудно определимые, где может и должно кончаться подчинение. Но она все-таки постаралась указать основные права, гарантированные гражданам, свободу передвижения, неприкосновенность жилища, уважение человеческой личности, уничтожение рабства и смертной казни для политических, свободу вероисповеданий, собраний, союзов, петиций, свободу выражения мысли через прессу и иными способами, даже свободу образования. Вот целый ряд прав формально и неопределенно признанных за личностью. Но когда к ним присмотришься ближе, то замечаешь, что они менее полны, чем кажется, и распределены неравномерно. За исключением права собственности над человеком, которое было уничтожено Временным Правительством и не восстановлено; за исключением статьи, по которой все дела подлежат обыкновенному суду и которая запрещает учреждение исключительных судов (статья, имеющая в виду высылку без суда, которая в то время практиковалась), нарушений общих правил было много и нарушения эти внушали опасения.

«Никто не может быть арестованным или заключенным в тюрьму без предписания закона»; но закон не устанавливал, как в Англии, что арестованный должен быть допрошен или выпущен на свободу в течение суток. Текст закона не менее неясен в своей части, касающейся жилища; он не может помешать обыскам более или менее законным. Смертная казнь уничтожена по политическим делам; но расстрел заменил эшафот, и когда Виктор Гюго, Кокерэль и де-Раси потребовали полного уничтожения этого непоправимого наказания, предполагающего непогрешимость судьи и похожего на месть, большинство, и в том числе много католиков и военных решило удержать для общества возможность и почти обязанность убивать и застращивать для своей защиты преступников. Ссылаясь также на общественную безопасность, было ограничено право собраний и ассоциаций и этого было достаточно, чтобы свести это право на-нет. «Периодическая печать ни в каком случае не может подвергаться цензуре»; но это запрещение отказались распространить на залоги и на монополию печатания, что являлось замаскированной предварительной цензурой; особенно не хотели, чтобы театр пользовался теми же преимуществами, что и пресса, и Виктор Гюго, бывший еще в рядах консерваторов, мог воскликнуть: «Я вижу с горестным разочарованием, что все идеи свободы извращены и потеряли свое значение во время этого обсуждения республиканской конституции».

В проекте значилось, что «каждый свободно исповедует свою религию и при отправлении ее обрядов пользуется покровительством наравне с другими. Но это равенство было обманчивым, потому что в следующем параграфе добавлялось, что есть исповедания, признанные законом, и что служители только этим

исповеданий имеют право на получение содержания от государства. Ламенэ, оставаясь верным самому себе, потребовал в *Комитете* отделения церкви от государства. Пьер Леру, столь же религиозный ум, как и Ламенэ, протестовал в Собрании против предоставления привилегии некоторым вероисповеданиям, говоря, что этим делается невозможным прогресс религии, что она благодаря этому должна застыть в неподвижных формах и что она будет связана таким образом путами материальных интересов. Лаваллэ предложил следующую поправку: «Никто не может быть принужден платить налоги в пользу надобностей какого бы то ни было культа. Республика не содержит никакого культа». Он указывал на нелогичность для государства, которое заявляет себя нейтральным, поддерживать противоестественную связь между духовным и мирским, служащую источником постоянных конфликтов и заставляющую свободомыслящих содержать тех людей, *которые их беспощадно осуждают. Он ссылался на то, что* возвращение христиан к бедности будет для них возвращением к Евангелию. Он напоминал, что бюджет культов, по мысли тех, кто его создал, вовсе не имел значение вознаграждения духовенства за конфискованные у него во время революции имущества; что отделение церкви от государства отлично существовало с 1794 до 1802 года и что легко можно было бы вернуться к этому порядку. Его поправка была отвергнута поднятием рук, а когда Бурза внес предложение, чтобы никакая конгрегация не могла быть учреждена иначе, как в установленном порядке и на условиях, точно определенных соответствующим законом; при чем он указывал на то, что такое-то общество скорее является обществом политическим, нежели религиозным, а глава такого-то живет за границей, или что оно придерживается направления, противного основным государственным законам, то от этого стеснительного предложения отделались тем способом, которым пользовалось и злоупотребляло Учредительное Собрание. Его отложили, отнеся к области органических законов, которые должны были рассматриваться позднее. В общем католики добились того, что прерогативы их Церкви остались теми же, что, по требованию Фаллу, ссылавшегося на традицию Франции, этой старшей дочери католической церкви, было сохранено содержание кардиналам, которое грозили уничтожить.

Ободренные своим успехом, благодаря которому религиозная свобода обратилась в их пользу, католики задумали отвоевать у университета свободу преподавания. Монталамбер выставлял ее как неотъемлемое право, которого он требовал для всякого лица, но оспаривал у государства. Его речь была резким обвинительным актом против государственного и светского образования. Но она была преждевременна. Орлеанисты, еще мало склонные войти под ярмо клерикалов, противились и едва не порвали со своими слишком поспешными союзниками. Католики почувствовали, что следует благоразумно отступить. По просьбе своего зарвавшегося коллеги, Фаллу взял на себя провести это отступление. Насколько Монталамбер был надменен и резок, насколько Фаллу был смиренен, скромен, примирителен и лукав. Конечно, Монталамбер был плохо понят. Его нападки были направлены против социалистических школ, а вовсе не против *университета; и что касается до него, Фаллу, «то он никогда не* потерпел бы хотя бы малейшего покушения на свободу университета». Разве не известно, что папа всегда был полон доброжелательства к народу? Разве не была религия естественной союзницей демократии? Впоследствии уладятся полюбовно маленькие распри, которые, может быть, вносили рознь между учреждениями для светского образования и домами для религиозного воспитания. Монталамбер взял назад свою поправку. Но затем он снова переходит в нападение. Он желал бы, чтобы был уничтожен государственный контроль над духовными образовательными учреждениями. Он не имел успеха. Однако, в конституции оставалась следующая статья, чреватая последствиями и бурями: «Образование свободно». Свобода образования, свобода труда, это были те две обоюдоострые формулы, одинаково эластичные и двусмысленные, в которых проявилась и которыми скреплялась связь между церковью и буржуазией. Так как Монталамбер хвастал, что он ничего не требует для католических школ, кроме свободы, то Изаламбер крикнул ему: «Свободу!.. да мертвую»... Он хотел этим сказать, что там, где существует экономическое неравенство, всеми преимуществами свободы пользуются только богатые. Нужно не забывать эту истину для того, чтобы свести к их настоящей ценности некоторые либеральные намерения того времени, так же, как следует иметь в виду неточность в

выражениях, пример которых мы только что приводили, чтобы понять, как мало, несмотря на внешность, были гарантированы конституцией права граждан.

Не трудно заметить, что законодатели главным образом сосредоточивали свое внимание на организации власти, дарованной обществу. Предстояло разрешить первый фундаментальный вопрос. Останется ли Франция строго единой, централизованной, какою она была? Какая доля независимости будет предоставлена местной жизни? Вопрос был решен уже с самого начала в комитете, благодаря тому способу, который был принят при подготовлении проекта в его первоначальном виде. Одилон Барро весьма благоразумно предложил взяться за дело снизу, а не сверху; следует утвердить основания прежде, чем думать о крыше здания; пусть установят границы власти общин, прежде чем устанавливать функции министров, префектов и других органов центрального правительства. Его сильно поддержал Ламеннэ, который, как и многие другие, опубликовал свой план Конституции и который тоже в свою очередь хотел исправить зло неправильного распределения соков в социальном организме, грозившее апоплексическим ударом Парижу и параличом провинции. Нужно было сделать некоторые основные свободы независимыми от капризов власти, возвести увеличившуюся, ставшую кантональной коммуну, до значения живого нервного центра, деятельного и автономного в области местных интересов *). Однако, старая унитарная традиция оказалась самой сильной. Для одних прелесть имперского управления была неоспоримой. У других страх перед федерализмом связывался с воспоминаниями о первой Революции. Одилон Барро потерпел поражение. Его поддержали только Токвиль, «Американец», протестовавший против высокомерной опеки государства и заявлявший, что не может быть свободного правительства при лакейском народе, и Ламеннэ, который счел разногласие по этому вопросу настолько существенным, что подал в отставку из Комитета. Когда вопрос предстал перед Собранием, то сколько сторонники децентрализации ни ссылались на то, что гнетущая система, против которой они борются, была придумана деспотизмом самым не-

*) См. по этому поводу проект Редо, депутата Ионны. *Impressions* № 1010.

выносимым, какой когда-либо существовал, что она открывает возможность насилиям черни и цезарей; что она обеспечивает превосходство городов над деревней; что вследствие этого она благоприятна для социализма—это был аргумент всего более способный доставить им большинство; все-таки Тьер, Дюпен и Дюфор сумели внушить страх перед созданием 36.000 маленьких республик и восстановлением бывших провинций. Орлеанисты и республиканцы вотировали за одно против легитимистов, католиков и некоторых либеральных республиканцев, которые хотели освободить муниципальную, кантональную и департаментскую жизнь от ужасного давления центра. Если и допустили выборные генеральные и муниципальные советы, то зато эти советы могли быть распускаемы, мэры отрешаемы временно от должности и увольняемы; Кантональный Совет, на который возлагали всего больше надежд, не был вовсе учрежден; наконец, сверх всего этого Париж и города с населением больше 20.000 человек (в проекте говорилось 100.000 человек, но эта цифра показалась чрезмерно большой) были подчинены исключительному положению, которое позднее должно было быть определено специальным законом. И все это, не считая осадного положения, которое давало возможность под предлогом малейшего волнения, упразднить на неопределенное время все номинально существующие гарантии прав граждан.

Эта атрофия местных свобод имела весьма существенное значение. Этим самым обрекли себя, как говорил Одилон Барро, на то, что «приспособили голову Республики к телу Империи». Склонность к единообразию, к сильному правительству, к почти всемогущему Государству, восторжествовала и в конце-концов, во многих случаях ограничились тем, что монархические учреждения украсили республиканскими этикетками; можно было опасаться, что скоро сущность уничтожит форму.

Итак провозгласили единую и нераздельную Республику; заявили, что суверенитет принадлежит всей совокупности граждан, и что вся власть исходит от народа; затем, чтобы исправить то, что было, пожалуй, слишком абсолютным в этом постоянном подчеркивании единства, присоединили тотчас следующую аксиому политической науки: «Разделение властей есть первое условие свободного правительства». Однако, и против этой

догмы, которую можно было толковать различно, поднялся богохульник. Это был Прудон, предложивший следующую поправку: «Нераздельность власти и разделение ее функций—необходимое условие свободного правительства». Не было недостатка в демократах, которые, во имя единства власти хотели вставить народную самодеятельность всюду, где это было возможно. Но Прудон взял свою поправку назад, не требуя ее голосования, и традиционное разделение трех властей (законодательной, исполнительной и судебной) было поставлено в основу дальнейшего обсуждения. Поэтому и мы должны в свою очередь заняться изучением предмета в той же плоскости.

Власть законодательная. Начали с законодательной власти. Всеобщее прямое избирательное право было принято без возражений. Его противники молчали, отложив свои темные замыслы до лучших времен. Однако, в Комитете говорили о том, чтобы лишить избирательного права солдат и прислугу. В Палате была предложена поправка, в которой предлагали лишить права голоса тех, кто не мог сам заполнить свой избирательный бюллетень. От этой поправки отделались, отнеся ее к избирательному закону. Это еще не имело существенного значения, но уже один тот факт, что была сделана попытка пробить брешь в избирательной системе, можно было счесть за симптом, внушающий опасения, и этот факт не был единственным. Депутат Тарна и Гароны, Детур требовал, чтобы всеобщее избирательное право было объявлено правом неотъемлемым, предсуществующим, которое никакое Собрание не могло бы ни уничтожить, ни изменить, ни ограничить. Он чувствовал, что оно в опасности, он указывал на то, что его ненавидела знать парламентской трибуны, и что если они его допускали, то только условно, тогда, когда «вотум прошел гладко»; он бросил по поводу него следующее пророчество, которому было суждено сбыться буквально: «Пусть оно даст здесь слишком много сил демократии, и я утверждаю, что оно будет изменено». Но Детур натолкнулся на яростное сопротивление и не добился гарантии, которой он требовал.

Собрание удержало систему подачи голосов по спискам, по департаментам, в главных городах кантона, сделав только те исключения, которые были одобрены Генеральным Советом, и между тем ему указывали на крайнюю стеснительность такой системы для избирателей; благодаря ей число голосующих с 80% уменьшилось до 60% и до 30%. К этим стеснительным правилам, которые превращали для бедных деревенских жителей выборы в тяжелую обязанность, Собрание прибавило еще одно, которое было прямо опасно; оно допускало многократное выставление одной и той же кандидатуры, что могло дать чрезмерное значение отдельным лицам. Было решено, что Собрание должно состоять из 750 членов, избираемых на три года и переизбираемых в полном составе. При рассмотрении принятых решений, можно отметить желание обеспечить независимость депутатов даже от их избирателей, так, например: статья, которая специально указывала на то, что депутаты являются представителями не каждый своего департамента, а всей Франции, запрещение императивных мандатов, вознаграждение в 25 франков в день, от которого депутаты не имели права отказываться, статья против которой открыто выступали только миллионеры. Позаботились также и о том, чтобы оградить их независимость от власти исполнительной. Все помнили о Палатах Луи-Филиппа, состоявших из чиновников, так что над властью не было другого контроля, кроме контроля ее же собственных агентов. Было решено, что звание депутата не может совмещаться с занятием другой платной должности, но с установлением такой несовместимости были связаны личные вопросы столь деликатного свойства, что этот вопрос отложили до обсуждения избирательного закона. Предосторожности, принятые против правительства, доходили до недоверия, и вот этому доказательства: Собрание постоянно; во время каникул его представляет Комиссия из 25 членов, выбранных из его среды, которая должна созывать его в случаях неотложной надобности; все депутаты неприкосновенны, за исключением случаев поимки с поличным.

Один пункт вызвал особенно горячие и длинные споры. Будет ли одна или две Палаты? Дювержие де-Оран, Одилон Барро и Токвиль выставляли в пример Англию, Америку и Швейцарию. Они указывали на то, что две Палаты могли служить в качестве взаимного противовеса и узды и устранять возможность безрассудных поступков и необдуманных порывов, тогда как при одной Палате есть риск, что она превратится или в самую безответственную, самую гнетущую диктатуру, диктатуру коллектив-

ную, или что она станет в острый конфликт с исполнительной властью, которая одна будет стоять против нее. Против этой солидной аргументации стояла республиканская традиция; Конвенту так же, как и Законодательному и Учредительному собраниям, не было известно такое разделение. При исключительных обстоятельствах,—говорил Ламартин, диктатура нации необходима и она не может быть осуществлена ни одним человеком, ни двумя Палатами, которые съедят друг друга. Многие среди передовых республиканцев рассчитывали на то, что единой Палате будет легко декретировать социальный переворот. Сам Прудон требовал, чтобы французский народ передал всю полноту своей власти единому Собранию такого рода. Наконец, не знали, как составить вторую Палату; боялись что возродится палата Пэров, или, по крайней мере, консервативный Сенат, который будет препятствием на пути демократии. Итак было решено, что *у законодательной власти будет только одна голова.*

Вторую Палату думали заменить Государственным Советом. Это учреждение было не ново, но в него надеялись вдохнуть новую душу. Члены его, переизбираемые вновь и вновь, без предела, должны были выбираться на 6 лет Собранием и только им могли быть отзываемы. На их обязанности лежало предварительное рассмотрение законопроектов, вносимых правительством или депутатами; наблюдение за тем, чтобы законы были правильно оформлены и не противоречили предшествовавшим законам. На ряду с функциями контроля над известными учреждениями, на их обязанности лежала подготовка, а в некоторых случаях и установление регламента общественного управления. Через делегирование они могли располагать некоторой долей и власти законодательной. Но в общем они имели голос только совещательный. Государственный Совет был только эманацией Собрания, от которого он зависел и, не имея соприкосновения с народом, он не был силой, способной к сопротивлению, а только силой консервативной; он был весьма слабым буфером между Палатой и правительством.

Власть исполнительная. Сколь важное значение не имело объединение законов в одну Государственную организацию, всего больше занимала и волновала членов Учредительного Собрания все-таки организация власти исполнительной. 11 мая Сенар потребовал, чтобы ею занялись прежде всего; а в Комитете Кормен, поклонник Наполеона, выступал с тем же требованием и с тем же неуспехом. Но если были разногласия по этому пункту, то все-таки все единодушно решили, что власть эта должна быть сосредоточена в одном лице, которое должно называться Президентом Республики. Создать сильное Правительство мечтали в то время самые разнообразные партии; потому что все надеялись сделать из него орудие своего честолюбия. Марраст в своем докладе говорил о будущем президенте: «Его воля не должна встречать никакого сопротивления, ибо он приказывает именем закона». Умеренные республиканцы простирали свой культ силы до любви к диктатуре. Социалисты рассчитывали на могущество Государства для проведения преобразований, которые они считали нужными. Роялисты, конечно, приветствовали то, что всего больше было похоже на королевскую власть, и, быть-может, *это было не без задней мысли,* свидетельством чему служит все происходившее в Собрании в тот день, когда обсуждался вопрос о продолжительности полномочий общественных властей. В проекте говорилось, что они не могут быть наследственными. Когда Прудон предложил добавить к этому: «и пожизненными», то его поправка была отвергнута. Пожизненная власть не внушала страха.

Однако, желая, чтобы правительство было силой, хотели в то же время, чтобы оно было зависимо, покорно воле страны, подчинено Собранию, могущественно для того, чтобы делать добро и бессильно делать зло. Как говорил впоследствии один оратор, де-Парьё, хотели, чтобы на корнях дуба рос тростник. Учредительное Собрание истощило свои силы в погоне за этим противоречивым идеалом.

Тотчас же возникли два, непосредственно связанные с первым, вопроса. Каким образом и кем будет выбираться временный Президент Республики? Каковы будут его функции?

Корменен в Комитете внес предложение, чтобы он избирался всеобщей прямой подачей голосов. Его мнение было принято. Но в Собрании возникли законные опасения перед мыслью создать из общественной власти чудовище с двумя равными по своему значению и соперничающими головами. Было предложено много поправок, чтобы избежать этой опасности. Автором наиболее радикальной из них был депутат Юры, Жюль Греви,

который с.оро, благодаря своему твердому и прямому уму и своей ясной и точной речи, получил серьезное влияние на своих коллег. Проживая по соседству с Швейцарией, он предложил систему, подобную той, которая практиковалась в Швейцарии, а также и той, которая, сама собою родившись из обстоятельств, действовала в то время во Франции; однако все это не помешало тому, что его объявили утопистом. Он говорил: не нужно совсем Президента Республики! Достаточно простого председателя Совета министров, который должен выбираться Собранием на неопределенное время и которого Собрание всегда имеет право сменить.

Леблонд допускал Президента, но при условии, чтобы он избирался Собранием. Остальные искали решения промежуточного: Собрание назначает кандидатов, из среды которых Президента должен выбирать народ или, наоборот, Собрание выбирает его между кандидатами, получившими наибольшее число голосов при народном голосовании, или, наконец, избрание всеобщей подачей голосов, но двухстепенной.

Что касается до размеров компетенции главы исполнительной власти, то они по проекту, который служил отправной точкой при обсуждении, были внушительны, громадны. Монархические привычки обнаружились в тысяче характерных черт. Право располагать военной силой, правда, без права лично ею командовать и без права, как это сочли благоразумным добавить, объявлять войну. Право вести переговоры и утверждать торговые договоры, только с одобрения Собрания, которое в таких случаях оказывалось бы в положении весьма затруднительном. Право хотя и не амнистии, но помилования, что давало ему возможность по мелочам сделать то, в чем отказало бы Собрание в целом. Право временного вето, потому что он мог потребовать от Собрания нового обсуждения всякого закона, который ему не понравился. Обязанность каждый год, как это делает конституционный король, представлять в виде послания общий доклад о положении государственных дел. Содержание в 600.000 франков и помещение в национальных дворцах. Что же всего важнее,— это право назначать министров, хотя бы и не из парламентской среды. Право назначать дипломатических агентов, главнокомандующих войсками на суше и на море, префектов, начальника национальной гвардии департамента Сены, губернаторов в колониях, генеральных прокуроров и всех вообще высших чиновников. Конечно, главные назначения должны были производиться в Совете Министров. Но министры могли быть отозваны Президентом и они не скрепляли всех его актов своими подписями. Франциск Бувэ, в одной своей речи, на которую он не получил возражения, приводил расчет, по которому выходило, что на обязанности Президента будет лежать прямое назначение 362.280 служащих, получающих сумму в 423 миллиона франков в виде жалованья. Если к этому прибавить 100.000 чиновников, получавших от него, по докладу соответствующего министра, привилегии и дипломы и затем громадный персонал офицеров и унтер-офицеров, то получится в общем, что целый миллион людей ставится под его непосредственное влияние. Больше того. Ему было предоставлено право устранять на 3 месяца от должности выборных мэров; одним словом, как говорил Токвиль, ему были даны «все средства для принуждения и для развращения». А разве не он же должен был раздавать знаки отличия с надписями «Бонапарт первый консул?». Некоторые республиканцы и, в частности, Клеман Тома, находя, что не демократично выставлять свои заслуги в петлице и сохранять орудие монархии, восстановленной Наполеоном Первым, предложили уничтожить орден Почетного Легиона. Но эта мысль вызвала целый скандал и показалась оскорблением национального тщеславия; чтобы покончить с этой уравнительной тенденцией, сохранение крестов и лент было подтверждено конституцией. Как далеки были от того, чего желал Корменен, когда после того, как он требовал, чтобы Президент выбирался народом, он прибавлял: «Президент царствует, но не управляет». Комитет принял опасное предложение, отвергнув то, что могло опасность уменьшить.

Собрание отлично сознавало жизненную важность проблемы. Одри де Пюираво, Феликс Пиа, Греви, де Парье и Дидье весьма ясно показали, как было опасно избрание плебесцитом человека, облекаемого столь разнообразными полномочиями. Это значило бы сделать из него выборного короля, больше чем короля—императора, как воскликнул один депутат. Парье справедливо говорил: «во Франции условия исключительно благоприятны и всегда благоприятны для усиления исполнительной власти. Это почва, подготовленная для того, чтобы дать силу вла-

сти, подготовленная, говорю я, централизацией... сочетающейся с существованием постоянной армии, со всеми другими свойствами нашей организации и нашей администрации, со столь большой склонностью к общественным функциям, что, быть может, всего лучше известно депутатам!». Грэви еще с большей энергией указывал на то, что будущий президент будет более могущественен, чем Луи-Филипп, потому что он будет избран всеобщей подачей голосов; будет водворен заботами республиканцев в крепость, почти неприступную и, вероятно, испытается утвердиться навсегда на «Президентском троне». И если этот честолюбец, восклицал он, окажется человеком, который сумел приобрести популярность; если это победоносный генерал, окруженный престижем военной славы, против которой французы не могут устоять, если это отпрыск одной из царствовавших во Франции фамилий и если он никогда настойчиво не отказывался от того, что он называет своими правами; если торговля чахнет; если народ страдает, если он переживает один из тех моментов кризиса, когда нищета и разочарование предают его в руки тех, кто скрывает за своими обещаниями намерения, направленные против его свободы... отвечаете ли вы за то, что этот честолюбец не добьется уничтожения Республики?». Народное избрание, как говорил Пиа, это в своем роде такое же Божие помазание, как и Реймское масло, и при своем неизбежном поединке с Собранием он мог бы сказать депутатам: «Я больше суверен, чем все вы вместе взятые. Я представитель всей Франции. Я распоряжаюсь, опираясь на мандат, который выше ваших мандатов.

На эти два главные аргумента противники возражали, ссылаясь на принцип разделения власти; они задавали вопрос, не будет ли узурпацией со стороны законодательной власти назначать главу власти исполнительной; не проявит ли она, этим недоверия к стране; они изобличали торги на портфели и посольства, которые происходили бы в Палате при всяких президентских выборах; они насмехались (и это было, быть может, то, что производило всего больше впечатления на умы, плохо отделавшиеся от монархических предрассудков) над президентом, лишенным престижа, президентом-чурбаном, который был бы, как говорил Ламартин, своим коллегам: «стрелкой, которая указывала бы час их желаний и их капризов на циферблате конституции». Ссылались по разным поводам на примеры других республик. Токвиль напоминал, что в Америке президент избирается народом. Ему возражали на это, что он избирается двухстепенной подачей голосов; что свобода там охраняется федеративной системой, отсутствием роялистских воспоминаний; что, кроме того, в Швейцарии и Голландии всегда практиковалась система противоположная.

Часто трудно сказать, какой маневр был решительным в битве. Но, несомненно, в этой битве не был безразличным тот факт, что почти все, кто подумывал выставить свою кандидатуру на пост президента, высказались за систему, которая давала всего больше власти будущему главе государства. Сказанное относится к Кавеньяку, Тьеру и Ламартину. Последний прямо приступил к вопросу о лице, о котором все думали, но о котором говорили только намеками. Токвиль внушал Собранию, что не следует бояться имени. Это имя, которым Ламартин размахивает, как красной тряпкой, просто пугало. Зачем бояться Наполеона? Чтобы сделать 18 Брюмера, нужно иметь впереди себя Маренго, а позади террор. «Но, добавляет он, увлекаясь своим красноречием,— если бы даже народ выбрал того, кого я считал бы, и быть может напрасно, не годным к избранию, то пусть будет так. Alea jacta est! (жребий брошен). Пусть Бог и народ выскажутся. Нужно хоть что-нибудь предоставить Провидению».

После этого фаталистического предоставления себя воле судьбы, он умывает руки и заранее ищет утешения. Тем хуже для народа, если он окажется настолько безумным, что захочет, чтобы его отвели назад в каменоломни монархии! Что же касается творцов республики, то они скажут вместе с побежденными при Фарсале: Victrix causa Dies placniti, sed victo Catoni *). Эффект этой речи был громаден. Она сделала много для того, чтобы решился вопрос о выборе президента народом и для гибели республиканского строя. И нельзя удержаться, чтобы не вспомнить о том, как Платон изгонял из своей республики поэтов, увенчивая их цветами, и что красноречие бывает иногда вредоносно, даже для самого его обладателя. Между тем более осторожные республиканцы еще пытались предупре-

*) За победителей было Небо, но за побежденных Катон.

дить столь очевидную опасность. Но предосторожности, были явно направлены против определенного лица, которое они этим самым возвеличивали. Говорили о том, чтобы сделать исключение для потомков царствовавших во Франции фамилий; Турэ предложил поправку в этом смысле. Луи-Наполеон счел нужным появиться на трибуне; он изобразил из себя жалкую фигуру; дрожащим и глухим голосом он отрекался от «имени претендента, которое ему бросили в лицо». Тогда Турэ появляется снова и говорит, что после сделанного только что заявления, он берет свою поправку назад, как бесполезную. Такое пренебрежение к противнику, который не был оратором, быть может, было умно. Но было бы гораздо лучше, если бы проявили больше здравого смысла и меньше ума. Подобную же поправку внесли другие. Слишком поздно! Она была отвергнута почти единогласно! Да, жребий был брошен! Турэ, с сожалением, весьма похожим на угрызения совести, впоследствии упрекал себя в том, что он держал в своих руках судьбы Франции и не удержал их от падения в бездну.

Взамен этой предосторожности, которая, быть может, имела бы действительное значение, были найдены другие жалкие и призрачные. Президент может быть выбран на новый срок только после четырехлетнего промежутка времени. Но можно ли было быть уверенным, что конституция просуществует четыре года! Президент не имеет права ни распустить Собрание, ни прервать его занятия. Это значило просто уничтожить естественный выход из возможных конфликтов. Были сделаны тщательные попытки сократить его содержание. Президент был объявлен ответственным, и Матье де-ла-Дром внес предложение, чтобы президент мог быть временно устраняем от должности и даже отзываем по решению двух третей голосов Собрания. Но никто не слушал этих благоразумных советов. Все были далеки от этого! Президенту, кроме того, было предоставлено право законодательной инициативы. Странное помешательство или упадок духа, казалось, овладели республиканцами. 26-го октября, еще до окончательного голосования конституции, Собрание назначило день для выбора президента, как будто оно само спешило подписать свое собственное отречение от власти. Только во время второго чтения оно немного опомнилось. Оно выговорило для своих членов право парламентской инициативы. Турэ, под предлогом, что Луи-Наполеон появился на трибуне, чтобы выставить свою кандидатуру, снова внес свою поправку, лишавшую права быть избранным президентом всех членов царствовавших во Франции фамилий. На этот раз его поддержали 150 депутатов. Он заклинал остальных не впадать в пагубную доверчивость. «Сделаем так, чтобы история не сказала о нас: они держали в своих руках и конституцию и республику, и они не сумели ни воспользоваться первой ни спасти вторую». Но в дело вмешались, из чрезмерной деликатности по отношению к конкуренту, Дюфор и даже сам Кавеньяк, и поправка была отвергнута. Вместо этого было решено, что вице-президентом не может быть избран родственник или свойственник президента; но какое значение мог иметь этот вице-президент, который был простою тенью? *). Оба они были обязаны произнести клятву, которая была тем более торжественна, что они только одни должны были ее давать: «перед Богом и французским народом, в лице Национального Собрания, я клянусь быть верным демократической Республике, единой и нераздельной, и выполнять долг, возложенный на меня Конституцией». Но клятва, которая для людей честных является стальным барьером и барьером излишним, для других есть ничто иное, как паутинка. И нужно полагать, что Собрание не особенно верило в этот хрупкий оплот, о чем свидетельствует то, что оно позаботилось удержать за своим бюро право требовать для своей защиты войска, а также его решение, что, в случае покушения президента на конституцию, вся полнота исполнительной власти переходит к Собранию, которое начинает преследование против нарушившего клятву президента перед Верховным Судом.

Власть судебная. Недостаточно записать на бумаге перечень сильных мер; нужно иметь средства, чтобы привести их в исполнение. Одним из последних пунктов Конституция поручалась «охране и патриотизму всех французов». Могли ли французы защищать порученный им вклад? Чтобы решить этот вопрос, необходимо рассмотреть организацию того, что одни называли «судебною властью», другие «юридическим порядком». Эта

*) Вице-президентом был Будей де-ла Мерт.—Это почти все, что можно сказать о нем интересного.

организация разделялась на две ветви: юстицию и организацию государственной военной силы *). В юридической области демократические принципы, стремятся к тому, чтобы забота о разбирательстве тяжб и суд над преступлениями были предоставлены гражданам, возводимым в звание временных судей или по жребию или по выбору, и чтобы таким образом были лишены своей монополии, законники, каковыми были судьи, пожизненно назначаемые правительственной властью, и чиновники министерства (нотариусы, прокуроры, стряпчие, судебные пристава, актуариусы и т. д.), купившие за деньги свои должности. Затем они стремятся к тому, чтобы сделать суд по возможности бесплатным, упростить то, что Марраст называл «дебрями судебной процедуры», и смягчить применение строгостей кодекса.

Было сделано несколько шагов в этом направлении. Кремье, бывший министром юстиции при Временном Правительстве и при Исполнительной Комиссии, был благоразумно призван снова к власти. Он оставил на местах большинство судей; он заявил с большим треском, что начинает процесс против последних министров павшей монархии; это было простой забавой для бездельников и скоро было забыто. Но он провел также несколько гуманных мер, уничтожил выставку у позорного столба, смягчил некоторые наказания и уменьшил судебные издержки. Он уничтожил политическую клятву и облегчил условия натурализации. Он ввел реабилитацию с исправительными целями. Он занялся судом присяжных, который в теории должен быть самым обществом, отправляющим правосудие; он издал 7-го марта декрет, которым предписывалось выносить обвинительный приговор не иначе, как восемью голосами из двенадцати. Он внес проект закона, изменявшего порядок составления списка присяжных. Он исходил из того принципа, что все избиратели могут быть и присяжными, за исключением случаев неправоспособности и особых случаев изъятия. К числу неправоспособных относились граждане моложе 30 лет, немощные, безграмотные, прислуга, банкроты, осужденные и, кроме того, все те, кто занимал должности, рассматриваемые, как несовместимые с должностью присяжного; таковы должности депутата, агентов центральной власти, священнослужителей, военных и учителей; среди подлежавших изъятию числились старцы и бедняки; дополнение к этому закону, в котором предлагалось назначить присяжным ежедневное вознаграждение в размере двух франков, было отвергнуто. Было точно установлено, какие именно обвинения влекут за собою потерю права быть присяжным, признанного за всеми французскими гражданами; исключение было сделано для незначительных политических проступков; однако, не были столь же снисходительны к проступкам бродяжничества и нищенства. Таким образом закон сохранял буржуазный характер. Он был таковым, кроме того, и по способу выбора из общего списка, составленного вышеупомянутым образом. Сначала думали сделать присяжных выборными, но побоялись ввести в эту область всеобщее избирательное право и предпочли смешанную систему, а именно: ежегодно на каждые 200 жителей должен был назначаться кантональной комиссией, состоящей из генерального советника, мирового судьи и муниципальных советников, командированных в эту комиссию, один присяжный. Из второго списка, составленного этим способом, дающим бесконтрольную власть кантональной комиссии, должны были по жребию назначаться присяжные для дела. Это было значительным, хотя и недостаточным расширением основ, на которых был построен суд присяжных. Но тотчас был сделан шаг назад: под предлогом необходимости в интересах общества большинство голосов, необходимое для вынесения обвинительного приговора, хотя бы и смертного, было сведено на 8.

Кроме всего этого, Кремье учредил комиссию судебной реформы под председательством демократа Мартэна (из Страсбурга). Она вырабатывала проект, который был сдан в *Конституционный комитет* и который сам Одилон Барро называл робким. Действительно, он состоял только в том, что упрощал гражданский процесс, уничтожал окружные суды, которые были сочтены бесполезными, и уменьшил число апелляционных судов *). По настоянию Одилона Барро Комитет решил продолжить распространение суда присяжных на дела исправительные и даже гражданские. Но парламентские бюро живо покончили со всеми этими

*) Организацию военных сил естественнее было бы отнести к власти исполнительной. Но мы следуем классификации, установленной Учред. Собр. См. доклад Марраста G. R. III стр. 600.

*) Проект Мари был сдан в парламентские бюро

намерениями. В окончательном проекте, который обсуждался в Палате, об них не было больше речи. Однако, в ведении суда присяжных оставили дела политические и о печати.

Продажность чиновничьих должностей подверглась опасности, благодаря петициям, но ее спасли одним словом. Во время обсуждения 11-ой статьи, первый параграф которой гласил, что всякая собственность неприкосновенна, депутат Сотейра задал вопрос, касается ли это и собственности на должности, и ему ответили в один голос, что этот род собственности пользуется равным со всеми остальными покровительством закона. Затем чиновничий мир беспокоил другой вопрос: будет ли уничтожена несменяемость? Быстро согласились, что она уничтожена не будет; судьи будут и впредь назначаться пожизненно; таким образом обеспечили им независимость от нации, однако, не позаботились в равной мере о том, чтобы обеспечить им независимость от исполнительной власти, а именно Президент не только получал право повышать их в чинах, но он их и назначал также, как и генеральных прокуроров и мировых судей. Сначала было сделано исключение для судей Кассационного суда и для членов Контрольной палаты. Но это исключение уничтожили: ведь нужно же было сильное правительство! В общем все перемены сводились к учреждению административных судов, суда, рассматривающего споры между властями административной и судебной, и, наконец, что всего важнее—учреждению безапелляционного Верховного Суда, который должен был ведать дела по обвинениям, предъявляемым Национальным Собранием, как его собственным членам, так и министрам и Президенту Республики, и дела о заговорах и покушениях на безопасность Государства. Он состоял из пяти судей и тридцати шести присяжных, из которых одни должны были избираться кассационным судом, другие назначаться по жребию из числа членов Генеральных Советов по требованию, выраженному в декрете Национального Собрания об его учреждении. Поневоле составление его требовало много времени, и опыт показал, что в дни острой опасности им нелегко было воспользоваться как орудием для защиты Республики.

Если мы теперь встанем на точку зрения не тех, кто вершит правосудие, а тех, кто ему подчинен и кто за него платит, то мы увидим, что по отношению к ним Собрание выказало мало симпатии. Монталамбер, вместе с некоторыми католиками, внес дополнение, в котором предлагалось освобождать от судебных расходов граждан, представивших свидетельство о бедности; но это дополнение было взято назад. В другом дополнении предлагалось установить, чтобы уложение о наказаниях пересматривалось каждые десять лет, с тем, чтобы таким образом приводить его в соответствие с постепенным смягчением нравов; дополнение было отвергнуто. Поговорили о том, чтобы учредить должность адвокатов для бедных, но ограничились только одними разговорами. Бедные не пользовались любовью Собрания. Декретом 9 марта были отменены аресты за долги и закрыты долговые тюрьмы. Кремье, сравнивая этот акт с уничтожением рабства, благодаря которому Временное Правительство создало свободных людей так же, как оно сделало из подданных граждан, говорил: «Мы не пожелали, чтобы продолжало существовать это второе повседневное рабство, которое висит над массой несчастных». Но этим ограничением сеньоральных прав кредитора, который, так сказать, брал в залог личность должника, не угодили консервативному большинству. После июньских дней повернули назад. Коммерсанты требовали в петициях возвращения к уничтоженному закону. Сколько Греви ни говорил о том, что этот закон был остатком варварского законодательства, следом тех времен, когда человек мог стать вещью, собственностью, что необходимо от него решительно отказаться или уж признать свободу человека за товар, выброшенный на рынок; что эта манера брать человеческое существо в залог за долги, скорее имела значение мести, чем средства заставить заплатить долг,—протесты его были напрасны. Закон об аресте за долги вошел во французское законодательство. Правда, он не был внесен в Конституцию; но в общем конституция, сохранив почти без перемен совокупность юридических установлений, продолжала быть одной из самых сильных крепостей буржуазного класса.

Что касается государственных военных сил, то они оставались организованными так же недемократично, как и раньше.

Национальная гвардия, свидетелем величия и падения которой была вторая Республика, сохранила право выбирать своих офицеров; но ее штаб был преобразован с тем, чтобы передать его в руки исполнительной власти; этой власти было предоста-

влено право по своему желанию распускать его. Сделали попытку воспользоваться Национальной Гвардией для защиты границ; 300 батальонов ее были сделаны подвижными. Благодаря своим заслугам при восстановлении порядка, она сохраняла еще видимость вооруженной нации. Однако, к ней начали уже, особенно в больших городах, относиться с подозрением.

Что касается армии, то не было недостатка в проектах ее преобразования. Социалисты, и в частности Прудон, хотели, чтобы она была превращена в национальную милицию. Не заходя так далеко, *Конституционный комитет*, по докладу Дюфора, допускал уничтожение права заместительства. Луи-Наполеон Бонапарт в своих статьях требовал того же. Генерал Кавеньяк и Ламорисьер заявили себя сторонниками этого уничтожения и первый из них желал даже установления двухгодичной обязательной для всех службы, как это было в Пруссии. Однако! Ведь это значило отнять у буржуазии одну из самых дорогих для нее привилегий, привилегию за деньги освобождать своих сыновей. Стоял вопрос о том, останется ли армия «цензовой», как это было при Луи-Филиппе; останутся ли в военной области те прерогативы богатства, которые были уничтожены в избирательном законе. Битва была горячая. Когда военный министр Ламорисьер стал говорить о преимуществах, которыми пользовался «известный класс лиц», он был резко прерван криками: «Классов больше не существует». Он был принужден взять назад сказанное им слово, которое было нехорошо только тем, что в нем было слишком много правды. Классовые интересы действительно лежали в основе спора.

Согласно обычаю того времени, в проекте прежде всего провозглашалось общее правило: «Всякий француз лично обязан военной службой». Но тотчас следовало дополнение, как это всегда бывает в грамматиках: «кроме исключений, указанных законом». Но проект не предусматривал тех случаев, когда препятствием к службе могут явиться зародившиеся в сознании некоторых людей сомнения в том, что следует ее исполнять.

Пьер Леру, настоящий предшественник Толстого, апостол непротивления злу, убежденный в том, что не должно быть другого средства борьбы за свое дело, кроме мученичества, рискнул предложить следующую поправку: «Всякий гражданин, исповедующий религию, отвергающую войну, как варварство, противоречащее божеским и человеческим законам, должен быть освобожден от военной службы». Его предложение встретили долгим смехом. Он пытался напомнить, что для духовенства делается исключение по тем же мотивам и что это уважение к религиозным убеждениям должно быть или распространено на все тождественные случаи или уничтожено вовсе; он показался экстравагантным. Однако, то, что богатый мог освободиться от той же личной повинности казалось вполне естественным. Таким образом параграф, в котором говорилось, что «Заместительство запрещается», поднял целый взрыв негодования.

Чтобы спасти этот принцип, Правительство и Комитет попытались отложить голосование. Они делали уступки, давали понять, что они желали скорее ограничения, чем уничтожения права заместительства. Напрасные старания. Большинство желало, чтобы сохранение действующей системы было гарантировано Конституцией. Следует отметить, что большинство военных было против из технических соображений. Они указывали на то, что обыкновенно заместители бывают весьма плохими подчиненными, что они составляют $^3/_5$ дисциплинарных батальонов, этой «школы демонализации и порока», по выражению Ламорисьера. Они требовали, чтобы армия была устроена по образцу нации и они были того мнения, что в три, даже в два года, за исключением специальных родов оружия, можно подготовить прекрасных солдат. Они напоминали, о чудесах, совершенных волонтерами и новобранцами во время Революции. Ламорисьера, отважно защищавшего это положение, постоянно прерывали шиканьем и оскорблениями.

Правда, после Кавеньяк обнимал его и, конечно, это согласие людей одного и того же ремесла по вопросу такого рода должно было бы заставить призадуматься, если бы партийные страсти позволяли размышлять. Но им так же, как и остальным защитникам этого заранее проигранного дела, не могли простить то, что они коснулись больного места, социальной стороны вопроса; то, что они говорили, что армия, состоящая из людей, продавших себя, опасна для свободы, что если уж нет чувства справедливости, то честь должна была бы заставить признать равенство за всеми гражданами по отношению к налогу кровью; что торговля человеческим мясом, как товаром,—безобразна; что если военная служба стеснительна для молодых людей, посвящаю-

щих себя либеральным карьерам, то она равно тяжела и для молодых рабочих и крестьян, отрывая их от мастерских и от сохи, что, отвыкнув после семилетней службы от труда, они возвращаются к гражданской жизни выбитыми из колеи, опасными тем, что умеют обращаться с оружием, и тем, что голодны; что в сущности спор идет между богатыми и бедными и, что сторонники *statu quo*, которые претендуют на то, что они говорят от имени большинства матерей и отцов семейств, скорее считают экю, чем голоса.

У буржуазной привилегии были свои цинично-простосердечные защитники; один из них, Бурбуссон, решительно протестовал против службы равной для всех. Отчего же тогда не провозгласить тотчас же равенство всех условий? Почему не декретировать, что несправедливо, чтобы бедный работал и жил в хижине, тогда как богатый остается праздным и живет во дворце? Очевидно хотят притти к коммунизму? Разве не для всякого есть возможность освободиться? У кого нет 1.200—1.500 франков, чтобы заплатить за эту роскошь? К тому же оратор поклялся, что он защищает таким образом интересы и свободу бедных: по какому же праву Государство намерено препятствовать семьям получать весьма значительное дополнение к своим доходам при помощи выгодной продажи молодых людей, или кому-либо стать за деньги солдатом, если это ему нравится? (Это были те самые аргументы, которые пускали в ход, отрицая за Государством право запрещать работу шестилетних детей.) И с удивительной бессовестностью Бурбуссон закончил, заявив, что нужно уничтожить эксплуатацию человека человеком; он умолял не поражать в сердца матерей, которые могли бы спасти своих сыновей, купив других на их место, как будто все заместители были найденышами.

Тьер, этот маленький великий человек буржуазии, действовал более искусно. Он скрыл свой ужас перед тем, что шансы умереть для всех будут равны. Привыкши к битвам и победам на бумаге, он последовал за генералами в их собственной области; он утверждал, что, по мнению всех компетентных лиц, время службы должно быть продлено, а никак не сокращено; что прусская система вовсе не была солидна; что армия, созданная по этому образцу и служащая в течение 3-х лет, едва годна для оборонительной войны, но что для поддержки величия страны за границей необходима «такая армия, которая повиновалась бы без рассуждений и без размышлений». Только у варварских народов, говорил он, все солдаты; у народов же просвещенных, военные функции выполняются только меньшинством, и было бы очень хорошо, если бы военное ремесло сделалось карьерой специалистов. Наконец, зажиточный класс выполняет свой долг, наполняя школы, из которых выходит удивительный состав французских офицеров. Не думают ли уж и их послать действовать мушкетом? И когда министр поспешил отказаться от подобной мысли, то Тьер прибавил: «я защищаю ваше дело, господа военные», и он ссылался на авторитет Наполеона, утверждая, что нужно, по крайней мере, семь или восемь лет, чтобы внушить новобранцам военный дух. Ему кричали: «с такими-то армиями и погубили свободу», указывали на всю опасность статьи, гласившей «Военная сила должна быть прежде всего послушна». Большинство, которого Тьер был весьма верным выразителем, решило оставить положение без перемены и 663 голосами, среди которых были голоса Монталамбера, Фаллу, Кокереля, Виктора Гюго и Воловского, было решено, что армия и впредь будет набираться, как и раньше и будет разделяться на солдат наемных и служащих по набору и принадлежащих единственно к бедному классу, и из офицеров, по профессии, выходящих почти исключительно из буржуазии и дворянства.

Когда перечитываешь теперь эти споры, при зловещем свете последовавших за ними событий, то говоришь себе, что время есть великий судья; что все когда-нибудь искупается в долгой жизни наций. Государственный переворот 1851 года первый показал Франции, на что способна профессиональная армия. И, наконец, разорение 1870 года заставило ее дорого заплатить за слепой эгоизм ее буржуазии.

Органические законы, пересмотр конституции, народная санкция. Хотя в конституции 1848 г. было многое, чего могло бы в ней и не быть, однако дополнили ее еще изрядным количеством органических законов. Закон об ответственности представителей общественной власти. Закон об организации Государственного Совета. Избирательный закон. Только к этим трем законам хватило силы приступить. Должны были быть еще и другие: об организации департаментской и коммунальной, об организации юридиче-

ской, об образовании, об организации национальной гвардии и армии, о прессе, об осадном положении и об общественном призрении. Собрание торжественно взялось обсудить их все. Оно отказалось от обсуждения законов о профессиональном образовании, об учреждениях попечительных и кредитных, о сельско-хозяйственных учреждениях, но оно обещало особые законы для колоний, пока они не могут быть введены в режим общего права. Это было много. Собранию суждено было погибнуть раньше, чем покончить все эти дела. Уже некоторые из его членов призывали к самоубийству, беспрестанно повторяя своим коллегам: братья, нужно умереть.

Ничего не оставалось, как голосовать всю совокупность. Однако еще два пункта привлекали внимание Собрания. Оно не претендовало на то, чтобы дать закон на вечные времена. Оно допускало возможность пересмотра того, что оно создало. Но так как оно было слишком влюблено в свое произведение, *то оно его и слишком оградило от своих преемников.* Пересмотр мог быть решен только в последний год законодательной сессии, после троекратного обсуждения, тремя четвертями голосов и по крайней мере 500 голосами. Это значило сильно затруднить будущие поправки. Это значило искусственно и опасно продлить существование какой-нибудь из статей, которая может быть осуждена большинством Собрания и поддержана незначительным меньшинством. И это значило, таким образом, сделать почти неизбежной революцию.

То же недоверие, которое это Собрание питало к будущим собраниям, оно питало и ко всеобщему избирательному праву. Как при начале, так и в конце обсуждений, некоторые депутаты требовали, чтобы конституция была отдана на народную санкцию. Такова была республиканская традиция; так было сделано в 1793 году, в III и VIII годах. Это вытекало из демократического принципа, так как суверенитет народа должен стоять выше суверенитета Национальных Собраний, вышедших из него. Все недовольные конституцией цеплялись за эту последнюю возможность спасения, легитимисты, как Пюизегур, католики, как Монталамбер, демократы, как Гамбон и Матье де ла Дром—соединились вместе, чтобы потребовать обращения к народу. Всех вместе их было 42; они были побеждены. Большинство видело в этом предложении то, чем действительно оно и было маневр, чтобы задержать голосование нового основного закона для Франции или не допустить его. Большинство голосовало против. Это голосование означало: мы хотим выйти из неопределенности. Большое неудобство парламентской системы в том, что голосование часто отвечает совсем не на тот вопрос, который поставлен *).

Наконец, было произведено решительное голосование при громадном большинстве голосов (739) против 30. Было также несколько воздержавшихся. Оппозиция почти наполовину состояла из непримиримых легитимистов или из демократов-социалистов, как, например: Жуанье, Гамбон, Греппо, Пелеттье и Феликс Пиа, выразивших в коллективном письме неудовольствие по поводу того, что в новую конституцию не включили свободу мысли, бесплатность образования, уничтожение смертной казни, единство власти и право на труд. К ним нужно прибавить Прудона, который в довольно неясном письме, как он сам это признавал, заявил, что он отвергает конституцию, потому что она была конституцией политической, т.-е. такой, которая снова утверждает власть со всеми ее прерогативами и тщеславием, опасными для свободы. Некоторые, кроме того, указывали, как на первородный грех конституции, на то, что она родилась при режиме осадного положения, снятом только 19 октября.

Те, *кто ее создал или принял*, приветствовали ее криками: «Да здравствует республика!». Сенар, по докладу которого был издан декрет, предписывавший праздновать день ее обнародования религиозной церемонией и народным торжеством, говорил с чувством величайшего удовлетворения: «Ни одна еще конституция не установила лучше принципа братства». И вот в пасмурный мокрый день 21-го ноября на площади Согласия, перед жидкой толпой зрителей, среди которых почти отсутствовал элемент народный, шествовали один за другим два официальных кортежа. Один

*) По поводу этого можно отметить, что тактика некоторых противников республики состояла именно в том, что они требовали немедленного и пагубного применения республиканских принципов в эпоху кризиса и для нации, еще не воспитавшейся в духе демократии, принципов, которые применимы только при нормальных условиях жизни и для действительно зрелого народа. Так, например,—никаких изъятий из общего правила даже для принцев. Полная и безусловная свобода для Церкви, этой единственной привилегированной ассоциации. Во имя всеобщего избирательного права предоставление народу выбора главы государства и т. д.

свидетель говорит о них: «одни шли под охраной ста тысяч штыков провозглашать *волю народа*, конституцию, созданную под свистом пуль, при осадном положении, во имя *свободы, равенства и братства;* другие—благословить этот плод философии и революции во имя *Отца и Сына и Святого Духа*».

Так вступила в жизнь двусмысленная, противоречивая конституция, достойная этого странного церемониала; с точки зрения политической она снизу была республиканской и демократической, благодаря тому, что в основе ее лежало всеобщее голосование, тело же ее и голова были монархическими, благодаря свято сохраненной административной централизации и громадной власти, сосредоточенной в руках президента; с точки зрения социальной она была глубоко буржуазной, благодаря тем преимуществам, которые она предоставляла деньгам, несмотря на жалкие уступки сделанные народному классу; конституция разнородная, дурно составленная, которая могла бы однако существовать, если бы она искренно проводилась в жизнь (потому что нация может жить и развиваться даже в плохо построенном доме), но едва только она была проведена, как стали ее преследовать, грозить ей, подводить по нее тайно мины, и пробивать в ней бреши те самые люди, которые над ней работали.

ГЛАВА XI.

Выборы Президента, Римская Экспедиция и конец Учредительного Собрания.

Первым опытом новой конституции были выборы президента, назначенные на 10 декабря 1848 г. Кандидатов было много. Прежде всего Ламартин. Но что стало с его популярностью? Его нашли бессодержательным—пустозвоном, болтливым и нерешительным; им еще любовались, как оратором; но его боялись как государственного человека. Кавеньяк, честный, узкий и черствый, с чертами хищной птицы, и физиономией средневекового кондотьера был для народа «июньским мясником»; для реакционеров—непокорным орудием, которое противится их владычеству и поражает по очереди то передовых республиканцев, то монархистов. Конечно, он делал запоздалые авансы католикам, отправляясь на обед к архиепископу, призывая благословение священнослужителей на отечество, предлагая на французской почве убежище папе, бежавшему от своих подданных. Он пытался задобрить консерваторов, заменив в своем министерстве республиканцев вчерашнего дня республиканцами завтрашнего дня, Дюфором, Вавианом, Фреслоном, иронически вопрошая: что такое социализм? преследуя клубы, давая разрешение на преследование их по суду за возбуждение граждан к ненависти и возмущению и за нападения на принцип собственности. Он устраивал смотры, расточал милости, посещал госпитали. Дюфор, делая вид, что он вполне нейтрален, в официальном циркуляре делал намеки на то, что «нация должна скорее довериться безупречному прошлому, неоспоримому патриотизму, мужественной решимости, энергии, уже испытанной на службе республикй, чем пустым и ложным обещанием». Сторонники генерала, его друзья из *National* в огромном количестве распространяли его биографии, портреты, брошюры; сам он обратился к чиновникам с манифестом, который можно было счесть за программу. Он имел несчастье быть у власти, что во Франции есть верное средство восстановить против себя недовольных честолюбцев и людей, потерпевших горькое разочарование; против него был Жирарден, который не мог ему простить своего заключения в тюрьме; его обвиняли в том, что он дал разрастись восстанию, чтобы увеличить свою заслугу при его подавлении; в том, что он хотел наградить и обеспечить каторжников, имена которых значились в списках раненых в феврале; и, хотя большинство собрания утешило его, вторично признав его заслуги перед отечеством, он все-таки рисковал сесть между двух стульев вместе со всей умеренно-республиканской партией, представителем которой он был.

Передовая партия, несмотря на полученный ею суровый урок, еще не добилась объединения. Ледрю-Ролен был кандидатом радикалов; он постарался сгруппировать вокруг себя всех демократов; он громко признал необходимость социальных реформ; но Феликс Пиа и Прудон перессорились и переругались; некоторые же социалисты, став на почву классовой партии, согласились на имени заключенного в тюрьме Распайля. Были и другие канди-

даты, намеревавшиеся, но не смевшие в этом сознаться, предстать пред народным голосованием: Пьер Молэ, маршал Бюжо, Шангарнье. Остается главный кандидат—Луи-Наполеон Бонапарт.

С самого того дня, когда его семья избегла постановления об изгнании, которому подверглись другие династии, он плавал на небе Республики, как «облачко, несущее в своих недрах молнию и бурю», но как облачко, колеблющееся, неясное, с изменчивыми очертаниями и цветом. Он имел за собою крестьянскую массу, которая не была вполне уверена, что маленький капрал умер, и которая думала, что она вотирует за дядю, вотируя за племянника; массу аморфную, едва пробудившуюся к политической жизни, у которой вместо идей были только два чувства: ненависть ко всему, что напоминало рабство феодального режима, и поклонение легендарному существу, оставшемуся для них эпическим воплощением революции, побед и силы. Затем за ним стояло изрядное количество ремесленников и рабочих, опьяненных запахом пороха и песнями Беранже, обманутых газетами, которые, как *Республиканец Наполеон*, протестовали против рабства «наемного труда и приписывали императору следующие слова: «Я хотел, чтобы рабочий был счастлив и зарабатывал свои шесть франков в день». Он искусно отсутствовал или по крайней мере оставался невидимым в июньские дни с тем, чтобы не принимать никакого участия в суровых мерах, последовавших за ними. Он имел свидание с Луи Бланом, с Прудоном; называл себя демократом, франкмасоном, говорил, что он решился требовать амнистии, что он горел желанием улучшить участь народа. За ним стояли буржуа, в сердцах которых раздавались, как трубные звуки, стихи Виктора Гюго, запуганные коммерсанты и промышленники, требовавшие сабли и дела. За ним стояла партия, можно сказать, бессовестная шайка, которая проводила его избрание, как нечистое предприятие под звуки там-тама, распространяя платные рекламы, портреты и громко хвастаясь. За него было его обаятельное имя, тайна, которая скрывала его загадочный характер, его угрюмость, которую можно было принять за глубокомыслие, легкость, с которой он давал обещания и умел казаться всякому тем, чем тот желал, даже то смутное представление, которое имели многие об его уме. Парламентские пройдохи, начиная с Тьера, рассчитывали «просунуть свои руки в рукава Бонапарта», руководить им в своих выгодах, обойти его и, наконец, поглотить его.

Едва показалось, что он восторжествует, как маклера удачи стали образовывать вокруг него снежный ком; они ему ставили условия, вырывали у него обязательства. Улица Пуатье, после некоторых колебаний, стала поддерживать его кандидатуру. Монталамбер доставил племяннику автора Конкордата, поддержку католиков, Беррье прибавил к ним легитимистов. Вслед за Гизо пришли к нему бывшие орлеанисты в поисках за портфелями: Тьер, третировавший его как «болвана», сделался самым важным его агентом, затем Молэ, герцог де Брогли, Одилон и Фердинанд Барро, экономист Леон Фошэ. Армия, во главе с Бюжо, Шангарнье и даже швейцарским генералом Дюфуром; поэты, Виктор Гюго и Бартелеми, высказались в его пользу. В его кортеже участвовал даже член бывшего Временного Правительства Кремье. И манифест принца отвечал этой причудливой смеси. Тьер хотел было подсунуть ему манифест, составленный им, но принц отказался пожертвовать, как это от него требовали, своей самостоятельностью. Прежде всего воспоминания о дяде, изъявления покорности воле нации и Национального Собрания. Затем обещание покровительства религии, семье и собственности, это—для партии порядка. Свобода преподавания вместе с защитой авторитета папского престола—для католиков. Прекращение изгнаний, уменьшение налогов, учреждение попечительства старцев—для рабочих. Уменьшение числа чиновников—для легитимистов. Конец гибельной тенденции, которая вовлекла государство в исполнение тех дел, какие так же и даже лучше, чем оно, могли выполнить частные лица, это—для экономистов и для противников государственного социализма. Обеспечение бывших военных—для армии. Наконец, для крестьян—уничтожение налога на соль и главное мир, долгий мир, если не будет только провокации. Все партии могли поживиться чем-нибудь в этой обильной жатве обещаний. В провинции агенты превращали все это в уничтожение налогов, набора, в возмещение 45-сантимового налога и т. д.

Что значили против этой массы приманок и против могущества легенды насмешки над иностранным произношением этого человека, которого враждебные ему газеты называли то английским констеблем, то швейцарским гражданином; карикатуры,

изображавшие его в маленькой шапке с торчащими из-под нее ослиными ушами, в виде гипсовой фигуры вместо бронзовой статуи или в виде убийцы, держащего в своих объятиях республику и погружающего в ее спину кинжал? К чему были пророчества, предвещавшие в скором времени режим сабли и войну с иностранным вторжением, что значили брошюры, как, например, брошюра Берсо, задававшие вопрос, почему именно Луи, а не Жером и не Пьер Бонапарт?

Победа принца была подавляющей. При 7.517.811 голосовавших, Луи-Наполеон пришел первым с 5.572.834 голосами Далеко за ним следовал Кавеньяк с 1.469.156 голосами. Демократы и социалисты собрали всего 413.000 голосов. Ламартин жалко провалился с менее чем 21.000 голосов. Любопытно посмотреть, какое впечатление произвел этот триумф. «Это скорее провозгласившие, чем выборы», писал Жирарден. «Великий акт доверия», говорил *Times*, давая понять, что акт доверия к отдельному лицу всегда гибелен. «Народ говорил, как пьяный человек», бранился со своей стороны Прудон. Но что бы там ни думали, а биржа крепла, театры наполнялись, новый президент присягнул республике, а пресса уже говорила о перевороте и об Империи.

20 декабря 1848 г., выбором своего премьер-министра, принц-президент отдал долг признательности тем, кто его поддержал. Новый шаг назад! Республика без республиканцев, или почти без республиканцев. В то время, как Тьер и Молэ правили из-за кулис, видимым главою кабинета, в котором преобладал орлеанистский элемент, был Одилон Барро, вмешивавшийся много раз при Луи-Филиппе в пользу членов фамилии Бонапартов; в кабинет вошли: экономист Леон Фошэ, известный раньше своими смелыми идеями, но скоро присоединившийся к знамени ортодоксии и горячо и страстно каявшийся в том, что он его раньше покинул; Фаллу, католический Макиавелли, который под давлением своих товарищей, склонявших его принять участие в новом кабинете и убежденный доводами аббата Дюпанлу, своего духовника, решается поступить по его совету и, без сомнения, получает разрешение временно скрыть свои легитимистские убеждения, имея в виду пользу дела клерикалов, которому он намерен был служить; министр Биксио, вышедший к тому же через несколько недель в отставку, был единственным представителем умеренной республики.

Тотчас же был предпринят целый ряд реакционных мер. «Долой маски,—говорил Фаллу,—избиратели 10 декабря не скрывали своих чувств. Зачем же мы будем скрывать свои?». Республиканцы были устранены от высоких должностей, которые они еще занимали; так называемая чистка началась с Кавеньяка и продолжалась как в Париже, так и в провинции. Шангарнье был, вопреки закону, назначен в одно и то же время начальником первого военного округа и национальной гвардии департамента Сены; Бюжо, назначенный командиром альпийской армии, заявлял, что с четырьмя солдатами и одним капралом он пойдет на Париж, как только тот зашевелится. Война против всего родившегося из революции! Подвижная гвардия, которую так восхваляли, лелеяли, ласкали за то, что в июне она избивала своих братьев и отцов, оказалась слишком народной; она стала казаться подозрительной; ей предложили или войти в армию с потерей чинов, или без всякого вознаграждения вернуться к гражданской жизни. Война клубам! Множество их было закрыто в провинции, но этого было мало. 26 января Леон Фошэ заявил требование об уничтожении всех тех клубов, которые еще оставались, добавляя: «Свобода ничего не потеряет от этого». Он внес проект закона, настаивая на его неотложности, смысл которого заключался в первой статье: «Клубы запрещаются». Затем прощай амнистия, обещанная до выборов! Прощайте все проекты законов с демократическим оттенком! Самый важный из них устанавливал бесплатное и обязательное всеобщее обучение. 4 января Фаллу взял его назад с непринужденностью важного барина, нисколько не позаботившись о докладе, который был уже готов. Министры в обращениях к собранию приняли высокомерный, резкий и вызывающий тон. Чувствовалось высокомерие личной власти, представителями которой они были. Они были ее органами и иногда даже уже жертвами. Президент не желал быть ничем, он заботился о том, чтобы сохранить и расширить свои прерогативы, лелея мечту о реставрации императорской власти, мечту, которая проскальзывала всякий раз, когда он появлялся в Совете в панталонах с красными лампасами, придававших ему военный вид, и, повидимому, внушавших ему военные мысли; он желал

иметь в своих руках все доклады, депеши и дела, касавшиеся его прошлого; будучи мягким упрямцем, который умел отступать для того, чтобы вернее двигаться вперед, которого Тьер сравнивал с улиткой, убирающей свои рога, как только она почувствует перед собой препятствие, он разрушал в пользу своей собственной власти все фикции парламентского строя. Прудон говорил уже, что борьба идет между президентом и Собранием.

Побитое теми розгами, которые оно же наломало, Собрание попыталось собраться с силами. Оно в свою очередь, как это пытались сделать *Исполнительная* комиссия и Кавеньяк, хотело задержаться на наклонной плоскости реакции; и наперекор министерству, грубо тянувшему его направо, оно склонялось, слишком поздно, налево. Оно уменьшило налог на соль. Вскоре оно намеревалось уничтожить ненавистный налог на напитки. Оно пыталось защитить последние республиканские вольности; оно враждебно становилось поперек дороги той самой власти, которую оно создало. С этого момента судьба его была решена: оно должно было исчезнуть. В петициях, подававшихся желавшими его смерти и самими министрами, требовали его роспуска. Старались убедить его, что срок его полномочий истек; католики и консерваторы, надеясь, что место его займет Собрание, более послушное, насмехались над его упорным желанием жить. Эта кампания, которая велась очень горячо, закончилась предложением Рато. 28-го декабря незаметный депутат из Шаранты предложил назначить на 19 марта созыв Законодательного Собрания, которое должно было заменить собрание Учредительное. Греви от имени *комитета юстиции*, в котором голоса разделились поровну, предлагал оставить это предложение без рассмотрения. Он протестовал против этого самоубийства, которое было бы со стороны Учредительного Собрания равносильно оставлению незаконченного дела. Он попытался, и вся левая следовала некоторое время этой бесполезной искусственной тактике, отделить президента от партии порядка, которая толкала его на крайние меры. Но Собрание, после речи Монталамбера, который явился его веселым могильщиком, высказалось сомнительным большинством четырех голосов за передачу вопроса в бюро. 25 января в своем новом докладе Греви опять предлагал отвергнуть это предложение и напоминал Собранию, что оно взялось провести органические законы, что оно обязано перед самим собою не допускать над собой морального насилия. На 29 января, в день, назначенный для обсуждения этого вопроса, Палата с утра была окружена войсками. Шангарнье, которого президент Собрания просил притти, чтобы дать объяснения по поводу вызова военной силы, уклонился от этого разговора, и заседание началось под давлением военного аппарата, присутствие которого слабо мотивировалось беспорядками в некоторых частях подвижной гвардии.

После блестящего ораторского турнира между Жюлем Фавром, ставшим отныне чемпионом левой, и Виктором Гюго, все еще сидевшим на правой, Собрание решило перейти ко вторичному обсуждению. Оно имело место так же, как и третье, в первых числах февраля, и, по предложению Ланжюинэ, *умеренного Рато* (шутники говорили *беззубого*), Учредительное Собрание согласилось на свой роспуск, после того, как оно проведет три из намеченных органических законов (закон о выборах, о Государственном Совете и об ответственности президента и министров), и утвердит бюджет на 1849 год. Выборы в Законодательное Собрание были назначены на первое воскресенье после прекращения записи в избирательные списки. Таким образом Учредительное Собрание, поддавшись преждевременной усталости, отказалось от самого себя и своего дела, и после нескольких месяцев существования уступило и подписало само свой смертный приговор. Это было одним из самых основных маневров со стороны контр-революции, одним из самых верных ударов, нанесенных Республике.

С этого дня открылась неофициально избирательная борьба, и мы увидим, каковы были средства и программы существовавших в то время партий. Борьба была страстная, но иная, чем в предыдущем году, и, как это часто бывает в таких случаях, переходные оттенки сгладились; произошла концентрация правых и концентрация левых. Центром партии порядка, заявившей себя партией президента и состоявшей из католиков, орлеанистов и легитимистов и даже нескольких республиканцев, всех тех, кто решился не допускать никакой реформы в экономическом строе, был комитет улицы Пуатье,—Якобинское общество навыворот. План ее был прост: бить сбор всем консервативным силам, распространяя, раздувая и эксплуатируя страх пред социализмом.

В несколько дней она собрала по подписке на спасение общества 200.000 франков и начала кампанию, которая должна была охватить все слои населения. Не говоря уже о газетах и журналах, продолжавших свое постоянное дело, против *нечестивцев*, которых нужно раздавить, тотчас были заказаны политикам и литературным борзописцам тридцать одна маленькая брошюра для народа. В несколько недель было роздано бесплатно 550.000 экземпляров. Для тех же, кто хотел их купить, была назначена цена по 10 и даже 5 сантимов за экземпляр. Привести извлечения из них, это значит—дать в руки читателю документы, цитировать их, иногда, значит—изобличать автора.

Одна из них под заглавием *Les Partageux* была написана Г. Валлоном, который хвастался, что он сам был социалистом десять лет тому назад, что он работал своими собственными руками, что он голодал; «но — говорит он, — вместо того, чтобы бранить общество, я благословлял Бога». Его произведение состоит из трех диалогов, в которых старый крестьянин, дядя Франсуа, опровергает и посрамляет одного за другим демократа, социалиста и коммуниста. Демократ робко предлагает реформу налогов: пусть спрашивают много с тех, кто много имеет, и мало или совсем ничего с тех, кто неимущ. Но дядя Франсуа не может этого переварить. Это годится только для социалистов, раздельщиков, для бездельников, нищих, всякой сволочи. Прогрессивный налог, это—самая безнравственная глупость, какую себе можно представить! Пусть лучше ему и не говорят о бесплатном и обязательном обучении! Это покушение на свободу. У родителей украдут детей и скажут им, что Бога нет. Это еще способ увеличить налоги. Затем последовательно уничтожаются развод, выборное начало в применении к чиновникам и офицерам, бесплатный суд. Что же касается бедных, то разве есть бедные, кроме лентяев и тех, кто не умеет быть бережливым? «Во всяком положении можно жить». На социалиста нападки еще сильнее. Его огорашивали следующими истинами: «Разве возможно обеспечить существование всех? Для этого не хватило бы богатств всего мира». Ему ставили в упрек то, что он хочет всех заставить жить в казармах, как солдат, и что он воображает, будто можно людей сделать лучшими. Какая нелепость! Честность в крови не у каждого! И потом какое сумасшествие желать, чтобы государство стало хозяином всего! чтобы оно регламентировало кредит! Если в деревнях платят по 8%, то и в городах платят то же самое и будут платить еще больше теперь, когда болтунам платят по 25 франков. Говорят о сельско-хозяйственном банке... Чепуха! «Я предпочитаю обратиться к моему соседу,—восклицает дядя Франсуа.—Я остаюсь свободным и он также». Но коммуниста топчут с наибольшим ожесточением. Он говорит о равенстве, о братстве. «Мы должны быть равны и братьями, отвечают ему, *но в духе и истине*, то-есть в наших моральных и религиозных отношениях, в нашей умственной жизни. А вы желаете равенства социального под страхом расстрела и гильотины». После этого коммунисту заявляют: пусть он и ему подобные разделят на равные части богатства, через час они уже не будут равны. Затем, смешав воедино коммунистов, социалистов, монтаньяров и республиканцев, «которые все плохи», дядя Франсуа рисует следующий, достойный внимания портрет красного:

„...Красный это не человек, это красный; он не рассуждает, он уже не думает. У него уже нет ни чувства истины, ни чувства справедливости, ни чувства красоты и добра. Это уже не есть нравственное, разумное и свободное существо, каковы вы и я. Без достоинства, без нравственного чувства, без разумности, он приносит в жертву своим самым диким, самым грубым страстям свою свободу, свои инстинкты, свои идеи; это падшее и выродившееся существо. Самое его лицо носит признаки этого вырождения. Лицо у него забитое, огрубевшее, без выражения; мутные бегающие глаза, никогда не смотрящие в лицо, избегающие взгляда, как глаза свиньи; грубые, негармоничные черты лица; низкий, холодный, сдавленный и плоский лоб; немой, невыразительный, как у осла, рот; крупные выдающиеся губы,—признак низких страстей; толстый, широкий, неподвижный, без тонкости очертаний и крепко посаженный, нос; вот общие характерные черты, которые вы найдете у большинства раздельщиков. На их лицах начерганы глупость учений и идей, которыми они живут"...

Подобные вещи не требуют комментария. Едва ли нужно указывать на то, что этот памфлет инспирирован клерикалами так же, как и буржуазией. Другая брошюра озаглавлена: «Правдивое слово к рабочим, крестьянам и солдатам». Автором ее был Теодор Мюрэ, сын коммерсанта, водевилист по профессии, легитимист по убеждениям, оставивший несколько томов анекдотической истории. Впоследствии он не особенно гордился этим произведением и хотя и не отрекался от него, но упрекал себя в том, что написал его. В его брошюре упрощенным, приспосо-

бленным к пониманию рабочих и крестьян, языком были изложены теории социализма и коммунизма: «Ты трудолюбив, ты и работаешь. Я ничего не делаю и ничего не хочу делать». В этом весь секрет! Крестьянам Теодор Мюрэ напоминал, что «красные» называют их бретонцами и издали карикатуру, на которой изображен Луи-Бонапарт, ведущий стадо индюков. К солдатам он инстинктивно обращался на языке вершителей военных переворотов. Он говорил им о «мундире, подчиненном деспотизму нескольких стряпчих», и превращал «красных», друзей угнетенных всех стран в «союзников» иноземцев. Себя самого он ставил под покровительство церкви; его брошюра была иллюстрирована эстампом, изображавшим, как добрый сельский священник учит грамоте ребенка в саду своего дома. Другая брошюра не менее замечательна. Она была озаглавлена «Социализм и религия». Она заимствует места из «избирательного манифеста о религиозной свободе» и заканчивается следующими словами: «Берегитесь, храмы, если восторжествуют социалисты! Берегитесь, колокольни, если придут красные!». Другие, более тонкие и искусные, в большинстве случаев анонимные, принимали социалистический облик, чтобы лучше привлечь читателей из народа; они назывались: *Работы и хлеба. Слово трудящегося или катехизис рабочего.* Третьи стакивали, чтобы разбить их друг об друга, доктрины разных революционных толков; такова брошюра под заглавием: *Красные перед своим собственным судом, работа в высшей степени добросовестная и поучительная, обязанная своим существованием патриотизму господ Консидерана, Прудона, Кабэ, Распайля, Ледрю-Ролена, Барбеса, Коссидьера, Бланки, Флотта и других великих граждан.*

Авторы этих брошюр, когда они благоволят назваться, не всегда оказываются из наиболее достойных уважения. Один из них, по имени Шеню, написавший «Заговорщики», совмещал функции полицейского с качествами бывшего каторжника. Но среди этих рыцарей буржуазного строя не было недостатка в лицах с именем и с некоторым авторитетом. Таков Луи-Вельо. Бонжан, депутат, выдававший себя за рабочего, вышедшего в люди, уничтожал Луи-Блана фразами Прудона, а Прудона самим же Прудоном (Социализм и здравый смысл), маршал Бюжо из Исли (дворянские титулы упразднены) рассказывает («Вечера в Вандейской хижине») историю одной деревенской семьи, составившей себе состояние капустой и репой, которые гораздо полезнее, чем всякий вздор социалистов; чтобы побить этих новаторов, осмеливающихся противоречить божьему творению, нападая на общество, организованное на основании вечных законов, он рекомендует читать другую маленькую книжку того же самого маршала Бюжо. Его социальная политика резюмируется следующей фразой: «Богатые — это только *администраторы, попечители и правители* для бедных, и, очевидно, Бог пожелал, чтобы они играли эту роль». Тьер, в свою очередь («О коммунизме»), убеждал чураться коммунизма, говоря, что он насильно захватывает всего человека, что он заставляет работать, радоваться и жить сообща, что он гасит человеческую деятельность, уничтожает свободу и подобен христианскому самоубийству в монастыре.

Все это предназначалось для народа. Но Пьер Дюпон пел в то время:

У социализма два крыла:
Студент и рабочий.

Нужны были более серьезные, более продуманные книги, чтобы отвоевать буржуазные умы, захваченные социализмом. Тогда Академия моральных и политических наук, живая цитадель здравых учений, приняла участие в битве. Кавеньяк требовал ее вмешательства, «чтобы умиротворить умы, просветив их»; Тьер стал писать свою книгу *О собственности*, Кузен свои несколько страниц о *Справедливости и милосердии*, его ученик Дамирон трактат *О судьбе*. Адольф Бланки, Авель революционного Каина, Виллермэ, Шарль Дюпэн и Ипполит Пасси производили сложную анкету о положении рабочего класса, которому они проповедывали терпение; Минье указывал, как на пример, на практическую добродетель простака Франклина; Бартелеми Сент-Илер пытался установить принципы *истинной демократии*. Роман являлся на помощь официальной науке, о чем свидетельствует следующая тирада Луи Рейбо в *Жером Патюро, в поисках за лучшей из Республик*: «О, негодяи! Напустить на Париж эту кабацкую скотину, этих диких зверей с каторги! И все

это из-за теорий! Но, безумцы, разве вы не видите, что у этих несчастных, пьяных от крови и от вина, нет другой теории, кроме корысти»...

Театр подтягивал роману. В «Водевиле», находившемся в центре квартала Биржи играли: *Собственность — это кража*, реакционную пьесу Клервиля и Кордье, ставивших несколькими месяцами раньше республиканскую пьесу *Дочери свободы*. И на сцене, пусть все обратят на это внимание, появлялся Адам, которого соблазнял змей... в очках, с лицом Прудона. В провинции, в Лиле, в другой пьесе, озаглавленной: *Долой семью!* социалист провозглашал тост за адюльтер. Но весьма легко нападки на социализм перешли в нападки на республику. В Париже, в «Водевиле» каждый вечер пережевывали 45-сантимовый налог и высмеивали 25 франковых господ, изображали народ, уставший управлять и сожалеющий о добрых старых временах, когда он танцовал канкан. В том же театре в пьесах *Индийские каштаны* и в *Ярмарке удей, журнале-водевиле*, который лучше было бы назвать комедией-памфлетом, изображались коммерсант, подписывающий вексель с уплатой в конце республики, профессор кулачного боя, открывающий курс парламентского красноречия, больная Франция, прогоняющая 900 докторов, устремившихся лечить ее, и т. д. Деловой и праздный Париж приветствовал аплодисментами надежду на умиротворяющий деспотизм, *Журналь де-Деба* по-своему праздновал годовщину 24 февраля, говоря, что республика ускользнула в этот день из рук наивных и несведущих.

Программа, соответствовавшая этим свирепым нападкам, была далеко не так откровенна; она считалась со всеобщим голосованием. В ней вовсе не было вопроса о низвержении Республики. *Либеральный союз*, официальное имя, которым украсился комитет улицы Пуатье, остерегался высказывать подобные намерения. Свобода образования, местные свободы с развитием децентрализации *), попечительные и благотворительные учреждения для бедных, ассоциация капиталов, чтобы пустить в ход большие предприятия, деловая политика,—вот что встречалось всего чаще в программах кандидатов. Но под этой «честной и умеренной» внешностью скрывалась необузданная реакция. Католики были во главе этого движения еще больше, чем годом раньше. Монталамбер был самым влиятельным членом центрального комитета, заправлявшего всеми делами; так как не было времени создать в провинции надлежащие организации, то он предоставил в распоряжение своих товарищей по оружию уже существовавшие католические комитеты, которые стали кадрами армии порядка. Он говорил своим коллегам: «Вступайте все в католическую партию, чтобы защищать общество. От этого дела пойдут только лучше». И самые ярые из бывших противников духовенства, во главе с Дюпеном и Тьером, согласились сражаться под его знаменем. В своей книге о собственности Тьер принес публичное покаяние в своем бывшем неверии. Если послушать его, то только одна христианская мысль дает смысл страданию, которое вечно. Он заявлял по поводу христианства: «Все благоразумные политики, не обсуждая его догматов, над которыми есть только один судья—вера, желают, чтобы оно продолжало существовать». И в заключение он говорит, обращаясь к своим читателям и друзьям: «Говорите народу то, что говорит религия!». То-есть учите его, что нищета не может прекратиться на этой земле; что, даже будучи богат, он будет страдать и что он должен отложить свои надежды на счастье до следующего дня после смерти. Значение совершавшейся тогда работы определялось вошедшим в обиход выражением: *нравственный порядок*. Оно было употреблено Кавеньяком в письме, в котором он призывал Академию моральных и политических наук притти на помощь обществу. Оно было принято консерваторами и взято Фаллу в качестве девиза его министерства. Вопрос стоял уже не только о материальном порядке; нужно морализовать, воспитать в духе христианства массы, вырвать с корнем социальные ереси, зародившиеся в умах.

Этому реакционному блоку, объединившемуся под клерикальным знаменем, республиканцы не могли противопоставить столь же компактную массу.

Страх пред социализмом и ров, наполнявшийся кровью в июньские дни, разбивали партию на две части. Умеренные, считавшие, что они сделали все возможное, провозгласивши всеобщее избирательное право, были слишком демократичны для партии

*) Бадовин партии хотели перенести из Парижа резиденцию правительства и главные его учреждения. См. проект Маюля в № VI. *de la Revolution de* 1848 (avril—1905).

порядка, которая не помнила оказанных ей услуг, и слишком буржуазны для народа, который не мог забыть своих ран. Час их падения пришел, благодаря массе сделанных ими ошибок, и защита Республики была организована почти вне их влияния.

Произошло трояное соглашение: рабочих с мелкой радикальной буржуазией; городских рабочих с рабочими деревенскими; пролетариата гражданского с пролетариатом военным. Таким образом образовалась новая партия, которую Прудон называл партией Труда в противовес партии Капитала, но которая сама называла себя менее определенно — партией демократическо-социалистической. На народном языке—«демок-соц»—противопоставлялся «реакам» и «аристокам». Красная Республика, как ее еще называли, имела отныне свою программу. На банкете в Шалэ, 22 сентября 1848 года в годовщину первой Республики, Ледрю-Ролен провозгласил необходимость соглашения, и в качестве главной его основы,— социальную реформу, как необходимое дополнение реформы политической. Союз, который трудно было заключить, был заключен под давлением событий. Банкет 24 февраля 1849 года осветил его, и Парижский Комитет демократов-социалистов изложил в шести статьях программу, которую должен был принять всякий кандидат, желающий иметь поддержку партии. Первые три были чисто политическими и были внушены потребностями момента: 1) Существование Республики не зависит от решения большинства. 2) Демократы обязуются первые подать пример сопротивления, если конституция будет нарушена. 3) Употребление французского оружия против свободы другого народа есть нарушение Конституции; наоборот, Франция обязана оказать помощь притесненным народам. В этим трех статьях выразилось недоверие к исполнительной власти, к будущему Собранию и даже ко всеобщему голосованию. Три последние статьи были социального характера. 4) Признание права на труд, как средство победить тиранию капитала. 5) Всеобщее бесплатное и обязательное обучение детей. 6) Возвращение миллиарда, пожалованного во время Реставрации эмигрантам. Таким образом с одной стороны делался призыв к силе на случай, который только предполагался, что было неловким предупреждением врага, дававшим ему возможность быть настороже, и бесполезной и даже опасной революционной угрозой в избирательной борьбе; с другой стороны, за исключением вопроса, об образовании, неясная мысль или проект, имеющий вид репрессии и мало значительный в случае, если бы он был осуществлен.

К счастью, газеты и брошюры выразили точнее и развитее эту пустую и развязную программу. Социализм принял в то время новую физиономию. Он казался побежденным, побитым, задушенным; главные его идейные руководители были в изгнании или в тюрьмах; остальные были обесславлены, лишены уважения, убиты в общественном мнении. Я думаю, что никогда он не был в более жалком положении. В Собрании никто не осмеливался больше называться социалистом, Луи-Рейбо, говоря о социализме, говорил о нем, как о мертвом, над которым он смело и развязно произносил свое надгробное слово. Однако, радость сторонников экономического *Statu quo* была напрасна. По внешности это была смерть, на самом деле социализм только сбрасывал старую кожу. Коммунизм был отодвинут на задний план, как отдаленная цель; социализм перешел на первое место, как переходный этап, благодаря чему он изменил свой характер. Социализм из строгой, замкнутой системы превратился в социализм почти без доктрины, склеивший вместе идеи, заимствованные у братьев-недругов, Луи-Блана, Консидерана и Прудона *). Утопический социализм, мечтавший о быстрой и общей переделке всего общества, стал социализмом более умеренным, но практическим. Таковым, то-есть разнородным и временно сведенным к требованию радикальных реформ, он появляется вновь и своей пропагандой вербует себе неожиданных сторонников.

Демократы-социалисты уже не обращаются больше исключительно к городским фабричным рабочим, они начинают заниматься крестьянами, которыми раньше они пренебрегали и к которым относились с презрением. По примеру буржуазии, они стали писать для крестьян. Комитет, в котором фигурируют Мишель де-Бурж, Евгений Сю, Шельхер, Агриколь Пердигье и Мио, выпускает целый ряд мелких брошюр, альманахов, гравюр, песен, медалей. Популярный романист, Евгений Сю, выпускает в 1848 году *Республиканец в деревне*, своего рода политический учебник, состоявший из четырех бесед, при чем он выдвигает такие

*) Клуб единения или Сорбонны постарался слить воедино различные социалистические школы.

требования, которые должны нравиться крестьянам: устройство образцовых ферм и сельско-хозяйственных школ, государственное страхование, прогрессивный налог на рентьеров и на держателей закладных, уничтожение налога на соль. Он пытался установить связь между деревенскими и городскими жителями тем, что предлагал уничтожить городские таможни, что должно было облегчить к обоюдной выгоде обращение земледельческих продуктов. Он требовал раздела и улучшения общих выгонов. Как не вспомнить по этому поводу Прудона, который говорил, что консерваторы, отрекаясь от социалистов, как от раздельщиков, сами вербовали им сторонников в деревнях, где не забыли раздела во время первой революции эмигрантских и духовных земель? Евгений Сю проповедывал, кроме того, ассоциацию, как гарантию на случай несчастий и как средство с экономить деньги и силы. В другой брошюре, озаглавленной *Кразанский пастух* он высмеивал книжонки господ академиков и выпускаемые ими картинки из окружающей жизни, разрисованные в розовом свете. Пьер-Жуанье, который впоследствии организовал в Национальном Собрании группу земледельцев, распространял *Деревенский листок и Альманахи*. Он имел то преимущество, что сам был деревенским жителем и умел говорить с земледельцами их языком. В своей речи, произнесенной в Мансе 22-го апреля 1849 года и обошедшей Францию, под заглавием: *Моим братьям в деревне*, он приводил им такой пример выгод единения между трудящимися:

Смотрите!.. Допустим, что нас в деревне сто человек и что мы вместе устраиваем общество; мы уговариваемся каждый вносить в общую кассу по франку в месяц. Всего, значит, сто франков в месяц и 1200 в год. Один из наших товарищей сваливается больной,—понятно, это все предположения,—денег у него нет, он беден. Ну-с! Вот из этих-то денег мы и покупаем в аптеке лекарства. Что же до его работы, то ее мы не упускаем; 99 здоровых соединяются вместе; на соломинке тянем мы жребий и тому досталось, идут в воскресенье обрабатывать его поле, копать мотыгою виноградник, убирать сено или обмолачивать снопы. Взялись пораньше и, глядишь, до обедни все уже кончено; все возвращаются довольные; никого нет бедного; и больной, поберегшись, выздоравливает скорее. Ну, по совести, будет ли преступлением по отношению к республиканскому правительству пропагандировать и поощрять такое проявление солидарности между людьми? Я этого не думаю, между тем это социализм...

И, любопытная вещь. Всему этому суждено было буквально осуществиться в некоторых деревенских обществах. Но этот невинный социализм, если можно его так назвать, тем не менее, подвергся преследованию, как нарушение закона против обществ. Затем Жуанье предлагал деревенским жителям, чтобы привлечь их на свою сторону, устройство третейских судов, которые бесплатно улаживали бы их тяжбы, удешевление провоза при помощи выкупа государством железных дорог, уничтожение в армии права заместительства и сокращение срока военной службы, и проповедывал союз народов, который должен был бы в один прекрасный день уничтожить войну.

Феликс Пиа, в своем *За здоровье французских крестьян*, разошедшемся, как говорят, в миллионе экземпляров, предостерегал крестьян против сельских священников, «их друзей в черных одеждах, которые от этого не менее белы»; он выражал пожелание о «согласии между серой блузой полей с синей блузой городов» и говорил крестьянам, что благодаря одной их количественной силе, от них зависит получить Республику справедливости и любви, при которой они, наконец, получат возможность сами есть посеянный ими хлеб и пить вино из собираемого ими винограда *). К обещанным реформам добавляли возмещение 45-сантимового налога, упорядочение правил об охоте, позволение собирать хворост в казенных лесах, уничтожение ростовщичества при помощи организации кредита. Токвиль замечает, что революционное правительство может привлечь на свою сторону крестьян прямым или косвенным уничтожением ипотечных долгов и, что эта операция, которую легко можно произвести в течение десяти дней, волей-неволей была бы утверждена, даже в том случае, если бы это правительство просуществовало не более шести месяцев. Социалисты, повидимому, начинали убеждаться в своей власти над крестьянскими душами, если судить по их проекту аграрной программы. Генерал Кастеллянэ с беспокойством отмечал успехи в распространении их идей в парижских предместьях и с горечью жаловался на этих людей, которые всем говорят: «Для всех больных будут устроены больницы. Детям будет даваться бесплатное образование. Подобными-то *приманками*, восклицал он, социализм и приобретает себе сторонников». Несомненно, что в деревнях в то время бродили старые революционные дрожжи. В некоторых коммунах избрание Луи-Бонапарта происходило при криках: «Долой дворян!». «Долой попов!». Префект Юба

*) Смотри также: Народное евангелие „Альфонса Эскиро“ и „Республиканское евангелие,“ учителя Малардие и др.

жаловался, что крестьяне его департамента стали читать газеты. Генеральный прокурор из Монпелье сообщал об общих чтениях газеты «Реформа», происходивших в Правдах, и изыскивал средства, чтобы помешать им.

Конечно, демократической прессе было трудно одолеть злую волю, которую ей противопоставляли. Подписка на нее стоила дорого и могла скомпрометировать. Те, кто хранил ее, подвергались придиркам со стороны полиции и рисковали быть обложенными налогом, как книготорговцы. Приходилось искать какое-нибудь известное лицо, у которого хватило бы смелости подвергаться этому риску. История одного из этих смелых листков, под названием: «Маленький Мансо», показывает нам, как устраивались, чтобы обойти все эти препятствия. Прежде всего он был отпечатан в соседнем департаменте; затем был устроен склад его у Гюйона; врача-республиканца из Бэннетабля; и в рыночный день, приходившие к нему за советом тайно уносили от него вместе с рецептом по два, по три номера для себя, и для своих соседей. В окрестностях Нанта доктор Гепен устраивал в полях собрания, которые юстиция пыталась представить в качестве клубов, на открытом воздухе. Врачи, вечные противники церкви, учителя—эти парии образования, смотритель над дорогами, почтальоны и разносчики, выучивавшие иногда наизусть содержание запрещенной брошюры, были самыми деятельными и самыми успешными работниками этого завоевания крестьян демократией.

Армия также была затронута этой пропагандой. «Все усилия красных,—писал Кастеллян,—направлены на то, чтобы развратить ее». Несмотря на то, что консервативные газеты одни только имели свободный доступ в казармы, другие газеты проникали в них тайно. Пришлось удалить из Парижа несколько полков, не избегнувших этой заразы. Унтер-офицеры, застрявшие в большинстве случаев на нижних чинах, как и до 1789 года, были обычными пропагандистами новых теорий. Многие из них были кандидатами на высшие чины, таковы: Буашо, Ратье, Комисер, но под предлогом «анархических и поджигательных речей», которые они держали, их наказывали, сажая под арест; подчиненные их бунтовали, друзья посылали им цветы. «Армия голосует за социалистов,—говорил Ледрю-Ролен и это повторяли за ним генералы. Уже лишили права голоса солдат действующей армии и говорили о том, чтобы лишить его и других.

Таким образом, прогрессивная республика прокладывала себе дорогу, не считая распространения ее *идей в городах*. Так, например, в Страсбурге, национальные гвардейцы кричали: «Да здравствует Гора!». Один очевидец говорит: «10 декабря они охотно стали бы бить тех, кто не желал подавать голос за Бонапарта, теперь же (май 1845 г.) они стали бы драться, чтобы прогнать его».

Правительство сочло необходимым бросить на весы всю тяжесть своего могущества. Оно распустило муниципальные советы и национальную гвардию; отдало приказ о судебном преследовании Прудона за то, что тот, перейдя от министров к ответственному главе, открыто нападал на принца-президента; оно восстановило в их должностях ненавидимого студентами профессора Лерминье и бывших при Луи-Филиппе префектов. При усердной помощи магистратуры, оно разгромило вполне легальное общество, которое под именем *Республиканская солидарность*, совершенно открыто пыталось установить связь между Комитетами и политическими группами передовой левой в Париже и в провинции; ставя ему в вину то, что оно было тайным обществом, или то, что оно замышляло заговоры, оно отдало приказ об аресте 27-ми из его членов и это в то время, как оно позволяло беспрепятственно существовать и действовать обществу Друзей Конституции, существовавшему под этим именем, католическим комитетам и даже целой массе легитимистских или наполеонистских кружков, ставивших себе целью низвержение Республики. Оно запретило по жалобе архиепископа Парижского народные курсы, на которых профессор Леон Пилат, во имя Евангелия, требовал новой церкви для новых времен; его обвиняли в открытии неразрешенного религиозного клуба. Правительство учредило надзор за курсом социальных наук профессора Дамета на том основании, что нельзя допускать, чтобы под шумок учреждались кафедры социализма. *Союзные булочные* и другие общества для удешевления жизни были запрещены не то потому, что они мешали монополиям, не то потому, что в них подозревали очаги политической агитации. Правительство внесло проект закона, запрещавшего устройство клубов, вопреки статье Конституции,

гарантировавшей право собраний. По этому поводу оно заявило, что единственной трибуной в стране должна быть трибуна Национального Собрания. При вопросе о неотложности этого проекта министерство осталось в меньшинстве. Но Одилон Барро, раскаявшийся либерал, боровшийся против свободы, безумный парламентарист, разбивавший прерогативы парламента, не соглашался уступить, прикрываясь желанием Президента; он добился, благодаря неожиданному результату голосования, принятия первой статьи закона, заключавшей в себе запрещение, и радовался этой новой важной победе партии порядка. Затем правительство предает Верховному Суду, собравшемуся в Бурже, обвиняемых по делу 15 мая, давая таким образом обратное действие закону, по которому был учрежден этот исключительный суд, много времени спустя после инкриминируемого акта. По его приказу были казнены, вопреки Конституции, уничтожившей смертную казнь за политические преступления, убийцы генерала Бреа; оно отделалось от Конституции, воспользовавшись весьма удобным и часто применяющимся в подобных случаях способом, подводя под категорию обще-уголовного преступления акт, совершенный в порыве отчаяния побежденными в гражданской войне.

Министром внутренних дел в то время был Леон Фошэ, желчное существо, «антипатичное почти всем представителям всех партий», как его определял его коллега Одилон Барро. Его можно было бы так же назвать фанатиком порядка со всеми свойствами и недостатками, которые выражаются этим словом *фанатик:* твердыми и узкими убеждениями, упорством, доходившим до упрямства, полным непониманием своих противников вместе с бесцеремонным и жестоким отношением к ним. Он был великим инквизитором, взявшимся искоренить социализм уже не убеждениями, а силой. Когда обитатели улицы Пуатье заявили, что они намерены бороться с социализмом при помощи книг и брошюр, Луи Блан выразил им по этому поводу свою радость, а Консидеран послал по подписке двадцать пять франков. Действительно, спор, когда он ведется свободно, даже в том случае, если он сопровождается бранью и клеветой, все-таки есть борьба с равным оружием. Но Гранье де Кассаньяк цинично высказался за необходимость не допускать больше этой свободы. «Нужно не опровергать социализм, а уничтожить его». С социалистами спорят только так, как коса с плевелом, говорил он позднее. Итак, друзья порядка с Леоном Фошэ, исполнителем их низких дел, намерены были не допустить даже выражения социалистических мнений. Он объявил враждебным Конституции возглас: «Да здравствует социально-демократическая республика!». Он воевал против красных колпаков, на которые он смотрел как на эмблему мятежа; он постоянно успокаивал страну так, чтобы в сущности напугать ее, и помещал в *Moniteur* доклады полиции, «часто неточные», как признавался с милой наивностью. Одилон Барро, в которых социализму приписывались все, совершавшиеся во Франции, злодеяния. Его жестокий тон еще больше подчеркивает резко реакционный характер этих мер и этим объясняется то, что большинство в Собрании перемещается; что от правой оно переходит к левой; что Собрание принимает популярный закон об уничтожении налога на напитки; что Гора становится центром сопротивления, вокруг которого группируется порядочное количество умеренных, понявших немного поздно, что они были соучастниками врагов Республики, которыми они были одурачены. Этим же неистовством реакции объясняется то, что принц-президент так быстро стал терять свою популярность; что вскоре произошел конфликт между ним и Собранием; что он стал подумывать о разгоне его; что в конце января сложился проект государственного переворота, своевременность которого оспаривали Тьер, Молэ и де Брогли, и что Шангарнье, всегда готовый «расправиться со сволочью», был готов приступить к этой операции в мае месяце, на следующий же день после выборов.

Но во время этой агонии Учредительного Собрания, самым жгучим вопросом был вопрос внешней политики. Если бы мы вздумали проследить за всеми пертурбациями, вызванными 1848 годом в Европе с одного ее конца до другого, то для этого потребовалось бы написать целый толстый том. Революция в Германии, в Польше, в Вене, в Богемии, в Кроатии, в Румынии, в Италии. Повсюду стремление к освобождению подавленных национальностей и стремление низших слоев населения к свету и равенству, стремление, имевшее сначала успех, но за которым последовало восстановление старого владычества, поколебленного на минуту,

монархии, армии, церкви и собственности. Среди европейских великих держав выделялись на двух противоположных концах, с одной стороны, Россия — последняя надежда реакции, с другой — Франция, — «полярная звезда свободы». Между ними двумя Англия и папство, вначале либеральное, Прусское и Австрийское правительства, склонявшие и толкавшие одних налево, других направо. Однако мы не в состоянии проследить во всем ее громадном объеме за борьбой, завязавшейся между силами реформаторскими и силами консервативными; достаточно будет, если мы отметим изменчивую роль, которую играла в ней Франция.

Ее внешняя политика, как это всегда бывает в демократических государствах, в то время всецело зависела от ее политики внутренней и перешла через три стадии. До июньских дней, в период горячего республиканского энтузиазма, она намерена принять участие в освобождении соседних народов и с большим или меньшим благоразумием обещает и предлагает им свою помощь; затем, подавив революционный дух, она не может и не желает больше поощрять его у других и во время пребывания у власти Кавеньяка, она, за исключением некоторых эфемерных попыток, стоит за политику невмешательства в дела иностранных государств; со времени выбора в президенты Луи Бонапарта, в то время, как стремление к реставрации принципа власти простиралось у нее до угрозы Республике и даже завоеванным раньше свободам, она борется против распространения у других новых идей и оказывает поддержку великому консервативному течению.

Католики, влиятельную деятельность которых в конт-революционной кампании, предпринятой внутри страны, я уже обрисовал, естественно стояли во главе, соответствующей эволюции, совершавшейся во внешней политике, и этим объясняется, почему итальянские дела, а главным образом римские, быстро выступают на первый план.

Итальянское брожение началось до февраля; это настоящее сплетение тенденций, одна другой противоречащих. Прежде всего это стремление к независимости, желание изгнать «варваров» в образе австрийцев. Затем стремление к единству, все растущая потребность создать одну группу из всех народностей, говорящих на диалектах языка si. Но здесь уже возникает серьезное разногласие по вопросу о том, будет ли новая Италия федерацией мелких автономных государств или одним большим централизованным государством? Будет ли она монархией или республикой? Затем в каждой из существующих областей, будет ли власть принца абсолютной, сделается ли он конституционным или его заменит суверенитет народа? Будет ли изменен экономический строй? Возможно ли будет провести реформы, которых требуют некоторые города, как, например: Милан и Ливорно, в то время, как деревни коснеют в глубоком невежестве? Наконец, вопрос о том, какое место при ожидаемой перемене займет папа, играющий двойную роль — светского государя Италии и государя духовного, в качестве такового царствующего над всем католическим миром? Сколько все это представляло причин для осложнений и конфликтов, не говоря уже о недоразумениях между областями, князьями и городами!

Французская Республика вначале сильно поддерживала движение, влекшее Италию к независимости и свободе. Это было желанием передовой партии; это было в то же время, как мы видели, идеей Ламартина, и, несмотря на высокомерный отказ, на который он наткнулся, это было единодушным мнением Собрания, предложенным 24-го мая правительству в следующей формуле перехода к очередным делам: — Братский договор с Германией. Восстановление независимой и свободной Польши. Освобождение Италии. — Но итальянцы, предоставленные самим себе, были побиты; папа, будучи прежде католическим первосвященником, а затем уже патриотом, не допускал никакой воинственной мысли против Австрии, этой покорной дочери Церкви. Неаполь, опередивший весь остальной полуостров в своем возмущении против абсолютизма, с 15-го мая воздвиг баррикады на глазах у бездействующего французского флота, что ему не помешало вновь поднасть под иго, при чем король его тотчас же изменил делу национального освобождения.

Наученный этими неудачами, король Сардинии, Карл-Альберт, потребовал 3-го августа вмешательства Франции, от которого он раньше отказался и которого Милан и Венеция, республиканские по духу, потребовали еще раньше его. Но во Франции после июня реакция против гуманитарных теорий была очень сильна. Бастид, новый министр иностранных дел, больше думал о

выгодах Франции, чем о братстве народов. Он боялся создания на границе Альп итальянского государства, которое было бы опасным соседом; он питал вполне законную обиду за более чем холодный прием, сделанный королем любезным предложениям Франции, и хотя этот последний был побежден и должен был отказаться от Милана и Венеции, Бастид и Кавеньяк высказались за мир и оставили в неразработанном виде проект франко-английского вмешательства; они ограничились тем, что помешали победоносной Австрии перейти через Тессин.

Итальянцы, убедившись, что их мечты о независимости приходится отложить на некоторое время, занялись укреплением свободы внутри страны. Проекты политических и социальных реформ взяли верх. Папа быстро это заметил. Вынужденный уступить требованиям своих подданных, недовольных средневековым режимом, укрепившимся в Риме и Италии, он неохотно даровал конституцию и оставался бессильным зрителем демократической агитации; в августе он искал поддержки за границей и требовал, чтобы Кавеньяк послал три или четыре тысячи войска, что в конце января Гизо и согласился сделать. Но Бастид не желал, чтобы французская республика превращалась в папского жандарма и в посылке войск было отказано. Тогда папа, не послушавшись совета Франции, взял в министры экономиста Росси, друга Гизо, грубого, высокомерного, насмешливого человека, который управлял страной в реакционном духе и был убит 15-го ноября. На улицах Рима были воздвигнуты баррикады, и папа был вынужден разрешить выборы в Учредительное Собрание и дать себе навязать либеральное министерство.

Волнение среди католиков Франции было очень велико, когда они узнали об унижении, которому подвергся их глава. Лишь небольшое количество христианских демократов, как Арно де Ларьеж, соглашались на уничтожение светской власти папы. Но Монталамбер говорил им: «Это навлечет на вас несчастие». Предстояли выборы президента. Было известно, что они в значительной степени зависят от католиков. Кавеньяк, с согласия Собрания, поспешил предложить папе гостеприимство на территории Республики и сосредоточить в Тулоне войска.

Но в то время, как один из министров мчался в Марсель встречать Святого Отца, этот последний, переодевшись, спасался бегством в Гаэту во владения неаполитанского короля, с сентября заслужившего кличку: король Бомба за расстрел своих подданных и поздравления русского царя, благодарного за поданный сигнал контр-революции.

Тем временем во Франции был избран Луи-Наполеон. Пользуясь покровительством и как бы находясь в плену у католиков, он обещал защищать не только самого папу, но и его власть; 1-го января он выразил нунцию пожелание, чтобы папская власть была восстановлена; Тьер, Молэ, пастор Кокерель, которого Тьер называл аббатом Кокерель, высказались в том же смысле.

В числе министров был Друен-де-Люис, для которого папа был «главным камнем свода европейского здания», а главное Фаллу, писавший, что «Франция содрогнется от радости, когда нога Св. Отца коснется ее почвы» и который во что бы то ни стало желал вмешательства в его пользу. Но к делу надо было приступать с осторожностью.

Демократы и многие умеренные республиканцы считали, что нельзя производить такого насилия над волей народа, и когда Учредительное Собрание Италии 9-го февраля 1849 г. провозгласило низложение папы-короля и Республику, монтаньяры послали ему поздравления. Сам президент питал старинную симпатию к делу итальянского освобождения, за которое он некогда сражался, и он, подобно Жиоберти, мечтал о либеральном папе в свободной Италии. Министерство Одилона Барро сперва ограничилось тем, что не признало Римской республики, под тем предлогом, что ей предшествовало убийство Росси, и приказало французскому послу последовать за папой, в Гаэту, сделавшуюся маленьким Кобленцем, столицей реакции в то время, как по-естественному контрасту Рим и центральная Италия с Тосканской республикой, вторившей вместе с Геранди Римской республике, сделались пунктами, где собрались революционеры всех стран, среди которых можно упомянуть одного из Бонапартов, французских демократов, как Лавирон, а вскоре и Гарибальди. За неимением лучшего, министерство старалось уничтожить недоразумение между папой и его подданными при посредстве итальянского вооруженного арбитража, возложенного на Пьемонт и Неаполь.

Во время всех этих событий возобновилась война между Австрией и Сардинским королем. Окончившись в три дня поражением Карла Альберта при Наваре (24-го марта) и его отречением, она могла иметь своим последствием то, что у самых ворот Франции оказалась бы Австрия, которая опрометчиво мечтала о том, чтобы возвратить Европу «к принципам здравой политики», которые были проведены Венским Конгрессом в 1815 году. Луи-Наполеон хотел, чтобы немедленно была объявлена война этой державе. В этом вопросе он приближался к французским демократам. Эти последние, с Ледрю-Роленом во главе, не хотели, чтобы был оставлен на произвол судьбы побежденный Пьемонт, на который возлагалась надежда будущего освобождения Италии. Они приглашали, устами Флокона Палату обратиться к своему решению от 24-го мая 1848 года, гласившему, что «Франция желает освобождения Италии». Это была бы война революционная, война за притесняемый народ. Партия порядка ни в каком случае этого не желала; она боялась такой войны, потому что она могла привести к торжеству революции в Италии и тем самым разбудить революционные силы Франции. Она заставила Тьера пустить в ход свое влияние на принца-президента. В Собрании она вышла из затруднительного положения, проведя мирную формулу перехода к очередным делам, имевшую только несколько угрожающий тон: «Национальное Собрание заявляет, что если исполнительной власти для того, чтобы обеспечить неприкосновенность пьемонтской территории и охранить интересы и честь Франции, понадобится для подкрепления своих требований временно занять войсками часть Италии, она найдет в Национальном Собрании полную поддержку».

Это было как бы подписью на бланке, данном правительству для защиты Пьемонта от Австрии, которая к тому же дальше и не пошла. Но то, что из этого чудодейственно мог возникнуть поход для восстановления светской власти папы—является настоящим шедевром католической политики.

Чтобы понять это, надо знать, что в святилище дипломатии, труднее, чем в какое-либо другое, может проникнуть свет и контроль демократии и что народ, а в особенности французский, очень легко дает себя фанатизировать «религией знамени».

Начали с того, что 16-го апреля Одилон Барро спешно потребовал ассигновки в 1.200.000 франков, чтобы в течение трех месяцев держать в военной готовности южный экспедиционный корпус. Задача состоит в том, говорил он, чтобы обеспечить римлянам настоящую свободу в случае вмешательства Австрии. Никогда не пользовались больше, чем в этот раз, мантией свободы для того, чтобы прикрыть ею порабощение. Докладчик Комиссии Жюль Фавр говорил, что, согласно заявлениям Одилона Барро и министра иностранных дел Друена де Люис, «правительство не имеет намерения способствовать уничтожению римской воевать расположение умеренных республиканцев, придать республики». И, действительно, нужно было для того, чтобы либеральную окраску предполагаемой экспедиции и замаскировать подготовлявшийся искусный обход. Одилон Барро был намеренно неопределенен и двусмыслен. Он не отрицал, что в Рим шли для того, чтобы помешать Австрии войти туда первой. Но когда Шельхер прямо поставил ему вопрос: что будет делать французская армия, если римская республика откажется принять папу или эту армию, то ответом ему было неловкое молчание. Но что за важность! Ассигновка была утверждена большинством Собрания, несмотря на то, что вся Гора устранилась от участия в голосовании, и 22-го числа генерал Удино с 7.500 человек отплыл в Чевита-Веккию. Казалось, это была простая военная прогулка. Он не взял с собою осадных снарядов. Его двусмысленные прокламации давали повод сомневаться, является ли он защитником или разрушителем римской Республики. Из управлявших ею триумвиров: Армеллини, Саффи и Мадзини, первый высказался за соглашение, два другие за сопротивление.

По пути генералу попадались плакаты, с написанной на них V статьей французской конституции, гласившей, что Республика «никогда не употребляет своей силы на подавление свободы какого бы то ни было народа». Когда же он, проплутав вследствие того, что у него была устаревшая карта, обманутый ложными донесениями о намерениях жителей Рима, подошел к стенам города в уверенности, «что итальянцы никогда не дерутся», то часть его войск была перебита и взята в плен и он должен был отступить к Чевита-Веккиа.

Всякому, кто знаком с нервностью французов, а в особенности парижан, легко будет себе представить, какое впечатление произвело известие об этом нападении и поражении. После того, как 7-го мая *Moniteur* лаконически признал и то и другое, Жюль Фавр всходит на трибуну и заявляет об огромной разнице между министерскими декларациями и поступками.

— Нас обманули,—восклицает он и требует отставки министров, отрешения генерала от должности и посылки в Италию комиссаров из среды Собрания, подобных тем, которых Конвент отправлял в армию.

Но умеренные республиканцы испугались этих радикальных мер, и Сенар, выражая их настроение, проводит следующую формулу: «Национальное Собрание предлагает правительству немедленно принять необходимые меры к тому, чтобы итальянская экспедиция больше не отклонялась от указанной ей цели». Это было выговором министерству за то, что оно употребило против римской Республики силы, предназначенные бороться с Австрией. Но в то же время это было предоставлением министерству возможности исправить добровольно сделанную им ошибку. Министерство воспользовалось этим, чтобы остаться на своем месте. умирающее Собрание уже больше не внушало уважения. Президент, не обращая внимания на него и на конституцию, обратился к генералу Удино с письмом, в котором он своей собственной властью предлагал ему многочисленные подкрепления для того, чтобы спасти «военную честь». Шангарнье сообщил об этом письме в дневном приказе по армии, «чтобы укрепить ее приверженность к главе государства». В этом можно было видеть игру нарождавшихся Цезарей, состоявшую в том, чтобы приобрести расположение офицеров и солдат и пробудить национальное самолюбие. Смысл этих слов был усугублен смотром, на котором крики: «Да здравствует Республика!» с одобрения начальства были заменены криками: «Да здравствует Наполеон!». Пораженное этими фактами Собрание, однако, перешло к порядку дня. Крайняя левая внесла требование о предании суду Президента и его министров. Но само собой разумеется, что предложение это было отвергнуто.

Между тем министерство, чтобы показать, что оно что-то делает, так как Конституция не была еще упразднена, командировало в Рим специального посланного, Фердинанда де Лессепса, со столь неясными и сложными инструкциями, что они были равносильны скрытому приказанию затянуть дело. Но де Лессепс, будучи слишком деятельным для того, чтобы ограничиться дипломатической болтовней и, желая избегнуть осады Рима и бесполезного пролития французской крови, а, может быть, и подбодренный под рукой главарями республиканской партии, вступил в переговоры и повел их так искусно, что едва не добился примирения между двумя сестрами—республиками, натравленными друг на друга католиками.—Слишком много усердия!—сказал бы Талейран. - Генерал Удино и генерал Вальян, прикомандированный к нему в качестве помощника, а в случае, если Удино станет проявлять слишком много симпатии к римлянам, то и в качестве заместителя,—оба рвались вперед, чтобы отомстить за афронт, полученный их войсками. У министерства была, как сознавался в этом несколькими неделями позднее Фаллу, «католическая цель». И де Лессепс, в тот момент, когда он думал, что дело его выиграно, внезапно был отозван. Это произошло 29-го мая, на следующий день после того, как Учредительное Собрание уступило место своему наследнику. Можно было сбросить маску: католики вышли победителями при баллотировке. Был дан приказ двинуться на Рим и проделка удалась. Республиканская Франция сделалась восстановительницей и хранительницей власти папы.

Это реакционное дело было завершено революцией, вотированной в тот момент, когда было получено известие о вмешательстве России для подавления венгерской революции. По мысли Кавеньяка, Собрание предложило правительству принять необходимые меры, чтобы обеспечить как будущность свободы, так и внешние интересы республики; однако оно отклонило следующее добавление: «чтобы защитить независимость и свободу народов».—Политика республиканского лучеиспускания и деятельной симпатии к притесненным народам была окончательно осуждена.

Таким образом, последние дни Учредительного Собрания ознаменовались резкими спорами, пахнувшими порохом. Все они прошли в беспрерывных запросах: по поводу незаконных вторжений полиции на банкеты и предвыборные собрания, по поводу бросания каменьями и ударов штыками в кабриолет Ледрю-Ролена, ехавшего в Мулэн для произнесения пропагандистской ре-

чи; по поводу произведенной полицией в Париже облавы, в которую попало несколько депутатов; по поводу маневра, примененного в последний час перед выборами с целью оказать давление на избирателей, при чем самый постыдный из них был применен министром внутренних дел Леоном Фошэ. 12-го мая, накануне выборов, он разослал всем префектам телеграммы по поводу постановления палаты, принятого по предложению Жюля Фавра; телеграмма кончалась следующими словами: «этим постановлением укреплялось общественное спокойствие. Агитаторы же только и ждали враждебного решения со стороны Собрания, чтобы броситься к баррикадам и повторить июньские дни». Кроме того, министр приказал расклеить на улицах во всех департаментах составленный не без ошибок список депутатов, голосовавших против правительства. Леон Фошэ действовал со смелостью человека, рассчитывавшего на успех, благодаря которому простятся все его злоупотребления властью. Однако он превзошел меру и это в ту минуту, когда его услуги делались уже ненужными. Им пожертвовали, при чем защищало его только пять человек, оставшихся ему верными, среди которых был пастор Кокерель.

Выборы прошли под влиянием, с одной стороны, искусно поддерживавшегося страха и сильного правительственного давления, с другой—под влиянием отчаяния, вызванного этим давлением. Холера, уносившая ежедневно тысячи жертв, не способствовала успокоению бушевавших страстей. При известии о первых результатах выборов в больших городах, бывших благоприятными для красных, маршал Бюжо предлагал двинуться на Париж. Он любил говорить, что армия есть настоящая хранительница нации.

При таком-то подавлении гражданского элемента военным, Учредительное Собрание плачевно доживало последние дни своей короткой, бурной и полной событиями жизни. Ему больше недоставало хладнокровия и опытности, нежели талантов и добрых намерений. Вступив с самого начала в конфликт с парижским народом, обессиленное и сбитое с толку внезапно ставшей перед ним, благодаря долгому кризису, социальной проблемой, окруженное ужасами гражданской войны, оно было так всем этим напугано, что страх, овладевший им, парализовал всю его деятельность. Напуганное преобразованиями, которые хотели внести в буржуазную систему социалисты, оно, оставаясь по своим намерениям республиканским, позволило руководить собою монархистам и ловким католикам, завлекшим его по пути реакции гораздо дальше, чем оно думало итти. Когда оно хотело остановиться, было уже слишком поздно. Оно было вынуждено стать соучастником антиреспубликанских действий, толкаемое к самоубийству и к отречению от своих принципов, созданною им слишком сильною властью и реакцией, разнузданности которой оно само способствовало; и оно исчезало бесследно, осмеянное, печальное, полное мрачных предчувствий, которые его президент Марраст выразил так в своем тревожном прощании, обращенном к нему: «Пусть мудрость наших наследников поможет им исправить недостатки и ошибки, вызванные суровой необходимостью в нашей тяжелой работе! Пусть они остерегаются сами поддаться страстям и пагубным увлечениям!».

ГЛАВА XII.

Законодательное Собрание. 13-ое июня 1849 г. Занятие Рима и его последствия.

Законодательное Собрание, избравшее своим председателем орлеаниста Шарля Дюпена, было составлено совершенно иначе, чем Учредительное Собрание. Из 700 депутатов около 450 были монархистами, представлявшими из себя сплоченное большинство, когда дело шло о том, чтобы вотировать против республики и демократии, но раскалывавшимися, когда приходилось вырабатывать что-нибудь положительное взамен того, что они хотели уничтожить. Монархическое большинство состояло из легитимистов, орлеанистов и бонапартистов; первые были более многочисленны, вторые более смелы и имели в своей среде Персиньи, избранного дважды, и Люсьена Мюрата, получившего самое большее число голосов в Париже. Умеренных республиканцев было не больше 75; их вожди, начиная с Ламартина, Мари, Марраста, Гарнье-Пажеса и Сенара—остались за бортом. Наоборот, демократов-социалистов было около 180; многие были выбраны двумя департаментами, Феликс Пиа—тремя, Ледрю-Ролен был избран четырьмя и прошел в Париже вторым. *Красный* список восторжествовал над другими в Альзасе, в Лионе, в центре и на юго-

востоке. В результате этого большинство и меньшинство, количественно относившиеся друг к другу как два к одному, оба одинаково страстные, но представлявшие два противоположных принципа, оказались друг против друга почти без всякого посредствующего звена. Отсюда вытекал вполне естественный ход событий: проводились реакционные меры, чтобы отнять у меньшинства всякую возможность удержаться или увеличиться в числе; затем при каждой попытке этого последнего сохранить за собой завоеванные позиции или вновь овладеть потерянным положением прибегали к еще более стеснительным мерам и так до тех пор, пока всеобщее голосование не было отнято у Франции законом 31-го мая 1850 года. Это было кульминационным пунктом, достигнутым антидемократией, последним общим делом трех монархических групп этого собрания. С этого момента началась борьба между ними за верховную власть, закончившаяся победой того, кто уже и так был наполовину победителем. Бонапартистская партия при помощи военного переворота, которым было восстановлено всеобщее голосование и разогнано собрание, убила республику и уничтожила остатки свободы, но положила начало возвращению к политическому и социальному равенству.

Вражда вспыхнула с самого начала. Известие об осаде Рима достигло Парижа в первых числах июня. Оно вызвало тотчас гнев и возмущение среди демократов. Уже нельзя было отрицать, что V параграф конституции нарушен. 11-го июня Ледрю-Ролен выступил с обвинением против президента и министерства, главой которого оставался Одилон Барро и куда вошли три новых сотрудника того же направления, как и он сам: Дюфор Ланжюинэ и Токвиль. На вызывающий ответ Одилона Барро Ледрю-Ролен восклицает: «Мы будем защищать конституцию всеми возможными способами. *даже оружием*».—За эти слова Ледрю-Ролена сильно упрекали. Но это было равносильно тому, как если бы его стали упрекать за слишком большую верность своим обязательствам. Та программа, в качестве сторонника которой он был избран, предвидела, что придется взяться за оружие, это последнее средство народов, когда закон нарушается их господами или их избранниками, и требовала, чтобы за него взялись. Однако подобные призывы к силе могут быть оправданы только или успехом, или мученичеством. Что касается Горы, то на какую силу могла она рассчитывать для поддержки такого серьезного решения?—Комиссия двадцати пяти, назначенная Избирательным комитетом Парижа, обещала восстание, говорила о тысячах вооруженных и организованных людей.

Но нет ничего более опасного для партий, как рассчитывать в своем поведении на эти маленькие парижские кружки, развивающиеся в узкой и экзальтированной среде и полные иллюзий по поводу масс и влияния своих последователей. Повидимому, Ледрю-Ролен не посоветовался с Горой раньше, чем бросил свою угрозу восстания. Когда она обсуждала этот вопрос, на нее уже как бы было наложено обязательство ее главным оратором. По совету Мишеля де Буржа, несмотря на протест Бодена и некоторых других, она скорее покорилась необходимости, чем приняла добровольное решение выступить.

И, действительно, предприятие было безумное, принимая во внимание, что в Париже, опустошенном холерой, народ, уже год лишенный оружия и всех своих наиболее энергичных элементов, не желал, чтобы его калечили ради дела, происходившего в пятистах лье от него; принимая во внимание, что мелкая буржуазия была недовольна, нисколько этого не скрывала и вовсе не была склонна вступать в борьбу с очень сильным гарнизоном, что вся национальная гвардия, за исключением артиллерии, была или индифферентна или враждебна. Если в июньские дни произошло восстание солдат без начальников, то на этот раз это могла быть только глупая выходка начальников без солдат. Рассчитывали, конечно, что целые полки сложат оружие. Но Шангарнье, которого так любезно предупредил Ледрю-Ролен, имел под рукою многочисленную кавалерию, аристократический корпус подвижных жандармов, бывших муниципальных гвардейцев, с которыми так круто обошелся народ 24-го февраля и которые кричали: «Долой красных!», и, наконец, войско, доведенное почти до полного пассивного повиновения. Поэтому-то 13-го июня колонна невооруженных манифестантов и была без всякого сопротивления разбита на-двое на бульваре и рассеяна. Ледрю-Ролен с двумя десятками депутатов пытались устроить в музее Искусств и Ремесл пункт, где могли бы собраться разбежавшиеся; по соседству выросло несколько баррикад. Но строевые солдаты

без труда проникли во двор здания и схватили нескольких депутатов, остальным же и между ними Ледрю-Ролену удалось уйти через потайную дверь. Итак, они были лишены ореола жертвы, так же, как и ореола победы.

Это восстание, которое в Париже оказалось просто фейерверком, отразилось в провинции гораздо серьезнее.

В городе Лионе, пролетариат которого не пережил в предыдущем году подобного парижскому кровопускания, в Круа-Руссе были устроены баррикады, произошло столкновение и было убито 80 солдат и 150 рабочих. Порядок был быстро водворен, а вслед за этим было произведено 1.500 арестов. В других местах—в Тулузе, в Страсбурге, в Перпиньяне и в особенности в некоторых деревнях Алльe-было несколько попыток восстания. Но в три или четыре дня все это поверхностное брожение было подавлено и умиротворено.

Последствия этого возмущения совершенно не соответствовали его значению; оно послужило превосходным предлогом для всевозможных жестокостей. В Париже восторжествовала армия и Шангарнье, который в свою очередь по установившемуся обычаю был провозглашен спасителем отечества; были разгромлены верными национальными гвардейцами несколько газет, главным образом, газет *мирной демократии*, при чем разгром этот был санкционирован властью, приостановившей десять органов передовой печати; были распущены легионы, в которых предполагался революционный дух, был отставлен от должности Пулье, ученый директор музея, за то только, что он не сумел закрыть вход в это учреждение; наконец, было введено осадное положение, сделавшееся обычным положением в столице; оно было распространено на Лион и на близлежащие департаменты.

В Собрании Гора оказалась обезглавленной и, что еще хуже, дискредитированной; Ледрю-Ролен и его товарищи, бывшие в бегах или в тюрьме, были преданы Верховному Суду; среди них был Консидеран, Феликс Пиа и несколько низших офицеров, только что вошедших в Палату; остальные Монтаньяры были принуждены с трибуны отрекаться от неудавшегося восстания; Кавеньяк, от имени умеренных, нападал на защитников Конституции, побежденных без битвы; был введен строгий регламент, дававший возможность исключать и лишать содержания депутатов, позволявших себе слишком большую смелость в речах. После всего этого занялись тем, что стали наказывать тех, кто «плохо голосовал» во время последних выборов. От рабочих ничего хорошего и не ожидали, но Токвиль передает о том, какой ужас обуял консерваторов, когда они увидали, что часть крестьян и большинство солдат подают свои голоса за красную Республику. «Это,—говорит он,—были два якоря спасения, которые вдруг оборвались во время бури». Необходимо было не дать возможности этому скандалу повториться. Итак, война против красных и демократической пропаганды!

По предложению Монталамбера, для реорганизации армии был издан специальный и запоздавший декрет, имевший в виду интересы Шангарнье и разрешавший одному лицу совмещать в себе начальство над национальной гвардией и над военной дивизией; были восстановлены в чинах, несмотря на протесты Харраса, генералы, отставленные Временным Правительством, и среди них Кастеллан; из полков были отозваны солдаты и унтер-офицеры, позволившие себе обнаружить передовой образ мыслей, и после шестидесятидневного заключения в карцере отправлены в Африку; военной власти были даны, на случай объявления осадного положения, все те права, которыми облечена гражданская власть, для поддержания порядка и все преступления против Конституции или общественного порядка были переданы в ведение военных судов. Что касается до пропаганды в городах и деревнях, то в циркулярах генеральным прокурорам и префектам предписывалось иметь тщательный надзор за клубами, всевозможными ассоциациями и разносчиками и возбуждать преследования против всякого, кто закричит: «Да здравствует социальная и демократическая Республика!» или поднимет красное знамя. Затем из папок были извлечены реакционные законы, которые были заготовлены еще до 13 июня. Печать была окутана сетью еще более стеснительных правил. Всякое оскорбление президента Республики официально преследовалось. Всякое обращение к военным с призывом не повиноваться своему начальству, всякая критика законов и неприкосновенности прав, ими освященных—наказывались штрафом и тюрьмой. Всякая подписка с целью уплатить чей-нибудь денежный штраф воспрещалась. Для разноски печатных изданий и иллюстраций требовалось раз-

решение, которое в любое время могло быть взято обратно. Требовалось, чтобы всякая брошюра, в которой трактовались политические или социальные вопросы, представлялась для просмотра за двадцать четыре часа до ее опубликования или раздачи. Ни один периодический журнал не мог иметь ответственным редактором депутата. Всякая газета была обязана помещать на первом листе сообщения представителей власти. Уголовному Суду было предоставлено право приостанавливать на три месяца всякую газету, оказавшуюся виновной в призыве к восстанию. Таковы были главные положения закона 27-го июля 1849 года. Одилон Барро со смелой уверенностью заявлял, что закон этот оставлял в полной неприкосновенности право суждения. Тьер с жгучей иронией ответил республиканцам, жаловавшимся на него, что это простое дополнение к закону, который они сами предлагали за год перед тем в органе Мари. Монталамбер, всеми силами поддерживая этот репрессивный закон, демонстративно каялся в том, что он некогда боролся за свободу, и объяснял это отречение от своих прежних увлечений хитрым софизмом: «Я прежде всего,—говорил он,—поклонялся Церкви и ее свободе; и в этом я не переменился ни на иоту. Затем я поклонялся свободе но свободе аристократической, но я никогда не поклонялся равенству, демократии и революции». Если бы пришлось делать выбор между революцией и абсолютизмом, он бы выбрал абсолютизм и заявлял, что если бы в один прекрасный день консервативные газеты стали проповедывать междоусобную войну и сказали: сегодня перо, а завтра ружье, то он заранее согласился на упразднение их и если бы он сам когда-нибудь взошел на трибуну и стал призывать к насилию, то он бы извинил всякого, кто посадил бы его в тюрьму. Это было обещанием пассивности при удачном перевороте.

Понятно, что его приветствовал за эту проповедь повиновения власти Меттерних—этот старый корифей европейского консерватизма.

Оправдание он находил в обычном припеве: «Мы выдерживаем осаду социализма». Но эта манера—все грехи Израиля относить на счет социализма — сделалась такой избитой, что Жюль Фавр, прежний обвинитель Луи Блана, рискнул сказать: «Если обществу угрожает социализм, то знаете ли, что надо сделать, чтобы снять осаду? Это — дать социализму войти в укрепление». Он хотел, чтобы против социализма боролись убеждением, а не репрессиями, и тот факт, что подобное суждение исходило из уст умеренного, показывал лучше, чем что-либо другое, что при исчезновении центра решительная битва должна была разыграться между крайними — красными и белыми, социалистической демократией и католическими монархистами.

Но вполне естественно, что день 13-го июня, направление которому было дано вопросами внешней политики, именно на нее имел всего больше влияния. В то время, как во Франции восстановилось сравнительное спокойствие, чему свидетельством повышение фондов, открытие выставки, возобновление деловых операций, а также и дополнительные выборы, усилившие министерское большинство — римская экспедиция шла своим чередом. После осады по всем правилам искусства и довольно невинной бомбардировки, не повредившей даже памятников, французы проникли через образовавшуюся брешь, вступили в Рим при свисте и криках населения. Таким образом римская республика была уничтожена, но победителю было предписано не производить кровавых подавлений побежденных и дать возможность церкви установить серьезные либеральные учреждения. Поэтому Удино дал возможность самым скомпрометированным республиканцам свободно покинуть отечество; но он имел неосторожность провозгласить с 14-го июля реставрацию папской власти, ничем не гарантировав ее. Святой Отец немедленно облек своей властью трех кардиналов — триумвират в красных мантиях. Возникал вопрос: будет ли Пий IX либерален, о чем его умолял Токвиль, министр иностранных дел, или нет. Он, казалось, мало был к этому склонен.

Он не соглашался на покровительство Франции, которая его побуждала ввести парламентский и полу-светский режим. В послании, адресованном к своим возлюбленным подданным, он благодарил за помощь «католическую армию», не упомянув даже об армии французской, сражавшейся за него; он откладывал на неопределенный срок свое возвращение в Рим и не говорил ни об амнистии, ни о конституции. Святая Инквизиция была восстановлена, а вместе с ней и политическая месть кардиналов, так что Токвиль говорил, что он стыдится того, что французское

знамя покрывает собою эту ретроградную политику. Недовольная Франция отозвала Удино и своего посланника де Корселя. Тогда и президент Республики счел нужным обратиться к своему двоюродному брату Эдгару Ней, бывшему подполковником армии, занявшей Рим, с письмом, начинавшимся следующими словами: «Французская Республика не для того послала армию в Рим, чтобы задушить там итальянскую свободу» и заключавшим в себе целую программу: «Я считаю,—писал принц,—нужным—восстановление светской власти папы, всеобщую амнистию, светскую администрацию, введение кодекса Наполеона и либеральное правительство». Он прибавлял: «Всякое оскорбление, нанесенное нашему знамени или нашему мундиру, задевает меня прямо за сердце, и я прошу вас поставить на вид, что если Франция не торгует своими услугами, то она требует, по крайней мере, чтобы отдавали должное ее жертвам и ее самоотречению».

Письмо не обсуждалось в Совете Министров; это было проявлением той личной политики, которую Луи Бонапарт желал вести. Несколькими месецами раньше он послал Одилону Барро письмо, обнаружившее это стремление: «Надо найти людей, приверженных мне на все должности, начиная от префектов и кончая простыми полицейскими; надо везде пробудить воспоминание не об Империи, а об Императоре, потому что это единственное чувство, при помощи которого можно бороться с превратными идеями». Последовательный в своих поступках и в душе менее реакционный, чем большинство Собрания, он держал в узде чрезмерные притязания католиков. Таким образом, принц начинал ту двойную игру, которая должна была так хорошо ему удаться: с одной стороны дать Собранию, отнимающему все свободы одну за другой, связать нацию по рукам и ногам; с другой стороны (от времени до времени) протестовать против мер, плоды которых он пожинал, а темную сторону сваливал на депутатов.

Католики пытались привлечь его на свою сторону. Фаллу счел нужным отказаться от должности министра на том основании, что он не мог принимать участия в давлении на святого отца. Фаллу не стали удерживать. Монталамбер писал: «В Риме самая природа власти исключает всякую мысль о разделе его суверенитета *в чем бы то ни было*». Он принял почти угрожающий тон; он предупреждал принца-президента об опасности восстановить против себя священников и их приверженцев.

«Ваш дядя, который был сильнее вас,—говорил он,—от этого погиб». Но президент так же не хотел уступать, как и папа, который ответил 12 сентября 1849 года новым письмом своим подданным, известным под именем Moto proprio. В нем он указывал на реформы, которые он согласен был пожаловать. Вот самые существенные из них: учреждение муниципальных советов, члены которых назначаются папой; Государственного Совета, тов, члены которых назначаются папой; Государственного Совета, подготовляющего законы; Совета, который, не имея решающего голоса, должен только обсуждать налоги, при чем члены его назначаются по выбору папы из списков, представляемых провинциальными советами.

Словом, несколько местных свобод и пародия парламентского режима: глава государства назначал лиц, не имевших права контроля ни над действиями, ни над расходами его. К этому присоединилась комиссия судебной реформы (весьма неопределенной) и амнистия, но чрезвычайно жестокая, оставлявшая в стороне бесчисленные категории лиц. Пальмерстон, английский министр, таким образом резюмировал мысль папы: «Я назначаю Государственный Совет и буду следовать его решениям, если захочу; обещаю реформы и прощаю невиновных». Сам Токвиль называет эти уступки «смешными». Тем не менее министерство сделало вид, что принимает их всерьез, когда Собранию пришлось высказаться по этому поводу. Прения были блестящие, но туманные. Двусмысленность осталась до конца характерной чертой земской экспедиции. Тьер, в то время член католической партии, сделал вид, что он вполне удовлетворен декларацией папы Пия IX и полагается на его добрую волю. Он ни слова не упомянул о письме к Эдгару Нэю, как-будто, будучи неконституционным, оно совершенно не шло в счет. Автор письма был настолько уязвлен таким пренебрежением.—Это был критический момент для II Республики: она еще могла быть спасена; в течение нескольких недель еще можно было спрашивать себя—повернет ли она направо или налево. В первый раз тесное единение президента с партией порядка дало серьезную трещину.

Республиканцы попробовали воспользоваться этим для того, что-

бы привлечь на свою сторону президента, который стал мечтать о союзе с Пруссией, с либеральными державами, и о разрыве с папой. В этот именно момент, Виктор Гюго, который уже давно колебался между правой и левой, но которому опротивела жестокость буржуазии и воинственный клерикализм консерваторов,—Виктор Гюго порвал со своим прошлым и с большинством Собрания, которое, положительно пренебрегало народными свободами. Монталамбер своим оскорбительным обращением к бывшему другу сделал этот разрыв непоправимым. Пламенный оратор католиков защищал права папы на неограниченную власть, в блестящей речи, где он, в своем энтузиазме, определял Церковь такими средневековыми терминами: «Это мать; это мать Европы, мать современного общества, мать современного человечества». Собрание утвердило кредиты, которые требовало министерство, и через несколько месяцев, посреди ледяного молчания, папа вернулся в Рим, где он стал править под защитой Франции, и отчасти у нее на содержании, так как Монталамбер первый обратился к великодушию верующих французов для обеспечения неотложных нужд Пия IX.

Тот же Монталамбер, отправившись несколькими месяцами позднее на богомолье в Рим, рассказывает о своем волнении, когда он увидел трехцветное знамя над папским дворцом. Непонятная радость! Занятие Рима французскими войсками неминуемо должно было в минуту опасности лишить Францию итальянских симпатий и создать между двумя нациями долгую и тяжелую размолвку. Но не одна Франция должна была пострадать от этого протектората. Виктор Гюго писал: «Каково бы ни было настоящее, мы должны смотреть на «motu proprio» как на невольное отречение папы от светской власти на неопределенное время». Действительно, отныне эта власть зависела от чужеземной поддержки, и в случае ее отказа, должна была пасть. Более того! Это утверждение духовного абсолютизма силой воздвигало стену между папой и народом, между Церковью и миром, вышедшим из пламени Революции. Папское послание от 12 декабря 1849 года «Nostris et voibiscum» выносило торжественное порицание не только коммунизму и социализму, но даже либерализму; оно утверждало первенство на земле духовного владыки; оно указывало на тесную связь между послушанием папе и подчинениям государям, между покушением на светское имущество святого престола и угрозой частной собственности. Рим становился, как после реформации—крепостью принципа власти, столицей европейской реакции.

Эта реакция всюду торжествовала в 1849 г. Усмиренная Германия «возвращалась к своей старой феодальной организации (по крайней мере, внешним образом); Венгрия была раздавлена царской армией, и, несмотря на Тьера, понадобилось вмешательство англо-французского флота для того, чтобы воспрепятствовать насилиям России над турецким правительством, отказывавшимся выдать эмигрантов, укрывающихся на ее территории. В Италии неаполитанских либералов преследовали и сажали в тюрьму. Жертвы репрессии короля «Бомбы» насчитывались десятками тысяч. По всему северу полуострова раздавались шаги австрийских патрулей; осадное положение, военный режим, аресты и избиение патриотов. Манен, герой Венеции, Терадзи, президент Тосканской республики, Мадзини, римский триумвир,—отправлялись в изгнание, где сталкивались с такими же изгнанниками французской республики, германской революции, с Кошутом, защитником, Венгрии. В Парме чиновники, профессора, коммерсанты и юристы принуждены были брить бороды и стричь волосы. Предвиделся проект нового священного Союза королей; и всюду, в Австрии, в Тоскане, в Модене, в Неаполе,—церковь вновь обретала и расширяла свои утраченные привилегии и уничтожала все враждебные ей реформы. Единственное исключение составляла Сардиния, которая сохраняла свою конституцию, баррикадировалась антиклерикальными законами и, таким образом, становилась убежищем надежд и запрещенных свобод.

Вернемся к Франции. Здесь первой жертвой Римской экспедиции оказалось министерство, которое организовало ее. Одилон Барро пытался лавировать между двумя силами, вступившими в борьбу—между президентом и Собранием; он был под подозрением и здесь и там; крайние реакционеры находили, что он ограждает республиканскую партию, принц обвинял его в том, что он препятствует его планам; приговор его был предрешен. 28 октября 1849 года, он был без долгих церемоний смещен президентом. «Необходимо, чтобы я держал в подчинении все партии», писал президент Одилону Барро, а на другой день его послание

Собрание представляло из себя настоящий манифест личной власти. Он заявлял, что в министерстве нужны люди, которые понимают необходимость единой и прочной власти. Что Франция, среди смешения партий, ищет твердую руку и волю избранника 10-го декабря; что имя Наполеона уже одно означает порядок, что во внутренних делах оно означает порядок, твердость власти, церковь и народное благополучие, а во внешних—обеспечение национального достоинства. Автор послания неоднократно повторял «я желаю», и для того, чтобы лучше утвердить свою державную волю, он выбрал в министры незаметных людей, почти неизвестных,—генерала д'Опуля, Фердинанда Барро,—неблагодарного брата Одилона Барро; в министерстве появились новые люди, преданные президенту: два адвоката из Оверни, Руэр и Де-Париэ, банкир—Ахилл Фульд, который олицетворял союз финансов с партией так называемой Елисейской. В одно из своих частых путешествий по Франции, президент, играя свою роль друга рабочих, наградил орденом несколько человек в рабочих блузах. «Смотрите-ка, это вас касается», говорили Ротшильду. «Ничего», отвечал он: «я знаю, как за него взяться». И, действительно, долги и денежные нужды принца создавали прочную связь между ним и банковыми сферами.

Это министерство тотчас прозвали «маленьким министерством». Не пользуясь никаким авторитетом, оно было послушно желаниям президента и желаниям большинства; и в этом нет противоречия, так как нарушенное было согласие восстановилось в предвидении того, что впоследствии назвали «внутренней Римской экспедицией». Тактика принца заключалась в том, чтобы разбивать все способы сопротивления, чтобы вырыть пропасть между народом и Собранием. Такое министерство превосходно служило этим намерениям. Для того, чтобы понравиться ему, оно учредило займы, предназначенные рабочим и выдававшиеся им без всякой гарантии, кроме их обещания вернуть долг; оно увеличило на 20 сантимов жалование унтер-офицеров. Оно разделило Францию на четыре больших военных командования. Военный министр вызывающе предлагал оппозиции выйти на улицу: «Вы можете начинать, если желаете, мы готовы». Моды империи прошлого года вновь появились. Дамы стали снова носить тюрбаны; один генерал говорил, что он обедал в обществе мамелюков. Для того, чтобы угодить большинству Собрания, все еще страдавшему красным страхом, министерство изгнало из администрации посредних республиканцев, увеличило залоги газеты, продолжило на год прекращение права собраний; оно старалось обуздать крестьян, предложив исполнительной власти право смещения мэров, их помощников и учителей, оно поручило жандармерии шпионить над чиновниками и гражданами; оно дало удовлетворение буржуазии, восстановив налог на напитки, и, сняв с обсуждения проект подоходного налога, оно выговорило огромные преимущества для владельцев железнодорожных акций; наконец, оно сколько могло занималось провокацией народа,—срубая остававшиеся еще деревья свободы, заявляя в «Монитёре», что эти деревья годны только на щепки беднякам, снимая венки с июльской колонны, отказываясь праздновать годовщину 24 февраля, прозванного Тьером «роковым днем», иначе как панихидой по убитым с обеих сторон.

Точно реакционный вихрь несется над Францией. В том, что совершается, одно из первых мест принадлежит закону о преподавании, известному в истории под именем закона Фаллу.

ГЛАВА XIII.

Преподавание и Церковь. Республиканские проекты и закон Фаллу.

К тому времени, когда вспыхнула революция 1848 года, преподавание во Франции оспаривали друг у друга две державы, одинаково официальные и одинаково признанные,—Церковь и Университет.

Слово университет во Франции имело особенное значение, исключительно французское. Оно не обозначало, как в средние века и за границей, высшего образовательного учреждения, состоящего из четырех традиционных факультетов: теологического, юридического, медицинского и философского (sciences et lettres). Им обозначалась со времени Наполеона I вся совокупность образовательных учреждений и школы всех ступеней, в которых велось преподавание.

Единый и нераздельный Французский Университет имел во главе своей главного начальника в лице министра народного

просвещения. Он разделялся на определенное число учебных округов или Академий, состоявших под управлением ректоров. Между администрацией, так же, как и между профессорами, была проведена строгая иерархия; всякий низший вполне зависел от высшего и все зависели от министра, как представителя Государства. Такая же иерархия существовала между учреждениями, стоявшими на разных ступенях, как-то: факультетами и специальными школами, гимназиями королевскими и гимназиями коммунальными, на ряду с которыми существовали частные учреждения, состоявшие под наблюдением и контролем Государства и тесно связанные с общей системой.

Университет пользовался некоторым подобием независимости. Он имел право юридического лица и в качестве такового мог владеть имуществом, приобретать его и получать. Он имел свою долю в государственном бюджете, свои ежегодные доходы, ему было разрешено определять и взимать плату за учение. Он имел при министре свой совет. Однако его независимость была только внешней. Авторитарный дух его основателя продолжал жить, воплотившись в законах, по которым он управлялся. Фактически он был государственным учреждением, подчиненным Государству, и предназначался для распространения государственных учений, выдачи государственных дипломов и поддержки таким образом своего рода духовного единства между членами Государства.

Входившие в его состав преподаватели составляли корпорацию, пользовавшуюся известными привилегиями взамен принятых ею на известное время обязательств; члены ее, наподобие членов религиозной корпорации, как бы произносили обет, менее строгий и менее длительный, чем обет монашеский, но налагавший все-таки известные обязательства, связывавший известными условиями и обязывавший к известным поступкам. Одежда, которую продолжали носить профессора, соответствовала их характеру светского духовенства. Все образовательные учреждения были разделены на три группы, соответствовавшие трем родам образования: первоначальное образование, предназначенное главным образом для народа; среднее образование для класса среднего; и высшее образование для небольшого числа избранных, обыкновенно готовившихся к так называемым либеральным профессиям.

Наряду с Университетом стояла Церковь, неутешная после потери своей прежней монополии на распространение знаний, продолжавшая подготовлять в своих больших и малых семинариях будущих священнослужителей, но желавшая вернуть свое влияние на детей, не предназначенных к духовному званию, стремившаяся отметить своей печатью учеников, предназначенных для светской жизни, и понимавшая, что воспитание юношества создает в зародыше будущее, что, как говорил в своих напыщенных стихах Аббат Гом:

La férule du maître est le sceptre du monde *).

Поэтому, во время царствования Луи-Филиппа, она нападала на Университет двояким образом. Сначала она требовала права преподавания не только для себя самой, но для всех; она отлично знала, что, будучи привилегированной ассоциацией, богатой своим недвижимым имуществом и получающей сверх того содержание от государства, будучи сильной своей древней организацией и влиянием, которое она еще имела на верующих, она ничем не рискует в борьбе со светскими силами, разъединенными, безоружными, лишенными права союза. Эта свобода преподавания точно соответствовала свободе промышленности, которой требовали хозяева. Как эти последние, будучи собственниками земли, капитала, и орудий труда, требовали, чтобы им позволили свободно бороться на экономической почве с рабочими, лишенными всего, даже права собраний и союзов, так и Церковь желала свободно вступить в борьбу на почве идейной, где она могла встретиться только с противниками рассеянными и бессильными. Против этой-то лживой свободы восстал Тьер, в дни своего либерализма, говоря: «Если духовенство неравное со всеми остальными гражданами, на основании тех же законов, хочет конкурировать в области воспитания, то нет ничего справедливее этого, но только *как отдельные лица, на равных условиях* и никак не иначе. Если же она хочет другого, то нам невозможно дать свое согласие». Но с недавних пор Церковь стала применять другую тактику, повидимому, она нашла более выгодным, вместо того, чтобы требовать свободной конкуренции, добиваться, чтобы монополия преподавания была поделена между нею и Государ-

*) Линейка учителя—скипетр мира.

ством. Монталамбер, отстаивавший сначала вместе с Ламенэ полную свободу преподавания для всякого, говорил в 1845 году: «Церковь не входит в Государство, так же, как и Государство не входит в Церковь; это две параллельные державы, суверенные и независимые, каждая в своей области. Церковь союзница Государства, а не его подданная». Отсюда вытекало, что Церковь желала быть на равной ноге с гражданской властью, и что она желала пользоваться прерогативами наравне с Университетом. Эти два взгляда переплетались и иногда приходили в столкновение в среде католиков. Непримиримые желали полной свободы, все или ничего; другие менее решительные, более политичные, соглашались на сотрудничество с Государством, на том условии, что они будут полными хозяевами в своих средних школах и что им будет представлено право наблюдать за своими преподавателями и держать их в узде.

В действительности, когда вспыхнула революция 1848 г., Церковь и Университет оба имели свою долю в деле народного образования. Начальная школа не была ни светской, ни бесплатной, ни обязательной. Буржуазия неохотно двигала вперед народное образование. Она находила, что оно стесняет промышленность, где привыкли пользоваться работой детей, раннего возраста, что, кроме того, оно опасно для ее собственного владычества, потому что оно пробуждает стремление к лучшим условиях жизни, и есть риск, что оно создаст беспочвенных умников. Правда, в 1847 году было всего 2.000 общин, не имевших школ, и число учащихся, по официальным данным, доходило до 3.530.135. Однако следует помнить о призрачном значении статистики. В деревнях зимний сезон был учебным сезоном—школа наполнялась; но во время длинных дней, во время сенокоса, жатвы и сбора винограда требовалась помощь этих маленьких работников—школа пустела. Мальчиков всегда было больше, чем девочек, 21 на 13. Ученье кончалось в возрасте первого причастия, 12-ти лет мальчиками и 11-ти лет девочками. Христианские братья и сестры из разных монашеских орденов пользовались большим влиянием в деревнях и в предместьях. Конгрегационные школы искусно привлекали учащихся, благодаря почти полной их бесплатности; затем было принято, по своего рода молчаливому соглашению, что руководство женскими умами должно принадлежать Церкви. Из 19.414 существовавших во Франции школ для девочек почти все были духовными.

Результаты можно подсчитать по числу грамотных. Число их колебалось соответственно *полу, возрасту, месту жительства и области.* Женщины были повсюду менее образованы, чем мужчины, в особенности на юге. Процент женщин, получивших первоначальные знания, на юге падал с 10% до 9%. В анкете, производившейся в 1848 году в Каркассонском кантоне, грубо сказано: «Женщины не умеют держать в руках пера». Естественно, что дети были менее невежественны, чем взрослые. Среди первых число грамотных часто доходило до 80%; никогда оно не спускалось ниже 75%. Среди молодых людей двадцатилетнего возраста процент был уже гораздо ниже, отчасти оттого, что они успевали забыть то немногое, чему их учили в детстве, отчасти оттого, что они принадлежали к поколению, которому образование было менее доступно. Среди новобранцев—от 1846 до 1850 г. число грамотных в среднем доходило до 64%. Само собою очевидно, что среди более взрослых цифра эта уменьшалась еще более. Города,—как этого и можно было ожидать,—шли далеко впереди деревни; рабочие промышленные—впереди рабочих земледельческих. Среди парижских рабочих в среднем число грамотных доходило до 87%; в текстильном производстве, дававшем самый низкий процент грамотности, он все-таки достигал 79%. В остальной Франции процент грамотных среди рабочих колебался между 90% и 20%. Среди деревенских жителей он был повсюду ниже. В Аллие, в одной деревенской общине пришлось выбирать мэра всего из двух—трех человек, потому что, кроме них, не было ни одного, который мог бы грамотно составить деловую бумагу. Если мы теперь сравним различные области, то увидим, что север был впереди юга, восток впереди запада; горные области впереди равнинных, быть может, потому, что зимой жители этих областей имели больше свободного времени и в течение более долгого срока. В общем, те края, где еще говорили на наречиях или где сохранился старинный язык, отставали от других; таковы Лангедок и Бретань. Мировой судья из Каркассона писал: «Немногие рабочие читают по-французски».

Итак, Франция того времени представляется усеянной светлыми точками в виде городов и покрытой большими темными пят-

нами в виде деревень, в ней заметно прискорбное неравенство между двумя полами; надежда ее—это дети.

Будем продолжать наше исследование. Какими условиями были обставлены школьные учителя и учительницы? В правительственных школах они должны были быть не моложе 18 лет, иметь свидетельство о нравственном поведении и диплом низшей или высшей степени. Они получали свою подготовку в нормальных школах, которых было 76 для мужчин и только 11 для женщин на всю Францию. В конгрегационных школах для мальчиков требовался диплом только от одного учителя. Другие рассматривались как его помощники и от них не требовалось диплома. В женских школах требовалось еще меньше: от сестер, заведывавших ими, ничего не требовалось, кроме *lettre d'obedience* (свидетельство о послушании), выдававшегося им начальством и заменявшего для них, засвидетельствованное надлежащим порядком, знание.

Учителя состояли под наблюдением двух родов властей. С одной стороны, они были под контролем местного комитета, помещавшегося в общине и членом которого по праву был сельский священник, и комитета окружного, назначавшегося префектом.

С другой стороны, они были под наблюдением училищных инспекторов, назначаемых ректором. Порядок назначения их весьма сложен. Они представлялись муниципальным Советом по указанию местного комитета. Назначение они получали от окружного комитета и утверждались министром. Раз учитель был определен на известное место, он с него больше не двигался. Он был прикован навсегда к той деревне, куда его забросила судьба. Будущее для него оставалось закрытым навсегда, а настоящее было далеко не блестяще. Помещение ему предоставлялось по большой части самое жалкое; классная комната обыкновенно была в то же время и кухней. Школьная меблировка, так же, как и его собственная, была более чем скудной. Зато у него был маленький садик. Минимум содержания, которое он получал, было 200 франков в год; 16 франков 66 сантимов в месяц; нельзя сказать, чтобы это было роскошно. Сверх содержания у него, как и у сельского священника, были «доходы» в виде гонорара, получаемого им с учеников. Но размеры этого гонорара были неопределенны, и, как это обыкновенно бывает в деревнях, выплачивался он натурой. Зимой каждый мальчик и девочка приносили по полену для печки, что было одним из главных рессурсов учителя или учительницы. Но даже с этими дополнениями содержание было не слишком высоко. По официальному расчету, произведенному в 1846 году, среднее ежегодное содержание учителя достигало 454 франков. Пенсии не было. На бумаге она значилась; было решено, что для этого будут производиться вычеты из тощего учительского жалования, но это не было организовано *).

Бедные школьные учителя! Скромные труженики на ниве народного образования! Их поставили в положение нищих, голодных, униженных перед священником, перед деревенскими богачами, даже перед учениками. Что же удивительного в том, что этот интеллигентный пролетариат после 1848 года стал ярым проповедником демократических и социалистических учений.

Чтобы покончить с постановкой первоначального образования в эту эпоху, следует добавить, что было устроено несколько детских приютов, рукоделен, где девочки должны были учиться одновременно счету и шитью, и несколько школ для подмастерий в рабочих городах (Мюльгаузе, Париже и др.). Но обыкновенно эти учреждения были католическими или патрональными. Занимались также и взрослыми; для них существовали вечерние и воскресные курсы. Для безграмотных солдат были устроены полковые школы; наконец, в больших городах, в Париже, в Меце, в Бордо частные общества вполне бескорыстные (политехническая ассоциация, Общество любителей науки) пытались пополнить печальные пробелы в народном образовании.

Однако, несмотря на эти похвальные старания, пробелы оставались зияющими. В анкете, о которой я уже говорил, во многих местах, почти повсюду, среди народных пожеланий упоминаются пожелания об устройстве школ, особенно школ практических и профессиональных, как промышленных, так и земледельческих. Законом 1833 года предусматривалось устройство первоначальных школ высшего типа, учителя которых должны были получать минимальное жалованье в 400 франков. Но они остались в проекте; господствовавшая буржуазия не стремилась, и это было одной из ее самых серьезных ошибок, распространять просвещение среди своих братьев из бедного класса.

*) См. по этому поводу E. Fournière.—Le regne de Louis-Philppe, стр. 244.

Среднее образование, напротив, было по сердцу правящему классу. Оно предназначалось для того, чтобы увековечить его власть и покоилось на изучении латинского и греческого языков, знания которых, даже весьма несовершенного, было достаточно, чтобы провести очень определенную демаркационную линию, между сыновьями из «хорошего дома», как гласило весьма многозначительное выражение, и детьми народа.

Для буржуазного меньшинства, для которого оно предназначалось, не скупились. Из бюджета на народное образование, исчисленного на 1848 год в 18 миллионов, но сведенного, благодаря сделанным скидкам, на 16 миллионов, доля, предоставленная Государству, была распределена почти поровну (около 8 миллионов) между средним образованием и начальным. Таким образом, учеников, обучавшихся в гимназиях *), было достаточно, чтобы поставлять кандидатов на либеральные профессии. Степень бакалавра по словесности и по наукам была ключом, открывавшим доступ к этим профессиям. И число получавших этот диплом росло вплоть до 1846 года.

Среднее образование, которое вело к государственной службе, находилось под угрозой нападения с двух различных сторон. Промышленники, коммерсанты и экономисты ставили ему в упрек то, что оно подготовляло только чиновников или мечтателей, пожирателей бюджета или революционеров. Они жаловались на вечное пережевывание греческой и латинской древности, в то время, как есть столько новых и более полезных предметов для изучения. Они требовали увеличения в программах части научной и живых языков. Уже были устроены школы искусств и ремесл в Шалоне на Марне и в Анжере. С другой стороны католики обвиняли это образование в безбожии, язычестве, в том, что она дает обучение без воспитания. На этой-то почве среднего образования и разгорелась самая ожесточенная борьба между Церковью и Университетом. При Луи-Филиппе не подозревали, что народ достаточно подготовлен, чтобы принимать участие в политике; гораздо больше опасений внушал класс, бывший в то время большой социальной силой. Поэтому-то Церковь и направила свои самые упорные усилия на те учреждения, где воспитывались сыновья буржуазии. Она возмущалась тем, что от ее учеников требовали, прежде чем допустить их к экзамену, удостоверения в том, что они, по крайней мере, в течение двух лет изучали в учреждениях, подведомственных Университету, или в родительском доме, реторику и философию. Она мстила, делая доносы на профессоров философии, заподозренных в пантеизме или в атеизме, на профессоров истории, виновных в суровом отношении к папам и духовенству прежних времен. До известной степени она преуспела. Часть буржуазии считала полезным угождать Церкви, как проповеднице учений, успокоительных для собственности, а правительство не скупилось на уступки. Министр Кузен, составивший для профессоров своего рода светский катехизис, был полон уважения к епископам; он выслушивал их мнения и спрашивал совета по поводу назначений или повышений учителей. Когда однажды епископы пригрозили, что они отзовут из гимназий, прикомандированных к ним священников, то король испугался, что не останется противовеса социалистической проповеди. Правда, в это же время иезуитам предлагалось еще раз покинуть Францию, но это был тактический прием, маскировавший противоположное течение, нарождавшееся в самых высших слоях французской буржуазии.

Что касается высшего образования, то преобладал взгляд, вполне соответствовавший духу времени, а именно, что оно должно иметь практическое направление. Вместо того, чтобы сократить число центров высшей бескорыстной культуры, которые могли бы для целой области иметь значение очагов света и жизни, основали, с целью удовлетворить местным самолюбиям, множество мелких факультетов, разобщенных, плохо оборудованных, плохо помещенных, плохо снабженных учебными пособиями и ставших мало-по-малу машинами для экзаменов на степень бакалавра. Программы их имели узко профессиональный характер. Они были рассчитаны на то, чтобы производить адвокатов, врачей, дипломатов, политических деятелей, экономистов, представителей и будущих руководителей правящего класса. Факультеты словесности и наук, которые не подготовляли ни к какой практической деятельности, выродились в факультеты удовольствий, в литературные салоны, или в полунаучные говорильни

*) Не говоря о коммунальных гимназиях, было 54 королевских гимназии с составом в 23000 учеников.

ни, где распускались цветы риторики и давались уроки дамам и светским господам. В самом Париже профессора, привлекавшие толпы слушателей: Гизо, Виллемэн, Кузен, перенесли свое красноречие из Сорбонны в Палату, оставив свои кафедры бледным заместителям. Студенты толпились вне университетской иерархии в Коллеж де Франс, потому что там звучало горячее страстное слово Кинэ и Мишлэ. Но власти больше опасались, чем поддерживали независимых мыслителей, которых они считали до мозга костей проникнутыми светским и республиканским духом. Таково было положение дел, когда вспыхнула революция 1848 года. Временное правительство чувствовало, какое значение имеет вопрос о народном образовании при новом республиканском строе *), и для того, чтобы его разрешить, оно призвало человека, которого самое его имя предназначало для высших функций при новом режиме. Это был Ипполит Карно, сын того Карно, которого назвали организатором победы. Вместе с ним к власти получил доступ сенсимонизм, потому что, будучи учеником Сен-Симона, он выбрал себе сотрудниками Жана Рейно и Эдуарда Шартона, сторонников той же школы, решивших положить в основу своей политики улучшение материальных и моральных условий наибольшего числа людей. Все имели право надеяться, что они станут действовать энергично.

Логически всеобщее образование должно бы было предшествовать всеобщему избирательному праву. Занялись ли, по крайней мере, тем, чтобы как можно скорее наверстать то, с чем опоздали? Увы! Карно чувствовал необходимость этого, но не неотложность. Он отложил это дело до национального собрания. Он создал с 29-го февраля Верховную комиссию изучения наук и словесности (комиссию, когда нужно было принимать решительные меры) и возложил на нее заботу о выработке проекта закона об образовании. Дальше мы встретимся с этим проектом. В ожидании лучшего, говорили о ежегодном детском празднике; приюты получили другое название, менее напоминавшее о благотворительных учреждениях; они стали называться *écoles maternelles* (материнскими школами) и была учреждена специальная нормальная школа, заведывание которой было поручено госпоже Мари Карпантье, где должен был подготовляться для них учительский персонал. Были учреждены и поощрялись коммунальные библиотеки в деревнях и вечерние чтения для городских рабочих. Конечно, все эти меры были благоразумны. Но где же глубокий разрыв с прошлым, который не дал бы возможности повернуть назад? Что касается среднего образования, то королевские гимназии были преобразованы в лицеи и отданы под покровительство людей с крупными именами в литературе или отличившихся во времена первой республики; в программу их ввели изучение истории революции. Но самая организация осталась без перемены; не было принято никаких решений по поводу спора между церковью и университетом. Однако, Карно не отверг двусмысленной формулы свободы преподавания. Для ближайшего будущего не было ни объявлено, ни обещано бесплатности образования; только лучшие ученики первоначальных школ, отличившиеся на экзаменах или на ежегодном конкурсе, должны были пользоваться стипендией в школах искусств и ремесл, на образцовых фермах и в лицеях. Удивительно характерно для министра и свидетельствует об его буржуазном воспитании то, что всего непосредственнее занимал его вопрос о высшем образовании. Он начал с того, что установил бесплатность обучения в Сен-Сире, в Политехнической школе и в высшей Нормальной школе, что было маленьким подарком буржуазии, на который нельзя было ожидать ассигновки в бюджете. Он разрешил Ортолану открыть на юридическом факультете курс, трактующий о принципах современного республиканского правительства. Особенно серьезные перемены он внес в систему, практиковавшуюся в Коллеж де Франс, на которую он смотрел как на опытное поле для нововведений в области педагогики. Он намерен был ввести в ней «глубокое изучение политики». И, конечно, в этом стремлении анализировать и вынести на свет пружины социальной эволюции было проявлено верное понимание истинных интересов демократии. Но исполнение не соответствовало намерениям. Он основал одиннадцать кафедр и уничтожил пять. Между прочим, была уничтожена кафедра *политической экономии*, которую занимал Мишель Шевалье. Ему ставили в упрек то, что он был выразителем только одной школы, любезной капиталистам, школы непротивления,

*) Именно в это время министерство исповеданий было присоединено к министерству народного просвещения. Факт многозначительный и имевший гибельные последствия.

спорное учение которой как бы узурпировало таким образом официальный авторитет; из уважения к нейтральности государства в области науки, нужно было сделать так, чтобы в то же время был слышен другой колокол *экономии социальной*, который звучал бы в пользу рабочих. Но так как не решались организовать этот идейный поединок с равным оружием, то попытались заменить это, как бы научное изучение принципов, перечнем и историей фактов и экономических теорий. Было опасно раздробить таким образом, в ущерб общей точке зрения, преподавание, которое должно было иметь значение обзора структуры и жизни обществ, разделить непроницаемыми перегородками сведения, которые оно должно было давать о движении народонаселения, о рудниках и фабриках, об общественных работах, о финансах, о торговле, все эти рассеянные знания, которые могли бы быть оживлены только сближением их между собою. В виду этого он учредил кафедры более общего значения (международного права, истории договоров, частного права, истории административных и финансовых учреждений и пр.). Но он поручил их таким людям, как Ламартин, Ледрю-Ролен, Гарнье-Пажес и Марраст, которые не имели возможности в скором времени вернуться к отвлеченным изысканиям чистой науки и которые, благодаря этому, были только почетными профессорами, носящими это звание, не выполняя соответствующих функций и не имея даже возможности найти себе заместителя, потому что эти новые кафедры были бесплатны.

Было предусмотрено еще и другое средство, чтобы установить связь между этими обрывками «государственной науки»; оно состояло в том, что в Коллеж де Франс была присоединена административная школа, устроенная по образцу германской, как ее задумали Наполеон I и Кювье; таким образом старинный характер Коллежа, как института высшей культуры, не преследующего никаких политических целей, был скомпрометирован. Целью этого учреждения было покончить с фаворитизмом и помешать наводнению дипломатических карьер и министерских канцелярий молодыми людьми, более богатыми связями, чем знаниями и умом. Мысль была достойна похвалы, но при условии, чтобы этот рассадник чиновников администрации не выродился в исключительный мандаринат, закрывающий доступ к государственной службе тем, кто мог бы впоследствии, занявшись ею, обнаружить вне этих установленных рамок свои организаторские таланты. Правда, предполагалось, что эта школа будет доставлять кандидатов только на часть вакантных мест и что она оставит открытый доступ для людей с исключительными дарованиями; что она будет давать только теоретическое и практическое образование, которое будет сопровождаться временным испытанием на практике. Но в то же время предполагалось взять за образец для нее политехническую школу, и в таком случае она не избегла бы недостатков, присущих всякой специальной школе, а именно создала бы своего рода привилегию для кончающих ее и развила бы среди них излишне корпоративный дух.

Карно был все-таки искренним либералом и, хотя он и был сторонником системы конкурсов и классов, он не был в этом отношении педантом, он не считал, что этого достаточно, чтобы исчерпать все способности Франции, доказательством чего служит его предложение учредить *Athenée libre* (свободное ученое общество), в котором могли бы читать лекции все те, кто чувствует в себе стремление и силы для того, чтобы добиться успеха у широкой публики и обратить на себя внимание университетских авторитетов. В то же время он распорядился об устройстве даровых спектаклей, преобразовал музеи, открыл конкурс на республиканские песни и на красивейшую статую молодой Республики; и хотя он достиг только того, что заставил всплыть наружу неспособность артистов внезапно преобразиться, чтобы уметь говорить народной душе и передать в ясной форме неясные стремления, все-таки это была попытка примирить демократию с изящными искусствами, которые со времени эпохи Возрождения приняли и почти всегда сохраняли аристократический характер.

Как истинный сен-симонист, он не забывал той половины рода человеческого, которой государство так скудно уделяло свои милости; по его мнению, не было никаких причин для того, чтобы постоянно относиться к женщинам, как к несовершеннолетним, и он поручил Легуве чтение в Коллеж де Франс курса для изучения средств, чтобы улучшить условия жизни женщины. Гораздо существеннее было то, что он намеревался учредить высшую нормальную школу для учительниц, решив возродить для этой цели дома почетного легиона.

Если этим новшествам, в которых обнаружилась умная заботливость о будущем, прибавить те, которые были созданы и проектировались министром торговли Бетмоном (образцовые фермы, общий план профессионального образования), то мы будем иметь перед глазами все, что сделало Временное Правительство в этой области, в которой оно снова обнаружило свои прекрасные и истинно-демократические намерения, но вместе с тем и свою обычную слабость, благодаря которой оно откладывало на будущее время все серьезные реформы.

Мы уже знаем, как Карно подвергся нападкам и был свергнут 5-го июля 1848 года, по поводу одного из руководств гражданского воспитания, которые были составлены по его желанию и получили его одобрение. Но проект об организации первоначального образования, представленный им 30 июня, пережил его и достоин того, чтобы заняться его изучением.

Прежде всего никаких монополий. Разделение работы по народному образованию между государственными школами и школами частными. Попытка справедливого примирения долга Государства распространять образование и права отцов семейств выбирать наставников для своих детей или воспитывать их самим. Карно желал бы, чтобы до известного возраста все дети учились вместе; чтобы церковь брала своих будущих служителей из среды учеников, обучающихся в светских школах. Но в его проекте не сохранилось следов этих пожеланий.

В государственных школах бесплатное и обязательное обучение для детей обоих полов до 14-летнего возраста; родители, пренебрегшие этой обязанностью, подвергаются выговору мирового судьи, имена их публикуются и, в случае рецидива, им грозит штраф и лишение гражданских прав. Школьная программа должна была состоять из обучения чтению, письму, счету и французскому языку, из сведений о главных явлениях природы, по сельскому хозяйству и промышленности, черчения, пения, истории и географии Франции, в гражданское воспитание должно быть включено «все то, что необходимо для развития человека и гражданина до того уровня, какого можно требовать при настоящих условиях французской цивилизации»; нравственное воспитание должно было развивать чувство свободы, равенства и особенно братства. Что касается до религиозного воспитания, которое рассматривалось как необходимое дополнение для того, чтобы связать любовь к людям с любовью к Богу, то оно должно было даваться не в школах, а в помещениях храмов различных вероисповеданий их служителями. Итак полюбовное разделение между Церковью и школой. Условия жизни учителей и учительниц должны быть улучшены разделением их на четыре класса, при чем жалование достигало бы от 600 до 1200 франков для мужчины и от 500 до 1000 франков для женщины, при дополнительном вознаграждении в коммунах с населением выше 5.000 душ. Право на повышение и на пенсию для учащихся наравне с другими чиновниками университета. Учителя и учительницы должны бесплатно обучаться в нормальных школах, куда они допускаются после экзамена и принятия на себя обязательства прослужить в течение десяти лет, что освобождало их от военной службы; школы эти должны были выдавать дипломы по прослушании трехлетнего курса; учителя должны были, по выбору представителей округа и коммуны, назначаться министром по представлению муниципального Совета и состоять под наблюдением государственных инспекторов и коммунальных и департаментских комитетов, наполовину выборных, наполовину назначаемых высшей властью, которые могли подвергать их выговору, при чем за ним всегда оставалось право аппелировать к министру. В каждом департаменте должны быть учреждены советы усовершенствования, дань духу прогресса. Бюджет на первоначальное обучение должен был равняться 47.380.950 франкам и пополняться как государством, так и коммунами, которые должны были брать на себя оборудование, отопление, освещение, учебные пособия и наем помещения для класса, крытого двора для игр, квартиры для учителя, с садом при ней.

Частные школы могли открываться всяким, имеющим диплом и граждански и политически правоспособным. Свидетельства о нравственном поведении больше не требовалось. Требовалось только двойное заявление мэру и ректору. Однако школы должны были подчиняться контролю училищных инспекторов (по одному на академию) и четырех генеральных инспекторов.

Этот проект самый либеральный и демократический из всех, которые были когда-либо представлены во Франции, был отдан

на рассмотрение комиссии, которая посвятила ему 54 заседания, по три часа в среднем каждое. Но июньские дни не прошли даром для Собрания. Это заметно прежде всего на обсуждении конституции. В первой ее редакции, слишком широкой, внушенной Конвентом, на Государство возлагался долг бесплатно развивать «физические и нравственные способности граждан». Такова была мысль Жана Рейно и демократов. Это могло относиться ко всем ступеням образования и имело значение обещания развить таланты всех детей без различия состояний. Но вторая версия, пересмотренная, исправленная и суженная, под тем предлогом, что таким образом окажется множество молодых людей, подготовленных к либеральным профессиям, и этим будет нанесен ущерб мелким капиталистам, приложившим много усилий, чтобы подготовить своих детей к этим профессиям, была сведена к следующей формуле, уже более скромной: «Республика обязана сделать общедоступным образование, необходимое всем людям». Это значительное ограничение было результатом победы буржуазной реакции. Католики в свою очередь тоже вступили в борьбу во имя свободы преподавания. Обнаружилось четыре мнения по этому принципиальному вопросу.

Самым радикальным было мнение Монталамбера. Он требовал полной независимости отдельных лиц и отвергал всякое вмешательство Государства в область образования. Это направление соответствовало учению экономистов, безусловно отрицавшему право вмешательства Государства в область экономическую. Государственное образование, говорил он, это «коммунизм в умственной области». Это покушение против права отца семейства на душу своего ребенка, права, данного ему Богом и природой. Было вполне очевидно, что свобода, которой так добивались для всех граждан, должна была обратиться на пользу церкви. Монталамбер сознавался в этом, нисколько не стесняясь. Но разве это не было спасением общества? Говоря «языком не теологическим и мистическим, а политическим и социальным», он заявлял, что католицизм был единственной силой, способной представить действительный противовес социализму. Светский университет не мог помочь злу, потому что, часто отравляя душу и убивая веру, он был в то же время бессилен создать политическое Евангелие. Один только древний догмат был для этого пригоден, с одной стороны, потому что он всякую власть, какая бы она ни была, освящал божественным правом, с другой стороны, потому что он представлял труд как наказание, как искупление, как кару, а счастье обещал на небе, а не на земле; и потому, что таким образом он говорил бедным: примиритесь с бедностью и трудовой жизнью и вы получите в воздаяние вечную награду,— богатых приглашал снискать себе прощение за свое богатство благотворительностью. Монталамбер поставил проблему с грубой откровенностью, встав на ту почву, на которой он рассчитывал увлечь за собою обезумевшую буржуазию. Молодой профессор философии Жюль Симон, взявший на себя роль защитника официального образования, не осмелился принять вызов во имя социализма и светского духа. Будучи весьма осторожным по отношению к своему противнику, он ограничился ответом, что умственный коммунизм, состоящий в том, чтобы предоставить всякому его долю знаний, лучше рабства, невежества, и отстаиванием права за республикой не отрекаться в пользу христианства от руководительства юношеством; он защищал университет от упреков в том, будто он производит преступников и социалистов, а в заключение допускал свободу преподавания, но ограниченную и регламентированную Государством. Я уже говорил о том, как католики в этот день вынуждены были отступить под прикрытием тактичной речи Фаллу. Но с этого времени католицизм и социализм стали непримиримыми врагами, что и должно было обнаружиться в последующие годы.

Второе мнение, по которому за Государством отрицалось право контроля только над вольными школами, отстаивалось главным образом Лабулэ, требовавшим, чтобы большие и малые семинарии были исключительно под надзором епископов, а все другие частные заведения, под наблюдением областных выборных властей. Внося свою поправку, он подкреплял ее нападками на школьных учителей и профессоров, которых он объявил неспособными воспитать хороших граждан, потому что из преподавания они делали профессию, благодаря чему у них не было самоотречения, необходимого при такого рода священнослужении, потому что, кроме того, мнения их менялись с каждой переменой режима. Де Траси желал добиться, по крайней мере, того, чтобы официальный надзор производился исключительно в интересах прав-

ственности и уважения к законам, на чем, приблизительно, и согласились, не занося этого, однако, в Конституцию.

Защитников монополии преподавания не было вовсе. Мнение, наиболее близкое к этому, имело главного защитника в лице умеренного республиканца и профессора Коллеж де Франс Бартелеми Сент-Илера. По его мнению, образование должно было быть исключительно в ведении Государства». Это одно из средств поддержания национального единства. Он считал возможным предоставлять право преподавания некоторым гражданам, но на определенных условиях. Если отец, сам обучая своего сына, действует на основании естественного права, то человек, который набирает пятнадцать или двадцать детей с целью обучать их, отправляет общественную функцию, над которой должен быть контроль. «Как!—говорил оратор,—Государство не допускает из чисто материальных, и, я скажу, почти грубых интересов общественного порядка, чтобы граждане собирались в известном числе просто для удовольствия или для повседневных жизненных дел, без того, чтобы не учредить над ними наблюдения и не быть осведомленным о том, что происходит на этих собраниях... и оно допустит, чтобы можно было собирать детей, по определенным дням, под руководством одного человека, пользующегося, благодаря своему уже сложившемуся возмужалому, развитому разуму, всемогущим авторитетом над бессильными, темными и невинными молодыми душами... без того, чтобы Государство знало, что там происходит!»... В заключение Бартелеми Сент-Илер заявлял, что Государство не только имеет право, но и обязано знать, что делается с сердцами и умами юных граждан, а, следовательно, оно должно наблюдать за всеми учреждениями, претендующими на то, чтобы внушать им руководящие принципы для будущей жизни.

Четвертое мнение было промежуточное и примирительное, которое и одержало верх. Оно было представлено Дюфором и Конституционным Комитетом. Сторонники его не допускали, чтобы право преподавания зависело целиком от Государства и чтобы оно было правом, неотделимым от звания гражданина. Они отстаивали в одно и то же время и свободу преподавания и государственный надзор. Однако они откладывали решение, которое должно было примирить эти два принципа, до обсуждения органических законов.

Пока таким образом рассуждали о принципах, парламентская комиссия, которой было поручено рассмотреть проект Карно, искалечила его, сократила, изменила и выкроила из него новый проект из 101 статьи, который и был представлен в Собрание с докладом Бартелеми Сент-Илера. Влияние буржуазной и католической реакции, деятельность которой мы только что рассматривали, сильно в нем чувствуется.

Начали с того, что уничтожили бесплатность обучения, обещанную еще Учредительным Собранием 1789 г., палатой депутатов в 1815 году и 13-ой статьей Конституции, принятой только накануне.

На что же могли сослаться, поступая таким образом? Во-первых, на то, что не было необходимых для этого денег; что Государство не обязано заботиться об обучении граждан, и что было бы опасно вводить такой принцип в законодательство; что дорожат только тем, за что платят, и что бесплатная школа мало посещалась бы; что даровое обучение убило бы всякую конкуренцию и полезное соревнование; что таким образом богатым был бы сделан ничем не оправдываемый подарок; что рисковали бы таким образом разделить будущие поколения на два лагеря, потому что государственная школа была бы для маленьких бедняков, а частная платная школа для детей состоятельных классов.

Правда, приходилось сознаться, что таким образом отказывались от борьбы с конгрегационными школами, которые были бесплатны, что нарушалось обязательство, принятое на себя Государством в 13-й статье Конституции. Но из затруднительного положения решили выйти, прибегнув к хитрому толкованию закона. Дело повернули так, как будто бесплатное обучение, обещанное Государством, касалось только бедняков, при чем находили, что это было довольно тяжелым бременем для Государства, потому что из 5.500.000 детей 1.500.000 должны были на этом основании им пользоваться.

Обязательность обучения, хотя на нее и нападали во имя свободы отцов семейства, была сохранена как неизбежное зло. Комиссия «единогласно и без обсуждения» восстановила в программе религиозное образование. Гражданское образование показалось

опасным; но сочли, что лучше его ставить под наблюдение Государства, чем предоставить его случайностям—«влиянию дезорганизаторских учений, которые тем более опасны, что они скрываются». Надеялись, что к преподаванию элементарной гигиены и гимнастики можно будет присоединить военные упражнения, наподобие того, как это делалось в Швейцарии. Чувствовалось некоторое недоверие к учителям, назначение которых предоставлялось местным комитетам и которые таким образом переставали быть государственными чиновниками. Им предлагалось не иметь политического честолюбия, оставить «вредные теории, могущие скомпрометировать и разрушить общество», придерживаться национального закона, как «знамени», а для большей верности при поступлении их заставляли давать клятву. В то же время предполагалось устраивать курсы и систематические лекции, где они сообща могли бы изучать вопросы, касающиеся их профессии.

Проект, который претендовал на то, чтобы исчерпать все вопросы, касающиеся первоначального обучения, делил весь курс его на три ступени: школа для малолетних от 2 до 7 лет (école maternelle), коммунальная школа от 7 до 14 лет и первоначальная школа высшего типа. Традиционная разница между обучением мальчиков и девочек сохранялась. Расходы на первоначальное образование должны были быть распределены следующим образом: 15 миллионов падало на коммуны, 7 на департаменты и только 5 на Государство.

Конечно, в этом проекте делались большие уступки католикам. Катехизис, который Карно выкинул из школьной программы, что главным образом и способствовало провалу его проекта—победоносно занял свое место; священники должны были обязательно участвовать в наблюдательных комитетах и в экзаменационных комиссиях; ученицы религиозных школ освобождались от публичных испытаний. Гарантии, которые предполагалось требовать по проекту Карно, от частных учителей, были несколько усилены и для открытия частной школы требовалось троекратное заявление, причем во время всей этой волокиты легко могли возникнуть препятствия к открытию. Католическая партия нашла, что сделанные ей уступки слишком ничтожны, а меры предосторожности, принятые против нее, слишком сильны. Поэтому, как только Фаллу оказался у власти, он поспешил взять этот тщательно разработанный проект обратно (4 января 1849 года) и сам назначил, не считаясь с парламентской комиссией, административную комиссию, поручив ей выработать новый проект. Этот поступок не без основания задел Собрание за живое, и оно в виде протеста со своей стороны выбрало вторую комиссию, в которой участвовали Карно, Волабель, Эдгар-Кинэ, Бартелеми Сент-Илер и докладчиком которой был Жюль-Симон. По вопросу о первоначальном образовании она ограничилась тем, что подтвердила предложения, выработанные прежним проектом. По отношению к среднему и высшему образованию она придерживалась правила, принятого Конституцией; свобода преподавания под надзором Государства—но не абсолютная свобода! Ибо это самый верный способ для любой могущественной корпорации, которая захочет, чтобы образование служило ее целям подавить всякую конкуренцию и создать во имя свободы самую ужасную монополию». В целях ограничения произвола министра, при чем учреждался совет, состоящий из трех секций: первая чисто университетская, составленная из двенадцати членов, выбранных из двойного списка кандидатов; она должна была исключительно заниматься общественным преподаванием; вторая—секция усовершенствования, состояла, кроме членов первой, из ученых и промышленников, которые обсуждали возможные улучшения программы; третья, которая должна была заниматься всеми делами, относящимися к частному преподаванию, состояла из двенадцати членов первой секции общественного преподавания, из двенадцати членов свободного преподавания, выбранных министром, а кроме того, парижского архиепископа, президента протестантской Консистории и четырех сановников. В частных учебных заведениях от директора и учителей больше не требовалось свидетельства о нравственности, вместо него вводилось троекратное заявление о желании открыть школу. Одна только причина могла послужить к этому препятствием—опороченность по суду. Для получения права открыть школу достаточно было простого диплома бакалавра словесности или даже экзамена, выдержанного перед комиссией, назначенной третьей секцией Совета. Надзор оставался в руках государственных инспекторов, которые не имели суждения о достоинствах метода, о заслугах преподавателей, о школьных пособиях, о предметах, преподавания, но

только следили за соблюдением закона, нравственности и гигиены. За Государством оставалось право раздавать ученые степени; но принцип беспристрастности был доведен до того, что письменные и устные экзамены были сделаны публичными. Наконец, в проекте предполагали отменить требование свидетельства о прохождении курса от молодых людей, желавших сдавать экзамен на бакалавра. Что касается государственного образования, то предполагался ряд мер, имеющих целью уничтожить бесконечные заместительства, повышения путем милостей и по протекции, неравенство между *преподавателями* высших классов и *учителями* низших, и необеспеченность учителей-репетиторов.

Если бы католики искренне желали свободы преподавания, а не замаскированной монополии, они были бы довольны проектом, в котором государство добровольно отказывалось от всего, что не было безусловно необходимо для существования официального образования. Но они хотели большего, и так как этот закон должен быть сделаться органическим законом Республики, то они при помощи нескольких умеренных республиканцев добились решения не голосовать этот органический закон в Учредительном Собрании, гибель которого они ускорили, вполне основательно рассчитывая, что будущее Собрание будет к ним более благосклонно.

Продолжала существовать только одна внепарламентская комиссия, членов которой Фаллу тщательно подобрал *).

Закон Фаллу. В 1867 году виконта де-Фаллу, присутствовавшего на католическом конгрессе в Малин, приветствовали и поздравляли как автора закона, сохранившего его имя. Он отвечал: «Это не я создал закон 1850 года, я вам скажу, кто его создал». И назвал прежде всего имя Монталамбера, затем аббата Дюпанлу и, наконец, третье лицо, которое, «бросив смелый и глубокий взгляд на все язвы общества», внесло в закон то, что создало его успех. Он имел в виду Тьера.

Хотя он, по свойственной ему привычке, и уменьшал насколько было возможно свою долю ответственности, но в общем он говорил правду, напомнив о сотрудничестве в этом деле

*) В действительности были две административные комиссии, назначенные им, одна для первоначального образования, другая для среднего. Но уже с самого начала они слились в одну.

Церкви и напуганной буржуазии. Оба эти элемента были обильно представлены в комиссии, которая должна была совершить это дело «морального порядка». В ней мы встречаем цвет католической партии: Монталамбер, Огюстен Кошен, член *Общества друзей детства*, виконт *де-Мелен*, член *Общества благотворительной экономии*, аббат Сибур, аббат Дюпанлу, искусный руководитель сердец и душ парижан и парижанок и только-что издавший книгу о *религиозном умиротворении*, Лоренти, редактор «Единения», де-Риансэ, редактор «Друга Религии», Ру-Лаверн, редактор «Вселенной», Луи-Вельо был оставлен в стороне, потому что его характер пугал министра; считали, что он все способен испортить своей непримиримостью. Не он ли говорил об университете, что он хотел бы проникнуть туда не через дверь, а пробив брешь в стене? Рядом с ними фигурировали шесть членов университета, среди них Кузен, бывший глава университета, говоривший: «я не только не боюсь религиозной власти, но я желаю ее от всего сердца», заслуживший впоследствии от аббата Дюпанлу странную похвалу за то, что он *забавен* во время заседаний; Мишель, считавший, что нравственность возможна только тогда, когда она опирается на религию. Сент-Марк-Жирарден—редактор *Les Debats*, громивший в своих лекциях в Сорбонне Жан-Жака и Жорж Занд; Дюбуа, бывший директор Нормальной Школы, который являлся самым твердым защитником светского начала; затем избранные политические деятели: нео-католик Бюшэ, экс-президент 15 мая; Пепен, клерикал, рабочий из Корселя, представитель Франции у папы. Наконец, Тьер, заявлявший в письме, сделавшемся достоянием публики, что он готов пожертвовать университетом, если он попадет в руки проповедников фаланстер и обязавшийся для того, чтобы убедить Фаллу принять министерство, провести его закон. Эту-то комиссию Фаллу со своей обычной дерзостью и называл собранием лиц, выбор которых произведен «без всякого пристрастия». Фактически председательствовал Тьер, избранный товарищем председателя, между тем как Фаллу, избранный председателем, скромно стушевывался.

В комиссии было полное согласие по двум самым существенным пунктам: все признавали очевидность социальной опасности и неотложность принятия против нее мер в виде религиоз-

ного воспитания; по остальным второстепенным пунктам легко было столковаться. Ничего такого, что можно было бы назвать борьбой, не существовало. Католики, послушные внушениям Фаллу, старались проникнуть в университет, поглотить его и клерикализировать, вместо того, чтобы уничтожать его; Университет в ответ на это только слабо защищался и соглашался отдать себя во власть Церкви в обмен на консервативную поддержку, которую она оказывает обществу.

Вот главные эпизоды негласных заседаний этой комиссии. Производится глубокое изменение всей прежней организации преподавания. Без шума, путем почти одних умолчаний Университет лишается не только монополии преподавания, но и привилегий гражданского лица, своих государственных субсидий, своих фондов, лично ему принадлежавших, он заменяется наполовину общественным, наполовину частным учреждением, главой которого, без звания главного начальника, назначается министр народного просвещения. При министре учреждается высший совет, в котором постоянное ядро составляют восемь членов прежнего университетского совета, избранных пожизненно; кроме них, в Совет входят семь священников разных вероисповеданий, избранных на десять лет с правом переизбрания, три государственных советника, три члена Кассационного суда, три члена Института и три представителя от частных школ. Этот совет, где духовенство занимает почетное место, держит в своих руках не только частные учебные заведения, но все факультеты, лицеи, гимназии, школы, все, что в них преподается и их касается программы, ученики, награды и учебный персонал.

Еще одно важное обстоятельство! В каждом департаменте учреждается академия, чем окончательно разбивается авторитет ректора. Фаллу в момент откровенности так выразился об этой статье: «Это не Университет, помноженный на 86, но разделенный на 86». Кузен понимал значение этой меры. «Я считаю,—говорил он,—этот закон самой контр-революционной попыткой, которая когда-либо делалась». Тьер, который думал то же самое, говорил: «Университет будет очень рад, что у него будет возможность располагать большим количеством мест» — и убеждал Кузена в необходимости этой меры. При ректоре, сделавшемся незначительным лицом, которое может быть избрано из среды частных преподавателей, учреждается академический Совет, в который входят префект, епископ и его уполномоченный (иногда пастор или раввин), два магистрата, четыре члена, выбранных Генеральным советом, и один чиновник министерства народного просвещения, назначенный министром и совсем подавленный всем этим количеством представителей влиятельных социальных групп, деканы факультетов показываются в Совете только в исключительных случаях, когда дело касается их факультетов. В общем духовенство проникает во всю университетскую иерархию с правом контроля и управления.

С начальным образованием, предназначающимся для народа, Тьер расправлялся жестоко. Монталамбер и Риансей принуждены вступиться, чтобы смягчить его. Свирепый маленький буржуа не понимает, зачем начальная школа должна быть доступна всем. По его мнению, образование уже есть начало богатства. Учить того, у кого ничего нет, «это все равно, что раскладывать огонь под кастрюлькой без воды». Ему возражают, выражая удивление, по поводу требования 10.0000 ливров дохода для получения права учиться (читать). Наконец, он покоряется необходимости народного образования, но полагает, что его надо свести до минимума. Читать, писать, считать, этого достаточно. Остальное излишне и опасно, потому что может отвлечь от полевых работ. Во всяком случае, если это возможно, образование следовало бы целиком предоставить духовенству.

У конгрегаций нет, конечно, достаточно средств для выполнения этой задачи, но им можно было бы помочь пособиями, почерпнутыми из «огромного двадцатимиллионного бюджета», предназначенного на народное образование. В помощь им можно было бы дать бывших унтер-офицеров. Сам Монталамбер в ужасе от подарка, который Тьер хочет поднести Церкви. Он заявляет, что хотя в политике он реакционер, но в этом вопросе он не хочет быть таковым и что он стоит за свободу образования. Он был бы удовлетворен одним исключением из общего правила: чтобы свидетельство о послушании было приравнено к диплому, требующемуся с народных учителей. Кузен протестует. Решают произвести анкету. В комиссию призывают двух инспекторов университета, старших из ордена христианских братьев, ордена Лазаристов и сестер-благотворительниц. Неожиданно ре-

зультаты анкеты оказываются благоприятными для учителей. Опасность первоначального образования, на которую указывал Монталамбер, других, повидимому, не пугает. Но Тьер тут, как тут. Долой образование Карно! Долой образование Бланки! По собственному его признанию, он направляет анкету «против Кузена».—«Есть один брат,—говорит начальник ордена невежественных монахов,—который уже двадцать лет преподает в младшем классе и качества его неоспоримы, но он никогда не мог бы выдержать ни одного экзамена». Решают, что «преданность делу» будет считаться равнозначащей диплому. По мнению Тьера, учителя, это—36.000 коммунистов и 36.000 антиклерикалов. Необходимо их попридержать и было бы желательно, чтобы нормальные школы, эти молчаливые клубы, которые совершенно напрасно устроены в городах, где столько опасных идей, были бы уничтожены. Риансей просит помиловать хотя бы некоторые из них. Но Тьер настаивает: «это единственное действительное средство... Это смело, очень смело, я с этим согласен... но тем не менее я не отступлю... Я согласен, если на то пошло, чтобы мне переломали за это руки и ноги, когда я взойду на трибуну в Собрании».

Комиссия не разделяет его дикой страсти к разрушению, но решения принимаются ею очень серьезные. Обязательное образование единогласно отвергается, как тирания. На религиозное и нравственное образование обращают внимание прежде всего. Обязательным признается обучение только чтению, письму, французскому языку и счислению, остальные предметы изучаются желающими и в программу экзаменов не входят. Бесплатное обучение дается только бедным. Иначе это было бы признанием права на образование, что было бы слишком близко к признанию права на труд. Учительский диплом может быть заменен званием священника одного из вероисповеданий, признанных Государством. Как и по предыдущему проекту, учитель, желающий открыть частную школу, должен делать троекратное заявление об этом, и такие школы подвергаются очень поверхностному, почти номинальному надзору. Учителя государственных школ назначаются Муниципальным советом каждой коммуны и могут быть избраны из числа членов разрешенных конгрегаций, по представлению их непосредственного начальства. Несменяемость уничтожается;

они могут быть временно устранены от должности мэром; их может сменять и перемещать ректор. Нормальные школы могут быть уничтожены Генеральным советом департамента *). Таким образом давалась возможность местным властям мирволить церкви, если они этого пожелают. Учитель имеет право на пенсию и пользуется содержанием, состоящим из постоянного жалования, минимум в 200 франков, и дополнительной платы учеников, общая сумма должна, как и по проекту Карно, уничтожившего взносы учеников, достигать по крайней мере 600 франков. Эти улучшения не касаются учительниц, остающихся в худшем положении на том основании, что они не подвергаются публичным экзаменам, и что свидетельство о послушании для сестер приравнивается диплому. Пытаются, правда, увеличить количество школ для девочек; программа их та же, что в школе для мальчиков; сверх того, в них введено обучение рукоделию. Всякая коммуна, имевшая 800 жителей и свыше, должна иметь такую школу, с оговоркой: «Если она имеет на это свои собственные средства». Совместное обучение девочек с мальчиками, католиков с детьми других вероисповеданий по возможности не должно допускаться. Что касается дополнительного начального образования, то в проекте было только сказано, что «могут устраиваться» школы для взрослых и подмастерьев, воскресные школы и проч. Школа для малолетних вновь называется приютом, что напоминает о ее благотворительном происхождении.

Положение светских учителей и особенно учительниц более шаткое; их контролируют и ими управляют мэр и священник; один представитель буржуазии, другой—церкви, которые сообща составляют ежегодно список учеников, бесплатно принимаемых в школу; учителя обязаны держать двери своей школы всегда открытыми для священников, желающих наблюдать

*) Один из депутатов, Саломон, во время обсуждения в Собрании, настаивал на том, чтобы ученикам, предназначавшимся в учителя, не засоряли головы лишними знаниями, которые им не понадобятся на их скромном поприще. Соответственно этому программа нормальных школ была сведена к самому необходимому: чтению, письму, счету, основным правилам французского языка, а затем религиозному образованию и религиозному пению. День должен был начинаться и кончаться общей молитвой, за которой следовало чтение Священного Писания, на церковную службу учеников должны были водить директор и учителя. (Декрет 24 марта 1851 г.).

за религиозным преподаванием, они обязаны преподавать катехизис и водить детей на богослужение.

Вот общий характер нового закона по вопросу о начальном образовании. Он основывался на унижении и полной покорности по отношению к богатому классу и духовенству. «Такая свобода преподавания,—говорил Дюпанлу,—будет всегда свободой проявить свою преданность».

В вопросе о среднем образовании, которым почти исключительно пользовалась буржуазия, положение партий по отношению друг к другу было другое. Тьер в комиссии по этому вопросу был из левых. Сыновья господствующего класса не нуждаются, по его мнению, в такой узде, как дети народа; религия, необходимая для последних, не нужна для первых, их собственные выгоды не дадут им увлечься социалистическими теориями. Поэтому-то, хотя некоторые экономисты, как, например, Бастиа, и утверждали, что бедные бакалавры в качестве деклассированных также опасны для социального порядка, как жители предместий,и предсказывали появление интеллигентного пролетариата, который будет поставлять вождей для всего пролетариата и служить выразителем его идей, члены комиссии, представители университета, особенно Кузен, находили, что классическое образование—если угодно классовое образование—должно остаться почти без изменений. Тьер ополчается против создания каких бы то ни было профессиональных школ, которые унизили бы состоятельный класс до ручного труда. Это годится для маленьких американцев, но Франция,—страна изящной литературы! Он считает, что государство имеет право чеканить молодых людей по своему подобию, и отстаивает необходимость свидетельства о прохождении курса наук, как гарантии против тех, которые могли научиться в частных школах или за границей, в Фрибурге, например, где преподают иезуиты, ненавидеть учреждения своей страны. Но Дюпанлу, имеющий дар очаровывать Тьера мягкостью своего вкрадчивого красноречия, берется сломить его упорство и войти с ним в сделку, установить своего рода конкордат, как это назвал впоследствии Монталамбер. Он выставляет четыре условия для соглашения: во-первых, во имя той свободы, которой он требует,—само собой разумеется, что «не для клубов», а для Церкви—уничтожение свидетельства о прохождении курса, которое является пустым, а подчас и ложным официальным ярлыком для кандидатов на степень бакалавра... Во-вторых, отмену декрета 1828 года (декрета времен Реставрации), предписывающего малым семинариям принимать только ограниченное количество будущих священников, с самого своего вступления носящих рясу; преобразование их в простые духовные пансионы с теми же правами, что лицеи и гимназии, но под исключительным ведением епископов. Принимая эти меры, Церковь рассчитывала, что учеников для них будет поставлять обращенная к религии буржуазия, и придерживалась общепризнанного положения, что государство должно дорого продавать свое образование и много на него тратить, чтобы получить с него значительный доход. В-третьих, разрешение преподавателям и директорам частных школ не иметь тех степеней, которые требовались с учителей правительственных школ. Наконец, разрешения преподавания всем конгрегациям. В частности это касалось иезуитов, изгнанных в силу недавно изданного закона. Тьер и Кузен упрямятся. Тогда Монталамбер пускает в ход фразу Жюля Симона: «Республика... не знает корпораций... для нее существуют только учителя».

Дюпанлу настаивает, замечая, что если каждому французу в возрасте двадцати пяти лет разрешают открыть среднее учебное заведение, то невозможно лишать этого права какую бы то ни было категорию лиц; что раз это разрешается всем сектам, даже квакерам, то нельзя ставить вне закона людей, «совершенно невиновных в том, в чем их обвиняют». Аббат одержал победу по всем пунктам. Тьер, взяв Кузена под руку, воскликнул: «Аббат прав! Мы боролись против справедливости, против добродетели. Мы должны это искупить». И он согласился на допущение иезуитов, с условием, чтобы о них не говорили. Он говорил также (это было более откровенно): «Общество дороже университета».

В проекте все эти требования были удовлетворены и даже больше того. Церкви предоставлялась не только свобода, но и привилегия. Диплом бакалавра, требовавшийся от всякого желавшего открыть среднее учебное заведение, мог быть заменен дипломом, выдаваемым специальной комиссией, членом которой всегда должен был быть священник. Кроме того, частные школы

могли пользоваться субсидией от коммун, департаментов и Государства и получать помещения, предназначавшиеся раньше для университетских школ. Церковь хотела воспользоваться наследством своего побежденного врага.

Таким образом и среднее образование в свою очередь подверглось нападению, и будущности его грозила опасность.

Ватимесниль впоследствии настаивал на том, чтобы история и философия преподавались согласно догматам Церкви; де-Ластери—чтобы философия вовсе не преподавалась в лицеях. Аббат Гом в объемистом сочинении выступил с обличениями того, что он называл *червем, подтачивающим современные общества;* это был дух античного классицизма, который, начиная с XVI века, поощрял независимую мысль; это было свободное исследование, порожденное Возрождением и породившее Реформацию, явно внушенное демоном, потому «что первым протестантом был Люцифер»; это было «социалистическое язычество» древних, которые не могли иметь настоящего представления о собственности. Необходимо было христианизировать преподавание языческих авторов, если уж нельзя было заменить их *Деяниями мучеников* и трудами отцов Церкви; одним словом, надо было расширить доступ христианства к образованию. Для проведения в жизнь пожеланий аббата Гома можно было вполне положиться на Советы, которые предполагалось учредить по новому проекту закона, и достаточно бросить взгляд на программы лицеев и гимназий того времени, чтобы увидать, что «христианские классики» заняли в них значительное место.

Проект преобразования высших школ должен был завершить труды, коснувшиеся главным образом образования низшего и среднего. Не хватило времени для того, чтобы наладить это дело как следует, благодаря чему в этой области ограничились одним разрушением без созидания. Проекту Карно относительно создания свободного Атенея не было дано никакого хода; желали, по выражению Вельо (это и есть философия всего, тогда происходившего), дать свободу добру, а не злу. Административная школа, им созданная, подверглась нападкам. Она не нравилась буржуазии, потому что преподавание в ней было бесплатное, и свидетельство об окончании давало ученикам возможность занимать должности, создавая детям народа возможность соперничества с детьми зажиточных семей. По этой же причине раздались протесты, когда потребовали, чтобы преподавание в больших школах было бесплатным, и тем не менее оно было введено в высшей нормальной школе, с некоторыми затруднениями в Политехнической школе и в школе Сен-Сир. Но вскоре бесплатность была уничтожена в двух последних и не разрешалась уже для вновь основывающихся школ. Административной школе ставили в вину то, что она направляла умы к изучению политики и социальной экономии, что будто бы уже пахло ересью. Фаллу напал на нее в Учредительном Собрании, говоря, что нет достаточно должностей, чтобы обеспечить всех выходящих из нее учеников; что основать в Париже, в этом очаге страстей, подобную школу—значило подвергать молодежь вредному влиянию.

Он предлагал вместо нее открыть при университете курсы административного права. Курсы не были открыты, но административная школа исчезла. Та же участь постигла нововведения в Коллеж де Франс. В общем, невзирая на протест Виктора Гюго, который восставал против такой бережливости, бюджет высшего образования был заметно сокращен, тогда как бюджет вероисповеданий заметно увеличен. Было решено, например, что содержание профессора, хотя бы он был самым великим ученым в стране и занимал две кафедры, не может превосходить 12.000 франков, тогда как содержание парижского архиепископа достигало 40.000 франков. Но режим в высших учебных заведениях хотя и не избег влияния клерикалов, был ими задет только косвенным образом; перемены скорее коснулись людей, чем организации.

Возвратимся к двум проектам, явившимся результатом работ внепарламентской комиссии. Они вскоре слились в один, который Фаллу редактировал и поспешил внести в Собрание 23-го июня 1849 года в дни лихорадочной реакции, последовавшей за схваткой в музее ремесл и искусств. Проект встретил противников двух родов *). С одной стороны, он чудодейственно восстановил против себя всех республиканцев, даже самых умеренных, которые испугались, что французская мысль снова под-

*) Он возбудил также протесты со стороны протестантов и евреев во имя равенства вероисповеданий.

падет под иго Церкви и возвратится к еще худшему положению, чем раньше; с другой стороны, он возбудил негодование непримиримых католиков, сторонников *всего или ничего*, введенных в заблуждение или возмущенных слишком тонкими двусмысленностями закона, который, как это впоследствии выразил Виктор Гюго, скрывался под маской, говоря одно, а делая другое, как бы оберегал университет, урезывая и порабощая его, разделял монополию, вместо того, чтобы ее уничтожить. Среди этих «католиков прежде всего», желавших более откровенного подавления врага, Луи Вельо первый обвинил проект в «том, что он не оправдал доверия». «Выходит так,—говорил он,—как будто мы уже больше не верим в то, чего мы так долго требовали—в полную свободу для церкви». Вельо упрекал Фаллу и Дюпанлу в том, что они приспособляются, вступают в сделки, а самого Монталамбера в том, что и он оказался не чужд этой заразы; он кричал о необходимости разделить католицизм, чтобы он не попал весь целиком по вопросам религии в руки университета, а по вопросам политики—в лоно буржуазного консерватизма. Пятнадцать епископов высказались против какого бы то ни было вторжения Государства в дело Церкви и находили «не совсем законным» и бесполезным свое присутствие в Советах, где и они в свою очередь были бы пришельцами, стесненными, чужаками и подавленными. «Какое может быть отношение,—восклицал один из них,—между Иисусом Христом и Велиалом». Фаллу просил этих недовольных не портить торжества победы, желая, чтобы оно было полным. Монталамбер всеми силами защищался против своих бывших товарищей по оружию. Он пытался доказать им преимущества «союза вместо борьбы» между католицизмом и вольтерианской буржуазией. Он соглашался, что лучше было бы, конечно, просто уничтожить университет, но прибавлял, что приходится мириться с его существованием, как и с существованием Парижа, «причинившего столько вреда Франции». Его мало слушали, и он уже готов был отказаться от борьбы. Но его поддержали, если и не сами иезуиты, которые остались в тени, то, по крайней мере, их главный проповедник, отец Равиньян и Дюпанлу, которого только-что оторвали, помимо его воли, от парижской паствы и назначили Орлеанским епископом; он снова стал доказывать всю выгоду, которую можно извлечь из нового закона, если он будет принят. Один из его друзей писал ему: «Епископы будут вам когда-нибудь благодарны за то, что вы их не послушали». Тьер обещал его поддерживать «до полного изнеможения». Проект закона был поддержан и пошел по всем мытарствам.

Постарались устроить так, чтобы он не попал на рассмотрение Государственного Совета, которому не доверяли. Он был передан в парламентскую комиссию из 15 членов, председателем которой был Тьер, а докладчиком Веньо, бывший пэр Франции. Она без всякого колебания сделала его еще более реакционным. Она уничтожила дополнительное начальное образование и нормальные школы; увеличила до 15 лет обязательный срок службы для учителей. Тем хуже для молодежи, если она будет избегать этой карьеры из-за того, что она невыгодна. Найдут людей для того, чтобы заполнить вакантные места! Доклад был сделан 6 октября. Однако переработанный проект чуть было не погиб во время короткого антиклерикального настроения, вызванного папским Motu proprio. Елисейская партия, сблизившись с республиканцами и при поддержке непримиримых католиков, могла его потопить при входе в самую гавань. Фаллу отказался от поста министра по болезни и удалился с поля битвы. Правда, принц-президент говорил Монталамберу, который был в тревоге: «Успокойтесь: вы получите свободу преподавания. Вы бы получили ее еще в более полном виде, если бы не представлялось опасности, что ею воспользуются социалисты». Кроме того, новый министр народного просвещения де Парье был католиком, исполнявшим все обряды, он каждый день ходил к обедне и, говорят, носил власяницу, как подвижник средних веков. Одной из первых его мер было уничтожение свидетельства о происхождении курса, требовавшегося от всякого желавшего сдавать экзамен на бакалавра.

Однако, когда Паскаль Дюпра 7-го ноября потребовал, чтобы проект был передан в Государственный Совет, помимо которого он был проведен, Парье не протестовал, и коалиция, состоящая из республиканцев, бонапартистов, а может быть, и католиков, вынесла соответствующее решение в Учредительном Собрании, состав которого был менее клерикальным, чем состав законодательного Собрания. Но Государственный Совет, часть

которого в скором времени должна была быть переизбрана, что зависело от Собрания, находясь под постоянным влиянием католиков, не оправдал возлагавшихся на него надежд. Он главным образом подвергся влиянию министра, который был государственником. Он предоставил меньше прав Церкви и дал больше прав центральной власти. Он заставил несчастных учителей «почувствовать железную руку администрации», предоставив их на благоусмотрение префекта. Начальное образование, по выражению National, было почти сведено на положение «полицейского дела».

Такова была основная идея министра. В то время, как пересмотренный проект был возвращен в парламентскую комиссию, которая отвергла некоторые изменения, сделанные Государственным Советом в пользу государственного образования, Парье внес, настаивая на его спешности, проект декрета, который должен был временно на шесть месяцев определить положение учителей. Все продолжали бороться с социальной опасностью; этим декретом давалось право префекту делать учителям выговоры, временно устранять их от должности и смещать их, при чем смещенные учителя не могли уже открыть частную школу ни в той коммуне, где они раньше преподавали, ни в соседних. Эта произвольная драконовская суровость была только немного смягчена тем, что префект, прежде чем сместить учителя, должен был войти в соглашение с Окружным комитетом. Этот «маленький закон», как его называли, был только прелюдией «большого закона». Был момент, когда католики боялись, что он им повредит; но облако, ставшее между правительством и католиками, быстро рассеялось. Учителя из Сциллы попали в Харибду. Неизвестно, от кого они больше зависели—от светской администрации или от духовенства. Вот к чему свелся для них смысл закона, задававшегося целью ввести во Франции свободу преподавания.

Публичные дебаты по поводу закона открылись 14 января 1850 года через три дня после голосования проекта Парье. Общее обсуждение было блестящим ораторским турниром, но не было выдвинуто никаких новых аргументов ни за, ни против. Республиканцы всех оттенков, Виктор Гюго, речь которого была переведена на несколько языков и разошлась в сотнях тысяч экземпляров, Жюль Фавр, Эммануил Араго, Паскаль Дюпра старались провести очень трудно проводимое различие между духом религиозным и клерикальным, они признавали христианскую доктрину, или, по крайней мере, спиритуалистическую, они признавали бессмертие души и существование лучшего мира, хотели, чтобы эти догматы преподавались в государственных школах, соглашаясь, чтобы наравне с этими последними существовали и школы частные, но они обличали честолюбие, тиранию и преступления католической Церкви, обвиняя ее главным образом в том, что она—враг науки, и что она по традиции и убеждению не может допустить свободного искания истины. Они требовали, чтобы всем был предоставлен равный доступ к источникам знания, при чем Виктор Гюго провозглашал *права ребенка* «более священными, чем права отца». Бартелеми Сент-Илер главным образом защищал права государства в вопросе воспитания. Валлон, колебавшийся между своими двумя привязанностями, Церковью и Университетом, говорил, что так называемый конкордат, заключенный между ними, скрывает в себе ловушку и есть не что иное, как львиный дележ, которым второй обездоливается в пользу первой Архиепископ Парижский, епископ Лангрский, со смирением принял закон, грешивший тем, что в основу его положен принцип официального и светского образования. Аббат Казалес решительно высказался против этого закона, но закон нашел себе и сильных сторонников. В то время, как Молэ действовал в тени, Монталамбер еще раз пустил в ход красную опасность и необходимость объединить все консервативные силы для спасения общества. Тьер с великолепным бесстыдством утверждал, что университет вышел из этой плавильни возвеличенным и укрепленным. Как старый пройдоха парламентских битв, он сумел использовать оппозицию некоторых католиков, чтобы показать колебавшимся, что проект вовсе не миротворил Церкви. Переход к обсуждению по пунктам был проведен 455 голосами против 187. Республиканцы были покинуты бонапартистами, своими однодневными союзниками. Хотя Луи Бонапарт и одобрил речь Виктора Гюго, но на стороне министра Парье было откровенное сочувствие правительства. Чем же можно объяснить эту перемену в настроении Елисейской партии?

Трудно ответить на это определенно. Возможно, что вмешательство Монталамбера 20-го декабря, поддержавшего своим авторитетом восстановление налога на спиртные напитки, уничтоженного Учредительным Собранием и вновь предложенного Фульдом, вновь скрепило союз партий порядка, на одну минуту поколебавшийся. Возможно, что было достаточно усиления социалистической партии в течение первых месяцев 1850 года для того, чтобы примирить католическую группу с президентом.

Как бы то ни было, во время второго и третьего чтения, поправки, внесенные как непримиримыми католиками, так и республиканцами (исключение епископов из Высшего Совета, назначение этого совета Собранием, попытка внести в закон, имея в виду будущее, зачатки обязательности и бесплатности обучения) были отвергнуты.

Все покровы падали один за другим. Было далеко до полной свободы, которую Церковь во время Луи Филиппа требовала как для себя, так и для других. Это сейчас же обнаружилось, когда Жюль Леру, социалист, внес поправку, состоявшую в следующем:

«Всякий гражданин, пользующийся гражданскими и политическими правами, подав предварительно заявление муниципальной администрации той коммуны, где он живет, имеет право открыть публичный курс по предметам первоначального, среднего, высшего и профессионального образования, т.-е. по всем предметам, служащим для образования и обучения человека и гражданина.

Поступки, совершенные во время преподавания, на тех курсах, куда принимаются ученики не моложе 15 лет—подсудны только суду присяжных».

Здесь предлагалось, да и то только применительно к курсам для взрослых, то, чего Монталамбер раньше требовал для всех школ. Тьер заявил, что таким путем хотели создать привилегию для социализма и за поправку высказалось только 135 голосов. Та же неудача постигла и Кинэ, предложившего, чтобы давалось только общее религиозное моральное образование, «оставив в стороне догматы, присущие отдельным вероисповеданиям». Он обосновывал свое предложение тем, что школа, стоящая вне влияния отдельных вероисповеданий, есть необходимое условие национального единства, гражданского согласия и в то же время свободы совести, установленной первой революцией. Но большинство вовсе не было склонно покровительствовать свободе совести. Поправка была отвергнута без голосования.

Самая горячая битва завязалась по поводу поправки, в которой предлагалось лишить права преподавания всякое религиозное общество, не признанное государством. (Поправка Бурза). В данном случае имелись в виду иезуиты. Тьер, их прошлогодний горячий противник, говорил шутя, что он стрячется за свой пюпитр, когда поднимется вопрос об их возвращении. Теперь же он, наоборот, смело начал апологию свободы для всех. «Я перейду к иезуитам»,—сказал он в одном месте своей речи.—«Это уже сделано»,—закричал голос слева. Послышался смех, но Тьер, не смущаясь, продолжал свою защиту, оказавшуюся решающей. Епископ Дюпанлу сделал открытие, что небо для того только допустило Республику, чтобы возвратить иезуитов во Францию, и со смелой уверенностью верующего, заставляющего действовать своего Бога по своему желанию, он сказал: «Тот, кто ясно не увидит в этом Провидения, не увидит никогда ничего».

В результате проект комиссии был принят с легким изменением, заключавшимся в том, что решено было требовать с инспекторов и ректоров степени лицинциата по юридическим или теологическим наукам, а также в том, что Ластери и Воловский добились неопределенного обещания учредить профессиональное образование.

15 марта 1850 года закон был принят большинством 399 голосов против 227. Из католиков сорок человек были в числе оппозиции. Лангрский епископ воздержался от голосования, так же, как и некоторые из министров. Иезуитский орден благодарил г. Тьера, занявшего пост первого вице-председателя Высшего Совета народного просвещения. Папа, долго колебавшийся между двумя группами католиков и остававшийся безмолвным, наконец, через два месяца решился ответить на настойчивое письмо Монталамбера, выразив ему, так же как и Фаллу, свою благодарность и предлагая епископам извлечь всю возможную пользу из несовершенного закона. «Никогда,—писал Монталамбер,—нельзя было добиться подобного закона ни при одном из прежних режимов; никогда не добьются лучшего от будущего Собра-

ния». Все епископы, за исключением одного, подчинились. Они один за другим стали догадываться о тех огромных преимуществах, которые закон предоставлял Церкви. Монсеньор Доней, епископ Монтобанский, находивший, что присутствие епископов в университетских советах стеснительно и незаконно, писал 25 октября 1850 года: «Академический совет (Тарна и Гаронны) очень хорош и не оставляет желать ничего лучшего. Профект на-днях говорил мне: «Вы хозяин академического совета и вы можете направлять его как пожелаете». И епископ прибавлял: «Если мои священники захотят слушать моих советов, они направят начальное образование как захотят».

Всего больше закон этот отразился на среднем образовании. Везде священнику была отведена большая роль, он надзирал, а при случае и доносил на преподавателей философии и истории; военные школы были наводнены молодыми людьми, «подававшими пример послушания предписаниям Церкви»; в нормальные школы поступило значительное число католиков и в ней вновь было введено обязательное посещение обедни, тогда как после февраля это могло делаться по желанию. Был отставлен от должности директор Вашеро, после того как отец Гратри, бывший священник этого учебного заведения, заявил, что он высказывал превратные мысли по поводу происхождения христианской теологии. Стал замечаться политический индифферентизм, соблюдение религиозных обрядов; было введено обязательное посещение епископа для учителей гимназий и лицеев; ценные книги обогащали большой католический книжный магазин в Туре торгового дома Мам; стало заметно понижение уровня классического образования (профессора факультетов жаловались, что, благодаря уничтожению свидетельств о прохождении курса, увеличилось количество кандидатов на бакалавра, которые являются на экзамен, не окончивши учебного заведения и лишь спешно подготовившись; сильно уменьшилось в следующие годы количество бакалавров и лиценциатов словесности; затем было много городов, которые воспользовались данным им разрешением передать свои гимназии в руки духовенства; так было в Ансенисе и Сент-Дизье, опередивших закон, в Арле, Гингане, Тарасконе; Драгиньяне, Шато-Гонтье, Бриньоле, Ортезе, Сент-Шамоне; Руане и др. С 1850 по 1852 год было учреждено до 257 частных

школ и министерские циркуляры предписывали относиться к ним по возможности снисходительно. Высший комитет частного образования, в котором заседали Монталамбер, Молэ и Беньо, поощрял, направлял и поддерживал новые школы, позволяя им сильно понижать плату за учение, а иногда принимать учеников и совершенно бесплатно. Иезуиты вновь появлялись во многих местах, в Сент-Африке, в Манде; в этом последнем городе отец Валентин на свой страх заключил договор с муниципалитетом от имени общества Иисуса, не признанного во Франции; однако Высший Совет народного просвещения утвердил его с тем только условием, чтобы отец Валентин фигурировал в деле как частное лицо, а не как представитель иезуитского общества. Это было проведением в жизни того, что Тьер сказал одному провинциальному иезуиту: «Главным образом старайтесь не говорить, что вы иезуит». Католики ликовали, даже было как будто немного испуганы ростом духовных учебных заведений, благодаря которому можно было опасаться гибельной конкуренции. Дюпанлу перед голосованием закона перечислял ожидаемые выгоды, как бы наперед затягивая победоносный гимн; а Луи Бонапарт несколько месяцев спустя в своем послании к Собранию от 4-го ноября 1851 года поздравлял себя с достигнутыми результатами.

В области начального образования успехи Церкви, насколько об этом можно судить по статистическим цифрам, были менее блестящи. В послании, о котором я только что упоминал, говорится, что за восемнадцать месяцев число школ увеличилось на 806. Но это не относится к частным школам для мальчиков, число которых, напротив, заметно уменьшилось (4.622 вместо 4.950). Повидимому, Церковь употребила прежде всего все свои усилия и все свои средства на то, чтобы овладеть буржуазией. Эта последняя (Тьер служит тому примером) не особенно интересовалась народным образованием. Поэтому нечего удивляться, что с 1847 г. по 1850 г. замечается уменьшение общего числа учащихся:

	Общее число учеников.	Мальчиков.	Девочек.
1847 г.	3.530,137	2.176,079	1.354,056
1850 г.	3.322,423	1.793,667	1.528,756

Но такое уменьшение относится исключительно к мальчикам и это дает возможность предположить, что здесь сказалось

влияние измененного положения учителей. Наоборот, число девочек возросло приблизительно на 200.000. Это объясняется тем, что Церковь по-прежнему (не безкорыстно) предпочитала заниматься воспитанием женщин. Здесь цифры говорят сами за себя. В 1847 году было 19.414 школ для девочек, в 1850 г. их было 20.189. В то время, как число светских школ уменьшилось (52.225 в 1843 г.—50.267 в 1850 г.), число духовных школ сильно возросло (7.613 в 1843 году—10.312 в 1850 году и из числа этих последних было 6.464 школ государственных). Если просмотреть Законодательный бюллетень с 1849 г. по 1851 г., то можно видеть, что религиозные общества основываются десятками: *Сестер* милосердия, Провидения, Христианского воспитания, Христианского учения, Милосердия, св. Семейства, введения во храм св. Девы Марии, св. Шарля, св. Викентия и Павла, св. Фомы—из Вильнева, св. Андрея, св. Роха, св. Иосифа, св. Людовика, Рождества св. Девы, св. Христианки, Божьей Матери Заступницы, Младенца Христа, не считая Урсулинок, Иисуса, Дев св. Духа, Мудрости, св. Союза, Святого сердца Иисусова. Это было временем чрезвычайного распространения женских конгрегаций, из которых некоторые были странноприимными, другие задавались целями воспитательными. Приводим последнюю цифру. Если взять общее число учеников в 1850 г., то окажется, что на светские школы их приходится 2.368.627, а на конгрегационные 953.796. Это значит, что Церковь имела в своем непосредственном ведении $^2/_5$ числа детей низшего класса населения, отношение это должно было в последующие годы еще больше измениться в ее пользу, благодаря закону Фаллу.

Как на завершение расцвета клерикального могущества следовало бы указать на уничтожение остатков независимости низшего духовенства. Я уже говорил о попытке уничтожить конкордат. Было сделано также несколько попыток добиться его пересмотра. Сенар внес предложение в Учредительное Собрание о том, чтобы все духовные должности были сделаны выборными. Чтобы епископы и архиепископы назначались главою государства по спискам кандидатов, имеющих степень докторов теологии, составленным мэрами и их помощниками по приходу. Это значило бы демократизировать монархическую организацию Церкви, поставить прихожан над духовенством и, по форме церковного благочиния, превратить католицизм в протестанизм. Но «у нас нет достаточно религиозности, чтобы сделаться протестантами», говорил Прудон. Сенар не нашел себе товарищей на этой жгучей почве. Однако были и другие депутаты, мечтавшие о национальном и республиканском духовенстве, это были мечты, которые, может быть, вызывались у них воспоминаниями о первой революции. У самого Прудона была идея, похожая на эту. Таким же образом думали гальванизировать древнюю галькую церковь Изамбер, Паскаль Дюпра и Эдгар Кинэ. Они внесли проект, который был попыткой изменить порядок, ставивший значительную часть священников в полную зависимость от усмотрения их епископов. Они указывали на то, что все исправляющие должность священников и викарии, составлявшие девять десятых всего духовенства, получали самое ничтожное вознаграждение и были благодаря этому в полной зависимости от своих ближайших начальников, которые могли ловкими перемещениями увеличить или уменьшить их содержание. Они требовали, чтобы после пяти лет службы эти священнослужители, находящиеся в столь непрочном положении, приравнивались к штатным священникам, то-есть имели достаточные средства для существования и были гарантированы от перемещений помимо их воли. Отсюда вытекала необходимость учреждения духовных судов, которые рассматривали бы вопросы дисциплинарного характера и давали бы мотивированные заключения, в случаях временного устранения от должности или отозвания священника епископом. В комитете вероисповеданий епископы дурно приняли это предложение, клонившееся к ограничению их власти. Прикрываясь авторитетом папы, они достигли того, что заставили комитет вынести решение о необходимости предложить правительству вступить в переговоры с папой. В этом смысле и был сделан доклад; но он не обсуждался, и организация, существовавшая со времени конкордата, осталась без перемен. Церковь оставалась абсолютной монархией и епископы, под верховным владычеством папы, распоряжались самодержавно.

Таким образом, избегнув опасности раскола и нарушения внутренней дисциплины, грозившей ей, церковь, кроме того, была подкреплена расположением к ней государства. В сентябре 1848

года, было выработано предложение, под которым подписались социалисты, как Консидеран, католики, как Фаллу, умеренные республиканцы, как Вальдек-Руссо, в котором требовалось, чтобы по воскресным и праздничным дням обязательно прекращались все работы; он был представлен на рассмотрение Законодательного Собрания, но не обсуждался, будучи, несомненно, задержан промышленной буржуазией. Зато в течение последних лет существования Второй республики были вотированы щедрые ассигновки на поддержание церковных домов и церквей. Доклад, обращенный к министру народного просвещения от 2 января 1851 года, приходил к заключению о необходимости открытия в течение нескольких лет кредита в 3.400.000 франков на капитальный ремонт приходских зданий и в 600.000 франков на поддержку их, для того, чтобы, как говорилось в докладе, «удовлетворить самой настоятельной потребности и для данного момента более, чем когда-либо самой спасительной».

В годы от 1849 до 1851 господство католицизма достигло своего апогея во Франции XIX века. Монталамбер в своей брошюре, вышедшей в 1852 году (Интересы католиков в XIX веке), заявляет, что только один католицизм извлек пользу из кризисов, пережитых современным обществом. Однако можно ли сказать, что закон Фаллу был для Церкви тем полным триумфом, на который надеялись? Победа, конечно, но победа Пиррова, купленная слишком дорого и чреватая будущими тревогами! Этот закон, который Лакордер называл новым Нантским Эдиктом, мирным договором между Государством и Церковью, дал возможность духовенству на много лет взять в свои руки воспитание юношества. Однако он не уничтожил светскую школу и сохранил имя и образ университета. Этого было достаточно, чтобы образовались, как это вскоре стало заметно, две враждебные Франции, из которых одна обращалась к прошлому, другая — к будущему, одна считала все то, что произошло с 1789 г., заблуждением, несогласным с национальной традицией, другая, напротив, желала искреннего проведения на деле принципов нейтральности в области религии и государства, провозглашенных революцией. Таким образом этот якобы примирительный закон, предназначавшийся, как говорили, для того, чтобы создать во Франции моральное единство на лоне древних верований, содержал в зародыше социальную рознь и гражданскую войну. В то время, как богатый класс сближался с Церковью и считал хорошим тоном показываться во время обедни, цвет буржуазных мыслителей и народная масса, особенно городская, решительно от нее отстранялись. Католическая церковь, уставами своих самых авторитетных толкователей, открыто порвала с демократией и ее надеждами. Фаллу объявил вечность нищеты; он претендовал на то, чтобы замуровать бедный класс в тех условиях, в которых он жил, и наложить печать религии на запрещенный для него выход; он сказал, обращаясь к социалистам: «Вы не хотите удовольствоваться улучшением участи бедняка и просвещением сердца богатого. Нет, вы хотите, вопреки божескому закону, сделать так, чтобы не было ни богатых, ни бедных». Монталамбер говорил в свою очередь: «Середины нет; теперь нужно выбирать между католицизмом и социализмом». Папа говорил то же самое. Таким образом Церковь сама подготовляла для себя законы и страшное возмездие в тот день, когда она перестанет быть сильной; уже республиканцы приняли этот своего рода вызов; они производили выборы, потому что их заставляли выбирать; они провозглашали, как Кинэ, необходимость светского образования, они разоблачали софизм, опираясь на который, взывали к свободе и употребляли ее на то, чтобы покончить со всеми свободами; они были согласны с заявлением о несовместимости между католицизмом и развитием демократии. История короткого периода, который нам остается рассмотреть, покажет нам, как французская республиканская партия, отделавшись от своего слепого страха и своей смутной религиозности, развивалась в сторону социальной республики и свободной мысли. Это было тоже последствием закона Фаллу.

ГЛАВА XIV.

Отмена всеобщего избирательного права (закон 31 мая). Партии в 1850 и 1851 г.г.

10 марта 1850 г., за пять дней до окончательного голосования закона Фаллу, было произведено 30 дополнительных выборов для замещения депутатов, осужденных за безрассудное

предприятие 13-го июня. Было избрано 10 консерваторов, десять мест выиграла партия порядка. Но в больших городах победу одержал красный список, и в Париже были избраны три человека, выбор которых являлся как бы пощечиной большинству Собрания: это были Карно, воплощенный протест против закона о преподавании; Видаль, сотрудник Луи Блана в Люксембурге и поэтому самому знаменоносец социализма; де Флотт, бывший морской офицер, арестованный после июньских дней и заключенный без суда в Бель-Иль, потом убежавший и оставленный на свободе, так как не было законных оснований для преследования его.

Чтобы представить себе смятение и гнев консерваторов в виду такого результата, нужно вспомнить неслыханные усилия, какие они употребляли, чтобы избежать его; в провинции все чиновники были министерскими циркулярами отданы под надзор своих начальников и за ними должны были шпионить и делать о них секретные донесения жандармские офицеры и унтер-офицеры (циркуляр Готпуля); префекты и прокуроры покровительствовали всем реакционным обществам и охраняли их, даже, если они были организованы в тайные общества с обрядами посвящения и присягой, и все это под предлогом, что в них вошло все, «что есть достойного в народе». Но эти же префекты и прокуроры преследовали и подавляли без пощады, сожалея лишь о невозможности применить более суровые законы, всякие рабочие и крестьянские ассоциации, кооперативные общества, общества взаимопомощи, даже филантропические общества, под предлогом, что они занимаются или могут заниматься политикой, а также собирают средства для оказания помощи своим членам в случае стачки и безработицы, что они—очаги социализма, следовательно, и беспорядка и анархии. В Париже префект полиции Карлье предписал своим комиссарам присутствовать на общественных собраниях и «исправлять там ложные идеи», в особенности бороться с социализмом, потому что социализм не что иное, как варварство». И в то время, как агенты правительства вмешивались таким образом непосредственно в избирательную борьбу, у Собрания было испрошено дозволение возбудить преследование против двух народных представителей, Бенселя и Мишеля де Буржа, за то, что они на этих самых собраниях энергично защищали демократическую республику.

Несмотря на все монтаньяры получили двадцать мандатов из тридцати. Это было следствием политических и экономических причин. Парижское население под влиянием грубого давления, которому оно подверглось, оказало, по своему обыкновению, сопротивление, как выпрямляемая стальная пластинка с силой скрученная. Затем отсутствующие ссыльные оказывали на результаты голосования, быть может, более сильное влияние, чем если бы они были возвращены. Незадолго перед этим было решено отправить в Алжир всех заключенных в Бель-Иле и поместить их на десять лет в специальное исправительное заведение, где бы они отбывали каторжные работы, были подчинены военному суду и лишены своих гражданских прав. В ожидании, пока это исправительное учреждение будет готово, их должны были держать в крепостях колонии. Это было очень тяжело для людей, сидящих в тюрьме, уже двадцать месяцев. Благодаря этому их семьи, их друзья составили грозное ядро недовольных. К этому присоединилось окончание долгого кризиса, который пережила парижская промышленность. Дела возобновлялись. Открытие золотых россыпей в Калифорнии вызвало всякого рода спекуляции и надежды. Ремесленники и лавочники опять стали фрондировать и желали дать урок правительству. Газета «*Assemblée Nationale*» сочла своим долгом донести своим подписчикам из богатых кварталов на некоторых коммерсантов, которые плохо голосовали. Мелкая буржуазия, подвергаясь в свою очередь придиркам реакции, почувствовала себя обманутой и стала раскаиваться, что неблагоразумно позволила разбить свой пролетарский авангард. Эффект, произведенный избранием упомянутых трех лиц, усилился еще одним избранием. Заместителем Видаля, который предпочел мандат из Верхнего Рейна, где он был избран одновременно с Парижем, явился Евгению Сю, который, быть может, не имел способностей государственного мужа, но который блестяще проводил в литературе пропаганду социализма и свободы мысли. Победа его была тем более знаменательна, что его противником выступил коммерсант, который отличился в июньские дни, сражаясь за порядок в рядах национальной гвардии.

Ответ на это не замедлил. Всеобщее избирательное право было принято большинством только условно. Но если оно отталкивало сторонников здравых течений, оставалось только осудить «эту язву, как источник всего зла». И вот президент назначил министром внутренних дел энергичного человека, Бароша, тем более страшного для демократии, что он был почти социалистом в 1848 году. Избрание Евгения Сю произошло 23-го апреля 1850 г. 3-го мая министр назначил комиссию из 17-ти членов Собрания, которым была поручена выработка реформы избирательного закона. Среди этих *бургграфов*, как их называли, были: Тьер, Моле, Монталамбер, де-Брольи, но не было ни одного республиканца. Это обещало реформу навыворот. Это был лицемерный проект, как все реакционные меры, принятые законодательным собранием, которое пользовалось как материалом торопливыми трудами комиссии. О том, чтобы отменить всеобщее избирательное право, не было и речи—упаси боже! Дело шло только о том, чтобы безотлагательно исправить его. Каким же образом? Лишением права голосования тех, которые не представляли гарантий своей благонадежности; исключением, с одной стороны, всех тех, кто был осужден, как бы ни было легко наказание, даже за нищенство, бродяжничество, нанесение оскорбления или бунт; исключением, с другой стороны, всех тех, кто не мог доказать своего постоянного пребывания в течение трех лет в одной и той же коммуне, что было направлено против всех рабочих, которых род их занятий заставлял переходить с места на место, и что также отдаляло законный возраст для участия в голосовании до 25-ти лет. Доказательством должно было служить внесение в списки плательщиков личного налога, что устраняло всех неимущих. Кроме того, местожительство взрослого сына, не живущего отдельно, удостоверялось заявлением отца, а слуги и рабочего—заявлением хозяина или предпринимателя, что предоставляло право этих избирателей усмотрению отцовской или хозяйской власти. Таким образом рассчитывали урезать на треть или на четверть количество голосующих, не трогая параграфа конституции, который клал в основу республики всеобщее избирательное право.

Парламентская комиссия сочла нужным несколько смягчить предложенную хирургическую операцию. Требовалось трехлетнее пребывание уже не в коммуне, а в кантоне, чиновники были избавлены от этого условия; доказательством пребывания в данном месте могло служить внесение в списки платящих подати натурой и, в случае отказа родителей, хозяев или предпринимателей, удостоверение мирового судьи. Зато число случаев, лишающих избирательных прав, было значительно увеличено, и докладчик Леон Фощэ, счастливый тем, что может изуродовать всеобщее избирательное право, над которым он уже раньше старался произвести насилие, привлек на свою сторону Собрание и в заседании 18-го мая. Республиканцы всех оттенков были возмущены тем более, что их противники подчеркивали, что они ставят свой закон под покровительство Ламартина, потому что последний в своей газете «Советник Народа» сделал некоторые критические замечания по поводу баллотировки по спискам. Они начали сильную кампанию путем печати, петиций, речей, не имея ни средств, ни желания бороться иным путем. Силою вещей произошла глубокая перемена. Республиканская партия становилась партией социального мира и законности. «Это мы—истинные консерваторы», воскликнул Ламорисьер. Во время прений Виктор Гюго указал на опасность, которая заключалась в уничтожении орудия мирного прогресса. Греви восстал против замаскированного несправедливого возвращения к системе, отказывающей в избирательных правах бедным. Кавеньяк и Жюль Фавр вещали то, что составляло истинный смысл дня 24-го февраля. Де-Флотт, «бунтовщик», протестовал против того, что социализму приписывают безумное, честолюбивое желание осуществить немедленно идеи, которые не успели пустить корни. Напрасный труд! Монталамбер высмеял существующее у экс-революционеров стыдливое уважение к конституции, этой веталке, постоянно оскверняемой или близкой к осквернению; затем, применяя удобную однообразную и всегда действительную тактику партии порядка, он еще раз напал на социализм. «Мы хотим,—сказал он,—законной войны с социализмом». Это то, что он называл римской экспедицией внутрь страны. Так как Прудон сказал, что всеобщее избирательное право должно кончиться в один прекрасный день социальной реформой, то должно изменить всеобщее избирательное право. Это признание не было ничем замаскировано. Мон-

Таламбер дополнил эту откровенную мысль, сознавшись, что для того, чтобы обойти конституцию, которой республиканцы намеревались связать своих врагов, она нашла «выход правил о местожительстве». Честь открытия принадлежала, повидимому, герцогу де-Брогли. Тьер употреблял еще более характерное слово, которое вполне показывало непримиримую спесь «просвещенных классов», как тогда говорили. Он клеймил названием «презренной толпы миллионы французов, которые вскоре должны были оказаться исключенными из избирательных списков. Монталамбер сказал: «За нас сила и закон». Тьер прибавил: «Нарушьте восстанием закон, который мы издаем, и вы увидите, что мы сделаем».

Мятежа, который, повидимому, вызывали, не произошло. Меньшинство, провоцированное, осмеянное, бессильное провести даже самую скромную поправку, мстило иронией, оружием слабых. Оно предложило, чтобы лица, признанные недостойными участвовать в выборах, были также изнаны недостойными служить в армии и платить косвенные налоги. Это был способ указать, насколько несправедливо налагать гражданские обязанности на людей, которых лишили соответствующих прав. Как будто заботились о справедливости и разумности! Леон Фошэ требовал, чтобы подателей петиций с требованием сохранения всеобщего избирательного права преследовали как преступников. Часть легитимистов, которые вместе с де Женудом и Ла-Рошжакленом требовали введения его при Луи-Филиппе, хотели добиться, чтобы, по крайней мере, пощадили бедных крестьян; чтобы занесли в избирательные списки тех, кто находился в списке неимущих. Но, хотя закон был направлен, главным образом, против городской демократии, деревенская демократия также начала казаться подозрительной буржуазии. Ее также не пощадили, и когда приступили к обсуждению бесконечной серии недостойных поступков, влекущих за собой потерю избирательных прав, то произошло соревнование в изобретении все новых и новых поступков. Недостойным избирательного права оказался таким образом всякий, кто был присужден больше чем на месяц к тюремному заключению за нищенство или бродяжничество, за оскорбление присяжного заседателя или свидетеля, за нарушение закона о сборищах, о клубах, о разносной торговле или регламентов об игорных домах и лотереях! Право участвовать в выборах было таким образом предоставлено на усмотрение буржуазных судов. А кто из республиканцев мог льстить себя надеждой избегнуть таких растяжимых преступлений, как, например, оскорбления общественной и религиозной морали, нападок на принцип собственности и семейных прав? Исключены были военные, которые были отправлены в дисциплинарные батальоны! Исключены банкроты! Исключены поселяне, совершившие аграрные правонарушения, часто ничтожные! Исключены нарушивший супружескую верность и соучастник этого нарушения. Очищали, очищали и очищали. Чуть не весь уголовный кодекс вошел в этот закон. Наконец, большинство Собрания остановилось, утомленное преследованием.

Закон был принят 31-го мая 433 голосами. Он сводил на нет великое политическое завоевание 24 февраля. Когда сделали подсчет, то увидали, что число исключенных было слишком велико. Доклад президента в 1851 году определяет его в три миллиона избирателей *), из которых две трети были сельские жители. Допустим, что он несколько преувеличивает. Но даже Гизо полагал, что зашли слишком далеко, а Одилон Барро выражал беспокойство, достаточно основательное. Такое злоупотребление властью сделало разрыв между народом и Собранием совершенно неизбежным. Этот буржуазный переворот послужил для принца-президента уроком и пробудил в нем надежды. Он научил его презрению к конституции, если ему еще нужно было этому учиться. Он давал ему в руки превосходное средство, которым он мог воспользоваться в тот день, когда он захотел бы выступить против большинства и приобрести себе популярность. Правительство подписало себе смертный приговор во время прений. Друзья принца старались не скомпрометировать себя участием в этих мелочных происках. Сам он держался с осторожностью, которая наводила на размышление.—Одна из его приятельниц, г-жа Корню, сказала ему по этому поводу: «Я не могу поверить, чтобы вы, сын всеобщего избирательного права, защищали ограниченное избирательное право».—На это он

*) Официальные таблицы констатируют, что 15 марта 1849 г. число занесенных в списки избирателей было 9.618.057, а после закона 31 мая оно спустилось до 6.809.281.

ответил: «Вы тут ничего не понимаете. Я готовлю гибель Собранию»—«Вы погибнете вместе с ним»,—возразила собеседница.—«Вовсе нет. Когда Собрание повиснет над пропастью, я перережу веревку».—Эти слова, может быть, выдуманы позднее, но они правдоподобны и во всяком случае точно рисуют тактику, которой вскоре стал держаться президент.

Этим законом, однако, не исчерпалось реакционное неистовство Собрания. 6 июня оно приняло другой закон, которым были продолжены на год меры, направленные против клубов; эти же меры были распространены и на предвыборные собрания, «которые будут отличаться характером, угрожающим общественной безопасности». Помешать избирателям совещаться было недостаточно, нужно было не допустить их собраться с мыслями. Начались гонения на печать. Кроме того, что залог был снова восстановлен, стали требовать, чтобы все статьи политического, философского и религиозного характера подписаны были авторами. Газету, выразительницу партийных взглядов, анонимный орган коллективных интересов, превращали таким образом в орудие личного тщеславия и честолюбия и отдавали писателя во власть правительства. Ее авторитет, что бы ни думала левая, голосовавшая за это постановление, значительно ослаб. Жизненность ее также пострадала не только из-за необходимости внесения залога, но и вследствие того, что всякий раз, когда после возбуждения преследования появлялась новая инкриминируемая статья, газета обязана была уплатить в течение трех дней половину максимума полагающегося штрафа. Затем идет еще более тяжелая повинность, а именно: штемпельный сбор взыскивался со всякого периодического издания, имеющего меньше десяти листов, даже, если оно приходило из-за границы; таким образом наносили удар журналам и брошюрам, выпускаемым изгнанниками. Почтовые расходы были увеличены для газет, отправляемых всяким другим лицам, кроме издателя; таким путем думали сделать более затруднительной для частных лиц пересылку в деревню прочитанных газет. На романы-фельетоны был наложен дополнительный штемпельный сбор. Чему был обязан своим избранием в департаменте Сены Евгений Сю? Это было делом демократического листка в одно су и пропагандистского романа. Цифры с поразительной ясностью показывают внезапный упадок печати. В 1849 году количество газет и печатных произведений, отправленных по почте, равнялось 146.528.000, и доход, полученный почтой за доставку их, достигал 4.300.000 франков. В 1851 году и та и другая цифры были приблизительно в 4 раза меньше (33.968.000 и 1.000.000).

Независимая мысль, задушенная таким образом в газете, могла бы, пожалуй, возродиться в театре. Но и им стали пользоваться для разоблачения социализма. Позволили поставить «*Эрострата*», основывающего народный банк, где не церемонились с деньгами наивных лидей, «*Мечтателя*», снабженного длинным хвостом, с глазом на конце, и нужно было быть слепым, чтобы не узнать в этих лицах Прудона и Консидерана. В театре «*Водевиль*» можно было слышать, вместе с куплетами в честь Луи Наполеона, следующий политический афоризм, который, по меньшей мере, был излишним:

Можно погубить отечество
Умеренностью *).

Леон Фошэ вскоре назначил почетную премию за пьесы, защищающие семью и собственность, и запретил «*Меркаде*» и «*Даму с камелиями*»; но пока что публика аплодировала красным рубашкам гарибальдийцев в драме, которая представляла в картинах римскую экспедицию, и ей, казалсо, нравились революционные тирады, от которых честный Понсар не мог или не хотел очистить свою «*Шарлотту Корде*». Далее Ламартин избрал в свои герои *Туссена Лувертюра*, возмутившегося раба, разбившего свои цепи. Этого нельзя было допустить. Цензура была восстановлена (30 июля 1850 г.).

На случай, если бы республиканцы вздумали пошевелиться, Собрание усилило наказания, которые должны были подавить всякую попытку к возмущению (закон 8 июня 1850 г.). Оно назначило ссылку и заключение во всех тех случаях, когда смертная казнь была отменена. Не делая различия между преступлением обще-уголовного права и «наиболее неопределенным из всех проступков,—проступком политическим, бесчалостное к людям, которые скорее были побежденными, чем преступниками,

*) On peut perdre la patrie
Par la moderation.

оно прибавило заключение в крепость к ссылке на Маркизовы острова, этот затерявшийся в океане уголок. «Вы хотите,—сказал Виктор Гюго.—совершить такое неслыханное дело, какого еще не совершило ни одно законодательство, прибавить к мукам изгнания мучения плена, увеличить суровость жестокостью».— Это, прибавляли ораторы левой, медленная, безвестная смерть в 4000 милях от родной земли; смерть, осложненная мучениями в тюрьме, которая станет могилой, и, что еще хуже, смерть замаскированная, сухая гильотина. К этому прибавили еще одну утонченную жестокость. Руэр не желал, чтобы жене и детям сосланных предоставили право следовать за ними; это должно было быть только милостью, в которой правительство вольно отказать, охранял семью от «неразумной самоотверженности». Барош желал бы, чтобы закон имел обратную силу, чтобы на основании его можно было принять новые суровые меры против июньских повстанцев. Собрание не решилось заходить так далеко: но тем не менее магистратура впоследствии применила этот закон к Жонту и его друзьям, осужденным в Лионе за заговор, предшествовавший обнародованию закона.

Демократы и социалисты вынуждены были протестовать против тисков, в которых сдавили свободу. Но большинство Собрания не было встревожено этим. Оно подкопало основу республики, отвергло в целом республиканский девиз; ему ничего больше не оставалось, как только разрушить самую республику. Монталамбер назвал ее «утлым челном». Незадолго пред тем один министр говорил о революции 24 февраля, как о «катострофе». Что оставалось от режима, введенного в этот день? Немножко больше, чем название: пустая форма. Логика требовала, чтобы теперь принялись и за эту форму.

«Республика,—сказал Тьер,—это почва, на которой мы меньше всего расходимся». И это было верно, в том смысле, что три фракции партии порядка могли при этом режиме совместно заправлять делами, я не говорю, Франции, но класса капиталистов. Но с той минуты, как три группы захотели пошатнуть эту временную почву соглашения, конфликт между ними стал неизбежным. Союзники тотчас стали антагонистами».

Велись переговоры, относительно того, чтобы покончить с республикой совместно и к общей выгоде. Но неуверенность в том, что будет завтра, или скорее уверенность, что придется оспаривать друг у друга власть, удержала покушение трех вероятных наследников умирающей республики. Дело шло, стало быть, о том, кто опередит или обманет другого. Вставал двоякий вопрос: у кого хватит мужества произвести эту операцию, и кто воспользуется ею? Сделают ли это путем законного смертного приговора или путем убийства? Иначе говоря: кто отвладеет республикой; легитимисты, орлеанисты, или бонапартисты? Будет ли пересмотр конституции в монархическом направлении или же совершится государственный переворот?

Жалкие и сложные интриги, которые затеваются вокруг этой проблемы, заполняют собою 1850 и 1851 годы. Они не стоят того, чтобы долго на них останавливаться; они представляют больше интереса для анекдотической истории, чем для истории социальной. Мы будем говорить о них лишь постольку, поскольку это будет необходимо для освещения фактов.

Легитимисты и орлеанисты были близки к объединению. Одни представляют крупное землевладение, другие—крупную торговлю и промышленность. Первые—старинная знать; вторые — новая знать или высшая буржуазия. Разделенные воспоминаниями о старой вражде и долгой борьбе, во время которой не было недостатка ни в кровавых эпизодах, ни в изменах, они сближаются для защиты капитализма, и так как их интересы хотя и различны, но не противоположны, они пытаются устроить между собою слияние. Церковь руководит этим примирением, а Монталамбер указывает им на опасность, которой они подвергаются, когда ссорятся на глазах нарождающейся демократии.

Такой союз, прикрывающийся принципом власти, естественно группируется вокруг тех, которые в наиболее чистом виде представляют этот принцип. Младшая ветвь должна склониться перед старшей. Законным королем по древнему праву является Генрих V Бурбонский, граф Шамбор, герцог Бордосский. Случаю угодно было, чтобы у него не было детей. Генрих V, восстановленный на престоле своих предков, мог, следовательно, назначить преемником своей короны внука Луи-Филиппа, графа Парижского, еще ребенка, который, подобно графу Шамбору, начал свою карьеру изгнанием. Король благочестив до набожности; а ребенок как раз только что принял первое причастие с боль-

шой церемонией, и роялистские гравюры озаботились возвестить всему миру это торжественное вступление в лоно католицизма, совершенное династией, некогда вольтерианской. Существование Луи-Филиппа, «узурпатора 1830 г.», могло помешать забыть прежнюю злобу; но он умирает в Клермоне 26 августа 1850 г., и обе ветви королевской фамилии обмениваются любезностями.

Теперь казалось, ничто в роялистском мире не препятствует реставрации, и Генрих V, прибывший из Фросдорфа, своей обычной *резиденции*, в Висбаден, принимает там французскую депутацию, в которой братаются дворяне, попы, несколько купцов, вандейские крестьяне, даже парижские рабочие и тридцать шесть народных представителей. Но очень скоро становится ясным, что принципы и традиции в известные моменты более сильны, чем честолюбие и интересы. В тот момент, когда *белые*, совершенная противоположность *красным*, кажется, готовы торжествовать, соединившись с *трехцветными* монархистами, внезапно опять выступает сложный вопрос, разделявший Орлеанов и Бурбонов. Суверенитет народа или суверенитет короля? Народное и выборное право или право божественное, принадлежащее одной фамилии, избранной господом? Орлеаны, глава которых титуловался королем французов милостью божией, согласились на совмещение двух, повидимому, несовместимых принципов (божественное происхождение и народное избрание) и основали на этом свое благополучие. Их сторонники держались этой незаконнорожденной системы, которая казалась им неизбежной уступкой современному либерализму. Даже часть легитимистов, с Рошжакленом во главе, отстаивала обращение к народу, желала опять окунуть королевскую власть в живительном потоке воли народной. Но тот, чье слово являлось законом, глава французского дома, не желал отказаться от того, что составляло смысл и основу его притязаний. Он осуждал доктрину, которая, желая поставить его наследственную власть в зависимость от народной санкции, ставила ее в подчиненное положение, умаляла ее и очеловечивала. Для большей верности он поручил только пяти лицам, им указанным, говорить от его имени. Политики партии, Фаллу, Ватимесниль, пришли в уныние. «Это наше Ватерлоо!» воскликнул один из них. И, действительно, все было разбито; подготовленное соглашение оказалось невозможным. Был ли этот инцидент второстепенным и случайным? Нет, конечно, это логический конец длинного прошлого, а также любопытный пример миражей, родящихся в изгнании: граф Шамбор думал, что сто тысяч человек готовы подняться, чтобы восстановить его на троне предков! Напрасно: ловкие люди старались добиться мнимого примирения, заявляя, что принц не стремится быть абсолютным монархом, и заставляли его написать письмо, в котором он соглашался на «равенство пред законом, свободу совести и свободный доступ для всех к общественным должностям»; эти свободы не могли быть ничем иным, как милостивым даром, предоставленным своим подданным принцем, который не имеет и не может иметь с ними какой-либо договорной связи. Кто-то видел в это время в шкафу во Фросдорфе мундир, который заказал себе граф Шамбор для въезда в добрый город Париж; к нему была приколота трехцветная кокарда; это был максимум уступок, какие он считал возможными.

Прения, имевшие место в Собрании, вполне обнаружили те неизгладимые черты, которые, несмотря ни на что, сохраняла так называемая законная королевская власть. Один депутат, по имени Кретон, предложил отмену законов об изгнании, направленных против членов царствовавших во Франции фамилий; Орлеаны могли согласиться вступить во Францию, как простые граждане; они просили только права заняться своим ремеслом претендентов; они добились, прибегнув даже к скромным ходатайствам перед республикой, уплаты вдовьей части, обещанной некогда королеве Марии-Амалии, и снятия секвестра, наложенного на имущества их фамилии; но граф Шамбор, закутанный в складки белого знамени, как в саван, заключенный, как в каменный футляр, в свое звание наследника Людовика XVI и представителя божественного права, не мог вернуться из ссылки иначе, как государем, и легитимисты голосовали за отсрочку, принятия предложения Кретона.

Таким образом в лагере *фузионистов* произошло разложение. Начались резкие упреки между орлеанистами и легитимистами. Рассчитывали на содействие Шангарнье, чтобы задушить «распутницу», как называли республику. Он бы охотно стал Монком новой реставрации. Но нужно было знать, в чью

пользу ее совершить. Он держал себя осторожно и предпочитал играть роль сфинкса.

В то время как роялисты спорили о шкуре не убитого еще медведя, третий охотник, бонапартистская партия, предъявил свое право на зверя. Она имела много преимуществ перед своими конкурентами. *Белые* вызывали опасения как у буржуазии, так и у сельского населения; орлеанисты были слишком разбиты своим недавним падением, чтобы открыто стремиться к власти, с высоты которой они упали так быстро и таким жестоким образом; что же касается цезаризма, его старые грехи покрывала мантия славы, кроме того, он являлся естественным концом совершавшейся эволюции.

У цезаристской партии сверх того было то преимущество, что она имела главу, который жил во Франции, который был предназначен к своей роли именем, семейными традициями, собственным прошлым, который, наконец, больше чем наполовину, уже обладал властью. Консервативное большинство вначале думало найти в Луи-Наполеоне Бонапарте послушное орудие. Он представлялся совершенно скромным, почти ничтожным. Более привыкший писать, чем говорить, молчаливый по темпераменту, а также, без сомнения, по привычке, приобретенной в заключении и изгнании, этот флегматичный и бледный человек, который, быть может, был полу-голландского происхождения, проводил свое время на совещаниях министров в делании бумажных петушков. Шангарнье окрестил его «меланхолическим попугаем». Но за его узким лбом, за его *тусклыми и темными глазами* скрывалась самолюбивая мысль и упорная воля.

Он был глубоко поглощен своей бонапартистской миссией. Он смотрел на себя, как на человека, избранного Провидением. У него была мистическая вера в свою звезду. Племянник Цезаря, он верил, что предназначен сам в Цезари и с спокойствием фаталиста отдавался на волю движения, которое влекло его к высокому жребию. Соединяя в себе идеи, заимствованные у Наполеона I, с смутными социалистическими чаяниями, в одно и то же время слишком земными и слишком химеричными, он ненавидел и презирал, как и его дядя, болтливые собрания и мечтал о цезаристской демократии, где вместо шума речей и агитации за свободу царило бы молчание буржуазии, по горло занятой делами, и народа, пресыщенного благополучием. Стремясь к этой цели, он был чужд всякой щепетильности; у него было полное отсутствие морализирования в области политики. Малощепетливый в выборе своих друзей, своих любовниц, своих способов действия, привлекая людей своим легким характером, своими простыми манерами, благодарностью, за оказанные услуги, он был обременен долгами, которые наделал во время своей бродячей жизни, и Тюльери казалось ему хорошим убежищем, спасающим от заключения в Клиши. Его приближенные, подобно ему и еще более, чем он, преследуемые, запятнанные, доведенные до крайности, видели, свое спасение в том, что бы Франция сделалась его добычей. Но Луи-Бонапарт был человеком, долго вынашивающим свои намерения, чтобы потом сразу сделать смелую попытку. Он по существу своему отличался любовью к заговорам, к безрассудным поступкам, смелым ударам, что он и доказал двумя отчаянными выходками—в Страсбурге и Булони и насколько он казался колеблющимся, нерешительным, пока он находился в периоде подготовительном, настолько он был хладнокровен и готов итти до конца, когда дело доходило до выполнения.

Немногие тогда подозревали в Луи Бонапарте эти скрытые качества. Те, которые наблюдали его близко с проницательностью, сопутствующей иногда ненависти, могли заметить, последовательный план в выборе, который он делал среди своих сотрудников, сначала внутри парламента, затем вне парламента, наконец, против парламента. Не следует однако чрезмерно преувеличивать ловкость, а, следовательно, и плутни этой личности. Обстоятельства и добрая половина народа содействовали ему. Его искусство, довольно грубое, заключалось, главным образом, в умении угождать различным партиям, лавировать между ними, обольщая их обещаниями до той минуты, пока он себя не почувствует достаточно сильным, чтобы подчинить их себе и совершить новое 18-е Брюмера, к чему он стремился со времени своего избрания в президенты. Этому характеру многоликого Протея соответствовало разнообразие титулов, которые давали ему присутствовавшие на вечерах в Елисейском дворце. Его называли принцем, высочеством, господином, монсеньером, гражданином. И он, действительно, был всем этим, сообразно с временем и лицами. Выдвигаемый людьми самых различных интересов, он

в своих многочисленных поездках по провинции, на смотрах, которые он делал, в официальных церемониях, на которых он парадировал, старался дать совершенно противоположным группам населения основания верить в него и надеяться на него.

Сначала он заискивает у духовенства. Прибыв в какой-нибудь город, он часто начинает с торжественного посещения собора. Вот что ему сказал епископ из Бовэ: «Ваш первый шаг к богу, которому вы приходите поклоняться в его храм; ваше первое слово, это—слово молитвы; ваше первое действие, это—дань, отдаваемая вами древнему и священному закону о празднике воскресения». В армии он вызывает воспоминания императорской эпопеи, после каждого смотра он приказывает раздавать шампанское и сигары офицерам, угощение и деньги солдатам. Он увеличивает им жалованье. Он дает понять всем военным, что желает отвести им первое место в обществе. Он их заманивает лестью и более существенными милостями. Крупной буржуазии, уже заранее к нему приверженной, он обещает порядок на улицах города и в умах граждан, танец миллионов, благоустройство городов, земельные спекуляции, железнодорожные концессии, которые дают состояния. Мелкая буржуазия отчасти сочувствует республике; ее обуздывают страхом. Посредственный литератор, по имени Ромье, известный, главным образом, как кутила и мистификатор, написал две брошюры, дополняющие одна другую. Одна была озаглавлена: «*Lère de Césars*» (*Эра Цезарей*). В ней предсказывается золотой век для Франции, если она согласится на вторую империю. Другая называлась: «*Le spectre rouge de 1852*» (*Красный призрак 1852 г.*). Это была написанная в апокалиптическом стиле картина ужасов, жестокостей, которые кровопийцы не преминут совершить, как только они захватят в свои руки власть. Одна пьеса, которую ставили в 1851 году, носила такое значительное название: «*Les effrayés*» (*Устрашенные*). Но, заискивая у зажиточных классов, принц остерегался оскорбить неразумным пренебрежением «презренную толпу», чем не стеснялись легитимисты и орлеанисты. Он выставлял себя другом народа. В деревне он вознаграждал какого-нибудь старого слугу на ферме или давал каждому учителю возможность купить два гектара земли, чтобы возделывать их вместе с учениками, и пользовался случаем проповедывать возвращение к сельской жизни.

В городах, где его иногда дурно принимали, как это случалось в Страсбурге и Безансоне, он посещал богадельни, где женщины приветствовали его криками: «Да здравствует наш возлюбленный Наполеон!». Он разговаривал с больными, проникал на заводы, выискивал какую-нибудь блузу, чтобы приколоть к ней почетный крест. В Шони его встретили криками: «Да здравствует отец рабочих!». Его встречали с триумфом в Руане, Бордо, и его всегдашний приверженец, Гранье де Кассаньяк, рассказывает о назидательном диалоге между принцем и рабочим, который встретил его на прогулке: «Постой-ка на минутку,—сказал обойщик,—и позволь мне сказать тебе слово. Говорят, что там, в палате, тебя не желают. Ладно! Но мы-то тебя желаем. Мы знаем, что ты любишь народ и рабочего. Пусть они не забывают, что мы тебя избрали, и что по твоему первому знаку наши руки и наши груди к твоим услугам!».

Кроме обманутых им и фанатических приверженцев, наполеоновский культ имел еще своих платных помощников. Настоящие организованные банды, вроде Общества 10-го декабря, Общества 15-го августа, состоявшие из той богемы деклассированных, которая в больших городах плавает, как пена, на поверхности народных масс, сопровождали его, горланя, нападая на встречных и поперечных, наводняя улицы своим присутствием. С криками: «Да здравствует Наполеон!», иногда: «Да здравствует император!», избивали республиканцев, оглашали улицы руганью. С них именно Домье списал, под видом Ратапулля, воинствующего бонапартиста, разбивающего окно и избивающего прохожих, в длинном сюртуке, с остроконечной бородкой, в шляпе набекрень и с тяжелой дубинкой в руке.

Что могли противопоставить республиканцы стольким врагам, угрожавшим республике? Они делились в это время на два различных, если не противоположных лагеря. В один входили, главным образом, изгнанники и заключенные, в другой—монтаньяры, оставшиеся в Собрании.

Первые были разбросаны. Прудон находился в Бельгии, Луи-Блан и Ледрю-Ролен в Англии, другие в Швейцарии. Группы осужденных в Дуллане, Мон-Сен-Мишеле, Бель-Иле, в Алжире. Эта тесная, изолированная среда, состоявшая из мечтавших о мести побежденных, являлась поневоле очагом бурно кипевших и

не имевших исхода политических страстей. Интерес публики к заключенным вызывался то перемещением их из одного пункта в другой, то какой-нибудь попыткой к бегству, то каким-нибудь бунтом, влекшим за собою судебный процесс. В Нанте партия ссыльных, отправляясь в Бель-Иль, проходила 16-го октября с пением марсельезы и с криками: «Да здравствует республика!». Толпа, собравшаяся на их пути, с своей стороны кричала: «Да здравствуют повстанцы!» и бросала цветы в Луару. В Брессюире пятеро помилованных в июне проходили глубокой ночью, конвоируемые жандармерией, рабочие нашли способ приблизиться к ним, передать им собранные сорок франков и проводить на расстоянии километра за город повозку с криками: «Да здравствует демократическая и социальная республика!». В Шербурге освобожденные говорили солдатам, сопровождавшим их: «Мы сражались за дело, которое не погибло, и за которое мы еще будем сражаться!». В Бель-Иле, где скопились осужденные высшим судом и повстанцы Лиона, Лиможа, Марселя, Парижа, из которых многие были арестованы без суда, заключенные, находясь под угрозой перекрестного огня двух артиллерийских батарей и под охраной гарнизона в..1100 солдат и 40 жандармов, тем не менее создают себе общественную жизнь; поют хором республиканские песни; устраивают своего рода площади с трибуной; основывают социалистическую газету, которую распространяют среди своей стражи; чествуют день 24-го февраля банкетом, на котором развевается красное знамя; после казни убийц генерала Бреа они устраивают в честь их громадный катафалк и клянутся отомстить за них; придумывают орден «пушечного ядра», знаки которого состоят из железной цепочки и свинцового шарика, которые носят в петлице и которые напоминают об отправке товарищей на каторгу. Время от времени они протестуют против такой дисциплины и плохой пищи, ругают или совращают своих стражников; называют их «папскими солдатами» или склоняют их на свою сторону. В один прекрасный день они ломают заборы, разбивают одну из камер и сжигают обломки: приходится пустить в дело штыки, чтобы усмирить этот маленький бунт; после этого зачинщиков предают суду присяжных в Лориане; их защищают лучшие адвокаты из демократической партии, судьи их оправдывают, но затем, по приказу министра, их высылают в Алжир. И вот по Франции начали разъезжать арестантские кареты, развозившие в отдаленные места заключения таинственных пассажиров. Среди оставшихся между тем продолжались коммунистические опыты, читались курсы по научным вопросам и по социальной экономии, давались драматические представления; велись споры между бланкистами и сторонниками Барбеса, между *аристократами* и *чистыми или твердыми;* объявлялся бойкот какому-нибудь заключенному, которого считали шпионом, как, например, Гюберу; временами против заключенных принимались суровые меры, и тогда стреляли в тех, кто показывался в окнах камер, перехватывали письма, крали бумаги, заключали в карцер упрямых; затем наступали периоды затишья, когда заключенные держали себя смирно и находили удовольствие предаваться иллюзиям свободы, устроив посреди внутреннего своего двора холмик, откуда видно было море. Отсюда летели во все стороны полные гнева страницы, которые дышали дикой энергией этих душ, упорных в своих убеждениях, как и в своей жажде мести. Эти люди, отгороженные от живого мира, продолжали сражаться, подобно теням умерших героев в изображении древней мифологии. Бланки из своей камеры продолжал нападать на тех, которых он в Париже тщетно призывал итти вперед.

Можно проследить отражение разногласий, существовавших во Франции среди французских эмигрантов в Англии, которых англичане называли «длинными бородами». Лондон был в то время гостеприимным городом, где находили себе приют наиболее известные деятели континентальной революции, потерпевшие крушение. Они тут образовали своего рода революционное правительство, настоящий европейский комитет, который стремился соединить в своих руках все нити громадного заговора, охватывающего все нации старого мира. Но все еще стоял жгучий вопрос: будет ли революция политической или в то же время и социальной? В этом пункте Луи Блан был совершенно несогласен с Мадзини. Затем происходила борьба социалистов-государственников, как Луи-Блан, и нео-якобинцев, как Ледрю-Ролен и Делеклюз, с теми, кто подобно Прудону и Герцену, хотели свести на-нет правительство, велась борьба между теми, кто верил в возможность сотрудничества враждебных классов, как Луи Блан и Кон-

сидеран, и теми, кто, подобно Марксу или Бланки, стремились организовать пролетариат в независимую и самостоятельно действующую партию. В Лондоне Бартелеми и Доманже, сторонники смелых предприятий, даже покушений на отдельных лиц, всеми силами противодействовали тем, кого можно было назвать правительственными революционерами. Однако, несмотря на эти раздоры, общая надежда сближала изгнанников,—вера в торжество народа и республики, надежда на революцию, которая в воображении изгнанников казалась им близкой. «*Le Nouveau Monde* (*Новый мир*), журнал Луи Блана, подобно «*Le Proscrit*» (*Изгнанник*) и (*Voix du proscrit*» (*Голос изгнанника*), бывшим последовательно органами Ледрю-Ролена, били в набат против реакции, призывая к отпору силой. Кроме Прудона, который один только раз высказался за революционное действие, от этой заграничной Франции шли призывы к восстанию против готовившегося государственного переворота. При помощи писем, которые переправлялись через пролив, пытались организовать в каждом департаменте ядро республиканцев, готовых к восстанию.

Незначительная часть Горы (24 против 84) была на стороне этой энергичной и опасной политики. Большинство же, которое ясно видело всеобщий упадок мужества и которое привыкло в парламенте к мирным средствам борьбы, заявило себя сторонником легального сопротивления. Даже когда всеобщее избирательное право было изуродовано, оно не отважилось на уличную борьбу, оно даже не прибегло к массовому отказу от звания депутатов; и хотя более нетерпеливые его бранили и обвиняли в трусости, оно крепко держалось за эту выжидательную тактику. Прудон в одной из своих статей с присущей одному ему ядовитостью называл *хвастунами* кабинетных революционеров, которые с другого берега Ламанша, находясь в полной безопасности, проповедывали обращение к насильственным действиям. Он советывал новой демократическо-социалистической партии отказаться от традиции переворотов и окопаться в законности, как в крепости. Был принят лозунг: ждать терпеливо выборов 1852 года, когда Франции предстояло почти одновременно переизбирать и Собрание, и президента республики. Среди кандидатур называли кандидатуру Мартина Надо, рабочего-каменщика, следовательно, представителя народа. До того времени следует воздерживаться от участия в голосованиях; тогда же всеобщее голосование снова вступит в свои права. Гора, в своем публичном отчете, прибавила, что все должно совершиться «без резких переходов, без безпорядков», но она не указывала, как именно. Существовало мнение, довольно противоречивое, что 1852 год должен явиться логическим и мирным завершением революции; 1852 год уже заранее прославлялся народным певцом Пьером Дюпоном, как год освобождения:

Не пройдет и двух лет,
Как запоет гальский петух *).

Таким образом демократическо-социалистическая партия делала усилия, чтобы приспособиться к условиям, созданным всеобщим избирательным правом. Она стала истинной партией порядка, она боялась отпугнуть от себя публику и поэтому самому она стала более грозной, чем когда бы то ни было. 11-го февраля 1851 года, указывая на раскол, происшедший в реакционном блоке, Монталамбер сказал: «То, что из этого произойдет—будет социализмом, и социализмом не бунтарским, насильственным, жестоким, следовательно, эфемерным и легкоодолимым; нет, это будет социализм легальный, социализм, выступивший в избирательной борьбе, т.-е. зло непоправимое, против которого я, по крайней мере, не вижу никаких человеческих средств».

И, действительно, этот мирный и смягченный социализм стал приобретать неожиданных сторонников. Ламартин в Собрании различал три рода социализма: нивелирующий, утопический и третий, который являлся стремлением к социальному прогрессу; осуждая первые два, он признавал законность последнего. Жюль Фавр в свою очередь сказал (24 мая 1850 года): «Социализм, это—не что иное, как появление деятельного человеческого духа; это—рационализм; это—проявление свободы и независимости человеческого разума; это вечный протест мысли против действительности; это—сильное и страстное заявление о своих правах, назовите его как хотите, но которое может стать опасным для общества только в том случае, если станут мешать его проявлению». Как это и естественно, социализм приобрел друзей

*) C'est dans deux ans, deux ans à peine,
Que le coq gaulois chantera.

в буржуазном мире гораздо больше своей моральной стороной, чем экономическим своим учением. Очень неопределенный в своих планах экономических переворотов он являлся решительно анти-клерикальным, и мыслители буржуазии гордо выставляли его против старого католицизма, как его врага и наследника. Таков смысл смелой статьи, написанной одним молодым профессором, Эмилем Дешанелем, в «*Liberté de penser*» (*Свободная мысль*), под заглавием «*Католицизм и социализм*». В ней он требует права на имя социалиста, не только для себя, но и для всех республиканцев, для всех людей сердца, и заявляет, что социализм, поносимый и угнетаемый, является в XIX веке тем, чем был протестантизм в XVI и философия в XVIII веке. Позитивист Литтре со своей стороны писал: «Проникновение социализма в народные массы, это—наиболее важное и наиболее полезное дело, которое только совершилось на Западе с 1879 г.», он смеялся над теми, кто думает затормозить его, воздвигая на его пути препятствия. Кинэ определял его, как осуществление всемирного христианства освящением труда. Ренувье видел в нем доктрину, или, вернее, совокупность доктрин, общий дух которых состоит в признании за государством более широких обязанностей и прав, чем в прошлом, и в укреплении уз солидарности, которые соединяют всех членов республики. Ренан в «Будущем науки», которое он написал в то время, но хранил благоразумно в портфеле в продолжение сорока лет, связывал судьбу новых теорий с научным развитием. То же говорил и доктор Гепен из Нанта*); социализм в его глазах является «ближайшим будущим человечества, наукой, которая должна его повести к этому будущему». Ему принадлежит следующее прекрасное выражение: «Нужно, чтобы наука стала достоянием народа». Он предвидел прорытие Суэцкого и Панамского каналов и писал: «В скором времени паровое движение заменит всякое иное передвижение». Луи Ульбах изобразил рабочего-прядильщика из Оба в лице Жака Страдающего, простой вариации Жака Добряка, и в ряде писем, адресованных к нему, он высмеивал тартюфов добродетели и благочестия и издевался над маленькими реформами, которые приняло Законодательное Собрание под давлением католиков; он

*) Социализм, разъясненный детям народа. Париж. 1851.

предсказывал удивление потомства, когда оно будет читать, что к средине XIX века часть французской нации была одержима бешенством и на нее нужно было надеть намордник, потому что под видом социализма она хотела грабить, убивать, насытиться кровью. Он заимствовал у Луи Блана следующее определение политики: «Искусство вести людей к счастью с помощью справедливости», вместе с Луи Бонапартом до 1848 года, приходил к заключению, что необходимо добиться того, чтобы в один прекрасный день можно было сказать: «Торжество демократических идей уничтожило пауперизм». Напрасно дали отставку Дешанелю, отрешили от должности Мишле, подвергали преследованиям Ульбаха. Эта пропаганда имела в Париже и провинции успех, которым свидетельствовали муниципальные выборы и отчеты генеральных прокуроров. Таким образом для людей порядка республиканец стал тогда почти синонимом социалиста.

Нельзя сказать, чтобы политика временного воздержания от решительных действий господствовала во всех пунктах территории. Во многих местах тайные общества, т.-е. неразрешенные политические общества, имели программу, которая не исключала мысли о насилии. В Париже поочередно подвергались преследованию *Немизида*, *Революционный Трибунал*, *Комитет сопротивления*. В Лионе, Безье, Ажоне, Оране открыли заговоры, которые наделали много шуму, но которые перед судом присяжных оказались простыми попытками союзов для защиты республики. Гент и некоторые другие тем не менее были присуждены к суровым наказаниям. В департаментах эти попытки республиканских союзов назывались «*Новая Гора*», «*Союз коммун*» и т. д. Там и сям снова появились *карбонарии* и тайные собрания в лесах; *свободные люди* замечены были в Брессе, *добрые кузены*— в Дубе, в других местах—*невидимые* и *дети Леона*. Во многих селах на юге существовали *артели*, куда принимали только с посвящением в таинства, с присягой, условным паролем и таинственными знаками. Обычным названием республики для посвященных было Марианна. Право на труд и всеобщее избирательное право постоянно повторялись в числе их требований. Донесения прокуроров сообщали о некоторых тайных пороховых складах и о сношениях с революционерами, жившими за границей, главным образом, в Лондоне, Щвецарии и Германии

Но известно, что тогдашний официальный мир, по очень легко понятным причинам, любил преувеличивать те немногие угрожающие признаки, которые таили в себе эти маленькие, вынужденные скрываться, группы. Нужно было оправдать тот искусный и неумолимый гнет, который тяготел над Францией и совершался при помощи четырех орудий, игравших роль нагнетательных насосов: духовенства, магистратуры, полиции, армии. Первое, главным образом, пеклось о «нравственном порядке»; оно подавляло заблуждения мысли. Магистратура организовала охоту за республиканцами; прокурорский надзор закрыл все ложи и кружки, заподозренные в передовом образе мышления; он хотел лишить муниципалитеты права разрешать общественные собрания, а суд присяжных—права судить за нарушения закона, допущенные на этих собраниях; ту или другую ассоциацию рабочих или студентов распускали потому, что у нее, «наверное, была политическая цель»; запрещали благотворительные общества, музыкальные общества, потому что они могли принимать аналогичный характер. *Заниматься политикой* стало нового рода преступлением, преследуемым, наказуемым во имя общественного спокойствия. Приободренная полиция приняла активное участие в том, чтобы задушить гражданскую жизнь. По всей Франции происходили обыски, произвольные аресты, жертвами иногда бывали и депутаты, которых большинство Собрания встречало зубоскальством, когда они протестовали против этого. Законодательный бюллетень сохранил для нас свидетельства этой полицейской деятельности. Он констатировал за период времени 1849—1851 г.г. учреждение и расширение множества комиссариатов. Префект полиции Карлье говорил с гордостью: «Когда три человека беседуют вместе, то один из них, по крайней мере, принадлежит мне». Но роль военных начальников была еще значительнее. Тому, кто хочет иметь об этом представление, нужно только почитать Журнал маршала де-Кастелла. Он был истинным подготовителем государственного переворота в провинции. Он задушил республику сначала на западе, потом в Лионе, и на востоке. Его деятельность выражалась в двоякой форме. Прежде всего он старался утомить, сделать покорными войска, приучить их к пассивному повиновению; с этой целью он мучил полки ложными тревогами, запрещал офицерам ходить в штатском платье и носить бороду, восстановил все, что может их отделить от штатских; возводил клевету на демократов перед солдатами, в конфиденциальных инструкциях предписывал им стрелять в женщин и детей, составляющих обыкновенно авангард при всяком мятежном выступлении; ввел для них чтение проповедей и курсов морали, заключал в тюрьму или ссылку в Африку тех, кто обнаруживал симпатии к «красным». Затем он старался объединить под защитой военной власти духовенство, дворянство, высшую буржуазию и, что является обратной стороной того же приема, терроризовать республиканцев. Чтобы поправиться зажиточным людям, которые «смотрели на осадное положение, как на благодеяние», он ходил на богослужения, присутствовал на церемониях, приказал срубить деревья свободы, снова принял титул графа; для устрашения беспокойных людей он приказывал бить граждан, осмелившихся кричать: «Да здравствует республика!» и наезжал на них верхом; он заставил удалить из арсенала рабочего, виновного в этих возгласах; он хотел запретить публичные республиканские похороны; за невозможностью этого он ограничил 300-ми число присутствующих на них и приказывал разгонять похоронное шествие в том случае, если число это будет превзойдено,—постановление, за которое коммерческий клуб в Лионе поспешил его приветствовать.

Жажда покоя в то время была так велика, что население подчинялось всем этим фантазиям. Это дает возможность правильно оценить опасения, вызванные наступающим сроком выборов 1852 года. В течение 1851 года было много разговоров о «демагогическом движении», от которого необходимо было спасти общество. Это воображаемое движение было только предлогом, что доказывается даже прокурорскими донесениями. Хотя они по своей профессии и из желания повышения склонны были преувеличивать малейшие беспорядки, большинство из них заявляло, что в их округе спокойствие не нарушено, и ему ничто не угрожает. Действительно, все средства сопротивления были искусно разбиты в руках республиканцев. «Что можно сделать,—говорил с гордостью Кастеллан,—в городе, где двенадцать человек не могут собраться, не рискуя попасть в тюрьму?». Народ на всем протяжении Франции был низведен до положения людской пыли, и, сравнивая эту массу, несвязанных между собой,

атомов с централизованными силами, управлявшими ею, можно было с большим еще основанием, чем Тьер в Собрании, сказать: «Империя готова!».

ГЛАВА XV.

Конец республики. Государственный переворот 2 декабря 1851 г.

В течение 1851 года много обстоятельств предвещало скорую перемену режима. Новый экономический кризис постиг Францию, коснулся Парижа, где дела уже возобновились, и провинции, где капитал еще бездействовал. Вздорожание хлеба делало жизнь более трудной. Много фабрик закрылось, масса рабочих осталась без работы и без хлеба. Промышленная паника дала себя почувствовать как на континенте, так и в Англии. Торговля, с безрассудной горячностью бросившаяся в спекуляцию, затормозилась на многие месяцы. Это затруднительное состояние, осложненное ненадежностью политического положения, благоприятствовало всякому решительному акту, который установил бы сильное и прочное правительство, каково бы оно ни было.

Оставалось только установить, в чью пользу и каким образом совершится перемена. Это стало предметом постоянного и все более обостряющегося конфликта между президентом и Собранием. Собрание действовало системой придирок, торговалось с президентом или отказывало ему в деньгах, которые ему нужны были для любовниц, для путешествий, для щедрых подкупов, обязывало его на бумаге распустить свои шайки убийц, но отступало пред всякой действительной мерой защиты, потому что оно чувствовало, что оно не популярно, потому что оно было безнадежно разделено на две фракции, подозревавшие друг друга и следившие друг за другом с ревнивым упрямством.

Принц прибегал без всякой последовательности то к вежливым протестам, то к угрожающим речам; он составлял и распускал министерства, которые хотя и менялись постоянно, но постоянно оставались одними и теми же, как рота, у которой переменили только капитана; искусной политикой балансирования он устраивался так, чтобы иметь на своей стороне то реакционную правую, то республиканскую левую. Одной из его первых забот было обезоружить Собрание. Прежде всего был скомпрометирован, высмеян и вынужден выйти в отставку комиссар, специально занятый охранением безопасности Собрания за то, что он донес о подозрительном бонапартистском заговоре. Затем взялись за Шангарнье. Он принадлежал к партии порядка. Луи Бонапарт усердно пытался привлечь его на свою сторону, предлагая ему маршальский жезл, даже шпагу коннетабля. Но Шангарнье предпочитал работать в пользу короля, может быть, во вою собственную пользу, и дал понять, что, если президент отважится на насильственные действия, он его отправит в Венсенн в тюремной карете. Он запретил возгласы: «Да здравствует Наполеон!». Он считал себя в безопасности от всяких бед, благодаря поддержке роялистского большинства. И вдруг он был отрешен от должности (10 января 1851 года); бессильное большинство допустило это, а меньшинство, которое он много, много раз оскорблял, которому он оказывал неуважение и которое высмеивал, не знало, считать ли себя удовлетворенным или недовольным. «Империя готова», воскликнул Тьер, испуганный этой властью, усилению которой он так много содействовал.

Могла ли она установиться законным путем? Статья 45 Конституции устанавливала, что президента можно переизбрать только через четырехлетний промежуток. 1852 год висел над головой Луи Бонапарта, как Дамоклов меч. Нужно было, чтобы он ушел, или конституция была пересмотрена. С 1850 года начата была кампания в пользу пересмотра. Сначала она не имела успеха. Но ее снова энергично повел Леон Фошэ, опять занявший министерский пост с 10 апреля. Все погибнет, если принц оставит президентское место. Это послужит сигналом худших катастроф. В том состоянии нервного потрясения, от которого тогда страдала Франция, этого было вполне достаточно, чтобы вызвать пожелания генеральных советов и многочисленные петиции, с которыми, по наущению агентов высшей власти, часто обращались, требуя в них помощи, мест, знаков отличия. Вопрос о пересмотре, поставленный таким образом перед страной, предстал также перед Собранием, как только это оказалось

возможным, т.-е. 28 мая 1851 года, в начале последнего года, в течение которого должна была заседать палата. Пересмотр мог быть частичный, ограничиться продлением президентской власти; он мог быть и полным; поставить на обсуждение вопрос о самой форме правительственной власти. Республиканцы вполне разумно воспротивились этой полной переделке. С ними вместе шла некоторая часть орлеанистов, находивших, что республика, снабженная монархистскими и цензовыми институтами, вполне соответствует господству класса буржуазии; они были бы очень довольны президентством Тьера, Шангарнье или принца Жуанвильского. Но сторонники «слияния», чистые легитимисты и орлеанисты, присоединившиеся к роялистам, а вместе с ними и бонапартисты и некоторые католики, в том числе и Монталамбер, хотели окончательно уничтожить дело Учредительного Собрания; и их было достаточно для того, чтобы Собрание согласилось обсуждать вопрос о полном пересмотре.

Но одно дело было заставить его согласиться на это обсуждение (для этого достаточно было большинства одного голоса), а другое дело заставить его вотировать самый пересмотр. (По конституции требовалось три четверти голосов, чтобы решение имело силу). Доклад Токвиля был составлен в пользу пересмотра, но без энтузиазма. Различные партии воспользовались открывшейся для их честолюбия ареной, чтобы каждой развернуть свое знамя. «Белые» устами де-Фалльу и де-Беррье прославляли заслуги монархии; Мишель де-Бурж и Кавеньяк противопоставляли им заслуги республики. Вне Собрания это послужило поводом для теоретиков исследовать до основания политическую проблему, и образовались идейные течения, о которых мы будем говорить позднее. Но страх создать консула и будущего императора, иметь, следовательно, по выражению Виктора Гюго, маленького Наполеона после Наполеона Великого, одержал верх. За пересмотр высказались 466 голосов против 270. Это было меньше нужной цифры; пересмотр был отвергнут (19 июля 1851 года).

Созданное таким образом положение должно было повести к революции: для притязаний президента был закрыт всякий легальных выход. Больше того, меньшинство парламента нанесло удар желанию его большинства, и что еще хуже, тому, что, казалось, было также требованием большей части нации. Государственный переворот, о котором говорили уже так давно, становился неизбежным и получил кажущийся смысл. Он был немедленно решен. Решили использовать каникулы Собрания, чтобы распустить его и обратиться к народу. 11-го августа было составлено множество декретов, долженствовавших изменить конституцию. Потом эта операция, назначенная на сентябрь, была отсрочена. Главе предприятия нужны были надежные соучастники. Ему нужно было подготовить общественное мнение, нужна была комбинация, которая позволила бы ему одновременно предстать перед буржуазией, в качестве спасителя общества, которому угрожает социализм, и перед народом в качестве друга демократии, которого Собрание заставляло принимать все стеснительные меры, мешало ему, как он выразился 1-го июня, в Дижоне с неосторожностью, быть может, рассчитанною, когда он хотел притти на помощь народным массам.

В исполнители смелого предприятия он пытался взять Кастеллана, который, однако, предпочитал оставаться в резерве в Лионе. Тогда Луи Бонапарт вызвал из Алжира генералов и полковников, привыкших, благодаря колониальной войне, презирать право и все невоенное: Канробера, Маньяна, Флери, Эспинаса и друг. Среди них он обратил внимание на ловкого карьериста, Леруа Сент-Арно, более честолюбивого, чем честного, предлагавшего свои услуги против парижан уже в феврале 1848 года. Ему доставили легкий триумф в Кабиллии, потом доверили ему командование дивизионом в Париже. Маньян, которого удерживали, пользуясь его нуждой в деньгах, назначен был главнокомандующим парижской армии. Из штатских принц находился в сношениях с Мопа, префектом департамента Верхней—Гаронны, отличавшимся тем, что он потребовал на суд многих членов Генерального совета, заподозренных, как «красные». Так как генерал-адвокат Дагильон-Пижоль отказался дать приказ об аресте, за неимением улик, то Мопа воскликнул: «Улик! Улик! Против явных врагов улики излишни. Достаточно убеждения». И так как генеральный прокурор Дюфресн требовал с своей стороны вещественных доказательств, то Мопа возразил: «Мои агенты сами доставят их в жилище заподозренных лиц». Подвергшись за такую развязность порицанию со стороны своего

министра, но утешенный Луи Бонапартом, такой человек давал всевозможные гарантии податливой совести. Другой, Морни, элегантный кутила, человек удовольствия и человек дела, вчера легитимист, завтра бонапартист, незаконорожденный сын вельможи и биржевой дворянин, внес в игру холодную смелость и развязные приемы игрока, ставящего на карту свое состояние. Морни стал тем более преданным союзником Луи Наполеона, что, будучи его сводным братом, он был вполне заинтересован в том, чтобы увидеть его господином Франции. Чтобы пополнить необходимый денежный фонд, он сделал его посредником в переговорах с французскими банкирами, подобно тому, как в свое время Персиньи—с лондонскими кредиторами.

В то время, как страсбургский и булонский авантюрист обеспечивает себя таким образом помощниками и денежными средствами, Леон Фошэ, обманутый, но не соучастник, ослепленный страхом перед социализмом, бессознательно работает в пользу империи, сживая со свету демократические общества и газеты, запрещая ношение красных поясов и галстухов, изгоняя эмигрантов, распространяя осадное положение на Шер и Ниэвр, отрешая от должности сотни мэров и их товарищей, преследуя через своих префектов тех судей, которых он находил слишком мягком. Но, чтобы привлечь к себе народные массы, Луи Наполеон приказал предпринять крупные работы, как продолжение улицы Риволи, постройку крытого рынка, отделку Лувра; самым мастерским его ходом было предложение отменить закон, изуродовавший всеобщее избирательное право. Леон Фошэ, хранивший старую злобу партии порядка, заявил, что он предпочел бы дать отрубить себе руку, чем согласиться, чтобы коснулись этого ковчега спасения. Таково было также мнение Тьера и большинства монархистов. Большинство Собрания видело эту западню, но не сумело ее избегнуть.

Велико было смятение, когда при открытии палаты 4-го ноября 1851 года президент в своем послании к Собранию оповестил, что министры уволены в отставку, и что новому министерству поручено предложить восстановление всеобщего избирательного права. Высшая буржуазия обнаружила при этом понятное беспокойство: это послужило лишним козырем в игре президента. Но население предместий и деревень было довольно. Республиканцам в Собрании оставалось только поддержать предложение, инициатива которого принадлежала принцу. Если бы реакционеры не были так упрямы в своей слепой ненависти к политическому равенству, можно было бы еще избежать обращения к силе. Борьба была потрясающая. Большинством семи голосов Собрание отказалось вернуть избирательное право тем, кого оно его лишило (14-го ноября 1851 года). Несколько дней спустя большинством одного только голоса отказано было сократить требуемое для участия в муниципальных выборах время пребывания в данном месте с 3-х лет до одного года. Это был единственный голос, который во многих случаях бывает голосом роковым. В этот день он вынес смертный приговор Собранию.

В предзнаменованиях недостатка не было. Ламорисьер сказал: «Когда вы увидите Сент-Арно военным министром, то скажите: Вот государственный переворот!». Сент-Арно уже был военным министром, а Мопа —префектом полиции; в своих инструкциях подчиненным африканский генерал забывал упомянуть об обязанности подчиняться законам, и объявляя себя готовым умереть за конституцию, он сегодня признавал, а на завтра отрицал всякую силу за декретом 1848 года, который позволял президенту Собрания непосредственно требовать нужные войска для ограждения безопасности его членов; он приказал даже сорвать этот декрет в казармах, где он был расклеен. Три квестора предложили облечь этот закон новой силой путем формального голосования. Но обе непримиримых фракции Собрания проявили одна за другой странное неблагоразумие. Несколькими месяцами раньше Шангарнье, убежденный, в том, что его разбитая шпага стоила армии, произнес следующие напыщенные слова: «Делегаты, совещайтесь мирно!». На этот раз Мишель де-Бурж верил, что конституция в безопасности под защитой невидимого часового, каковым является народ. Бедный часовой, который не имел оружия и ничего не мог сделать! Левая боялась Шангарнье и роялистского государственного переворота, который сохранит в силе отмену всеобщего избирательного права. Правая давала понять, что она желает, быть вооруженной не только против исполнительной власти, но и против возможного восстания народа. Предложение квесторов было отвергнуто, и,

таким образом, было решено, что Собрание не будет иметь своего генерала против генерала Елисейского дворца.

Между тем над опасностью, о которой всегда говорили и которая все не наступала, смеялись, забавлялись ею. Издевались над «патрулями», составленными некоторыми членами парламента. Из-за частых окриков: Берегись волка! перестали быть настраже как раз тогда, когда волк готов был выйти из леса. Шарра разряжал свои пистолеты. Шангарнье говорил: «У нас есть, по крайней мере, месяц впереди»; он рассчитывал на перемирие до конца года.

Один депутат сказал шутя Гранье-де-Кассаньяку на одном президентском приеме: «Когда вы нас выставите за дверь?». На что тот ответил: «Я надеюсь, мой друг, что это не заставит себя ждать». Тот же Гранье писал о руководителях большинства: «Рука правосудия повисла над ними». Персиньи сказал шутя своим коллегам, которые оставили за собой места в дилижансе, чтобы ехать в провинцию: «Вы бы гораздо лучше сделали, оставив за собой свои места в сенате»... так и сделал экс-король Жером Наполеон, сын которого до того времени находился в рядах Горы. «Не пройдет и восьми дней,—говорил он,—как мой племянник совершит свой государственный переворот», и он присоединился к нему заранее. Офицеры на банкете назначали друг другу свидания «на первом поле битвы, которая даст им случай отомстить за честь армии». Одна дама спросила в Комической опере Морни: «Говорят, что скоро здесь подчистят. Что вы будете делать?». И он ответил: «О! я постараюсь быть со стороны ручки метлы». Несмотря на все эти симптомы, многие успокаивали себя, говоря про президента: «Он не осмелится».

Но он осмелился. Назначенный срок был несколько раз продлен в течение последних чисел ноября. Наконец, сроком была назначена ночь на 2 декабря. Это была годовщина Аустерлица и коронования Наполеона I; вероятно, это было решающим обстоятельством для такого суеверного человека, каким был Луи Бонапарт. Дело началось. Накануне была занята батальоном национальная типография; полицейские комиссары отправились по всем направлениям с тайными приказами; Виейра, бывший содержатель публичного дома, отличившийся в июне 1849 года разгромом бюро демократических газет и только что назначенный начальником штаба национальной гвардии, приказал прорвать барабаны, находившиеся в мэриях, чтобы нельзя было забить тревоги; колокольни охранялись, чтобы не ударили в набат. Министр внутренних дел Морни завладел сношениями с провинцией; парижский гарнизон, по приказу Маньяна, был на ногах, запертый в казармах или на стратегических пунктах. Типографии и газетные бюро, за исключением двух, бывших в милости, «Отечество» и «Конституционалист», были закрыты вооруженной силой. Бурбонский дворец был захвачен; генерал Ле-Фло, квестор, показал за несколько дней перед тем своему другу полковнику Эспинасу потайную лестницу, по которой можно было спастись в случае опасности; по ней-то и проникли войска Эспинаса.

Париж встает поздно, проснувшись он увидел стены, покрытые афишами, которые объявляли о роспуске палаты и государственного совета, о восстановлении всеобщего избирательного права, о созыве избирателей на 14—21 декабря и о введении осадного положения в Париже и соседних департаментах. Эти решения были комментированы в двух прокламациях, подписанных Луи-Наполеоном. В одной, обращенной к народу, заявлялось, что президент желает сохранить республику и спасти ее от заговоров, составленных против нее людьми, которые «уже погубили две монархии», и защитить ее от «разрушительных страстей»; что для этого он предлагает ей организацию времен консульства. В другой, обращенной к солдатам, к цвету нации, которые третировались до сих пор как побежденные, он приглашал их не нарушать законов, а уважать суверенитет народа в лице его избранника; им напоминалось, что между Наполеоном и армией существовала общность славы, несчастия и судьбы. Так пытались завоевать расположение народа, не слишком пугая буржуазию, призывали к повиновению, к чувству тщеславия, к военной мстительности; в таком двойственном виде предстал новый режим.

Париж узнал, но узнал постепенно по частям, что в течение ночи были арестованы на дому шестьдесят депутатов,—те, которые слыли за наиболее активных. Тьер, неосторожный апологист XVIII-го брюмера, истинный глава большинства; затем генералы: Шангарнье, Бедо, Ламорисьер, Кавеньяк, полковник Шарра; с ними наиболее энергичные монтаньяры: Креппо, Надо, Лагранж и другие. Аресты произведены были без шуму, почти без насилия. «Это было, писал иронически Одилон Барро, одно

из самых блестящих дел нашей французской полиции». Когда прошел первый момент оцепенения, оставшиеся на свободе депутаты пытались сговориться, сгруппироваться. Некоторые из них, большинство правой, собрались у Дарю, затем у Одилона Барро и составили обвинение в государственной измене, многие из подписавшихся под ним вскоре стали чиновниками империй. Дом был оцеплен. Они попытались собраться в своей обычной зале. Их председатель Дюпен спокойно оставался дома, объявив себя арестованным, и воскликнул: «Если бы в моем распоряжении были четыре солдата и капрал, я бы послал их дать себя убить». Его почти насильно повели на заседание; надели шарф; он удовольствовался тем, что сказал: «На нашей стороне право; но у этих господ сила; нам придется уйти». Прогнанные солдатами, члены палаты кончили тем, что собрались в X мэрии, расположенной в начале улицы Гренелль.

Здесь они долго совещались, по предложению Беррьера они издали приказ о смещении президента, поручили главное начальствование над войсками Удино и в качестве начальника штаба дали ему республиканца Тамизье. Но большинство палаты все еще боялось народа; оно отступило перед призывом к оружию, как предлагал Паскаль Дюпра. Только не революция! Достаточно будет простого протеста, т.-е. слов! Никаких действий! Появились солдаты.—«В Мазас!—раздались многочисленные голоса.—Пусть нас всех ведут!». После тщательных переговоров с сержантами, капитанами, командирами, протестующие сдались, объявили себя пленниками, позволили без сопротивления увести себя в количестве 218 или 220 человек в казармы набережной Дорсей. Казалось, они были счастливы, освободившись от бремени свободы и опасности, которую несут за собою мужественные решения. Многие из их коллег сами явились добиваться чести сидеть в «тюрьме. Один из них, Валлет, воскликнул: «у меня есть два основания быть арестованным: я народный представитель и профессор права». Это было, может быть, более остроумно, чем героично. Вечером часть их отвезли на Мон-Валерием в тюремной карете, как преступников. «Решительно, я больше не буду на «ты» с Морни», заявил Фаллу, шутя. «Большинство из нас не считало себя призванным к мученичеству», писал он позднее. Действительно, у них не было призвания. Эти народные представители, которых согнали с их мест, смеялись, острили, рассказывали друг другу анекдоты. «Я никогда так весело не проводил время», сознался Токвиль. Некоторые добивались разрешения уйти, и возвращались под арест, как новые Регулы. Кантен Бошар, не будучи Регулом, не явился и, по словам Одилона Барро, отправился в Елисейский дворец выторговать себе назначение в члены государственного совета. Одни депутаты были отвезены в Мазас, другие в Венсен, и когда при их проезде через Сен-Антуанское предместье рабочие обнаружили намерение освободить их, они умоляли их не делать этого. Понятно, что этих влюбленных в тюрьму арестантов можно было спустя несколько дней с пренебрежением освободить и пустить гулять по Парижу. Другие депутаты, в том числе Монталамбер, Бийо, Барош, позволили зачислить себя в совещательную комиссию, которою принц временно заменил палату. Государственный совет протестовал. Верховный суд собрался, назначил председателя, прокурора, а затем, когда солдаты вошли в зал, отложил заседание на неопределенный срок.

Таково было легальное сопротивление. Между тем депутаты, менее радостно настроенные, чем депутаты большинства, пытались организовать вооруженное сопротивление. Это были монтаньяры в соединении с несколькими умеренными: Боден, Дефлотт, Шельшер, Виктор Гюго, Евгений Сю, Мадье де Монжо, Матье де ла-Дром, Эскирос, Карно, Жюль Бастид и др. Они обегали предместья, отпечатали и расклеили прокламации, подговаривали строить баррикады. Они встретили симпатии, но только пассивные. «Чего вы от нас хотите?», говорили рабочие Сент-Антуанского предместья: нас обезоружили после июня 1848 года. В предместье нет ни одного ружья». Другие потешались, видя, что в тюрьму засадили роялистских депутатов, их старых врагов. Отпуская по адресу членов палаты глупые шутки, которые они вычитали в буржуазной прессе, они говорили депутатам, призывавшим их 3-го числа утром к восстанию: «Неужели вы думаете, что мы дадим продырявить свою шкуру за *двадцать пять франков?*—«Вы скоро увидите, *как* умирают за двадцать пять франков», возразил Баден, и он сдержал слово, пав мертвым, убитый на первой баррикаде рядом с ранеными Шельшером и Мадье де Монжо. Позднее Дени Дюссуб, вернувшийся из Бель-Иля,

брат больного депутата, надел его шарф с тем, чтобы умереть вместо него. Но все же среди погибших в разных местах две трети приходилось на долю рабочих.

День 3-го декабря был критическим днем. Сен-Арно расклеил прокламацию, в которой обвиняли врагов порядка в желании «грабежа и разрушения». Это были почти доподлинные выражения *Сенара и Марраста в июньские дни*. *Мопа объявил*, что скопища будут рассеяны без всякого предупреждения, и опубликовал следующее лаконическое постановление: «Всякий, кто будет взят при постройке или защите баррикады или с оружием в руках, будет расстрелян». Это была широко примененная практика июньских дней, и Сент-Арно жаловался, что вопреки его приказаниям продолжают арестовывать. Несмотря на эти угрозы или вследствие их, население начало волноваться. Если делегаты кооперативных ассоциаций, обманутые декретом, вернувшим избирательное право народу, удовольствовались призывом рабочих к избирательным урнам, то центральный комитет корпораций энергично призывал их к оружию. Самые тревожные слухи ходили по городу: будто изгнанники высадились на берег; претенденты у ворот города; возмутившиеся полки идут на диктатора; жители Реймса восстали. Соглашения заключались и расторгались в зависимости от влияния новостей. Зажиточный класс, приветствовавший до сих пор рукоплесканиями все меры притеснения, разделился. Часть — наиболее интеллигентная — с грустью и беспокойством взирала на исчезновение парламентского режима и полное крушение политической свободы. Не только «учебные заведения» волновались; богатые кварталы делали попытки брататься с предместьями, монархисты с республиканцами. Взбешенный Мопа требовал немедленно «грома и действия пушек». Но план Морни и Маньяна, подновленный тем планом, которому сделовал Кавеньяк, заключался в том, чтобы дать разрастись восстанию и тогда выступить против него большими массами и нанести ему устрашающий удар. Весьма вероятно, что сторонники принца желали мятежа, который послужил бы предлогом спасти общество. Одилон Барро говорил, что на президентском столе он видел и читал следующую записку Мопа: «Все идет хорошо. Сегодня вечером баррикады! Пушек! Пушек!».

Утром 4-го декабря Морни сказал, смеясь, перепуганным лицам, окружавшим его: «Вчера вы хотели баррикад. Вам их устроили, а вы недовольны». И в этот же день были двинуты войска, которые досыта накормили и напоили; началось разрушение баррикад, которые раньше допустили или даже приказали построить в центре Парижа; затем в три часа, на Монмартрском бульваре, где элегантная и враждебная толпа свистала и кричала: «Долой преторианцев!», раздались неожиданные залпы уланов без всякого предупреждения, в течение четверти часа продолжалась пальба по непричастным ни к чему зрителям, на тротуарах, в окнах, в квартирах, канонада, разрушившая отель Салландруз, происходила охота за прохожими, во время которой гибли старики, женщины, дети; одним словом, произошла бойня, в которой пали жертвами 380 человек, по свидетельству *Moniteur*'а, а по цифрам *Times*'а 1200. До сих пор деятели 2-го декабря только копировали приемы партии порядка и даже республиканцев, действовавших вместе с ней. На этот раз они поступили лучше; они пустили в ход оружие уже не против борющихся, а против безоружной толпы и против толпы буржуазной.

...

Терроризованный Париж замер. И вдруг неожиданность для всех, за исключением полиции. В то время, как обессиленная, утомленная столица уже едва защищалась, поднялась провинция, если не в больших городах, задавленных оружием, то, по крайней мере, в небольших и даже в селеннях. Крестьянская демократия, пробужденная к политической жизни революцией 1848 года, приняла участие в сражении. В Сарте, Ниэвре, Ионне, Эро, Дроме, Варе в Нижних Альпах, в некоторых других департаментах центра, востока, юго-запада и юга произошли попытки восстания при криках: «Да здравствует республика!». «Да здравствует Конституция!». В них приняли участие рабочие, крестьяне, даже купцы, кое-где и крупный землевладелец, должностное лицо, банкир. Эти попытки были быстро подавлены и использованы виновниками государственного переворота. Вот она, наконец, эта предсказанная Жакерия! Стали снова распространять истории, выдуманные против июньских повстанцев; о распоротом брюхе жандармов, об изнасилованных женщинах, о солдатах с отпиленными руками. Свидетели, в том числе и честные кюре,

опровергали эти слухи; но опровержения не могли появиться в свет потому, что больше не было независимых газет, где бы их можно было печатать. Впрочем, такова была система победителей. Леон Фошэ, Фаллу, зачисленные против воли в защитники совершенного дела, заявляли тщетные протесты, которые не доходили до публики. Так как в двух или трех местах совершено было несколько актов насилия, неизбежных при всяком неорганизованном движении, то вслед за Жерониьером стали повторять относительно повстанцев в деревнях, что это варварство, «каннибализм»; так как кое-где было водружено красное знамя, то все совершенные или выдуманные проступки поставили в счет коммунизму и социализму.

Затем за клеветой последовала месть. По всей Франции начался террор. Тридцать два департамента были объявлены в осадном положении. По официальным документам, отчетам Мопа, 26.642 человека подверглись преследованию и более 15.000 человек были сосланы. Умеренные, Жюль Симон, Ланжуине, считали общее число осужденных, доходящих до 100.000 человек, и эта цифра, без сомнения, не преувеличена, если подумать, что в этом департаменте Ниэвр их было более 20.000, а в другом, Эро, 30.000. Но архивы департаментов далеко не выдали всех своих тайн, и цифры остаются проблематичными. Но что безусловно, так это меры, которые применялись к этим безвестным мученикам. После поспешных расстрелов первых дней, когда убивали наугад, началось систематическое изъятие из обращения республиканцев. 7-го декабря Морни затребовал от префектов списка подозрительных лиц: руководителей и главных уполномоченных обществ, вожаков социалистических партий. По отношению к одному департаменту, а именно Сартскому *), у нас есть сведения, как составлялись эти списки. Жандармские бригадиры, супрефекты, мировые судьи, не считая добровольных шпионов, поспешили прислать все просимые сведения. Бригадир Баллонского кантона представил сорок восемь имен при бумаге, озаглавленной так: «Список лиц округа... которых люди порядка признали имеющими анархические идеи, впрочем, не разрушительные, и которые не объединены ни в клубы, ни в тайные общества; один или двое из них могли бы оказаться опасными, если бы анархия обнаружилась в Баллоне или в какой-нибудь коммуне кантона»... Рядом с этим бригадиром, доносящим на людей, которые ничего не сделали, но которые могут сделать что-нибудь, другой сознавался, что он представитель почтенных доносчиков, предпочитающих оставаться неизвестными. Третий составил следующее произведение искусства:

„Капитан, имею честь послать вам при сем общий список главных демагогов, находящегося в моем ведении бригадного округа; по моему мнению и, по секретным сведениям, полученным от лиц порядка, я думаю, что вполне прав относительно их, поместив против их имен отметки о том, что они способны сделать, если бы, к несчастью, беспорядки поднялись в окрестностях; но никто не зашевелился еще".

Следуют имена с примечаниями, в которых повторяется, как припев:

Такой-то, земледелец. Семья, сильно разросшаяся зажиточная и пользуется большим влиянием.

Такой-то, кабатчик, башмачник. Социалист. Пользуется большим влиянием, благодаря своей профессии.

Такой-то мэр коммуны. Считается влиятельным в демагогической партии.

У этих ревностных чиновников иногда бывали добровольные сотрудники. Один свидетель писал:

„Я встретил генерал-викария епархии по дороге в префектуру. Он сознался мне, думая, без сомнения, устрашить меня, что он несет префекту имена многих социалистов, на которых донесли их собственные священники".

Некоторые из этих помощников полиции были сделаны кавалерами ордена Почетного Легиона с следующей заметкой: «За отличные заслуги в декабре 1851 года».

Раз списки были составлены таким образом, то что оставалось делать с лицами, записанными помимо их ведома? Судить их? Но их было слишком много; к тому же суд медлителен, мало надежен, прения могли бы скомпрометировать великие принципы, во имя которых спасали общество. Префект Сартского департамента Миньере предложил более скорый способ действия, и Морни, согласно его указанию, разделил «виновных» на три категории. Первая заключала в себе тех, которые были уличены в участии в недавних восстаниях; им была назначена ссылка в Кайену или Ламбесса, где они должны были встретиться с

*) **Мученики за право и свободу в Сартском департаменте. Леви Гийон. Париж, 1883.**

лионскими повстанцами; героини-женщины, как Полина Ролан, и пять депутатов были присоединены к этой партии, идущей на бескровную казнь. Вторая охватывала «известных вожаков социализма»; им было назначено изгнание, в котором они должны были соединиться с большинством монтаньяров. Третья была составлена из политических деятелей, выделившихся своим сильно враждебным отношением к власти; по отношению к ним ограничились временным их удалением из Франции; так поступили с Кине, Паскалем Дюпра и друг. Впрочем, префектам предоставили широкую свободу присоединить к этим последним тех, с которыми они сочтут полезным поступить таким же образом, и для этих второстепенных жертв были предусмотрены новые наказания: высылка из департамента, отдача под надзор полиции. Все это без всякого суда. Те, кто прибегал к этим произвольным мерам насилия, называли их правительственными репрессиями и административной юстицией.—Юстиция скотобойни,—возражал изгнанник Рибейроль. Несколько позднее учредили «нечто в роде смешанного суда», который в составе префекта, офицера и прокурора, без гласного следствия, без судебных прений, должен был выносить приговор противникам, обращенным росчерком пера в преступников.

В то время, как республиканская и либеральная Франция рассеялась по всему свету, в то время, как тюрьмы, по старинному выражению Мюссе, переехали в колонию, в то время, как места ссылки переполнились «политическими», а соседние страны—изгнанниками, преследуемыми даже в их убежище ненавистью победителей, соучастники получали свои награды. Духовенство получило значительные милости: Пантеон, отнятый у великих людей, был отдан католическому культу, воскресный отдых стал обязательным в общественных работах, за Монталамбером и Вельо католики изъявляли свою преданность; Фаллу не мог скрыть чувства удовлетворенности; архиепископы благословляли нового господина Франции; парижский архиепископ служил в честь его молебны. Не была забыта и армия. Ее действия против республиканцев Парижа и провинции зачтены были ей как служба на войне; на нее и на жандармерию полились дождем знаки отличия; бывшие военные первой империи получили пенсию. Солдатам все-таки не доверяли, решили заставить их голосовать по открытому списку; но, по совету Жерома Наполеона, ставшего принцем, отменили этот неблагоразумный декрет. Два генерала сделаны были маршалами; Маньян назначен был командором ордена Почетного Легиона, Кастеллан скоро стал сенатором. Повышениями и даже деньгами заплатили за усердие офицеров, принимавших участие в деле. Народ получил на свою долю заманчивые обещания и восстановление всеобщего избирательного права, впрочем, ограничились тем, что его перекрасили. 20-го декабря 7.439.216 да против 640.737 нет был принят новый режим. Какая цена голосованию, происходившему под давлением осадного положения и террора, организованного префектами, генералами, магистратурой и доносчиками? Но до этого было мало дела. После трагедии разыгралась комедия. Биржа поднялась. Буржуазия, не вся целиком, но в большей своей части опять вздохнула постыдно и благополучно и искала утешение за потерянную свободу, набросившись на удовольствия и спекуляции.

Слово «республика» сохранено было еще в заголовке официальных бумаг. Но на монетах уже красовалось изображение принца, а императорский орел вверху знамен. Республика окончательно умерла.

Была ли она убита преступлением одного человека? Да, без сомнения. У Луи-Бонапарта, лжеца и клятвопреступника, ставшего господином Франции, благодаря обману и ловушке, с этих пор осталось, что бы он ни делал, кровавое пятно на руках и грязное пятно на лбу. Но она была убита и преступлением класса, который вместо того, чтобы согласиться на уменьшение своих экономических привилегий, предпочел пожертвовать одной за другой всеми свободами, в том числе и парламентским строем; убита непримиримым эгоизмом буржуазии, которая, вместо того, чтобы внести свою долю участия в социальную реформ, предпочла оставить французскую мысль под гнетом католичества; а жизнь нации под гнетом военного деспотизма. Она была убита еще тем критическим положением, в котором очутилась нация с пролетариатом, весьма неодинаково развившимся в деревнях и городах, посреди исключающих и противоречащих друг другу систем, обязанная безотлагательно и не имея достаточной подготовки разрешить проблему пауперизма, тогда как довольно дела представляло решение проблемы политической. Что

касается этого последнего вопроса, передовые республиканцы по централизаторской традиции, а умеренные республиканцы из страха перед социализмом взапуски друг перед другом подготовляли почву для монархии, а монархисты продолжали их дело, подготовив почву для неограниченной власти. Но Эта личная власть становилась в странное и противоречивое положение, в условия неустойчивого равновесия между буржуазией и пролетариатом. Последний, как он ни был наивен и невежествен, оставался силой, которую нужно было щадить; он охранял всеобщее избирательное право, орудие своего прогресса в будущем и орган своего суверенитета. Таким образом, одна добыча ускользнула в великом политическом крушении; и в экономической и социальной работе, выполненной, или начатой, оставались таким образом, вопреки недостаткам и ошибкам, к рассмотрению которых мы сейчас перейдем, залог и зародыши будущего.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.

ГЛАВА I.

Три группы с социальной точки зрения.—Социалисты.—Сторонники государственного вмешательства.—Приверженцы statu quo *).

Легенда, которую заботливо поддерживали, долго не хотела видеть в деятелях 1848 года ничего иного, как только незначительных мечтателей, гонявшихся за химерами, изобретателей более или менее сумасбродных утопий. На самом же деле вторая французская республика походила на ту Сеятельницу, которая на наших теперешних монетах изображает республиканскую Францию и разбрасывает наудачу по бороздам зерно, из которого должна вырасти жатва правосудия и счастья. Многие из семян, которые она разбросала без счету, были бесплодны и пусты и засохли там, где упали; но многие были жизненны; они дали ростки, пустили корни, принесли цветы и плоды, которые окончательно созревают на солнце. Февральская революция, которая близоруким людям кажется окончившейся только выкидышем, стала таким образом революцией-матерью, плодовитость которой еще не иссякла.

Когда рассматриваешь тысячи проектов, беспорядочно волновавших тогда Европу, потрясенную сверху донизу, широкие концепции, вышедшие из ничего, намечавшиеся и разбивавшиеся на кусочки, которые следующие поколения собирали и мало-помалу соединяли, то не можешь удержаться от чувства уважения к этой лихорадочной деятельности. Заходили ли вы когда-нибудь на литейный завод в тот момент, когда кипящий металл сверкает и льется из открытого тигеля? В белом паре, в ры-

*) Существующее положение дел.

жем дыме поднимаются языки пламени; раздается треск, свист; странный, ужасный шум выходит из глубины почвы; человеческие фигуры, полуголые и задыхающиеся, движутся, как демоны, у горнила, можно подумать, что мы проникли в какой-нибудь уголок легендарного ада или застали таинственную работу извержения вулкана. Такого же рода впечатление испытываешь при виде явного хаоса, в котором мир, вновь образующийся, и мир, находящийся в агонии, сталкиваются, борются, смешиваются в грохоте и шуме. Но, подобно тому, как потоки металла останавливаются и застывают в окоченелые формы на дне предназначенных для них приемников, точно так же и горячий поток страстей, идей, событий успокаивается, охлаждается, и, рассматриваемый на расстоянии полувека, представляет крупные штрихи, в которых глаз открывает неожиданный смысл, логику, гармонию и красоту.

Чтобы написать историю этой экономической и социальной эволюции, которая является сердцем движения 1848 года, нужно было бы уметь анализировать различные группы, влиявшие на нее то в одном и том же направлении, то в направлении, противоположном, группы колеблющиеся, группы постоянно изменяющиеся под влиянием внешних событий, но временно объединенные материальными и моральными связями, каковыми являются или общие интересы или общие воспоминания, традиции, предрассудки; нужно было бы по отношению к каждой из них познакомиться с составлявшей ее массой и с стоявшими во главе ее руководителями, в особенности с господствующими стремлениями, которые они обнаруживали в своих писаниях, своих речах и своих действиях. За отсутствием места и досуга необходимых, чтобы дать это детальное изображение сил, столкнувшихся в этот бурный период, мы набросаем только беглый эскиз, несовершенную схему, которую будущие историки могут исправить и дополнить.

С такой точки зрения деятели второй республики делятся на три основных группы. Среди тех, кто желал перемен, в первом ряду стояли социалисты. Их характеризует то, что они хотели полного переустройства общества, нового социального строя, который, объединяя людей и обобществляя вещи, уничтожил бы наемный труд, последнюю форму зависимости трудящихся, сде-

лал бы собственность общественной, отменил бы наследственное деление на бедных и богатых. Но, при этой общности желаний, какие различия! Мыслители, которые почти сходились в критике существующего строя, был в полном разногласии относительно будущего. Каждый из них создал себе собственную систему. Шли вместе, чтобы разрушать; ссорились, как только дело доходило до созидания. Школы вырождались в секты, которые чернили и проклинали друг друга; и постоянная борьба, в которой их руководители растрачивали лучшие свои силы и действовали на руку своим противникам, является одной из немаловажных причин их неудач.

Следует указать, по крайней мере, главные из этих маленьких приходов. Две школы были связаны с двумя великими покойниками: Сен-Симоном и Фурье. Сен-симонисты, по правде сказать, едва заслуживали имени школы. Они были рассеяны. Большинство из них отказалось от стремлений к всемирному обновлению, чтобы заняться собственными делами; они стали инженерами, финансистами, экономистами, политическими деятелями, журналистами и т. д. и между ними осталась только старая связь товарищества. Собравшись через несколько дней после 24-го февраля у банкира Оленда Родрига, они не могли сговориться относительно коллективной деятельности, и это понятно. Многие из них стали консерваторами. Мишель Шевалье, примкнувший к доктринам ортодоксальной политической экономии, преподавал их в Collège de France. Анфантан,—Отец, как его продолжали называть, был почти всецело поглощен крупными общественными работами. Кто-то предложил создать религию собственности. Д'Эйхталь видел в холере, появившейся в 1849 году, как и в 1832 году, небесную кару, долженствовавшую наказать французский народ, за две революции. Лоран де л'Ардеш провозгласил Луи Наполеона человеком, ниспосланным Провидением, и у него было много товарищей в свите и при дворе принца. Существовали, однако, и такие, которые не забывали работать, согласно своей первоначальной программе, над физическим, умственным и нравственным улучшением возможно большего числа людей. Таковы были Карно, Шартон, Жан Рейно, посвятившие свои силы делу народного просвещения. Еще под сен-симонистским влиянием получила в Париже распространение упрощенная Гален-Париж-

Шевэская метода обучения народа музыке, и основалось международное общество артистов, просуществовавшее несколько месяцев. Рабочий Вейсар стал проповедывать реформу кредита даже в самой бирже, где его подняли на смех. Но все это делалось по воле отдельных личностей, без общего плана.

Фурьеристы были более объединены. Как способные ученики, они толковали, исправляли, развивали, пропагандировали доктрину учителя. Более близкие к буржуазии, чем к пролетариям, республиканцы больше по разуму, чем по чувству, они имели своим органом Мирную демократию, а своим бесспорным главой бывшего артиллерийского офицера Консидерана, ставшего депутатом от Лаурэ. Их было около 2000 человек, платящих регулярные взносы: Жюст Мюирон, Лешевалье, Контагрель, Боде-Дюлари, Куанье, Эннекен, Бурдон, Трансон фигурировали в числе их публицистов. К ним примыкали Евгений Сю, Виктор Менье, Бриссак, В. Ганьер, Дестрэм, Годен.

Кабе был центром другой, более рабочей, группы, *икарийцев*, названных так по «Путешествию в Икарию», где он резюмировал их общие надежды. Наиболее известным из них был Виллегардель. Органом их был «Народник». Трудно определить их число. Кабе говорил, что в апреле 1848 года в их собраниях принимало участие от пяти до шести тысяч человек, из них тысяча женщин.

Пьер Леру, бывший редактор «Земного шара», «Независимого Обозрения» и «Социального Обозрения», ставший типографщиком в Бусаке, был апостолом человеческого усовершенствования, последовательных воплощений, «кругообращения», благодаря которому всякое живое существо возвращает земле, из которой оно вышло, то, что оно от нее получило; убежденный, в том, что человек, подобно Богу, существо тройственное, одновременно ощущение, чувство и разум, он питал к числу «три» нечто в роде суеверного уважения, и именно под видом *триад* ему представлялись существенные элементы общества, функции, выполняемые в нем каждым, учреждения, которые должны им управлять, вознаграждение, которое должен в нем получать труд. Его идеи распространялись его зятем, Люк Десажем, Ипполитом Рено, Грегуаром, Шансейксом, Огюстом Демуленом, женщинами, в роде Жорж Занд, которая черпала в нем вдохновение для некоторых своих романов, вроде Полины Ролан, героини, которую воспел Виктор Гюго, вроде Клотильды де Во, которая была Эгерией Огюста Конта.

Мистические социалисты и христианские социалисты так близко соприкасались, что не знаешь, куда отнести таких людей, как Эскирос или Симон Гранже, которые написали республиканские евангелия, или как аббаты Констан и Шатель, которые опубликовали «Библию свободы», и «Кодекс Человечества», или как Турейль, туманный основатель фузионистской религии. Но Бюше—не-католик, «Мастерская» которого выражала социалистические взгляды, вместе со своими учениками Оттом, Кербоном, Серизом, является незаметным переходом к несколько окрашенным социализмом католикам, каковых было тогда много, и в рядах которых Вильнев-Баржемон занимал первое место. В то время существовало «Общество применения христианства к социальным вопросам», существовал даже журнал «Обозрение христианского социализма», под редакцией Кальо.

Рядом с Луи Бланом нужно поставить Видаля, бывшего секретарем Люксембургкой комиссии, и Пеккера, принимавшего участие в работах той же комиссии. За Бланки, который был более человеком действия, чем человеком кабинета, стояли скорее солдаты, чем ученики. То же самое можно было бы сказать о Распайле, которого нельзя обойти молчанием, ибо при выборах президента социалисты рассчитывали на него и дали ему 36.920 голосов. Наконец, отдельное место занимает Прудон, который то требовал себе титул социалиста, то отказывался от него и некоторое количество иностранцев, которые более или менее долго жили в Париже, как Роберт Оуэн, Карл Маркс, Герцен, Бакунин, Колен и друг.

За сторонниками социальной революции следовали те, которые ограничивались требованием реформ, которые, не желая изменить главных условий существующего строя, признавали, что он может и должен быть улучшен в пользу трудящихся. Они стояли на различных ступенях. На самом верху демократы, отвечавшие инстинктам мелкой буржуазии, встречались и вели компанию вместе с социалистами на почве наиболее скромных требований этих последних. Гораздо ниже, среди трехцветных рес-

публиканцев, фигурировали филантропы, христиане, даже экономисты, считавшие необходимым поднять правовое положение рабочих и крестьян.

Наконец, шла группа чистых консерваторов, сторонников status quo. Она заключала в себе большинство буржуазии и католической партии, которые не допускали, чтобы касались законов, защищающих привилегии капиталистического класса, и которые довольствовались тем, что предлагали смягчение нищеты помощью общественной или частной благотворительности.

Нужно заметить, что каждая из этих трех групп имела максимум влияния поочередно в три последовательные эпохи. Первая, не бывшая никогда в состоянии осуществить своих теорий, имела некоторую власть при временном правительстве; вторая господствовала в Учредительном Собрании, особенно в его *комитете труда;* третья воплощала дух Законодательного Собрания.

ГЛАВА II.

Теории трех групп.

Для каждой из этих групп важно указать, во-первых, принципы, которые ею руководили; во-вторых, ширину и глубину изменений, которых она требовала; в-третьих, место, которое она отводила в своей деятельности, и в своих мечтах о будущем общественной силе и личному воздействию.

1. *Руководящие принципы.*—Наиболее общим и наиболее энергичным двигателем социалистов того времени было бесспорно чувство. Кабе писал в 1844 году: «Мой принцип—*братство.* Моя теория—*братство.* Моя система—*братство.* Мое знание—*братство*». В 1843 г. он повторял, что братство его компас и проводник. Пьер Леру, который не желал свести, подобно Кабе, республиканскую троицу к одному божеству, все же был не меньшим приверженцем братства. Он извлек из права понятие *солидарности,* а Кабе позаботился обратить наше внимание на то, что солидарность в практической области есть эквивалент братства в области чувства. Пьер Леру говорил также:—Другие, это—те же мы.—Это—та же формула, только в сокращенном виде. Человек для него существо социальное, которое может вполне проявить себя только в семье, отечестве, человечестве, т.-е. в этом тройкого рода общении с себе подобными. Луи Блан менее мистически настроенный, исповедывавший, как он заявлял, «наилучше всего прочувствованный спиритуализм», рассматривал будущее общество как обширную братскую ассоциацию, где уже не будет известна конкуренция, и где каждый, как в объединенной семье, будет производить соответственно своим силам и получать соответственно потребностям. Школа Фурье вместе с Консидераном также мечтала о счастливом городе братьев и друзей. В этом именно пункте социализм приходит в соприкосновение с христианством. Одной из любимых тем пропагандистов того времени было сопоставление Христа и его чистой доктрины с учреждениями народов, называвших себя христианскими *). Это-то и позволяло Пьеру Леру, Луи Блану и Консидерану хвалиться, подобно Бюше, тем, что они осуществляют Евангелие на земле, и брать руководящим принципом неопределенный и кроткий завет Иисуса: «Любите друг друга». Они полагали, что любовь может быть в известные моменты могучим революционным орудием, что жалость к слабым—основа справедливости, больше того, что симпатия к себе подобным, которая в конечном счете сливается с заботой о возможно большем числе людей, является неизбежным цементом для связи общественных элементов.

Но здесь прекращается связь социализма с христианской религией, особенно с католицизмом, как справедливо и определенно отмечали это Монталамбер и Фаллу. В противоположность христианству, у социалистов, за исключением Кабе, Пьера Леру и немногих других, не было вовсе аскетической морали; они не восхваляли заслуг и радостей бедности, отречения, смирения; они хотели, чтобы все люди имели доступ ко всем наслаждениям, предоставленным до тех под одним привилегированным. Они желали возрастания богатства вместе с его распространением среди людей. Они не откладывали до будущей жизни проблематическое удовлетворение наших наиболее естественных инстинктов или наших наиболее благородных желаний. Они сводили на землю рай

*) См. Виктор Менье: „Христос пред лицом военных советов", и Виктора Гюго в „Возмездии". Слова одного консерватора по поводу одного правонарушителя.

и справедливость. Они не прославляли нищеты духа, невежества, того страха перед знанием и свободным исследованием, который дал себя почувствовать в запрещении книг, несогласных с католической ортодоксией, они требовали для всех умственной культуры насколько возможно полной. Большинство социалистов того времени, как бы религиозны они ни были, по существу руководствовались, помимо чувства, сближавшего их с первыми христианами, еще и идеями, которые отделяли их от христиан. Они думали, вместе с Руссо, что человек по природе хорош, по крайней мере, способен к совершенствованию, и вместе с Сен-Симоном, что золотой век не позади, а впереди нас. А отсюда вытекали очень важные последствия. У них была непоколебимая вера в будущее; они рассчитывали на благородство человечества и, следовательно, на сотрудничество буржуазного класса в деле поднятия рабочего класса; они надеялись на новую ночь 4-го августа; они были миролюбивы до наивности; они были убеждены, что революция может совершиться очень быстро и в то же время мирным путем. Английский социалист Роберт Оуэн, произнесший 3 апреля 1848 года по-английски речь в «Центральном Братском Обществе», сделал с полного одобрения Кабе два знаменательных заявления. Он сказал: «Мой план будет *железной дорогой*, предназначенной весьти человечество к счастью», и прибавил: «Новая система не желает уничтожения чьего бы то ни было блага». Все, не исключая Кабе и Пьера Леру, констатировали антагонизм, открытую борьбу между народом и буржуазией. Но Кабе писал: — ненависть и война дурным социальным учреждениям, снисхождение и благожелательность к отдельным личностям! — Луи Блан сказал в Учредительном Собрании: «Защищая дело бедного, мы в то же время защищаем и дело богатого», и он отказывался провозгласить «войну тех, кто не имеет, против тех, кто имеет». В своем страхе перед насилием некоторые впоследствии доходили до того, что предпочитали скорее подчиниться насилию, чем употребить его даже в целях самозащиты. Кабе, которого хотели убить, заявил, что он предпочитает «заставить людей раскаяться в том, что они принесли его в жертву, чем заслужить ненависть, сделавшись угнетателем»... Пьер Леру, осудивший обращение к военной силе накануне 24 февраля, имел мужество произнести примирительную речь перед семьями июньских жертв и заявил Луи Блану, что если бы на него напали с оружием, он дал бы убить себя за правду, будучи убежден, что из всех средств послужить делу нет более действительного, чем мученичество.

Если не велико было число тех, кто заходил так далеко в своем самоотречении, то, по крайней мере, почти все социалисты того времени были воодушевлены идеалом. Они сравнивали действительность с идеей справедливости, которая расцвела в их уме, как цветок цивилизации, к которой они принадлежали; они пытались исправить мир согласно этой отвлеченной концепции. Прудон, безжалостно высмеивавший сторонников братства, плаксивых и слащавых сантименталистов, был не меньшим идеалистом, чем другие. Сколько бы он ни рассматривал справедливость, как примирение интересов, и сколько бы он ни старался, в качестве хорошего счетовода, определить, что придется на долю каждого, он отказывался смотреть на эгоизм как на высший двигатель человечества, и если он утверждал, что следует за наукой, как за проводником, то при этом имел в виду скорее науку о том, что должно быть, чем о том, что есть.

Этот глубокий идеализм реформаторов побуждал их, как, например, Кабе и Консидерана, рисовать перед толпой привлекательный мираж совершенных государств—общин, где все рассчитано на то, чтобы сделать из них маленькие земные рая; беда только в том, что разочарование жестоко, когда дело доходит до изменения действительности по образцу этих будущих эдемов. Беда также в том, что эти поиски абсолюта вызывали у тех, кто им предавался, презрительное отношение к практической жизни, или, по крайней мере, делали их мало способными применяться к ее условиям. Когда они спускались в область опыта, они были похожи на тех птиц с большими крыльями, которые только с трудом могут ходить по земле. Но, поднявшись на высоты умозрения, они выходили за пределы страны, где они жили; они работали, по традициям французской революции, для Франции и для человечества, они провозглашали мировые принципы. Социализм, со времени своего появления на сцене, имел космополитический характер. Он желал для нашей планеты одного языка и постоянного мира, осуществляемого путем федерации свободных народов. Прудон отвергает тот *национализм* (и он подчер-

кивает это слово), который заключается для нации в том, что она считает себя предназначенной к роли руководительницы остального мира. Консидеран написал в 1850 году брошюру, которую озаглавил: «*La dernière guerre et la paix définitive de l'Europe*». *(Последняя война и окончательный мир Европы)*. Все расы приглашались принять свою долю участия в создании грядущей гармонии. Только несколько теоретиков, как Прудон, Туссенель, Пьер Леру, посылали мельком проклятия евреям. Но в лице их они преследовали отнюдь не семитическую расу, а наиболее яркое воплощение меркантильного духа.

Однако тенденции, о которых мы только что говорили, не господствовали безусловно в социализме, или, как следовало бы говорить, в *социализмах* 1848 г. Оптимистам, верившим в Провидение и в превосходство человеческой природы, противостояли пессимисты, которые рассматривали жизнь скорее как борьбу, чем как единение, скорее как дисгармонию, чем естественную гармонию интересов. Это были люди, отрицавшие религию, как, например, Прудон и Бланки; они не хотели никакой власти, ни небесной, ни земной. Одна школа особенно отличалась своим специальным характером. В Лондоне существовала в 1848 г. коммунистическая федерация, основанная в этом году остатками тайных обществ, во Франции, Бельгии, Германии. В силу вещей это было международное общество, заключавшее в себе также некоторое количество англичан. В ноябре 1847 года состоялся съезд членов этого общества, опубликовавший манифест, редакция которого была поручена двум немцам эмигрантам, Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, и перевод которого на нескольких языках должен был появиться возможно скорее. Французский элемент был представлен двумя коммунистами, Ж. Э. Мишло и Г. Бернаром, о которых ничего неизвестно, кроме их имен. Центральный комитет, избранный съездом, переселился в Париж в первые дни после февральской революции, и манифест, для начала переведенный на французский язык, был опубликован немного раньше июньских дней. Он не имел, повидимому, серьезного влияния, по крайней мере, во Франции. Карл Маркс остался почти незамеченным, он написал опровержение на книгу Прудона («Нищета Философии»), который ему не ответил; это дало повод Луи Блану сказать про Маркса, что он отдал своего соперника на посмешище берлинским студентам. Но манифест, произведение энергичного меньшинства, больше отвечал стремлениям завтрашнего дня, чем сегодняшнего. Прочь братство, филантропию, нежные мечтания! Федерация, выразителем которой он был, запрещала своим членам называть друг друга братьями, так как это название казалось ложью при существующих отношениях между людьми. На место чувства была поставлена наука. В основу пролетарских требований была положена история, а не идея справедливости и равенства. Честолюбие заключалось уже не в том, чтобы приспособлять факты к построениям разума, а в том, чтобы следовать за эволюцией, начатой капиталистическим строем, и завершить ее.

Уже Прудон провозгласил необходимость создать социальную науку, и Конт, применяя исторический метод к решению вопросов момента, учил, что нужно уловить, путем внимательного изучения фактов, тенденцию цивилизации, чтобы сообразовать с ней политическую деятельность. *Коммунистическая федерация* доводила до конца эти взгляды.

Школа эта была реалистической по своему толкованию прошлого, как и по своему предвидению будущего; она объясняла все события игрой материальных интересов. Форма производства народного богатства и форма организации труда определяют и форму владения и организации собственности, и от этого зависят религия народа, его мораль, его семейная жизнь, его искусство. Эта теория, названная позднее *историческим материализмом*, хотя и была вполне ясно формулирована во время первой революции Барнавом, и затем Сен-Симоном, и экономистом Бланки, но оставалась в тени; здесь она выступила на первый план, она стала осью системы, точкой опоры целой системы политики, которая формулируется так: экономическое строение общества в каждую эпоху отражается в одном социальном классе, который пользуется властью для своей выгоды. Прогресс совершается путем перехода этой власти к другому классу, который до сих пор эксплоатировали, притесняли, но которому новые формы производства также дали новую силу. Буржуазия, царящая теперь, имеет своим противником пролетарский класс, стремящийся развенчать ее. Нужно, следовательно, чтобы он объединился в независимую и сознательную партию, пока в один прекрасный день,

став наиболее сильным, он не завоюет политическую власть и одним этим уничтожит окончательно деление на классы, так как под ним нет другого класса. Итак, слияние классов, как цель, вот сущность социализма; средствами является борьба классов, применение силы, революция, возникшая по поводу и вследствие экономических кризисов, являющихся результатом машинного производства и перепроизводства. Однако не должно быть никаких заговоров и смелых предприятий в духе Бланки: нужно долгое и коренное преобразование, которое может совершиться только при союзе между трудящимися всего мира. Манифест заканчивался следующими знаменитыми словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Несмотря на свою претензию опираться на факты, а не на теории, несмотря на свое презрительное отношение к мессиям, которые сходят с неба, чтобы принести благую весть, манифест еще сохранял в себе приемы пророков. Он предсказывал конечную революцию в близком будущем, он возвещал, что сигнал будет дан Англией. Позднее, в 1850 году, новый манифест, исходивший из того же источника, ожидал инициативы от «гальского петуха», и это пророчество накануне 2-го декабря 1851 года должно было оказаться не более счастливым, чем оба других. Здесь нужно видеть след, оставленный на этом социализме средой, породившей его. Тем не менее он остался изолированным от других школ, со своим более сухим и более резким, но зато и более точным и более научным характером.

У демократов, у простых реформистов можно было найти в смягченной форме все течения, которые мы только что указали. Идеалисты и мистики преобладали среди них. Ламартин, Гюго, Жан Рейно, Барбес воспевали, описывали и допускали переселение душ и их медленное восхождение к совершенству добродетели и счастья по светилам небесным, рассеянным в пространстве. Сам Конт, основатель позитивизма, начил тем, что отлил свою мысль в религиозную форму. В социальной области этим верованиям соответствовали филантропические проекты. В 1849 году в Париже состоялся первый конгресс мира, на котором католический священник церкви Магдалины и пастор Кокерель обнялись в годовщину Св. Варфоломея. Среди наиболее благонамеренных христиан этой эпохи была распространена та мысль, что собственность, это—социальная функция, отягощенная тяжелыми повинностями в пользу тех, кто ничем не владеет. Благотворительность, бывшая вначале благочестивым эквивалентом братства, с жаром проповедывалась и даже практиковалась. Но, заключая в себе идею покровительства и превосходства, она вполне соответствовала консервативным видам, и будучи совершенно добровольной, она по этому самому была произвольной и капризной; она помогала бедноте, ничего однако не изменяя в тех негодных учреждениях, которые порождали бедность, и не прилагая достаточных усилий к тому, чтобы сделать себя излишней. Между тем, наряду с политической экономией, холодной, суровой, безразличной, для которой существенным являлось созидание богатства, каково бы ни было его распределение, желание притти на помощь слабым и обездоленным народило *социальную экономию*, ее младшую сестру, более милосердную и более человечную.

В ожидании, пока она вырастет, ортодоксальные экономисты оставались оракулами приверженцев statu quo. Один из них, Фредерик Бастиа, любил доказывать, что между всеми членами общества существует свыше установленная гармония, и таким образом он старался дать божественную санкцию существующему строю. Другой, Жозеф Гарнье, писал следующее: «Чем я, собственно говоря, обязан по отношению к себе подобному? Ничем. Мой долг не вредить ему, и этому долгу соответствует его право требовать, чтобы я ему не вредил». Мы здесь имеем правило: *каждый у себя, каждый за себя*— во всей его резкости. Любопытная вещь! По своей привычке смотреть только на игру интересов и рассматривать эгоизм, как главный и почти единственный двигатель человеческой деятельности, по своему желанию ничем не смягчать суровости научных истин, по той кампании, которую они вели в целях уничтожения таможен и которая вызвала в 1847 году международный конгресс, экономисты вполне были соседями социалистов-марксистов, стоявших на противоположном полюсе мысли. Крайности сошлись, как это и бывает часто Но те и другие, поставив вопрос одинаковым образом, пришли к противоположным решениям, потому что они отражали стремления и интересы двух противоположных классов. Капиталистическая политика завершалась извне завоевательной войной, под фла-

гом колонизации, а внутри сохранением привилегий, которые обеспечивали ей первенство.

2. *Глубина и ширина реформ, которых требовали три группы.*

Если мы попытаемся теперь классифицировать три группы, которые мы рассмотрели по глубине и ширине изменений, которых они требовали, мы получим новую лестницу, где они уже не будут занимать те же места.

Так как режим собственности является главной основой общества, то мы должны на первое место поставить тех, которые желали установить полное равенство условий, которые хотели, следовательно, уничтожить различия, созданные накоплением частной собственности в руках немногих*). Таковы были коммунисты, и к ним приближались Кабе, Оуэн, Бланки, Маркс, как бы они ни расходились в остальном. Энгельс писал где-то, что в 1848 году слово *коммунизм* обозначало рабочее движение, а слово *социализм*—движение буржуазное. Это не совсем точно. Действительное различие между тем и другим зависело от большего или меньшего количества вещей, объявленных общим достоянием. В «Икарии» Кабе не только частная собственность должна была исчезнуть, за исключением предметов узколичного употребления, но и жить и есть все должны были сообща, как в монастыре или в казарме. Маркс не шел так далеко, он оставлял свободным потребление, и хотя он пустил в ход формулу—уничтожение частной собственности, он свел значение ее к отмене капиталистической собственности, позволяющей порабощать других, живя их трудом. Он стремился подчинить коммунистическому методу только производство и распределение богатств.

Всецело преследуя тот же идеал равенства или кажущегося равенства, многие нарушали его или указывали его только в отдаленном будущем. Пеккер остановился на полпути; он хо-

*) Существуют два противоположных способа сделать собственность общим достоянием. Один заключается в разрушении ее, так чтобы каждый имел частичку ее; другой состоит в объявлении ее нераздельной с обеспечением каждому доли продуктов или дохода. Первый—это метод аграрных законов древнего мира; второй получил преобладание в современном социализме, порожденном главным образом крупной промышленностью. Не нужно забывать этого различия, если хотят понять взаимный антагонизм некоторых теоретиков, в частности Карла Маркса и Прудона.

тел передачи всех капиталов в руки общества; он желал равного вознаграждения для всех трудящихся, но допускал, что каждый может сделать с ним все, что угодно; он не уничтожал, но ограничивал право наследования. Его система, как и система Видаля, была почти тем, что с этого времени стали называть *коллективизмом*. Слово это вскоре было придумано Коленом, бельгийским социалистом, бывшим в числе раненых и арестованных во время июньских событий. Он ограничивался национализацией земли; раз земля перестанут присваивать отдельные личности, то, казалось ему, само собою установится желанное равенство. Луи Блан надеялся, что частные предприятия будут поглощены общественными мастерскими, получающими помощь от государства; он требовал в этих мастерских равной заработной платы для всех; он был, не высказывая этого, на пути к коммунизму. То же самое можно сказать о Пьере Леру, который полагал, что, раз производство будет коллективным детищем общества, продуктом непрестанного сотрудничества живых и мертвых, то право собственности на продукты будет также нераздельным, и каждый, по формуле Сен-Симона, будет иметь в них свою долю соответственно своим потребностям, своим способностям и своему труду. Консидеран, оставшийся верным формуле Фурье, был менее радикален. Он допускал, что в товарищеской коммуне распределение продуктов будет производиться соответственно капиталу, труду и таланту. Он, следовательно, сохранял временно, по крайней мере, существование капиталистической или буржуазной собственности.

Какова должна была оказаться в этом пункте позиция Прудона, человека, который во всю мочь кричал: собственность, это—кража. По одному из присущих уму и его методу противоречий он явился здесь поборником этой самой собственности. Люди, плохо знавшие его, говорили о нем, как о коммунисте. Консидеран, знавший его лучше, возражал, что это ошибка, что его мысль имеет больше права на титул индивидуализма. И в самом деле, Прудон не только предсказывал, подобно Пеккеру, долгое существование мелкой буржуазной собственности; он желал сохранения мелких владений, мелких промышленных заведений, мелких торговых заведений, и он усматривал удивительное соответствие между французским характером, выработавшимся

благодаря вековому раздроблению богатств, и социализмом, его социализмом, который должен создать только один средний класс, установив для всех средние состояния на началах индивидуальной собственности. К статье 13-й конституции он предложил прибавить: «конституция обеспечивает и сохраняет *разделение собственности* путем организации обмена». Он поносил коммунизм в крайне резких выражениях; он хотел золотой средины, *aurea mediocritas*, экономического равновесия, созданного колебаниями производительных сил. Понятно, что Маркс заклеймил его названием мелкого буржуа.

Это расхождение различных сект по вопросу об изменениях, которые нужно внести в социальную организацию, мы встречаем снова, хотя и в меньшей степени, в вопросе о том, каких частей населения они должны коснуться. Социализм, возникший в городах, вначале мало касался аграрного вопроса, за исключением фурьеристской школы и Пьера Леру. В 1848 году прежде всего думали о рабочих, в частности о рабочих крупной промышленности. Крестьяне, которых Видаль нам рисовал, как рутинеров, эгоистов, привязанных больше к своей скотине, чем к своей семье *), не имеющих, в сущности, никакой страсти, кроме страсти к своим полям и своим грошам, не умеющих ни читать, ни писать, но зато хорошо умеющих считать, эти крестьяне, о которых Прудон заявлял, что они никогда не смогут подчиниться ассоциации, приобрели только несколько позже всю ту симпатию, на которую они имели право. Из теоретиков больше всех занялись их судьбой Пьер Леру и Консидеран. Но и другие слабые требовали к себе внимания, а именно, дети и женщины. Относительно детей совершенно не было споров среди социалистов; убежденные в могущественном действии социальной среды на нравы и взгляды, они были решительными сторонниками школьного воспитания. Общее образование, образование профессиональное, права ребенка—вот понятия, вырабатываемые ими. Что касается женщины, то сен-симонисты, фурьеристы и Пьер Леру были того взгляда, что ей нужно предоставить полное равенство прав на-ряду с мужчиной, как личности равноценной. Кабе высказался в том же смысле с некоторыми колебаниями. Один только Прудон внес раскол с обычной своей резкостью; он заявил, что предпочитает женщину-пленницу куртизанке, и безжалостно замыкал ее в узкий круг домашних забот, оставляя за ней право на всяческое уважение. Вопреки ему, требование прав для женщин осталось составной частью сложной программы, ставшей программой социализма.

*) Срав. „Быки" Пьера Дюпона.

Эта программа разом обесцвечивается, как только переходишь к другим группам. Демократы признали, несколько случайно, без ясной демаркационной линии, социализацию некоторых категорий предприятий, как рудники, железные дороги, страховое дело. Они добивались в согласии с социалистами принятия некоторых мер, имеющих в виду уменьшение экономического неравенства. Но они не доходили до желания полного его исчезновения.

Что касается защитников буржуазного строя, то известно, как они приняли доктрины, в которых вопрос шел не о чем ином, как о смерти этого строя. Им казалось, что было бы хорошо сохранить или восстановить неравенство как в политической области, так и в области знания. Рабочих и крестьян оставляли в их подчиненном положении. Право отца семейства над детьми было аргументом, на котором основывали так называемую свободу обучения. Что касается женщин, то потребовалась напоминание Шельшера о том, что Франция—родина госпожи де-Севинье и госпожи Сталь, чтобы их не лишили скромного права обратиться с петицией в палату.

3. *Мнения трех групп о роли государства.*— Остается еще один вопрос о том, какую долю власти отводили отмеченные группы государству, как над ходом вещей, так и над людьми.

Социалисты соглашались предоставить свободное развитие и полный расцвет личности во имя конечной цели, к которой они стремились. Они добивались исчезновения государства-жандарма, или, говоря другими словами, радикального преобразования его роли. Они хотели, как говорил Сен-Симон, заменить управление людьми распоряжением вещами. Но как достигнуть этого освобождения всех членов общества, не прекращая забот о жизненных потребностях самого общества? Нужно ли для этого прибегнуть к власти государства? И нужно ли ее усиливать

или скорее ослаблять до полного уничтожения? Вот два связанных между собою вопроса, на которые давались различные ответы.

Здесь социалисты разделились на два течения: одно исходило от Сен-Симона, который надеялся на революцию сверху; другое—от Фурье, желавшего, чтобы она совершилась снизу. Отсюда течение авторитетное и анархическое.

К числу тех, кто рассчитывал на вмешательство государства не с целью поработить людей, но чтобы утвердить справедливость и создать истинную свободу, чтобы разрушить верховную власть богатого, владеющего орудиями труда, над бедным, который должен ждать разрешения работать, нужно отнести Луи Блана, Видаля, Пеккера, Пьера Леру и наряду с ними их бесспорных противников, Бланки и Маркса. Двое последних считали даже необходимой диктатуру пролетариата, чтобы сломить тиранию капитала.

Кабе занимал особую позицию. Он был и большим государственником, в том смысле, что, подобно Руссо, он подчинял личность всецело обществу и был очень склонен вместе с тем обходиться без государства, так как желал, чтобы икарийцы сами справлялись со своими делами; он требовал только, чтобы им предоставили свободу основать в чистом поле, на купленной ими земле, аскетическую, основанную на равенстве общину, где порок, нищета и невежество будут побеждены объединением. Он требовал только права существования для этого своего рода светского монастыря. Не найдя во Франции необходимых подходящих условий для этого опыта, он перенес его в Америку. 3 февраля 1848 г. авангард из 69 икарийцев отправился в Техас, где им был уступлен миллион акров по берегам Красной реки. Другие отряды скоро последовали за ним. Гибельная авантюра! Эти французские рабочие, попавшие вдруг в необработанную и нездоровую страну, покинутые врачом и инженером отряда, полагавшие, что Кабе, задержанный во Франции революцией, умер, оставили в беспорядке свой лагерь пионеров и перебрались в Новый Орлеан, где стали гибнуть от нищеты и болезни. Получив такие известия, Кабе, будучи под судом за политическое преступление, тайно уехал 13 декабря из Парижа и присоединился к своим ученикам. Из 485 человек, которые постепенно уехали из Франции, одни, получив отвращение к Новому Свету, вернулись на родину с 2000 франков, которые им дали на проезд, другие, в количестве 280, имея капитал всего в 30.000 франков, назвали себя солдатами человечества и вместе с своим учителем заняли в штате Иллинойс, в Новоо, землю, некогда населенную мормонами. С 1849 до 1851 г. Кабе, руководивший ими, посвятил себя всецело организации колонии. Он провел конституцию, которая начала действовать в 1850 году и которая после пересмотра была принята единодушно 4 мая 1851 года. Здесь ясно обнаруживается характер предприятия, заслуживающего, чтобы на нем остановиться, утопия на этот раз старалась превратиться в действительность.

Кабе, перенося республиканский девиз на новую почву, сделал в нем перестановку; братство выступило на первый план, свобода—на последний. Он прибавил единение и солидарность, что указывало на его желание тесно объединить членов общества. Конституция этого государства в миниатюре состояла из 183 статей, регулировавших его политическую, религиозную, гражданскую и экономическую жизнь. В основу было положено всеобщее избирательное право; женщины имели совещательный голос по всем вопросам и решающий—по вопросам, специально их касавшимся. Шесть выборных правителей пользовались самою широкою властью, особенно президент, управлявший всеми общественными учреждениями, в том числе и типографским делом; свобода печати далеко не поощрялась, потому что всякая критика вне генерального собрания подавлялась как преступление. Это собрание, исполнявшее также и судебные функции, наказывало не только за нарушение законов и регламентов, но и за проступки против нравственности, как, например, за ложь, злословие и т. д. Каждому гражданину вменялось в обязанность сообщать о проступках, о которых он узнает. Это напоминало религиозные общины, в частности женевскую общину Кальвина. Помимо того, что Кабе, подобно Кальвину, регламентировал одежду и нравы; помимо того, что конституция запрещала вино, рыболовство и охоту ради удовольствия, добровольное безбрачие, и, разрешая развод в некоторых исключительных случаях, предписывала разведенным вступать в новый брак, она еще создала род официальной религии, которая должна была быть христианством в его первоначальной чистоте. Эта религия, правда,

была сведена к самой простой форме проявления; у нее не было ни культа, ни даже обязательной догмы; она ограничивалась проповедью существования личного Бога и бессмертия души. Но она видела в Христе только человека и в библии—только человеческое произведение; она относилась терпимо к материалистам, запрещая преследовать их.

Особенной оригинальностью отличалась экономическая организация. Чтобы быть принятым в общину, нужно было подписаться под следующими условиями: приносить или уступать общине все свое имущество, каково бы оно ни было: свои деньги, свое движимое и недвижимое имущество, свои долговые обязательства и т. д., даже свое приданое, свои драгоценности, свои инструменты, свое оружие, свои книги; одним словом, все свое настоящее и будущее добро, даже будущие свои подарки и наследство, потому что в общине никто не может ни быть богаче другого, ни иметь личной собственности, так как никто не должен пользоваться преимуществом в сравнении со своими братьями. Принцип был тот, чтобы всякое благо существовало или для всех, или не для кого. Так, например, будут общественные часы, но никто не будет владеть карманными часами, потому что они не для всякого доступны. Сначала запасутся необходимым, потом полезным, позднее приятным и постепенно будет увеличиваться количество предметов личного потребления. В ожидании лучшего, каждому колонисту была отведена комната для жилья, с мебелью, и платьем, одинаковым для всех. Пищу они получали три раза в день в общей столовой; она приготовлялась в одной кухне с общим для всех меню. Каждый должен был ежедневно работать десять часов с перерывом для отдыха; но Кабе предвидел, что настанет время, когда, благодаря машинам, рабочий день можно свести до шести часов. Никто не мог оставаться праздным, если он не был болен. Только женщины были освобождены от тяжелой работы и даже от всякого дела, когда они готовились стать матерью или когда кормили. Работы производились под надзором директоров и директрис, избранных самими работающими, и, насколько это было возможно, распределялись по способностям и вкусам. Но некоторые тяжелые и необходимые работы, как, например, земляные, могли быть признаны обязательными. Что касается удовольствий, то из них разрешались чтение, драматические представления, балы, деревенские праздники.

Колония была в полном расцвете, когда в начале 1851 года Кабе узнал, что в его отсутствии он был обвинен в Париже в мошенничестве. Буржуазные газеты, поддаваясь своему страху перед коммунизмом, основываясь на жалобах некоторых перебежчиков, стали утверждать, что он употребил в свою пользу деньги подписчиков. Они даже дошли до инсинуаций, что колония в Новоо существует только на бумаге.—Была подана в суд жалоба и апостол был заочно присужден исправительным судом к двум годам тюремного заключения и лишению гражданских прав. Это была громадная несправедливость. Возмущенный Кабе спешно явился, прежде всего отбыл наказание, к которому он был присужден в 1848 году за политическое преступление, затем заставил пересмотреть свой процесс, доказал свою добросовестность и вышел из суда оправданным и реабилитированным. Но едва он был освобожден, как произошел государственный переворот 2-го декабря. Он был заключен в форт Бисетр, затем выслан в Англию, на том только основании, что он глава социалистической секты. Он собирался основать в Лондоне нечто в роде триумвирата социалистических изгнанников с Луи Бланом и Пьером Леру. Но тут он был вызван в Америку своими учениками и больше уже не возвращался.

Мы не будем следить дальше за его судьбой и судьбой его колонии. Но сказанного достаточно, чтобы стали ясны сильные и слабые стороны этого коммунистического опыта. Известно, что с очень ограниченным капиталом Кабе достиг (а это уже кое-что) того, что дал возможность существовать в течение нескольких лет маленькому поселку, в котором невежество, пьянство, бродяжничество, нужда, безработица, были явлениями неизвестными. «Первобытные христиане», как называли его адептов, приобрели почтение и уважение всех окружающих. Известно также, что это маленькое общество не росло, как ком снега, и довольно скоро распалось. Можно указать на три главных причины этой неудачи. Первая это та, что идиллический и аскетический идеал Кабе не был способен увлечь человечество, которое не прилагало старания победить свою природу и отказаться от широкого удовлетворения своих потребностей, возраставших вместе

с его могуществом. «К чему ваша община, если вы изгоняете из нее богатство», говорил Прудон. И он определял эту разновидность коммунизма, как «религию нищеты». Вторая причина та, что это частичное осуществление коммунизма, как всякие попытки такого рода, стало жертвой окружающих условий; изолированная, скрытая, затерявшаяся, как островок во враждебном море, среди глубоко-индивидуалистического общества, община против своей воли подвергалась его давлению; вынужденная быть самодовлеющей, она была осуждена на жалкое прозябание, не будучи в состоянии пользоваться новыми силами, которые предоставляют в распоряжение современного мира машины, примененные в промышленности и в путях сообщения, и громадные ассоциации капиталов или трудящихся. Наконец, и это главное, это было слишком упрощенное решение социального вопроса. Среди предметов, окружающих нас, есть такие, которые могут и должны находиться в индивидуальном владении и индивидуально потребляться; есть и другие, которые должны находиться в коллективном владении и потреблении. Нужно сделать, известное распределение (в экономической области, как в области политической) между обществом и личностью. Кабе не сумел найти принципа, который установил бы раздельную линию между этими двумя элементами. Он уделял слишком много места власти, единству. Государство-община, такая, о какой он мечтал, слишком напоминает те пансионы, где молодым людям обеспечивают здоровую и умеренную пищу, где одевают в мундир их ум, как и их тело, где их приучают работать, есть, вставать, ложиться по звонку. Однообразие этой суровой дисциплины и замкнутости порождает скоро скуку и отвращение. Этот монастырский интернат слишком тесен, чтобы человечество могло в нем свободно двигаться, не разбив его.

Фурьеристская школа приближалась к Кабе в одном пункте. Ей также мерещилось немедленное осуществление ее идеала. Она мечтала об организации товарищеской коммуны, которая должна была плодиться и множиться, вызывая себе подражание, иначе говоря, она мечтала о *фаланге* и *фаланстере*, зародышах всемирной гармонии. Консидеран развил эту утопическую часть своей программы перед Учредительным Собранием в заседании 14 апреля 1849 года, имевшем весьма любопытную физиономию.

Мало привыкший к трибуне, как и большинство социалистов того времени, он заявил, что будет читать отрывки длинного произведения; раздались протесты. Он стал говорить, но его речь прерывали. Ежеминутно Ташеро требовал слова к порядку и кричал, что крадут деньги плательщиков налога, тратя время депутатов на подобные прения. Депутаты покидали зал, не желая его слушать. Под конец, когда оратор стал жаловаться на индиферентных, на тупоголовых, не понимающих интереса подобных вопросов, кто-то крикнул ему: «Говорите об одуревших, если вы говорите о тех, кто вас слушает».

Между тем оратор заявляет, что берется применить к великой проблеме социальной механики решение, найденное его учителем. Пусть ему подарят, пусть ему предоставят заимообразно площадь в 1200—1600 гектаров государственной земли, и он обещает основать образцовую коммуну, которая докажет, насколько легко осуществить на деле гипотезу Фурье. «В короткий срок,—воскликнул он под влиянием странной иллюзии,—ничего не изменяя в законах страны, не затрогивая ничьего интереса, не оскорбляя ни одного из ваших прав, не нарушая ни одного из ваших предрассудков, я выполню этот опыт». В случае неуспеха, он соглашался, чтобы его заключили до конца его жизни в Бисетр, или в Шарантон *). Кто захочет отказать ему в возможности создать уголок, блистающий счастьем, богатством и согласием? Ответы, которые ему давались, безжалостно повергли его на землю. Он предлагал взять для опытного поля 1200 гектаров в Сен-Жерменском лесу.—«Просите лучше в лесу Бонди!»—воскликнул фабрикант Виктор Гранден. Министр Леон Фоше заявил, что он не будет отвечать. Некто Дежобер сделал легкую диверсию, позабавив палату насчет фантазий Фурье о бабочках, вакханках, свободной любви. Консидеран возразил, что упрекать Фурье за фантазии, давно отвергнутые его учениками, было столь же неразумно, как отвергать теоремы Ньютона о всемирном тяготении под тем предлогом, что Ньютон написал нелепый комментарий к Апокалипсису. Пьер Леру пришел к нему на помощь, напомнив, что в Соединенных Штатах, позволяли

*) Сумасшедшие дома в окрестностях Парижа.

свободно производить такого рода опыты. Но собрание приняло уже решение. Оно презрительно отклонило предложение без обсуждения.

Таким образом школа, предоставленная своим собственным средствам, вынуждена была ограничить свои честолюбивые планы. Опыту, сделанному в Конде-на-Вегре в 1831 году, она не придавала никакого значения, до того он был несовершенен. Земледельческо-промышленное предприятие Сигвиля в Алжире применяло только два принципа, вырванные из обширного целого,— участие в прибылях и минимальную заработную плату. Годен не устроил еще в Гизе своего *фамилистера*. Америка была избранной страной, в которой находили себе убежище упорные надежды; но Бразилия и позднее Техас должны были обречь эти попытки фурьеристов судьбе, весьма похожей на ту, которая выпала на долю общин кабетистов.

Однако, разница между ними была велика в другом отношении. Фурьеристская коммуна допускает: в политическом отношении полную демократию, уничтожение правительства, свободное и прямое управление делами всеми членами; в экономическом отношении—привлекательный труд, свободный выбор занятий, превращение армии, этого старинного органа власти, в мирное орудие для нужд промышленного и земледельческого труда.

Но это анархическое течение, исходящее от Фурье, достигает высшей своей интенсивности у Прудона. Чтобы понять его позицию, нужно хорошо проникнуть в его метод и его характер. По своей натуре он борец, любящий нападать и доводить все до крайности. Он любит парадоксальные, резкие суровые выражения. Для него удовольствие ошеломить и напугать. Фанатик логики, он, как геометр, выводит все последствия из данного принципа, и если только принцип ложный или неполный, что почти одно и то же, он делает и ложные выводы, не останавливаясь ни перед чем. Он идет до конца своей мысли с непоколебимой верой в безошибочность своих суждений. Эта смелая самоуверенность в области мысли делает его грозным памфлетистом. Он любит быть жестоким, саркастичным, беспощадным по отношению к другим. Когда он схватит в свои когти жертву, он раздирает ее, рвет ее на куски с каким-то жестоким опьянением. Он вносит в идейную полемику ругань, которая всегда служит доказательством дурного воспитания, личного пристрастия и сварливого нрава. Прудон, этот одиночка, удары клыков которого оставили следы на всех его современниках, похож на тех страшных кабанов, которых называют пустынниками. Но если у него не было много последователей, то многих он воспитал.

Эта склонность к битью стекол, которую Прудон обязан своему плебейскому происхождению, способу учиться совершенно одному и отрывочно, трудностям своей прежней жизни, которые долгое время задерживали этого выдающегося писателя за низкими занятиями пастуха и слуги в винном погребе, усилилась еще тем методом, который преподал ему, повидимому, один немецкий эмигрант, Карл Грюн. Это диалектический метод Гегеля. По этому философу и по Прудону, все вещи представляются человеческому уму и развиваются в действительности в форме антиномий, т.-е. в форме полнейших противоположностей. Вы рассматриваете, например, идею частной собственности; это порождает противоположную идею собственности общественной. Общество организуется в режиме свободной конкуренции; из конкуренции рождается монополия, которая есть ее противуположность, и т. д. В развитии всякого института или всякой идеи бывает первый фазис, являющийся *тезисом*, второй фазис, являющийся *антитезисом*. После этого задача состоит в нахождении *синтеза*, т.-е. в открытии высшего принципа, который господствует над двумя первыми и примиряет их, в разрешении и уничтожении первоначального противоречия в гармонии, где обе крайности комбинируются и уравновешиваются.

Я не намерен давать здесь критику этого метода, для этого понадобился бы целый курс философии. Я только отмечу, что иногда Прудон орудует довольно плохо своим диалектическим аппаратом, что он создает противоречия там, где их нет в действительности; что он создает ложные антитезисы, как делают ложные окна в доме—для симметрии; что он ищет примирения там, где следовало бы решительно выбрать между двумя несовместимыми мнениями, подобно тому человеку, который между двумя утверждениями: дважды два четыре и дважды два пять, упрямо старался бы найти компромисс. Но того немногого, что я сказал о логических и несколько схоластических приемах, которые ему нравятся, достаточно, чтобы дать понять

те последовательные позиции, которые Прудон занимает по поводу каждой проблемы. В каждом вопросе он защищает и за и против. Он говорит, например, о всех опасностях, о всех несправедливостях, о всех неудобствах частной собственности; и вслед затем он будет говорить о всех выгодах, о всем величии, о всей красоте ее. То же самое делает он по отношению к машинам, к налогам, к социализму, ставя всегда друг против друга картину, нарисованную в розовых красках, и картину, нарисованную в черных. Таков смысл большого сочинения, которое он озаглавил: *Система экономических противоречий* (октябрь 1846 года).

Этот способ вести двойную бухгалтерию для каждого человеческого дела придает ему двусмысленный облик. Друг и враг всех—таков, повидимому, его девиз. Он кажется софистом, который забавляется тем, что жонглирует идеями, попеременно называет вещь то белой, то черной, который всегда готов аргументировать против кого угодно и против чего угодно из-за злобного удовольствия упражнять.

„Дух противоречия, полученный им свыше".

Паскаль говорил о человеке: «Если он возносится, я его принижаю; если он принижается, я его возношу, пока он не поймет, что он непостижимое чудовище». Прудон, повидимому, взял на себя эту функцию Мефистофеля демократии по отношению ко всякому мыслителю, который утверждает что-нибудь.

До 1848 года он таким образом собрал много тезисов и антитезисов. Но где был синтез? Его искали; и что касается положительного элемента, за который можно было бы уцепиться среди нагроможденных им развалин, то тут нашли только следующее: что социальное зло велико; что для его исцеления нельзя рассчитывали ни на ассоциацию, ни на вмешательство государства, что требуется глубокая экономическая реорганизация, полное преобразование, которое совершится при помощи науки и свободы. События революции заставляли его вырабатывать свою доктрину и оглашать ее изо-дня в день. Убежав в Бельгию из-за литературного процесса (в марте 1849 г.), он имел неблагоразумие вернуться в Париж; здесь он был узнан, арестован и до конца республики пробыл в тюрьме. Это было, быть может, удачным случаем для него. Он избегнул той разбросанности, которая не-

избежна для человека действия. Он мог собраться с мыслями, сосредоточиться. Не считая бесчисленных газетных статей, он написал две книги: *Исповедь революционера* (ноябрь, 1849 г.) и *Общая идея революции* (июль, 1851 г.). Здесь заключаются его мнения того времени: ибо по отношению к нему, больше чем к кому-либо, всегда нужно приводить даты.

Если говорить только о роли, отведенной им государству, то он не враждебен так же, как и Консидеран, временному и умеренному вмешательству государственной власти в экономическую область, в современной ее форме. Консидеран под именем гарантизма желал совокупности учреждений, обеспечивающих всякому члену общества минимум благосостояния. Прудон также не раз обращался с призывом к власти: «Ибо почему, говорил он, не пользоваться самими вещами, чтобы изменить их?». Он говорил еще в том же смысле: «Так как государство великая пружина общества, мы будем пользоваться услугами государства». Но это для него только уступка нуждам минуты, и политическая система, которую он тогда восхвалял для будущего, это *анархия*.

Обычно Прудона называют отцом анархии. Но следует вспомнить, что у него было много предшественников, начиная с Жан-Жака *), который до написания *Общественного Договора* провозгласил анафему обществу и его законам. Страстных отрицателей всякой власти было много в эпоху романтизма; они удостоились чести попасть в роман, чему доказательством служит *Жан Сбогар*, одно из действующих лиц Шарля Нодье, или Стелло, болезненный герой Альфреда де Виньи. Один коммунист Ж. Ж. Май, написал в 1841 г. в газете *L'Humanitaire* следующее: «Демократическое правительство должно быть *анархическим* в научном, но не революционном смысле слова». Но именно Прудон собрал, сгустил в теорию идеи, которые до него являлись только в форме отдельных вспышек.

Это не значит, что он сразу дошел до ясной и определенной концепции. Конечно, он с самого начала был того мнения, что управление человека человеком есть угнетение. Но он был в нерешительности, колебался. То ему рисовались четыре рода

*) Руссо.

власти в обществе, реформированном по его желанию. В другом месте он говорил, что власть, владыка общества, должна стать его рабой. Он желал свести его к роли «покорного и подчиненного слуги». Это почти формула Луи-Блана: государство-хозяин, преобразованное в государство-слугу. Он не требовал абсолютной свободы; он желал, чтобы она была строго определенной, а не произвольной и капризной; он писал: *summa lex, summa libertas*, что можно перевести так: чем больше свобода урегулирована, тем более она велика. Самый метод Прудона должен был препятствовать ему останавливаться на полном отрицании власти. В самом деле, если власть тезис, то анархия полный ее антитезис: остается открыть высший принцип, который примирит их.—В 1848 г. он все еще колебался; он был депутатом, он пользовался своей частицей власти; но мало-по-малу его антиправительственные стремления определяются точно. В 1849 г. он утверждал, что *политический строй*, имеющий основанием власть и образованный путем разделения классов, разделения властей, административной централизации, судебной иерархии, представительства верховной власти, должен быть заменен *социальным строем*, основанным на свободном договоре и организации экономических сил, и что последний должен убить первый. Он объявил войну трем властям: власти денежного сундука или капитализму, власти трона или абсолютизму, власти алтаря или католицизму. Но он был еще осторожен по отношению к другим формам власти. При всех своих нападках на всеобщее избирательное право он чувствует по отношению к нему некоторое почтение и приписывает ему достаточно большое значение, чтобы считать уничтожение его достаточным мотивом для мятежа. Он сводит функции власти к защите приобретенного права и поддержания мира, но таким образом он отдает в ее руки политическую власть над обществом. В общем он в это время ограничивался желанием отнять у правительства и передать совокупности граждан государственную силу, и, когда он развивал эту свою маленькую утопию, он вносил избирательный принцип в город своих грез: избрание священников—верующими, судей—нуждающимися в суде, офицеров—их подчиненными, учителей—членами генеральных и муниципальных советов, министров—чиновниками различных учреждений, которыми

те должны были управлять. Он хотел, чтобы таможенные расходы падали на получающих от этого пользу, на промышленников и коммерсантов. Однако, в виде высшего органа он сохранял Национальное Собрание, на обязанности которого лежало проверять отчеты, издавать законы, устанавливать бюджет, разбирать споры между различными учреждениями. Можно сказать, что он рассеивал, разделял власть и вносил в нее принцип взаимности, но он ее еще не уничтожал.

Только в 1851 году он воспринял и стал проповедывать чистый анархизм. Он хотел заменить централизацию политических властей разумной и либеральной централизацией экономических сил. Он хотел, говорил он другими словами, потопить правительственную систему в системе экономической. Формула была туманная, но он старался точно определить ее. Не нужно правительства, потому что всякое правительство—классовое правительство, действующее в пользу одних и во вред другим. Не нужно больше законов, безразлично будут ли они приняты большинством голосов или единогласно. Никакого политического учреждения, на какой бы ступени оно ни стояло. Смерть власти, старому принципу, исходящему от патриархальной семьи! На ее место договор, всегда и везде договор. Не общественный договор, молчаливый и подразумеваемый, на манер договора Руссо. (У Прудона не было достаточно ругательств по адресу того, кого он называл женевским шарлатаном. Он доходил до того, что говорил, что всякий писатель за одно только цитирование этой дрянной личности должен терять право на звание писателя). Нет, он имел в виду договор, который был бы обсужден, принят, подписан каждой личностью отдельно.

Отсюда вытекали все остальные последствия. Не надо больше судей, пусть будут третейские судьи, избираемые самими сторонами. Не надо больше общественного образования: пусть будут свободные и частные школы; самое большее допускалось для внесения некоторого порядка центральное осведомительное бюро, но без всякого средства называть свою волю. Не надо больше управления финансами; сохраняется только контрольная палата, как статистическое бюро. Не надо больше армии, отечества; существуют места рождения, а не национальности; группы будут образовываться свободно, все народности, говорящие на одном

языке, могут сблизиться, чтобы сообща жить и управлять своими делами. Но что всегда требуется для образования новой группировки? Формальное условие, которое он резюмировал так:

„Обещаешь ли ты уважать честь, свободу и достояние твоих братьев? Обещаешь ли ты никогда не присваивать себе ни силой, ни обманом, ни ростовщичеством, ни ажиотажем продукт или собственность другого? Обещаешь ли ты никогда не лгать и не обманывать ни в правосудии, ни в торговле, ни в одной из своих сделок?"

Кто не принимает этого основного договора, принадлежит к обществу дикарей. Ему остается только уйти или умереть.

Историческое сочинение не есть статья полемического характера по вопросу социологии. Нам, следовательно, не приходится обсуждать систему Прудона. Нам достаточно отметить в ней некоторые места, плохо согласующиеся между собой. Он говорит: «не нужно законов!». А в другом месте он пишет: «каждая корпорация создаст свой закон», что предполагает поневоле голосование, меньшинство, обязанное подчиняться воле большинства. Он вводит, для установления валюты, вмешательство государства, которое сам же уничтожает. Он хочет, кроме того, что бы коммуна, департамент, государство уступили большим, открытым для всех, компаниям железные дороги, каналы, дороги; чтобы они потом проверяли отчеты этих больших компаний и распускали их, если это покажется им необходимым. В сущности, хотя Прудон, со своей обычной крайностью, заявлял:— «между строем, основанным на законе, и строем, основанным на договоре, нет возможного слияния, нужно остановиться на одном из них»—он тем не менее сталкивался с невозможностью уничтожить в каком-либо общественном строе один из этих существенных элементов, *индивидуальное* и *коллективное*. До конца своей теории ему пришлось дойти только двенадцать лет спустя, в 1863 году, когда он опубликовал свое сочинение о *федеративном принципе*. Тогда он открыл в федерации, в гибком союзе, установленном этой системой между различными группами, то примирение свободы с властью, которое он не мог раньше найти. Он честно признался в этом:

„Если в 1840 г., писал он 3-го ноября 1862 г., я начал с *анархии*, конечного вывода моей критики правительства, то я должен был кончить федерацией, необходимой основой европейского права и организации всех государств".

Но в ожидании конечного синтеза, отрицания Прудона проложили себе дорогу. Можно удивляться сколько угодно вдохновенности его критики и блеску его формул; нельзя отрицать, что он действовал разлагающим образом на передовые партии своего времени; верно также и то, что его теория абсолютной свободы, в силу весьма естественной реакции, способствовали тому, чтобы бросить Францию в объятия деспотизма, которому он слишком легко простил,—он определял государственный переворот как «гимназическую шалость» и утешался тем, что говорил: «с красными покончено, но я остался».

Исходя из того же источника, но не жертвуя обществом в пользу личности, возникло или снова появилось тогда *прямое законодательство народа*. Это система, при которой народ обходится без представителей и лично вотирует законы, управляющие им. Практикуемая некогда в Афинах и в Риме, применявшаяся в маленьких кантонах Швейцарии, рекомендованная Руссо для небольших государств, она была в 1848 г. опять поставлена на почетное место немцем Риттингаузеном, который был связан по своему происхождению с старинным французским дворянством, а по своим убеждениям с демократией. Эта система была скоро признана и одобрена Консидераном, который восхвалял ее как истинное решение политической проблемы. Дело началось с очень резкой критики представительной или парламентской системы, критики, которая была, может быть, одновременно и результатом и причиной немилости, в которую впали обе палаты республики; указывалось также на опасность замены интересов большинства интересами небольшого меньшинства, принадлежащего по большей части к состоятельному классу; на частое и неизбежное разногласие между желаниями избирателей и голосованием избранных; на плохой состав собраний, потому ли, что выборы фальсифицированы, потому ли, что интриганы и болтуны имеют больше шансов на успех, чем ценные люди, мало честолюбивые и мало шумящие, или, наконец, потому, что трудность узнать вполне кандидатов обязывает людей выбирать наугад; отмечена была также погоня в самом собрании за портфелями, голоса, отдаваемые министру в обмен за какие-нибудь милости, бесчисленные компромиссы при перебаллотировках и т. д. Но как излечить это зло? Для этого нужно призывать

народ самому решать все вопросы, а не голосовать только за представителей, и предоставлять ему самому заботу регулировать свои общественные дела, которые являются его делами. Для этого нужно разделить народ на секции по 10.000 человек приблизительно, представить каждой секции поставленный вопрос, предварительно освещенный обсуждением в печати и на собраниях, и собрать потом голоса за и против, которые достаточно сложить вместе, чтобы узнать, чего желает большинство нации.

Риттингаузену указывали, в виде возражения, на сложность, которой может отличаться поставленный вопрос, и, следовательно, на риск получить неточные или слишком разнообразные ответы. На это он отвечал, что для всякого вопроса можно предвидеть небольшое число возможных ответов, чаще всего *да, нет* или *ни то, ни другое*, что, следовательно, легко, после некоторого навыка, добиться быстрого и решительного ответа при голосовании. Затем ему говорили, что народ неспособен сам дать себе хорошее законодательство. Он отвечал на это, что в таком случае следовало бы отнять у него право избирать представителей, потому что понять ценность личности не легче, чем понять основательность той или иной меры. Прибавляли, что у народа и без того много дела, чтобы выступать еще в качестве законодателя. Риттингаузен признавал, что придется упростить законодательство, но что это будет не худо; он утверждал, что достаточно будет нескольких ясных принципов, для того, чтобы привести в порядок множество дел, запутанных кодексами; что в начале гражданам вполне достаточно будет двух вечеров в неделю, чтобы сделать все необходимое, и что скоро у них будет совсем мало дела.

Частичный опыт сделанный впоследствии в Швейцарии, доказал, что надежды, возлагавшиеся в данном отношении, по крайней мере, на демократию, политически достаточно развившуюся, не были чрезмерными. Но при республике 1848 г. люди действия из демократической партии удовольствовались бы приближением к этой системе. Ледрю Ролен, отец всеобщего избирательного права, как его называли, понял после странных результатов выборов, насколько важно организовать их таким образом, чтобы закон действительно служил выражением общей воли. Он обращался к конституции 1793 года и говорил, повторяя, мысли и слова Робеспьера: народ не может передавать своих верховных прав собранию представителей, которые представляют его плохо; он остается единым и постоянным сувереном; у него могут быть только делегаты, сменяемые и ответственные доверенные лица, которые не могут законодательствовать без согласия своих доверителей. Это согласие, которое может быть формальным или молчаливым, легко обнаружить. Собрание доверенных составляет, предлагает, обсуждает и вотирует законопроекты, которые приобретают силу закона только после того, как получат санкцию народа. Это (употребляя современные выражения) обязательный референдум для всякого важного закона. То же собрание заботится о второстепенных нуждах, издавая декреты, для которых согласие народа предполагается заранее. Трудность заключается в том, чтобы установить, что должно подлежать ведению закона и что может быть разрешено путем декретов. Но эта трудность не непреодолима, потому что аналогичные порядки действуют без затруднения в Швейцарской конфедерации. Однако, *прямое народное правление* (таково название, данное этой системе во Франции, название неточное, так как дело идет о регулировании отправлений законодательной власти, а не исполнительной) вызвало среди республиканцев и даже среди эмигрантов горячую полемику. Между ними стали возникать раздоры, напоминавшие времена первой революции. Луи Блан опубликовал брошюру, озаглавленную: «Довольно жирондистов!». И здесь, под видом защиты чистой доктрины якобинцев и конвента, он выражал опасения, чтобы судьбы страны не попали в руки людей невежественных рутигеров с ложными взглядами. Историк должен отметить это недоверие к народному голосованию; этим недоверием объясняется презрение, которое с тем большим основанием проявляют правящие классы, к политической компетентности масс.

Мы уже знаем, что республиканцы, как и монархисты, отдавали предпочтение сильному правительству; что сторонники местных и личных свобод были в меньшинстве в Собрании, как и в стране. Принцип власти, столь победоносный, имел также своих теоретиков. Я из них приведу только двух. Эмиль де Жирарден,

в газете *Печать*, начинает с отрицания народного суверенитета; следовательно, не нужно никаких законодателей. «Законы для общества то же, что для зданий леса, служащие при постройке их; когда здания выстроены, леса не только ни к чему не нужны, они даже вредны».

Достаточно было бы уголовного закона, принятого всеми единогласно и наказывающего за всякий несомненный вред, причиненный свободе другого или его собственности. Жирарден не говорит нам, как установить это единодушие, как вотировать такой закон. Но, будучи анархистом наизнанку, он, отрицая пользу Собрания, как Прудон и Консидеран, не думает умалять, подобно им, значение исполнительной власти. Он развивает целый проект *прямого правления*. Он предлагает избрать, путем всеобщей подачи голосов, человека, который будет провозглашен *министром народа и мэром Франции*, с полномочиями на один год и с постоянным переизбранием. Одиннадцать следующих за избранным кандидатов, которые получат больше всего голосов, составят комиссию надзора и гласности и будут избираться на тех же условиях. Один правит, другие контролируют. В случае конфликта между мэром Франции и надзирающими над ним, народ решает спор. Если он переизберет первого, он признает за ним правоту; если нет, он признает его виноватым и этим самым решает его замену.

Что означает этот проект Жирардена? Это почти полная программа императорской конституции. Верховный глава, избранный плебисцитом и имеющий абсолютную власть, ограниченную только требованием утверждения его актов народом. Жирарден не задавался вопросом, а что если власть этого избранника окажется действительной и чрезмерной, а власть наблюдающих за ним, сведена к праву пустых заявлений о злоупотреблениях, и власть народа, с которым советуются только задним числом, окажется фиктивной и ничего не значущей? Своим мнимым уничтожением принципа власти он странным образом пришел к самому грубому деспотизму. Не следует поэтому удивляться, что Жирарден оказался в числе тех, которые довольно быстро присоединились к верховному главе, выдвинутому государственным переворотом; новый режим приближался к тому, о котором он мечтал; он льстил его тщеславию изобретателя. В этом смысле его система, которая могла бы сойти за фантазию человека, стоящего особняком, является одним из симптомов того настроения умов, которое помогло утвердиться второй империи.

В этом же смысле можно указать на *систему позитивной политики*, которую Огюст Конт стал печатать в 1851 г. Для него также не существует народного суверенитета, нет даже индивидуального права; личность—абстракция. Желая найти принцип общественности, сближающей людей, он стал его искать в общей вере и хотел основать Новую Церковь, которая явится духовной диктатурой, которая будет давать советы, будет классифицировать и судить. Что касается материальных интересов, то они будут регулироваться главами промышленности, которые составят светскую диктатуру и будут действовать и распоряжаться. Стюарт Милль называл это «наиболее полной системой духовного и светского деспотизма, которую когда-либо выдумал человеческий мозг, за исключением, может быть, системы Игнатия Лойолы». То, что она развилась в философском мозгу, показывает, до какой степени реставрация власти была в то время идеей, носившейся в воздухе, и этим объясняется, почему и Огюст Конт сам был вначале одним из сторонников государственного переворота.

Но в буржуазном мире существовала в то же время тенденция лишить государство всякой прерогативы, по крайней мере, в экономической области. Экономисты охотно повторяли слова Бентама по адресу государства: «не заслоняй мне солнца!». С трудом можно себе представить, до чего доходило их недоверие к нему. Жозеф Гарнье хотел отнять у него право чеканить монету; другой—право преподавания. Молинари был не прочь от мысли предоставить частной инициативе полицию и национальную общину. Началась непрестанная борьба по вопросу о вмешательстве государства в отношения между хозяином и рабочим; экономисты восстали против этого всеми силами и провозглашали свободу промышленности, которая, не будучи связана равенством, является только угнетением более слабых. Часть буржуазии сознавала это и соглашалась в некоторых случаях на исправление государством весов, фальсифицированных прежними законами; но большинство зажиточного класса пользовалось принципом непротивления, чтобы сохранить свои привилегии, от-

вергая всякое видоизменение экономической организации с тем, чтобы отвергнуть этот же принцип, лишь только он станет аргументом в пользу свободы коалиций или обмена; так как в интересах буржуазии заставить государство покровительствовать производству и продаже своих продуктов, то она признавала, даже требовала в свою пользу того вмешательства, которое, когда оно шло на пользу других, объявлялось ею антинаучным и негодным.

Мне нет надобности долее останавливаться на этом, потому что и так ясна крайняя запутанность теорий, которые скрещивались между собой в эти годы мозгового возбуждения, и благодаря которым все теоретики и все группы были одновременно и противниками и союзниками. Я желал бы, чтобы краткое изложение, только что набросанное мною, осветило тот путь, по которому мы теперь проследим осуществление этих взглядов в жизни.

После теорий пора перейти к экономическим *законам и фактам*. Мы их разделим на три категории, сообразно их отношению к *производству, обращению и распределению* богатств.

ПРОИЗВОДСТВО.

ГЛАВА III.

Право на труд.

У каждой эпохи есть своя манера ставить тревожные проблемы, и было бы нелепым и излишним упрекать ее за то, что она не поставила их иначе. Люди 1848 г., идеалисты и рационалисты, должны были придать юридическую форму стремлениям трудящихся к лучшей социальной организации. Они говорили: «Каждый член общества должен иметь возможность существовать. Если у него нет собственности, он имеет право жить своим трудом». Они, следовательно, требовали от общества признания и внесения в конституцию *права на труд*.

Не следует говорить так, как часто говорили: какое значение имеет новый закон на бумаге? Даст ли это теоретическое признание пищу тем, кто умирает с голоду?—Нет, без сомнения; но провозглашение нового права всегда важная вещь. Даже не осуществленное, даже оставаясь в положении несоблюдаемой статьи общественного договора, признанное и освященное таким образом право служит как бы закладкой будущего здания. Один тот факт, что оно формулировано, беспокоит совесть тех, кто его нарушает, и служит поддержкой и стимулом для требований тех, кто желает его осуществления на деле. Оно не позволяет забыть, оно держит на очереди дня проблему, идеальным решением которой оно как бы является. Люди того времени не обманывались в этом. Сторонники и противники права на труд защищали и оспаривали его с равным ожесточением. И на самом деле, допустить его или отвергнуть значило подтвердить, что революция 1848 года должна или не должна быть социальной.

Идея этого права восходила, по меньшей мере, к Монтескье. Разве он не писал: «Милостыня, поданная голому человеку на улице, не заменяет собою обязанности государства, которое должно предоставить всем гражданам обеспеченное существование, пищу, приличную одежду и род жизни, который не был бы вреден его здоровью». Ее можно отметить и у Руссо: «Всякий человек имеет естественное право на то, что ему необходимо». Ее можно было бы найти в указе, изданном Тюрго в 1776 г., и естественно она опять появилась в более чистом виде во время первой революции, в тот момент, когда трудящийся, став гражданином, не хотел больше милостыни, а требовал во имя человеческого достоинства возможности добывать средства к жизни трудом. Тарже предложил Учредительному Собранию 1789 г. следующую статью, которая должна была быть внесена в *Декларацию прав человека*: «Политическая организация обязана предоставить каждому человеку средства к существованию *посредством или собственности*, или *труда*, или *вспомоществования со стороны себе подобных*». Предложение это было отвергнуто, и Малуэ, представивший практический план уплаты этого долга общества, также не имел успеха. Конвент был более смел, более благороден. Конституция 1793 г. говорила в статье 21-й: «Общественная помощь—священный долг. Общество обязано заботиться о существовании несчастных граждан, *или доставляя им работу*, или обеспечивая средства существования тем, которые не в состоянии работать». Но эта конституция не применялась. План Баррера об

уничтожении нищеты не был осуществлен. Обязанность, возложенная на государство, осталась мертвой буквой; она даже исчезла из хартий и конституций, которые дала себе или которым подчинялась Франция. Она воскресла в социалистических теориях; Бабеф намекнул на нее; восставшие лионские рабочие написали на своем знамени следующий трагический девиз: «Жить, работая, или умереть, сражаясь». Фурье с своей стороны сказал: «Мы провели века в спорах о правах человека, не думая признать самое существенное из них, право труда, без которого другие права ничто». Но если Фурье может сойти за отца этой формулы, то Консидеран вскормил ее. Луи Блан, Пеккер и вместе с ним и демократы приняли ее, популяризировали; сам Ламартин признавал ее в некоторых исключительных случаях. Она стала лозунгом для рабочих, и не следует удивляться, если после 25 февраля временное правительство потребовало провозглашения ее. Известно торжественное обещание, которое было результатом этого требования. Забота о выполнении его перешла к Учредительному Собранию. Вопрос предстал целиком перед *Комитетом конституции*.

Консидеран защищал его в следующих словах: «Если это право не будет ясно признано, рабочие будут думать, что революция еще раз одурачена». Он указывал на него, как на коррелатив права собственности, и прибавлял: «те, у кого нет земли, которая не есть произведение человека, должны иметь эквивалент». Одилон Барро, Коккерель, Ш. Дюпен напали на него, заставив перенести спор на вопрос о средствах осуществления. Большинство сошлось однако на формуле, составленной Кормененом: «*Право на труд есть право каждого человека жить, работая: обществo должно при помощи общих и производительных средств, которыми оно располагает в настоящем и которые будут организованы впоследствии, доставлять работу трудоспособным людям, которые не могут иначе достать*

Статья 2.—Конституция гарантирует всем гражданам: свободу, равенство, безопасность, образование, труд, собственность, помощь.

Статья 132.—Существенные гарантии права на труд суть самая свобода труда, добровольная ассоциация, равенство отношений между хозяином и рабочим, бесплатное обучение, профессиональное воспитание, учреждения попечительные и кредитные и устройство государством крупных общественных работ, имеющих своим назначением занять незанятые руки в случае безработицы.

свое занятий». В такой форме это право фигурирует в проекте, представленном 19 июля Учредительному Собранию. Два других пункта подкрепляли эту статью:

Но наступили июньские дни. Тотчас началось попятное движение. Всем бюро собрания было поручено рассмотреть проект, и восемь из пятнадцати бюро были того мнения, что нужно отвергнуть то, что Консидеран называл «началом права рабочего». Началось сражение в частности между Тьером, представителем третьего бюро, и Кремье, представителем десятого, и когда комитет в августе пересмотрел первоначальный текст, право на труд было отвергнуто громадным большинством. Три статьи, признававшие его, заменены были двумя другими, гласившими следующее:

Ст. VIII (вступления).—Республика должна защищать гражданина в его личности, его семье, его религии, его собственности, его труде и сделать доступным каждому необходимое всем людям образование; *она должна дать возможность существовать нуждающимся гражданам, доставляя им работу в пределах своих ресурсов*, или давая, в случае отсутствия у них семьи, средства существования тем, которые не в состоянии работать.

Статья 13 (конституции).—Конституция гарантирует гражданам *свободу труда* и промышленности.

Общество *покровительствует* и *поощряет развитие труда* при помощи начального бесплатного обучения, профессионального образования, равенства отношений между хозяином и рабочим, учреждений попечительных и кредитных, добровольных ассоциаций и устройства государством, департаментами и коммунами общественных работ, предназначенных занять незанятые руки.

Марраст (Marrast) сказал в своем докладе: «Форма изменилась; сущность остается та же». Ничего нельзя себе представить более неточного и никто в этом не обманывался. С одной стороны, формальное право не собственника превратилось в эластичный долг общественной помощи по отношению к «нуждающимся». С другой стороны, обязательство доставлять работу безработным было заменено обязательством защищать граждан в их труде; это было совсем другое дело. Наконец, вместо гарантий, предоставленных пролетариям, было только неопределенное обещание «покровительствовать и поощрять развитие труда». По поводу этих-то подслащенных текстов открылись дебаты в Собрании. Уже Жан Рейно вызвал прения, предложив нечто вроде контр-проекта, в котором он между прочим сказал: законы «имеют целью обеспечить всем членам общества при помощи деятельно-

сти частных лиц или государства «естественные условия жизни: собственность, семью, физическое, умственное и нравственное развитие». Вследствие этого, «существование будет обеспечено всем гражданам посредством труда, ограниченного надлежащим образом». Но не вотируя по существу, Собрание перешло к очередным делам. Отсроченные дебаты возобновились в свое время блестящие и торжественные; какое важное значение им придавали, ясно видно из следующей фразы Тьера: «Все человечество слушает нас».

Настоящий бой начался по поводу поправки, предложенной убежденным демократом Матье де ля Дром. Она заключалась в замене статьи VIII следующей:

„Республика должна защищать гражданина в его личности, его семье, его религии и его собственности. Она признает право всех граждан на образование, труд и помощь".

Записались по этому вопросу двадцать один оратор. Девять из них, которые не говорили, напечатали свои речи. На этом турнире ораторов можно было наблюдать столкновение трех взглядов, представлявших три группы, о которых я говорил в предшествующей главе, и расходившихся (прошу верить, что симметрия здесь не при чем) по трем существенным пунктам.

Разногласие возникло сперва по поводу *понимания роли государства*. Роль его в экономической области отрицательная, говорил Тьер, вместе с экономистами. Его политикой должна быть политика самоустранения. Билло, будущий министр империи, в то время кокетничавший с демократией, сказал: «когда рабочий, все богатство которого заключается в его руках, по доброй воле является к обществу, заявляя: — я готов работать, но не нахожу работы—может ли общество ответить ему:—я ничего не могу для тебя сделать, умри, я тебя забуду»—и прибавил: «против такой бесчеловечности восстанет все Собрание целиком». В этот момент несколько голосов прервали его криками: «вовсе нет, вовсе нет!». Для подкрепления этого правительственного нигилизма Тьер и другие пытались доказать, что признание права на труд было бесполезно; что, благодаря машинам, положение рабочих силью поднялось; что доля заработной платы в стоимости продукта стала больше, чем прежде; что, следовательно, прибыль предпринимателей уменьшилась; что именно последние

нуждались бы в помощи государства, если бы государство должно было вообще помогать одному классу граждан за счет других. Токвиль привел другой аргумент. Он упрекнул социалистов и рабочих в том, что у них низменные аппетиты, что они занимаются исключительно материальными интересами, что они таким образом взывают к самым грубым страстям. Когда Матье де ла Дром напомнил, что голод и жажда часто делают революцию, поднялся ропот против этого материалистического толкования истории. Соглашались на одну только личную благотворительность, и Тьер произнес похвальное слово милостыне, которая, по его мнению, не заключала в себе ничего унизительного и являлась проявлением самой христианской из добродетелей.

Комиссия, менее черствая, соглашалась на то, чтобы государство было органом коллективной благотворительности. Она даже хотела признать за ним долг по отношению к «нуждающимся» гражданам, но не хотела допустить, чтобы этот долг породил, как это обыкновенно бывает, соответствующее право. Говорят, будто опасались, как бы внесение этого права в закон не позволило каждому безработному гражданину требовать работы у общества или даже у отдельных личностей. По существу в этой аргументации заключался крупный философский вопрос: вопрос об отделении долга справедливости от долга милосердия. Кузен опубликовал по этому поводу брошюру, которую улица Пуатье распространила во многих экземплярах. Он противопоставил в ней ограниченные или совершенные обязанности и обязанности широкие или несовершенные; первые строго обязывают людей и притом с санкцией гражданского закона, запрещая им, например, под страхом штрафа или тюремного заключения, красть, оскорблять, ранить, убивать, создавая в некоторых случаях положительные обязательства, как, например, кормить своих нуждающихся родителей, защищать отечество, повиноваться законам и т. д.; вторые (эластичная и неплотная ткань, которая сокращается или растягивается по мерке каждой индивидуальной совести) можно по желанию выполнять или пренебрегать ими, соответственно благородству отдельных лиц; таковы, например, обязанности, предписывающие помогать себе подобным. Первые могли относиться к политической области, входить в законодательство; вторые, напротив, относились к области чистой морали;

исполнение их можно было советовать, но не предписывать. Однако, комиссия отнесла на счет государства широкую обязанность доставлять работу тем, у кого ее нет. Это—долг, который государство уплачивает, когда имеет возможность. В общем ничего не изменилось в том, что существовало раньше, так как сама монархия допускала и организовывала общественную помощь, благотворительные мастерские.

Матье де ля Дром и его друзья боролись против этой узкой концепции и хотели, чтобы государство было фактором солидарности, объединяющим членов одного и того же общества. Многие из них, Ледрю Ролен, Кремье, сам Матье де ля Дром, вовсе не были социалистами, и заявляли об этом во всеуслышание. Но перед лицом нищеты, ясно доказанной недавним восстанием, они требовали от общества положительного обязательства не только доставлять людям работу, когда оно будет располагать таковой, но и организовать дела таким образом, чтобы не было недостатка в работе в случае безработицы в частных мастерских, чтобы никто не подвергался опасности умереть с голоду за неимением возможности получить средства производства. Они напоминали, что в разгаре июньских дней Собрание возобновило обещания, которые дало трудящимся временное правительство: «Рабочие, вас обманывают, вас вводят в заблуждение; хлеба достаточно для всех, конституция гарантирует навсегда возможность существования для всех». Они говорили, что благотворительность—прекрасная добродетель, которая, без сомнения, получит награду в другом мире, но что общество, занимающееся этим миром, имеет иные обязанности, чем простые частные лица; что цивилизация и революция обязывают; что прогресс для народов заключается в том, чтобы все больше и больше расширять область справедливости за счет того, что раньше предоставлялось усмотрению доброты. Они не говорили (потому что они старались не возбуждать своих противников), но они могли бы сказать, что едкой иронией со стороны очень состоятельных и хорошо питающихся людей звучит обвинение в материализме рабочих, которые в награду за победу просили только обеспечить им возможность работать. Они только возражали, что социалисты и пролетарии больше, чем кто-либо, заслуживали название людей идеи. Но все усилия изменить роль государства были

нейтрализованы одной мыслью, которая одинаково была присуща обеим сторонам; это—мысль о том, что по существу право на труд связано с новой экономической организацией, и это было вторым пунктом дебатов.

Стали повторять слова, сказанные Прудоном в финансовом комитете: «дайте мне право на труд, я вам оставлю собственность». Он хотел сказать, что нельзя организовать одно, не изменяя организацию другого. Думали или притворялись, что думают, будто дело идет об уничтожении частной собственности, и вопрос о собственности был внесен в прения.

По этому вопросу было только два мнения. Никто не требовал уничтожения частной собственности. Но некоторые рассматривают ее как нечто абсолютное, неизменное, неприкосновенное. Разве Ламартин не заявил, что он боготворит ее и ставит на алтарь? Другие полагали, что она подлежит, как и всякое человеческое учреждение, эволюции и может, сообразно времени, иметь больше или меньше прерогатив.

Тьер, ее защитник, изображает ее учреждением вечным, существовавшим во все времена и во всех странах (и с этим можно согласиться при том только условии, если прибавить, что индивидуальная собственность и собственность коллективная всегда существовали вместе, но пропорциональное отношение одной к другой крайне изменялось, а это взаимоотношение и составляет сущность экономической проблемы). Но, не делая этого необходимого различения, Тьер приписывал собственности божественное происхождение, указывая на неразрывность ее с человеческой природой, которая есть произведение Творца. Чтоб узаконить ее, он выставлял ее фундаментом труд. Первые люди, которые огородили и возделали участок земли, стали ее собственниками, затем передали ее своим детям; так как право наследства такое же естественное или божественное право, как и собственность, то владение землей и ее продуктами оказалось таким образом установленным и урегулированным навсегда. Гражданский закон только санкционировал собственность: он не создавал ее. Конституция может и должна гарантировать ее; она не может ни ограничить, ни изменить ее; что же касается права на труд, т.-е. права для пришедших позднее иметь доступ к орудиям труда, которыми завладели более счастливые, то оно есть в общем право

на собственность другого. Ибо работу им можно доставить только путем налога, являющегося вычетом из собственности. Но этого нельзя требовать и предписывать, если только не допустить, что собственность—привилегия, дарованная некоторым в ущерб другим; а так как эта гипотеза отвергнута с самого начала, то оставалось только осудить право на труд, что и сделано без всяких колебаний.

Этой поверхности теории Тьера, смело измышлявшего в области исторических и доисторических времен, Матье де ла Дром противопоставил совершенно другую концепцию. Он осмеял эту собственность «милостью Божьей», которая казалась ему не более почтенной, чем королевская власть «милостью Божиею». Вместо того, чтобы искать ее происхождения на небе, оно изображает ее вполне человеческим институтом, покоющимся, по определению Фенелона, на написанном праве, или, по выражению Мирабо, на всеобщем согласии членов общества. Но то, что одни люди сделали, другие люди могут переделать, изменить. И, по его мнению, так как земля стала монополией ограниченного количества владельцев, так как, вследствие расширения этой частной собственности, право охоты, рыбной ловли, сбора плодов, пастьбы, предоставленное всем людям в первобытных обществах, мало-по-малу исчезло, то справедливо и необходимо, чтобы теперь существовала компенсация для тех, которые, являясь на свет, находят землю и все, что на ней, занятыми, захваченными, скупленными. Такой компенсацией является право на труд. Как сказал другой оратор, труд, это—собственность бедняка, и она должна быть гарантирована государством совершенно так же, как собственность богача.

Те, которые защищали это положение, отметили следующее вопиющее противоречие. Закон наказывает нищего, бродягу; человека, который не работает, он должен, следовательно, обеспечить работу тем, кто, желая работать, не находит занятий. Закон наказывает за детоубийство, потому что считает человеческую жизнь священной, он должен, следовательно, доставить работу родителям, которые не могут кормить и воспитывать своих детей, когда им отказывают в оплачиваемом труде, являющемся единственным средством существования для их детей и для них самих. «Пролетарии,—сказал с своей стороны Арно де л'Арьеж,—

принуждены платить налоги, особенно налог кровью: защищать в случае опасности родную землю, т.-е. собственность богачей. Последние прекрасно умеют тогда провозглашать выгоды солидарности между согражданами; почему же они отказываются от повинностей, отвечая беднякам, желающим работать: поступайте как хотите!».

Сторонники поправки выставляли ее, как примирение, как попытку справедливого соглашения между двумя классами, составляющими общество. Они спрашивали у своих противников, хотят ли они основать демократию или увековечить режим привилегий. Они предлагали вписать право на труд в конституцию не как обязательство немедленно уничтожить нищету, а как обещание на будущее время, что даст рабочим мужество и терпение ждать, пока его выполнят. Но это была как раз та будущая организация, которая ужасала буржуазную часть Собрания. Она не хотела ее ни в настоящем, ни в будущем. Хотя социалисты благоразумно устранились от участия в дебатах, все-таки каждую минуту вспоминали, что Прудон выставил право на труд, как начало ликвидации существующего общественного строя. Дювержье де Бранн цитировал следующие слова Видаля: «Право на труд, создают ли это или нет, необходимо связано с организацией труда». Ссылались на то, что Консидеран сказал почти то же самое. Указывали, что всякое признанное право должно выполняться без замедления; и мало-по-малу прения перешли к третьему пункту, к вопросу о путях и средствах.

Он не обсуждался по существу. Но Токвиль и Тьер воспользовались им, главным образом, для того, чтобы разбить социалистические системы. Они указали, не без основания, что для того, чтобы государство стало попечителем безработных всех профессий, оно должно было бы иметь во всех местах под своим управлением всякого рода мастерские; что смешно поручить делать земляные насыпи ювелирам или граверам и дать соху или кирку рудокопа в руки рабочих, выросших в Париже. Но, прибавляли они, ведь не может быть вопроса о государстве, фабриканте, коммерсанте, земледельце, предпринимателе или пайщике всех отраслей промышленности. Это дело невозможное!—убежденно восклицал Тьер.—Но это говорилось, только чтобы уклониться от вопроса. Речь шла именно о том, чтобы установить, не может

ли труд быть обеспечен всем при помощи организации обширных профессиональных ассоциаций, действующих под контролем государства; но социалисты составляли тогда ничтожное меньшинство, в особенности в Собрании; им приходилось говорить о своих проектах перед большинством, столь же враждебным, как и не понимающим их проектов; Луи Блан был в изгнании. Однако, Тьеру, крикнувшему им: «Спуститесь, наконец, со своих облаков, представьте нам ваши идеи!»—ответил, приняв вызов, больной Консидеран. Он думал, что владеет секретом доставить работу всем, только он не мог в несколько минут, в импровизированной речи, показать рождение нового мира; он предложил Собранию выслушать его не в обычных заседаниях, где обсуждение текущих дел отнимает все время, а в четырех вечерних заседаниях, совершенно необязательных, куда могут притти те, кто желает просветиться по этому предмету. Председатель отказался поставить на голосование это предложение, ссылаясь на то, что Собрание—не ученический класс, нуждающийся в уроках, и Консидерану пришлось отложить надолго изложение практических средств, как он их себе представлял.

Почувствовав себя сильными, благодаря молчанию социалистов, Тьер и Токвиль заявили, что вопрос о коммунизме не подлежит обсуждению, что это рабство, смерть личной инициативы, прекращение труда, превращение человеческого общества в общество пчел и бобров; что ассоциация, которую Луи Блан проповедывал и которую Тьер при закрытых дверях назвал «самой смешной из всех утопий», потерпела жалкое крушение; что взаимный и бесплатный кредит, превознесенный Прудоном,—химера; что в общем право на труд заключается в том, чтобы давать сорок су в день рабочим, не имеющим работы по своей или не по своей вине; что это неизбежно кончится национальными мастерскими и следовательно, гражданской войной, восстанием.

В конце своей речи Тьер особенно настаивал на финансовых соображениях. Прежде всего казна была пуста, да если бы она и была в хорошем состоянии, на нее нельзя было бы возложить новой повинности, потому что это была казна бедняка, составившаяся главным образом из денег наиболее многочисленного класса, который был в то же время наименее состоятельным. Это было странное признание в его устах. Тьер рискнул

на него из желания противопоставить городскому пролетариату другую часть пролетариата. Действительно, он утверждал, что брать из бюджета для облегчения нищеты рабочих—значило бы поступать несправедливо по отношению к крестьянам.

Его противники, опасаясь осуждения, которое тогда вызывала всякая идея, носившая социалистический характер, удовольствовались предложением мер, которые не требовали бы от государства или собственности никакой тяжелой постоянной жертвы. Матье де ла Дром требовал поощрения земледелия, чтобы вызвать отлив излишка населения предместий в деревни. Другие желали развития добровольных ассоциаций, которые, мало-по-малу, окрепнув, могли бы оградить своих членов от безработицы. Иные говорили, что национальные мастерские—только паллиатив, временное складочное место для страдающего населения, что вполне возможно сделать что-нибудь другое и сделать лучше, например, устраивать колонии, расчищать землю под пашни, постепенно открывать всем членам общества доступ к земледельческой и промышленной собственности и т. д.

Большинство не отвергало этих неопределенных средств улучшения, которые беспорядочно перечислены в статье 13-й. Но оно было неумолимо по отношению к принципу права на труд. Глез-Бизуен попытался было внести в поправку Матье де ла Дром следующий смягченный текст: «право на существование трудом». Поправка была отвергнута 596 голосами против 187. Монархисты и умеренные республиканцы, доктринеры и католики вотировали против. Смысл этого голосования довершало то, что статью 13-ю, гарантирующую *свободу труда и промышленности*, можно было толковать как отрицание за государством права вмешиваться в отношения между рабочим и хозяином. Это так хорошо соответствовало мысли большинства, что поправка Жана Рейно, предложившего прибавить к этой двусмысленной формуле слова: «под защитой законов и надзором государства», была отвергнута.

Этим непризнанием права на труд парламент поистине завершил дело подавления пролетариата в июньские дни. Это решение произвело сильное впечатление во всех странах, где социальный вопрос был поставлен в таком же виде. «Чувствовалось, писал Квентэн-Бошар, что дебаты шли о вопросе жизни и смерти

для общества. Если победа была трудна, то сколько она наделала шуму во Франции и в Европе! Это было как бы победой цивилизации над варварством.

2-го ноября, в день Мертвых, вопрос о праве на труд снова предстал перед Собранием. Во время второго чтения конституции Феликс Пиа предложил следующую поправку к статье VIII:

„Республика должна защищать гражданина в его личности, его семье его религии, его праве собственности и праве труда".

Его речь, блестящая и задорная, возбуждала больше страсти, чем мысли. Оратор, между прочим, указал, что труд ничуть не противоречит собственности, что он, напротив, является средством сделать ее общедоступной, демократизировать ее. Он выдвинул следующий контраст: в праве на труд отказывают дрожащимся люди, из которых многие пользуются правом на безделие. Он заявил, что конституция будет неполной, если она не провозгласит, как всякая великая человеческая хартия, ничего нового. Его призвали к порядку, когда он сказал, что народ, кредитор республики, предоставив ей на три месяца кредит, на четвертый месяц аккуратно явился внести свой протест от имени нищеты. Феликс Пиа получил только 86 голосов, в числе которых не было даже голоса Прудона,—на 100 голосов меньше, чем Матье де ла Дром. Реакция шла быстрым темпом.

Право на труд было похоронено, что не помешало ему воскреснуть в Пруссии, где Бисмарк в 1884 году оказался его неожиданным поборником, во Франции, где оно было предметом петиций, исходивших от бывших фурьеристов в 1891 году, в Швейцарии, где оно было поставлено на народное голосование в 1893 г. Но что касается 1848 года, то оно не могло тогда иметь иной участи. Никто не утверждал, что оно само по себе незаконно. Не опровергали вовсе следующего аргумента: человек, родившийся без другой собственности, кроме своих рук и своих способностей, в обществе, где все орудия труда—земли, дома, рудники, машины и т. д.—уже присвоены, может выбрать только одно из трех решений, если не желает стать вором или убийцей: эмигрировать, умереть или получить работу, которая даст ему средства к жизни. Если допускают, что этот человек, который повинен разве только в том, что не нашел мешков с золотом или процентных бумаг в своей колыбели, не может быть осужден ни на изгнание, ни на смерть, то следует заключить, что он имеет право требовать от общества, тяготы которого он несет на себе, возможности работать. Право на труд только следствие права на существование. Но не следует строить иллюзий насчет его содержания. Если оно не ведет к уничтожению собственности, то оно ведет к преобразованию экономического строя. Оно предполагает существование коллективистского общества, которое, сохраняя нераздельной наибольшую часть собственности, одно только могло бы гарантировать всем доступ к средствам производства. Это и было понято социалистами, так же, как и их противниками. Как стремление небольшого меньшинства, оно не нашло места в конституции, которая ничего не предполагала изменять в капиталистическом строе. Это значило (да простят мне это выражение) надеть хомут с хвоста. Провозглашение его было преждевременно. Оно могло означать, что социальная революция совершилась или скоро должна совершиться. Для осуществления этого права требовался ряд изменений в кодексах, институтах, нравах и умах. Оно могло быть только конечным пунктом, а не исходным: завершением длинной эволюции, но не началом ее.

ГЛАВА IV.

Организация труда.—Луи Блан и Люксембургская комиссия.—Производительные общества рабочих.

Мы видели, что право на труд тесно связано с организацией труда. Таким образом мы подошли к рассмотрению того, что было сделано для изменения этой организации.

Самый ожесточенный враг Луи Блана, Прудон, писал: «организация труда—такова проблема февральской революции, и эту проблему поставил Луи Блан». Справедливо, следовательно, отвести здесь почетное место Луи Блану.

Он поставил перед собой идеал, т.-е. отдаленную цель и совокупность средств, пригодных для осуществления этой цели, т.-е. переходную систему, служащую мостом между настоящим и будущим; но как все социалисты его времени и как многие социалисты всех времен, он сделал ошибку, отчетливо их не раз-

граничив. Мы уже знаем, что, увлекаясь гармонией и единством, он хотел превратить общество в большую семью, где каждый производит по своим силам и получает по своим потребностям. Нельзя оспаривать высокой моральной ценности этой идеала, который предполагает, что сильные любят и поддерживают слабых; что люди, имеющие превосходство над другими, признают за собой не больше прав, а больше обязанностей, чем другие; что сила самоотверженности увеличивается по мере восхождения по человеческой лестнице. К сожалению, он предполагает человечество более совершенным, чем то, среди которого мы живем, излечившимся от крайностей своего эгоизма долгой практикой солидарности. Таким образом этот идеал был только путеводной звездой, за которой можно было следовать, без надежды достигнуть ее. Это была руководящая идея, но это не была идея немедленно осуществимая.

Но пока более счастливые и более добродетельные поколения, чем наши, сумеют создать общество, способное обеспечить всем своим членам одинаковое развитие неодинаковых способностей и одинаковое удовлетворение неодинаковых потребностей, какие меры могли бы проложить дорогу в этом направлении. Здесь мы выходим из области абсолютного, чтобы войти в область относительного.

Луи Блан подошел к вопросу со стороны производства. Он был особенно поражен теми бедствиями, которые порождала конкуренция. Конкуренция, это—война интересов; поединок хозяев с рабочими, хозяев с хозяевами, наций с нациями; это—постоянный конфликт, создающий победителей и побежденных, эксплуататоров и эксплуатируемых, вызывающий во всем мире разделение людей на богатых и бедных, на миллионеров и нищих. Нужно, значит, убить конкуренцию. Быть может, Луи Блан не знал, что конкуренция может быть плодотворной, когда, лишенная своего яда, она уже больше не является желанием раздавить соседа, а простым соревнованием, стремлением сделать лучше, чем другие, и превзойти самого себя. Как бы то ни было, чтобы прекратить жестокую борьбу между собою личностей и классов, Луи Блан хотел обратиться к помощи объединения, которое сделало бы солидарными противоположные интересы. Он стал миссионером ассоциации.

Но он не рассчитывал на одну частную инициативу, чтобы пустить в ход весь механизм; он желал содействия государства. Не то, чтобы он хотел отдать все государству.—«Это,—говорил он, идея сен-сюмонистская, а не моя!». В политической области он ставил выше закона некоторое число неприкосновенных свобод, которые он перечислял (свободу печати, совести, союзов, собраний, право на труд). В экономической области он не требовал, чтобы государство было производителем всех необходимых предметов потребления; он желал только, чтобы государство создало то, что он называл моделью будущего общества; чтобы оно помогло создать объединения, которые явятся зародышами будущего мира равенства. Для этого нужно, чтобы государство субсидировало, выдавало ссуды, поощряло производительные союзы рабочих, в случае необходимости предоставляя в их распоряжение заведения, купленные у хозяев, находящихся в стесненном положении; в этих объединениях рабочие будут сами выбирать себе управляющих, сами составят себе уставы; в них, без сомнения, будет иерархическое распределение работ, но все, за неимением пока возможности получать по своим потребностям, будут тем не менее одинаково оплачиваемы, так что эти *общественные мастерские* уже теперь явятся маленькими семьями, провозвестниками и подготовителями того, что осуществится впоследствии.

Луи Блану возражали, что, уничтожая неравенство заработной платы, он убивает личный интерес, парализует великий двигатель человеческой деятельности, уничтожает эгоистический стимул, который; без сомнения, иногда уступает место побуждениям более возвышенным, более благородным, но который является самым обычным и самым сильным в повседневной жизни. Он отвечал, что в *общественных мастерских* этот стимул будет заменен чувством чести, корпоративным духом, страхом прослыть за негодяя и вора, сознанием, что, работая для других, работаешь и для себя, что, кроме того, так как труд будет все, более сокращаться, благодаря машинам и увеличенному числу трудящихся, и станет более привлекательным, потому что будет более добровольным, леность постепенно исчезнет. Тем не менее это был один из самых уязвимых пунктов системы. Луи Блан представлял себе свои общественные мастерские так, как будто более альтруисти-

ческое человечество, на которое он возлагал надежды, уже существовало вокруг него. Он не считался также с трудностями для нескольких объединений, применяющих социалистические принципы, существовать среди общества, в массе своей покоющегося на капиталистических принципах.

Организацию этих общественных мастерских по данному образцу должно произвести государство, которое и научит их функционировать; но к концу года государство должно отстраниться, предоставив их самим себе. Тогда мастерские одной и той же отрасли промышленности войдут в сношения, чтобы уничтожить всякую конкуренцию между собою. Став силой, они будут устанавливать цены на рынке; они заставят таким образом частные мастерские исчезнуть или слиться с ними. Когда различные производства объединятся, они войдут в соглашение с сельскохозяйственными федерациями, основанными на тех же принципах, так что все общество обратится в обширный кооператив. Оно будет как бы человеческим телом, где все органы содействуют общей деятельности, не думая ссориться между собой. Ничто не помешает тогда народу объединиться и организовать производство, так что свободный обмен, уничтожение таможен, станет делом легким и необходимым.

Отдавал ли себе Луи Блан в этом отчет или нет, но он пришел к обществу более чем коллективистскому. Но, оставляя в тени этот вывод, он заявлял, что можно сохранить право наследования, что достаточно будет уничтожить наследование по боковой линии и передать это право коммунам, чтобы восстановить коммунальные имущества. Он повторял всем, кто хотел его слушать, что преобразование должно быть мирным, постепенным, что ничего не следует навязывать, что все должно произойти медленно, путем естественного развития ассоциации, растущей под попечительной опекой государства.

Я остановился на этих теориях Луи Блана, потому что он был не только председателем, но и главным вдохновителем *Люксембургской комиссии*. Его социализм был таким образом якобы официальным.

Правительственная комиссия по рабочему вопросу собралась 1-го марта. Но она создавалась медленно. Луи Блан, соответственно своему принципу примирения классов, хотел, чтобы она была смешанной, составленной из хозяев и рабочих. Но во Франции уже не существовало правильной корпоративной организации. Приходилось снова, (а это было делом чрезвычайной важности), создавать таковую. Каждой профессии предложено было назначить трех рабочих делегатов, что было кое-как исполнено; эти делегаты в количестве 242 *), в числе которых было несколько женщин, назначили по жребию 10 человек из своей среды в состав постоянного комитета. Такой же способ выборов был спустя несколько дней применен хозяевами, которые явились в числе 231. Затем начались прения в заседаниях, то общих, то частных.

Луи-Блан вполне лойяльно и наивно пригласил туда всех партийных деятелей, известных тем, что они интересуются социальными вопросами. Видаль, бывший секретарем комиссии; Пеккер, бывший одним из ее влиятельных членов; фурьеристы Консидеран и Туссенель, сен-симонисты Дювейрье и Жан Рейно приняли участие в прениях; Воловский, Дюпон-Вит, Ле-Пле представляли различные оттенки политической экономии и образовали оппозицию, которая более ярко выражалась вне комиссии в органе Леона Фоше «Revue des Deux Mondes», или Мишелем Шевалье в его «Письмах об организации труда». Прудон устранился, без сомнения, благодаря пренебрежительному молчанию, которым было встречено его письмо с предложением Луи-Блану чего-то в роде союза; Кабе отсутствовал, повидимому, по такой же причине. Оленд Родриг, Пьер Леру, Эмиль де Жирарден получили приглашение оказать свое содействие, но их не было в Париже, вначале, по крайней мере.

Когда ныне перечитываешь в *Moniteur* отчеты этой своего рода социалистической академии, то удивляешься красноречию, которое там было растрачено и израсходовано без толку, и терпению рабочих, которые в течение трех месяцев, до 27 апреля, усердно посещали «эту лабораторию идей». Понятным становится, почему Луи-Блану пришлось исчерпать для сдерживания их всю силу своей хрупкой и пылкой маленькой особы и подорвать свою популярность, обольщая их невыполненными обещаниями. Понятно также, что консерваторы, слыша постоянно раскаты грома над своими головами и не видя молнии, которая, наконец, блеснула

*) Это количество впоследствии увеличилось более чем вдвое.

бы, скоро освоились с этой постоянной угрозой и спокойно подготовляли под шумок действительный отпор этой социалистической болтовне. Но было бы несправедливо, если бы, как это делали и как еще теперь делают недостаточно тонкие историки, работу Люксембургской комиссии, которая, за недостатком средств и власти, остававшейся в руках тех, чье дело она на себя взяла, почти исключительно состояла из красивых речей и великих бумажных проектов, мы назвали неудавшимся социалистическим опытом. Главным образом и недоставало этой комиссии именно возможности делать какие бы то ни было опыты.

Работу ее можно изучить по «Общему очерку», составленному Видалем и Пеккером и появившемуся в сокращенном виде в «Moniteur», или по сочинению Видаля, озаглавленному «Февральская революция в Люксембурге». Луи Блан взял на себя труд представить ее в сжатом виде в своей «Истории революции 1848 года».

Работа эта отчасти выразилась детальным планом, который был представлен в Учредительное Собрание, но которого здесь не обсуждали и не читали; он исчез, унесенный, как и многие другие, большой реакционной волной, последовавшей за июньскими днями. Этот разносторонний план, в котором идеи Луи Блана были дополнены и подправлены Видалем и Пеккером, был резюмирован в форме законопроекта. Если рассматривать его только с точки зрения производства (он затрагивает также и другие проблемы), то вот его существенные черты:

Министерство труда, на обязанности которого лежит подготовить социальную революцию и которое из доходов от крупных предприятий, выкупленных государством (железные дороги, рудники, страховые учреждения и т. д.), составляет себе специальный бюджет, предназначенный, во-первых, на выдачу денежных ссуд рабочим ассоциациям; во-вторых, на основание земледельческих колоний. Чтобы иметь право на денежную помощь со стороны государства, ассоциации должны принять следующий порядок распределения своих доходов: $^1/_4$ на погашение капитала, принадлежащего собственнику, с которым государство заключило договор; $^1/_4$ на помощь старикам, больным, раненым и т. д.; $^1/_4$ делится между всеми рабочими; $^1/_4$ идет на образование запасного фонда, который вместе с фондами других производств должен составить неотчуждаемый капитал, принадлежащий коллективно всем, настоящую кассу пролетариата, постоянно увеличивающуюся и находящуюся в заведывании совета, который будет как бы главноуправляющим всех производств. В мастерских каждого производства должен быть фиксирован, сообразно состоянию рынка, дозволенный размер прибыли, а следовательно, и определено единообразие цен на продукты и заработная плата, которая будет изменяться в разных местностях таким образом, чтобы всегда равняться одному и тому же количеству товаров, и которая, кроме того, будет различна для различных категорий рабочих. Ибо Луи Блан делал уступку, допуская неодинаковую заработную плату, устанавливаемую решением самих заинтересованных лиц. Что касается земледельческих колоний, то они упомянуты в кратком виде в законопроекте Луи-Блана, но в «Общем Очерке» они занимают первое место. Их должно было быть по одной на департамент, в составе ста семейств, из которых треть должна была заниматься мелкими ремеслами, необходимыми для земледелия (изготовление телег, кузнечное ремесло и т. д.). Но не допускается никакой торговли! Каждая колония должна заготовить оптом все необходимые товары, которые она будет продавать своим членам по заготовочной цене. Она должна была вести крупное хозяйство и составлять нечто в роде рабочей слободы, где у колонистов будут отдельные квартиры и общие: библиотека, зала для собраний, ванны, прачешная, экономическая кухня. Позднее к этому будет прибавлена агрономическая школа и убежище для стариков. Земля под колонию будет взята из свободных земель коммун, из распаханных степей, а необходимый для эксплуатации капитал будет доставляться государством из 3%. Высчитали, что расходы на это для всей Франции составят 100 миллионов. Заработная плата и прибыль будут регулированы, как в общественных мастерских.

Не останавливаясь на серьезной критике системы, которая не функционировала, можно отметить в ней смесь химер и практических идей, что характерно и для социализма того времени. Химерой было предлагать буржуазному собранию создать министерство, «имеющее специальной миссией своей подготовление социальной революции», т.-е. предлагать постепенное самоубийство класса, представителем которого это собрание являлось. Некоторые

фабриканты, находившиеся в бедственном положении, охотно, повидимому, уступили бы свои заведения государству за известное вознаграждение. Но громадное большинство класса хозяев отвергло это предложение обречь себя на смерть, а рабочий класс не был ни достаточно организован, ни достаточно просвещен для того, чтобы дать этой проектируемой реформе солидную точку опоры. Опасно было, даже с точки зрения Луи Блана, восстановление вместе с учреждением «бюджета трудящихся» новых неотчуждаемых имуществ в пользу привилегированных организаций. Опасность заключалась также и в произволе, который вытекал из неточности некоторых положений. Кто будет устанавливать стоимость продукта, размер заработной платы, размер прибыли? Это было неясно. Нужно, однако, прибавить, что идея министерства труда не была нелепостью, ибо она была осуществлена в то время депутатами—несоциалистами в смягченном виде,—*Бюро труда*, где сосредоточивались все сведения, касающейся как земледельческого и промышленного производства, так и условий существования трудящихся; кроме того, впоследствии эта идея осуществилась вполне или отчасти в Бельгии, в Соединенных Штатах, во Франции. Сверх того, нужно признать, что, с одной стороны, переход в руки государства рудников, железных дорог, банкового дела теперь вошел уже в так называемую радикальную программу, и что, с другой стороны, современный международный социализм внес в число своих требований почти все требования Луи Блана: постепенное обобществление крупных средств производства, тесный союз земледелия и промышленности, стремление к коллективистскому обществу, разделенному на профессиональные ассоциации, которые будут распределять работу и регулировать производство продуктов сообразно потребностям, установленным статистикой.

Кроме этого общего плана, обреченного тогда на верную неудачу, Люксембургская комиссия потребовала еще различных мер, которые могли бы изменить режим труда и с которыми мы встретимся в дальнейшем нашем изложении. Это не все. Комиссия функционировала как бы в роли примирительного трибунала в экономических конфликтах, разразившихся после революции. Возникли распри между французскими и иностранными рабочими, как результат применения пара, который, облегчая и увеличивая средства сообщения, начал в то время превращать национальный рынок в рынок международный. Луи Блан в этих случаях отдавал предпочтение принципам братства, составлявшим одновременно и французскую традицию и сущность его социализма. Происходили споры между хозяевами и рабочими, недовольными заработной платой, продолжительностью рабочего дня, уставами мастерских. Желая сблизить капитал и труд, этих двух неразлучных врагов, он призывал к себе обе стороны; таким образом были предотвращены путем временных сделок стачки механических рабочих крупной фирмы Дерон и Кайль, кровельщиков, булочников, шапочников, рабочих в прачечных, обойных рабочих, извозчиков, грузчиков, кузнецов, ассенизаторов; жестяников, паяльщиков и каменьщиков. Это был зародыш, самопроизвольное зарождение нового института. Государство казалось прирожденным третейским судьей между классами населения, у которых оказались временно противоположные интересы. Луи Блан услужливо в течение трех месяцев играл роль великого мирового судьи в трудовом мире.

Но Луи Блан и Альбер 8-го мая отказались от председательства в комиссии, которая была этим ударом поражена на смерть. Заподозренная в социализме, 16-го мая она была закрыта без особого декрета; у нее отняли зал для собраний; на ее бумаги наложили арест. От нее остался только центральный комитет делегатов, который без шума, но не без политического влияния продержался до 1850 года, и небольшое число идей, которыми воспользовалось Учредительное Собрание через посредство своего *комитета труда*.

Обыкновенно говорят только о *Люксембургской комиссии*. Однако у нее были сестры, более скромные, которых не следует забывать. В Лионе, как и в Париже, была своя комиссия по организации труда, свой маленький Люксембург, который продолжал существовать до конца марта 1849 г. Заседания ее происходили в муниципальном дворце св. Петра. Она получала субсидию от генерального совета департамента Роны. Она насчитывала тридцать делегатов, занятых в различных ремесленных цехах, и рядом с ними адвокатов, торговцев, одного учителя и одного депутата. Она не ограничивалась мирным разрешением местных конфликтов; она посылала в комитет труда проекты,

напоминавшие собою проекты Луи Блана и Консидерана. В Марселе учредил рабочую совещательную комиссию комиссар Республики Эмиль Оливье. В Лилле Делеклюз председательствовал на собраниях, имевших целью установить «доброе согласие между хозяевами и рабочими». В Анжене, Крезо и т. д. представители власти выполняли ту же примирительную функцию.

Производственные ассоциации рабочих. Остается рассмотреть самую важную часть программы Луи Блана, ту часть, которая, по его мысли, должна была оказать наибольшее влияние на будущее. Дело шло о том, чтобы создать через посредство ассоциации зародыш социалистического общества; чтобы мирным путем передать трудящимся в собственность орудия труда; превратить наемных рабочих в членов ассоциации; наконец, сделать при помощи государства, опыт кооператива.

Кооперативная система, применяемая в производстве, обращении или потреблении, добивается всегда уничтожения убыточного посредника между двумя категориями лиц, находящихся в экономических отношениях. В данном случае хозяина и предпринимателя производства рассматривали как бесполезное и дорого стоющее колесо в машине. Если мы сравним капиталистическое общество с крепостью, то можно сказать, что Луи Блан атаковал ее с фронта, пошел на приступ с наилучше защищенной и наиболее трудной стороны,—смелый шаг, который мог бы оказаться удачным, благодаря своей неожиданности, но который, при наличии решительного и подготовленного врага имеет большие шансы окончиться пагубным поражением.

Производительные общества рабочих были не новинкой. Они существовали в Лионе с XVIII века. После 1830 года Бюше и Бастид опять взялись за эту идею и стали ее популяризировать. Католическая ассоциация золотых дел мастеров была основана в Париже в 1834 г. с следующим девизом: «Ищите царства Божия и его правды». В сущности, капитализм указал путь к социализму. Благосостояние крупных компаний доказало могущество ассоциированных капиталов. Не удивительно, следовательно, что при таком лихорадочном энтузиазме, который последовал за 24 февраля 1848 года, производительные ассоциации рабочих размножались и внушали своим основателям чрезмерные надежды.

Они были нескольких типов, соответствующих в общем различным моментам их истории.

Первый тип был социалистический, по крайней мере, по своей тенденции. Члены товарищества не имели в виду обеспечить только свою личную независимость и благосостояние; они стремились освободить весь пролетариат и уставы их были настоящими декларациями экономических прав рабочего класса. К этому типу принадлежали ассоциации, основанные под влиянием Луи Блана и при его содействии. Не имея ни одного су, чтобы доставить им первоначальный денежный фонд, он обошел затруднение. Он добился того, что им давали правительственные заказы и уступали свободные казенные здания. Таким образом тюрьма в Клиши (долговая тюрьма, оказавшаяся свободной вследствие временной отмены личного задержания за долги) превратилась в мастерскую, в которой водворилось *Братское общество парижских портных*. Оставалось доставить им прилично оплачиваемую работу, чтобы не понизить заработной платы работающих на дому, которые были как бы пролетариатом пролетариата. Город Париж заказал им 100.000 мундиров для национальной гвардии. Написав свой устав, они в количестве около двух тысяч взялись за работу и приняли некоторые решения, являющиеся отличительным признаком этих обществ, проникнутых духом равенства и братства. Все рабочие, как все военные одного чина, должны были получать равную плату (два франка за десятичасовой рабочий день). Ассоциация должна была оставаться открытой, доступной для всех товарищей, отличающихся хорошим поведением и достаточным знанием ремесла. Часть прибылей и фонды, оставшиеся в случае ликвидации, должны были итти в пользу других рабочих: это была доля, которая вносилась во имя солидарности рабочих. Вторая ассоциация — седельщиков, была организована таким же образом и получила, несмотря на протесты генералов, заказ на часть седел, изготовлявшихся в Сомюре рабочими-солдатами. Третья ассоциация—прядильщиков, получила на свою долю работу по доставке 100.000 эполет. В Лионе рабочим шелкового производства поручено было изготовлять шарфы и знамена; организованы они были на тех же началах.

Другие аналогичные общества создавались без чьей бы то ни было помощи, и уставы их прекрасно отражали скорее их благо-

родство, чем практичность. *Всеобщее, политическое и филантропическое объединение механиков и слесарей*, зародившееся в Париже 2 марта 1848 года, так формулировало свою цель: «Во-первых, мы должны поддерживать и защищать интересы всего рабочего класса, когда на них нападают. Во-вторых, мы приглашаем всех защищать их. В-третьих, мы все солидарны между собой». В Лионе *Союз рабочих*, предполагая взять на себя железнодорожные работы по линии Париж-Лион, заявил, что принимает за правила: братство, защиту слабых и попечение о будущем, равное распределение прибылей между трудом, знанием и капиталом. (Здесь можно узнать фурьеристскую формулу.)

Многие из этих обществ, стремившихся к социализму, исчезли после июньских дней. Однако в Лионе, где деятельность их дала себя меньше почувствовать, *Ассоциация рабочих портных департамента Роны* предполагала еще в апреле 1842 г. «заменить конкуренцию союзом» и для этого не давала отдельным личностям никакой доли в прибылях, из которых $^2/_3$ поступали в запасной фонд и $^1/_3$ в кассу братской помощи. В самом Париже в марте 1850 года *Всеобщее объединение рабочих бронзового производства* заявляло, что преследует следующие цели:

„*В экономическом отношении*, что касается производства, развитие своей отрасли промышленности, постоянное увеличение суммы или количества продуктов, все более и более простое, быстрое и совершенное изготовление их... а что касается распределения,—увеличение благосостояния производителей путем уничтожения паразитствующих посредников и ростовщического капитала через посредство обобществления орудий труда.

„*В моральном отношении*,—освобождение трудящихся путем уничтожения хозяев, союз сердец, чувств путем замены враждебной или завистливой конкуренции соревнованием, которое превращается постепенно в братское содействие; все более и более равное участие каждого в общественных функциях и удовольствиях; одним словом, установление порядка в производстве путем связи его с потреблением, путем солидарности усилий, интересов; единство, заменяющее дробление и антагонизм между деятельными силами; осуществление гармонии в труде, республики в мастерской, справедливости в распределении как обязанностей, так и социальных выгод".

Дата этого устава, составляющего полную программу, совпадает с тем видом *возрождения социализма*, которым отмечен конец второй республики.

Но с июня 1848 года стали преобладать общества типа более близкого к капиталистическому строю. Влияние Корбона заменило собой влияние Луи Блана. Мишель Алкан предложил 30-го мая открыть кредит в три миллиона, из которых один раздать в виде премий земледельческим и промышленным ассоциациям, образованным не только между рабочими, но и между рабочими и хозяевами. Предложение это, видоизмененное комитетом труда, было от его имени представлено Корбоном в момент самого боя 23-го июня. Отклоненное без обсуждения, оно вернулось с поправками 5-го июля и было принято. Три миллиона были целиком предоставлены двум видам производительных ассоциаций (чисто рабочим и смешанным). Они должны были быть распределены в форме ссуды, условия которой должен был регулировать совет поощрения, назначенный министром. Это казалось весьма щедрым. Эти общества были освобождены от всяких расходов на пошлины за документы, касающиеся их устройства. Несколько дней спустя им даже оказали ту милость, что их не только стали допускать без залога *) к поставкам с торгов и подрядам на общественные работы, но им еще отдавали преимущество пред частными предпринимателями при равенстве предложенных теми и другими условий. Однако, эти подарки государства оплачивались в действительности довольно дорого, так что некоторые ассоциации отказывались от них. Помимо того, что общая цифра субсидий была весьма скудной, если сравнить ее с 30 миллионами, находившимися в распоряжении хозяев по 1830 года, процент по ссудам доходил в общем до 6-ти, потому что больше преимуществ не хотели давать этим ассоциациям перед частными предприятиями. Корбон в своем докладе от 4-го июля заявил, что они должны быть подчинены условиям конкуренции, и сделал довольно язвительный намек на «некоторые доктрины, которые, под видом строгой самоотверженности и любви, взывают только к эгоизму». Он продолжал питать надежду на превращение наемных рабочих в членов ассоциации; но они должны были достигнуть этого собственными усилиями; помощь государства была только второстепенным придатком. Короче говоря, почти всецело индивидуалистическая концепция заняла место концепции социалистической.

*) Залог был заменен удержанием десятой части платы, которая должна была выдаваться каждые две недели.

Если помощь государства была так сильно сокращена, то совершенно иначе обстояло дело с его властью. Совет поощрения опубликовал для ассоциаций образцовый устав. Он рекомендовал им (а рекомендация людей, в распоряжении которых находился денежный фонд, очень походила на приказание) принять легальную и очень стеснительную форму акционерных обществ сроком не менее, чем на двадцать и до девяносто девяти лет; управляющему предоставлялись очень широкие полномочия, которые почти восстановляли хозяйскую власть. Не было вопроса ни о равной заработной плате, ни о равном распределении прибылей. Зато образцовый устав предусматривал случаи, когда ассоциации, расширяя свои дела, будут нуждаться в наемных рабочих. Эти помощники должны были к концу года получать долю прибыли, но они должны были принимать это распределение на веру и не имели права его оспаривать, каковое ограничение было главной помехой для участия в доходах; впоследствии, после более или менее продолжительного испытания, они могли быть возведены в звание членов товарищества. От первоначальной идеи оставалось только обязательство отчислять 10% дохода на образование неотчуждаемого фонда, который, в случае распадения ассоциации, переходит к государству, чтобы быть использованным на какое-нибудь общественное дело. Еще одно важное обстоятельство! Уставы о внутренних распорядках, о труде, о мастерской, изменения устава, которые могли касаться только некоторых статей, требовалось заранее доводить до сведения министра.

Хотя бы обещанные общественные работы были уступлены образовавшимся ассоциациям. Но, помимо того, что их ограничили земляными и строительными работами на сумму 20.000 франков, государственные инженеры не любили этих рабочих союзов, которыми им казалось трудно управлять. Не видно, чтобы дан был ход петициям, с которыми обратились в *Комитет общественных работ* жители Бланзи по поводу эксплоатации каменноугольных копей на их территории, и дижонские предприниматели и мастера, желавшие, чтобы государство взяло в свои руки железные дороги и распределило между ними работу по специальностям. Декрет 15 июля 1848 года мало применялся. Можно только указать на ассоциацию парижских мостовщиков, которые воспользовались им к выгоде города и к своей собственной. Когда год спустя в Законодательном Собрании Мартин Надо, которому, как члену наиболее процветавшей ассоциации каменщиков, было очень удобно это сделать, потребовал вместе с двумя другими депутатами, чтобы всем общественным учреждениям разрешено было заключать, по взаимному соглашению, условия с ассоциациями для всех работ, не превышающих 30.000 франков, он получил решительный отказ.

Между тем кандидатов на субсидию было много. Этому нечего удивляться. Директора частных учреждений, крупные общества взывали к щедрости государства. Требований на долю в трех миллионах было более 500 в 1848 году, более 100 в 1849 г. Потребовалось бы тридцать миллионов для удовлетворения их. Пришлось ограничиться распределением суммы в 2.590.000 франков между 56 обществами Парижа и провинции. Многие из них были смешанного состава и довольно состоятельны, так как семнадцать смогли представить обеспечение в 800.000 франков. Не раз случалось, что находившийся в стесненном положении хозяин хватался за возможность достать денежную ссуду, подписав номинальный договор об устройстве ассоциации со своими рабочими, которые предоставляли ему вести предприятие по своему усмотрению. Часть выданных сумм впоследствии была уплачена (около половины); так, типографы улицы Гарансьер возвратили 80.000 франков, которые были им даны взаймы.

Список этих субсидируемых ассоциаций существует, список других нужно было бы еще составить. Насколько можно судить по неполным документам, земледельческое производство совершенно не было захвачено ими во Франции, ассоциации проникли в крупную промышленность (механики, типографы, ткачи, судостроительные рабочие и т. д.); но особенно они распространялись в ремеслах, требующих лишь небольшого капитала (краснодеревщики, маляры, слесаря, повара, жестяники, парикмахеры, оптики и т. д.). Они, естественно, сосредоточивались главным образом в больших городах. Наконец, ассоциации привлекли и женщин, так как встречалось несколько производительных обществ, образованных за время 1848—1851 гг. в департаменте Сены прачками, шапочницами, белошвейками, корсетницами.

История этих ассоциаций коротка, если верить их противникам. В сентябре 1848 года Тьер развязно провозгласил банк-

ротство принципа, на котором они покоились. Это напоминает того английского высшего почтового чиновника, который, когда почтовая такса за письма была назначена в два су, заявил после недельного опыта, что реформа оказалась непрактичной.

Нам невозможно рассмотреть все ассоциации. Я выбираю два образца противоположных типов.

Ассоциация портных в Клиши, любимое детище Луи Блана, была так счастлива, что нашла умного и преданного управляющего Беррара, одного из тех рабочих, с большим сердцем, в которых не было недостатка в 1848 г. Но едва она начала функционировать, как стала подвергаться насмешкам, нападкам, клевете. Прежде всего нападки исходили от консервативных газет, которые обвиняли ее членов в том, что они лентяи, что они, получая жалованье от города Парижа, стараются работать возможно меньше. Они шли и от Прудона, враждебно настроенного к этим государственным мастерским; от Ламенэ, который был введен в заблуждение недоброжелательными докладами и вызвал резкое изобличение во лжи; от других рабочих, завистливых или плохо осведомленных. Каждую минуту сообщали, что дела в обществе идут плохо, что оно на краю гибели, а это не могло привлечь к нему клиентов; и, так как у него не было легального положения, то оно не могло преследовать тех, кто распускал эти ложные слухи. После июньских дней, хотя члены ассоциации не принимали в них никакого участия, хотя на следующий день замечено было только двенадцать отсутствующих из двух тысяч членов этого общества, сделки, которые оно совершало с администрацией и которые оно добросовестно выполняло до сих пор, были расторгнуты в конце июля, со скудным вознаграждением за них в 30.000 франков. Подорванная недоброжелательством, которые ей выказывали, ассоциация еще вредила себе собственным благородством. Луи Блан рассказывает, что для того, чтобы не отнимать хлеба у безработных рабочих, она передавала им заказы на вышивки, которые могли бы ей обойтись дешевле; что она доставляла занятия даже плохим портным, после которых нужно переделывать стежок за стежком всю работу. В среде, где господствовала конкуренция, где, следовательно, нужно было производить по низкой цене, если хотели иметь заказчиков, этого было вполне достаточно, чтобы общество оказалось бессильным

бороться на поле битвы коммерции. Приходилось, следовательно, или погибнуть, или помириться с более эгоистическими приемами. Вот почему ассоциация эта ликвидировала свои дела с небольшим остатком по уплате всех долгов и преобразовалась в торговую ассоциацию под именем *Труд*. Треть будущих прибылей была еще предназначена на образование кассы братской помощи, которая должна была помогать вдовам и сиротам членов ассоциации и служить пенсионным фондом для стариков. Вынужденная очистить помещение в Клиши, ассоциация должна была платить за наем нового помещения в предместье Сен Дени 6.000 франков. В течение 1849 года она отказалась от системы равной заработной платы и приняла систему сдельной работы; она стала акционерным обществом по отношению к управляющему и командитным товариществом по отношению к другим своим членам, у которого был общественный капитал в 200.000 франков, разделенный на 4.000 акций по 50 франков. Она отказывалась улучшить жилища и пищу своих членов. Таким образом она продлила свое существование, но уже была близка к агонии.

Чтобы защитить себя, рабочие ассоциации попытались объединиться в союз. Чтобы достать себе кредит, они выпустили квитанции, циркулировавшие, как бумажные деньги, по крайней мере, среди трудящегося класса. Они захотели учредить союз, управляемый центральным комитетом из 23-х членов. Этот союз подвергся гонениям под тем предлогом, что он занимается политикой. В его главном бюро захватили письмо Луи Блана, в то время изгнанника, дававшего практические советы организаторам. Главный из них, Дельбрук, был приговорен к пятнадцати месяцам тюремного заключения, к 500 франкам штрафа и к лишению на пять лет гражданских прав.

Оказавшись отныне изолированной, каждая ассоциация стала более уязвимой. Хотя ассоциация портных мало-по-малу потеряла свой социалистический характер, она все-таки пострадала за свой первородный грех, за то, что она была творением Луи Блана. Она вынуждена была сама ликвидировать свои дела в половине 1851 г., когда у нее еще было сорок членов; вместе с ней умер Берар, бывший ее главным двигателем, как Луи Блан—ее душой.

Как пример другого типа, я беру ассоциацию слесарей, которая основалась в Париже в доме № 48 по улице Гравильер в кон-

це сентября 1848 года. В состав ее вошло четырнадцать модельщиков и мелких хозяев, и она образовалась на тридцать лет, как акционерное общество. От правительства она получила 10.000 франков, которые нужно было вернуть в течение восьми лет, и ее первоначальное состояние было дополнено капиталом в 4.200 франков, внесенных членами ассоциации материалом и деньгами. Она не допускала ни помощников, ни наемных рабочих. Заработная плата не была для всех одинакова. Ее устанавливал для каждого совет из семи выборных членов, а прибыли делились соразмерно величине заработной платы. В сущности, это было маленькое коллективное хозяйство, община независимых рабочих, объединенных договором, который прекращался в случае смерти, ухода, прекращения работ. Но никому не позволялось бездельничать, удерживая за собою акции общества: таким образом отклонению в сторону капитализма поставлено было препятствие.

Общество это внушило к себе такое уважение, что на парижской выставке в 1849 году получило серебряную медаль; но, хотя оно было очень скромным и вполне безвредным, тем не менее ему пришлось сильно пострадать от государственного переворота 1851 года. Правительство потребовало немедленной уплаты выданных авансом 10.000 франков. Этот непредвиденный удар был так жесток, что некоторые члены во главе с управляющим заговорили о закрытии ассоциации. Один более смелый рабочий спас предприятие. Напрягли все усилия, и ассоциация продолжала свое существование. Она существует еще и теперь. Ей более полустолетия, возраст почтенный. Но, пробивая себе дорогу, она странным образом ослабила свой первоначальный демократический характер; она расширилась, начав принимать помощников, которые являются как бы рабочей чернью, стоящей ниже аристократии членов ассоциации. Кроме того, и успехи ее были скромны: она доставила не избыток, а лишь обеспеченное положение тем, кто принимал в ней участие.

Аналогичные превращения можно найти в обществе рабочих-оптиков улицы Пастурель; образовавшись 6 августа 1849 года без помощи государства, оно все-таки должно было в 1852 году изменить свой устав и свое название *Братская ассоциация*, дурно звучавшее и напоминавшее о революции. Эта ассоциация одна из редких, которая имела блестящий успех, по крайней мере, с коммерческой точки зрения. С точки зрения социальной она дала только тот результат, что способствовала выходу из класса наемных рабочих некоторого числа избранных, поднявшихся до степени мелких хозяев и даже акционеров-капиталистов. Это очевидная выгода для них; но их личное возвышение не имело никакого влияния на общее положение рабочего класса.

В общем, хотя дела некоторых рабочих ассоциаций, как, например, поваров, каменщиков, шли довольно хорошо,—в 1857 г. из 56-ти, получивших субсидию, оставалось всего только 9 ассоциаций. Они насчитывали в то время 101 действительного члена товарищества, 60 пайщиков, 192 помощников. Это было ничтожное меньшинство из тех миллионов рабочих, которые существовали во Франции. Капитал их поднялся с 282.000 до 332.000 франков, следовательно, он в течение 9-ти лет увеличился только на 50.000 франков. И что значила эта жалкая сумма рядом с громадными прибылями, полученными в тот же промежуток времени капиталистическими предприятиями? Следовательно, этого рода учреждения не отвечали честолюбивым желаниям тех, кто восхвалял их раньше; и эта неудача является еще более поразительной, если мы укажем, что в настоящее время существуют только два производственных рабочих кооператива, созданных при второй республике (рабочих-слесарей и оптиков).

Каковы причины этой неудачи, быть может, временной, но которой отрицать нельзя? Причины эти и внешние и внутренние.

Прежде всего недостаток в управляющих, обладающих необходимой для этой должности коммерческой и административной опытностью. Рабочий класс насчитывал тогда в своих рядах больше апостолов, чем деловых людей. Кроме того, когда появлялся способный управляющий, то или его из зависти лишали места, или у него самого являлось желание завести собственное дело и увлечь за собою лучшую часть клиентуры. Затем причина заключалась в недостатке капиталов и кредита, что мешало предприятиям расширяться, в существовании фиктивных ассоциаций, принявших новую вывеску с сохранением прежних приемов. Иногда влияла недисциплинированность самих рабочих, которые мало уважали авторитет своих товарищей, членов ассоциации, таких же рабочих, как и они, и которые отличались нетерпеливостью

и продавались лености. Следующая причина—это неопределенность правового положения, в котором находились эти ассоциации до 1867 года, когда, наконец, был вотирован закон об анонимных обществах, и то, что порядок учреждения их был до того времени обставлен сложными формальчостями, затруднявшими возможность найти ответственных доверенных лиц. Наконец, неудаче способствовала грандиозная, но подрывавшая их силы мечта, которой носились некоторые из них, мечта объединить мало-по-малу всех рабочих своего цеха; отсюда вытекала необходимость принимать всех желающих, без разбора, без гарантии их преданности делу и способности; в результате последовал упадок духа у активных и способных членов общества, когда они почувствовали, что тонут в инертной или индиферентной массе.

Причины внешние были еще значительней. Прежде всего нужно упомянуть об ожесточенной конкуренции капиталистов, которые также умели устроить между собой ассоциации и делали это в лучших условиях; затем недоброжелательство предпринимателей, которые очень хорошо поняли, что это для них вопрос жизни и смерти, так как дело шло об уничтожении их роли посредников; далее, враждебность правительства, которое, служа интересам буржуазии, действуя как классовое правительство, мешало бесчисленными притеснениями прогрессу института, творцы которого открыто заявляли о своем намерении вывести пролетариат из его экономической зависимости. Рабочие ассоциации преследовались, потому что они угрожали, по выражению одного лионского генерального прокурора, «миру государства или *нормальному положению промышленности и торговли*».—«Можно ли согласиться на то,—писал он,—чтобы позволить социализму разглагольствовать под открытом небом или в публичном месте перед несколькими тысячами последователей, соединенных в одном общем предприятии?». Суровые меры сыпались градом до и после государственного переворота; требовали немедленного возврата ссуд; арестовывали управляющих; захватывали счетоводные книги. Прямо удивительно, что некоторым ассоциациям удалось пережить подобные гонения.

Однако, этот плохо обставленный опыт осуществления идеи дал нечто другое. Благодаря ему мало-по-малу выяснилась следующая истина, которая, быть может, была его наиболее нагляд-

ным положительным результатом, именно, что производственные общества рабочих не могут иметь успеха сами по себе, что для своего развития они нуждаются не только в связи с кооперативными потребительными и кредитными обществами, но главным образом в поддержке со стороны организованного рабочего класса.

ГЛАВА V.

Перемены в организации труда.

Одновременно с этой неудавшейся попыткой преобразовать организацию труда в самом корне, т.-е. одновременно с попыткой, направленной к уничтожению хозяйской власти, сделаны были и другие, которые ограничивались изменением ее в менее существенных пунктах.

Для этих изменений открывались два пути. Они могли совершиться или посредством частных соглашений, достигнутых добровольным или насильственным образом при помощи постоянных или временных рабочих ассоциаций, или же путем законодательного вмешательства.

Профессиональные рабочие ассоциации.—Начнем с действий, исходивших от рабочего класса. Временное правительство не только предоставило рабочим свободу объединяться, но оно их даже приглашало устраивать между собою ассоциации. Итак, рядом с кооперативами, о которых мы только что говорили, образовалось множество профессиональных ассоциаций, которые, не стремясь объединить рабочих в общем производстве, имели своей целью защиту их интересов, материальное и моральное улучшение их положения. Начало подобных группировок можно было отметить даже среди крестьян и торговых служащих. Крупное синдикальное движение, так сильно развившееся с тех пор, получило свой первый толчок в 1848 году.

Оно колебалось в выборе направления, по которому должно было пойти. Вернется ли оно назад к привилегированным корпорациям средних веков? Перейдет ли оно к новым формам?

В пережитках и воспоминаниях прошлого не было недостатка. Старинные общества подмастерьев на минуту опять были словно

наэлектризованы; казалось, что к ним вернулась жизнь; они старались возродить различные свои обряды. В Париже основался клуб *подмастерьев всех занятий*, который при выборах в Учредительное Собрание выпустил довольно пестрый список кандидатов и которому удалось провести одного из своих членов Агриколя Пердигье. Это было справедливо. Пердигье был человеком, больше чем кто-либо стремившимся внести воздух, свет и дух широкого братства в ту узкую и замкнутую среду, в которой развивались его товарищи; он был среди них защитником идеи союза. Был составлен проект федерального устройства, и на празднике 22 мая можно было видеть, как соперничествующие «занятия» фигурировали бок-о-бок со своими значками и образцами своего искусства. Но согласием повеяло лишь на миг. Проект союза был отвергнут рутинерством большинства. Допустили только несколько новых организаций в круг обществ Тур де Франса. Затем возобновились ссоры между приверженцами различных обрядов, между учениками и подмастерьями одного и того же обряда, общества подмастерьев, после видимого возрождения, продолжали приходить в постепенный упадок. Очевидно прошло время этих замкнутых групп, созданных для мелкой промышленности, для стран, где сообщение было трудно, для эпох, когда таинственность была необходимым жизненным элементом.

Между тем как некоторые группы примкнули к прошлому, другие страстно устремились навстречу будущему. У них были широкие честолюбивые замыслы. Они хотели не только образовать между собою союз, чтобы таким путем объединить все отрасли одного производства, но думали охватить все ремесла. Например, *Братская ассоциация французской промышленности*, основанная в Лионе 21 января 1849 года, в красноречивом предисловии к своему уставу, говорила так:

„Ассоциация по корпорации или по специальному производству вносит отпечаток исключительности и изолированности, что противоречит доктрине солидарности и всеобщего братства. Всеобщая ассоциация одна только может легким и верным образом доставить трудящимся те выгоды, которых они лишены".

Но это стремление ко всеобщей федерации, к организации всего пролетариата в одну грозную группу натолкнулось на трудность осуществления; оно встретило препятствия в соперничестве, зависти, непонимании, невежестве; ему мешали правящие классы, которые так его боялись, что 28 января 1849 г. запрещена была простая *Федерация книжной промышленности*; стремление это проявлялось во многих местах, но неясно, урывками, неопределенно. Еще не пришло то время, когда обособление вертикальными перегородками различных цехов могло быть заменено разделением на горизонтальные слои, на нанимателей и нанимаемых.

Большинство профессиональных ассоциаций ставили себе менее отдаленные и весьма разнообразные цели: помощь больным, слабым, обучение детей, пенсию старикам, покупку участков земли для садоводства *(рабочие фарфоровой промышленности в Лиможе)*, отдых в деревне (лионские *шелкоделы* и их «замки»), пение, музыку, совместные удовольствия и т. д. Но, как легко можно догадаться, основной их целью было регулировать свои условия производства, т.-е. изменить договор труда, связывавший рабочего с хозяином.

Статья 13-я конституции содержала два постановления, которые вовсе не противоречили друг другу, как это могло казаться, а в действительности дополняли друг друга. Она гарантировала свободу труда; она обещала равенство отношений между хозяевами и рабочими. Это могло дать место двум различным толкованиям. Или *коллективный договор*, заключенный между ассоциацией рабочих и хозяином, чтобы уравновесить денежное количество с одной стороны количеством лиц с другой, чтобы создать таким образом две равноценные силы, единственное средство осуществить истинную свободу и равенство. Или *индивидуальный договор*, заключенный один на один между нанимателем и нанимаемым, договор, в котором неизбежно вся выгода была на стороне сильного, который под видом мнимого равенства вел к чисто номинальной свободе. Первое, понятно, было толкованием рабочих; второе—толкованием хозяев.

Профессиональные организации, которые, на божий свет, возникли в 1848 г. или которые, существуя раньше, вышли из мрака подполья, где их только терпели, как, например, ассоциация парижских типографщиков или лионских ткачей, эти организации старались *коллективно* регулировать отношения своих членов к нанимателям. Они часто назывались *Обществами борьбы*; но они не ограничивались борьбой с чрезмерными требованиями

хозяев; они стремились к своего рода промышленному главенству и отчасти осуществляли его. Они устанавливали продолжительность рабочего дня; так, в Марсели, одно общество кожевенных рабочих, общество Св. Клавдия, простым решением своего совета сократило рабочий день до десяти часов. Хозяевам приходилось подчиниться. И вот каждый вечер устраивали обход, и всякий член общества, которого заставали за работой после 6 часов 10 минут, подвергался штрафу в три франка. Ассоциации устанавливали заработную плату, назначали тарифы; тариф, выработанный обществом парижских кожевников, заключал в себе не менее 444 статей. Они ограничивали число учеников, запрещали нанимать иностранных рабочих. Они взяли на себя обязанность приискания места безработным. Согласно приказу, изданному Коссидьером 26 марта 1849 года, когда он был префектом полиции, комиссия рабочих-булочников, избранных ими самими, имеет исключительное право выступать посредницей при найме рабочих в Париже. Далее ассоциации назначили экспертов, на обязанности которых лежало решать, плоха ли или хороша работа; в данном случае они присвоивали себе известную долю судебной власти. В частности они определяли те случаи, когда можно прибегнуть к крайнему средству в случае конфликта, к заранее обдуманному отказу от работы, к стачке. У них были кассы на случай безработицы для поддержания борьбы; у них были в запасе работы, предназначенные для стачечников. *Типографское общество* в Париже имело для них «общественную мастерскую», куда писателей просили направлять свои заказы. Они организовали страхование на случай болезни, и закон сам налагал на те ассоциации, которые желали взять подряд на общественные работы, обязательство иметь специальный вспомогательный фонд в виду возможности несчастных случаев. Следовательно, здесь ассоциации действовали сообща с государством.

Корпоративная система, развивавшаяся таким образом самопроизвольно, то возобновляла прежние обычаи, то отвечала новым потребностям, незнакомым прежним корпорациям. Но так как эти профессиональные ассоциации пользовались властью по отношению к своим членам, так как они запрещали им работать изолированно в случае объявления стачки или сверх установленного времени; так как они противились найму рабочих, явившихся из другого города или другой страны, то на них можно было нападать и нападали во имя свободы труда. Так как, с другой стороны, они сокращали власть хозяина; так как они выступали рядом с ним в качестве законодательной силы; так как они являлись представительницами введения если не республиканского режима (это было делом кооперативов), то хотя бы режима конституционного в мастерской, управлявшейся до сих пор деспотически, то на них сыпались проклятия со стороны промышленников, привыкших вести себя неограниченными монархами и не понимавших, что такое разделение ответственности может быть им только полезно, устанавливая в производстве добровольный порядок и дисциплину. Кроме того, преследуемые по политическим мотивам, они являлись жертвами бесчисленных стеснений, как только правительство оказалось в руках консерваторов. При содействии правительства класс хозяев с ожесточением старался убить *коллективный договор*, стеснявший их. Когда 15 февраля 1850 года докладывалась резолюция, касавшаяся условий труда, заработной платы и найма рабочих-булочников Парижа, то в приводимых мотивах фигурировали следующие знаменательные слова:

„Принимая во внимание, что не дело административной власти вмешиваться в соглашение относительно цены на труд между хозяевами и рабочими...“.

„Отношение хозяев и рабочих будут регулироваться соглашениями, которые они *свободно* заключат между собой“.

Свободно! Этим хотели сказать в данном случае—*индивидуально*. Это было торжеством номинальной свободы. Таким образом, в то время, как синдикальные камеры хозяев, торговые камеры, биржи и кружки размножались и благоденствовали, рабочие профессиональные ассоциации, хотя они и пытались кое-где прикрыться флагом обществ взаимопомощи, большей частью все погибли в конце 1851 года.

Коалиция.—Не лучше была участь тех кратковременных ассоциаций, которые назывались *коалициями*. До 1848 года по отношению к ним применялись две мерки и два веса. Если их устраивали хозяева, они были наказуемы только тогда, когда составлялись без *соблюдения законных форм и правил;* если же рабочие прекращали по сговору работу, устраивали стачки, даже не сопровождав-

шиеся ни малейшим насилием, то это рассматривалось как преступление и часто наказывалось как таковое. Я говорю *часто*, потому что в применении закона было много произвола, но статьи 414—415—416 уголовного кодекса, эти остатки права сеньора над принадлежащими ему крепостными, допускали неумолимую строгость.

Стачки были многочисленны в первые месяцы, следовавшие за 24 февраля, и они не преследовались; однако их лишь терпели, не признавая законными. Узаконит ли их Учредительное Собрание? Был момент, когда можно было этого ожидать. В комитете рабочих 7 июня 1848 г. Морен предложил отменить статьи, запрещавшие стачки. Однако после июньских дней комитет, настроенный сначала благоприятно, решил, что с этим вопросом можно обождать. Тем не менее предложение подверглось обсуждению, но не могли притти к соглашению относительно текста закона. Корбон требовал, чтобы стачка безусловно вошла в общее право, чтобы она была наказуема только в том случае, если она приведет к предусмотренным и наказуемым законом проступкам. Морен желал, чтобы для стачек было создано специальное законодательство и чтобы стачки подлежали наказанию, если они сопровождаются угрозами и устрашением; другие требовали, чтобы они подпадали действию закона, «если будут стремиться к чему-либо незаконному»; вопрос этот мог бы только послужить источником бесконечных прений. Однако, это последнее мнение взяло верх, и защита его была возложена на докладчика Руэра. Но кто будет судить, имела ли стачка «дурную цель?». Суды? Тогда им пришлось бы разбирать, была ли заработная плата достаточной или нет, был ли регламент мастерской слишком суров или нет. Никто не отрицал, что судьи в данном вопросе не совсем компетентны, но при этом прибавляли, что свобода коалиций была бы самоубийством промышленности. В проекте декрета предполагалось некоторое смягчение наказаний для вожаков или *зачинщиков;* декрет имел в виду сельских рабочих, о которых до сих пор не упоминалось. Корбон, Морен, Воловский утверждали, что одновременное запрещение коалиции рабочих и коалиции хозяев устанавливает только видимое равенство; что хозяевам нет нужды соединяться, чтобы притти к соглашению, что, по выражению Адама Смита, они находятся в состоянии перманентной

коалиции; что их никогда не коснутся эти «бронзовые законы», тогда как у рабочих отнимали их единственное средство борьбы, их оружие (слово, вызвавшее ропот возмущения). «Все прошлые притеснения,—воскликнул рабочий Бенуа,—восстанавливаются одно за другим, и скоро республика станет для народа только мечтой, воспоминанием». Но сторонники *statu quo* утверждали, что свобода в этой области была бы вредна рабочим, как и хозяевам, потому что она привела бы к разорению промышленности, быть-может, ко всеобщей стачке с целью изменить основу общества, во всяком случае к образованию двух армий, измеряющих друг друга взглядом в ожидании боя, в котором они бросятся друг на друга. Они отказывались устранить из кодекса лишение чести, которым карались коалиции, и организовать то, что они называли восстанием в мастерских. Оказавшись в затруднительном положении, Учредительное Собрание отложило вопрос.

Законодательное Собрание, более реакционное, сохранило запрет (27 ноября 1849 года). Однако, изменения, внесенные в статьи уголовного кодекса, как будто устанавливали равенство хозяев и рабочих; они подвергали их одинаковым наказаниям за одинаковые проступки. Слабая, весьма слабая попытка установить справедливость! Статистика стачек в течение последующих лет показывает, насколько коалиция хозяев мало преследовалась в сравнении с коалицией рабочих, потому ли, что она была почти неуловима, как констатировал это один министр юстиции, или потому, что она попадала в руки более снисходительных судебных следователей. В конце концов получился тот результат, что рабочий, лишенный сверх того еще и права собраний и ассоциаций, оказался крепко связанным по рукам и по ногам. Империи и Руэру, докладчику первого предложения, предоставлена была в 1864 году честь ослабить узы, душившие рабочего.

Покровительственные законы о труде.—Таким образом рабочему классу мешали освободиться собственными силами, но законодательное вмешательство в его пользу имело место. Временное правительство и даже Учредительное Собрание, в особенности в начале и в последние дни своего существования, проявляли готовность улучшить условия жизни рабочих. Первое издало соответствующие декреты, второе—законы, но уже суживая

или уничтожая наиболее смелые декреты. После этого движение ослабло и почти совершенно прекратилось при Законодательном Собрании.

Анкета о земледельческом и промышленном труде.—6-го мая в Учредительное Собрание было внесено предложение с самыми пестрыми подписями: среди подписавшихся можно было встретить имена Воловского, Консидерана, Леона Фоше, Греппо, Фаллу и др. Предлагалось назначить комиссию, которой было бы поручено произвести анкету о положении сельских и промышленных рабочих. Предложение было принято единогласно в тот самый день, когда Луи Блану отказали в образовании министерства труда и прогресса. Призрачная компенсация! Это значило заменить орган действия, механизм исполнительной власти, неопределенным совещательным собранием, заключений которого приходилось долго дожидаться. Комиссия должна была состоять из тридцати шести членов, была выбрана всеми бюро, затем вошла в состав одного из больших комитетов, на которые делилось собрание, в *комитет труда*, число членов которого скоро возросло до 70—80.

Этот комитет выбрал своим председателем Корбона. Луи Блан получил письменное предложение принять участие в его совещаниях. Но Луи Блан, против которого уже началось преследование (23 мая), полагал, что он не должен занимать место в комитете, враждебном его идеям. Английский социалист Роберт Оуэн, бывший в то время в Париже, получил приглашение изложить в комитете свою систему; приглашение это, кажется, осталось без ответа. Воловский, Бастиа, Фаллу, рабочий католик Пепен, пастор Коккерель, Вальдек Руссо, Морен, Руэр, Паскаль Дюпар, Мишель Алкан были самыми деятельными членами комитета.

Этому комитету предстояла трудная задача. Я говорил уже о роли его в вопросе о национальных мастерских. Ему пришлось сверх того, как это делала раньше Люксембургская комиссия, парламентской копией которой он был, услужливо вмешиваться в дело урегулирования споров между хозяевами и рабочими. Особенно много ему пришлось заниматься изучением проектов, касавшихся труда и трудящихся и присылаемых ему Собранием или частными лицами. По его протоколам можно день за днем

проследить движение общественного мнения. До июньских дней в нем преобладали смелые, благопиятные для рабочих предложения, позднее появляются репрессивные меры, уничтожающие то, что сделало Временное Правительство, или откладывающие в долгий ящик принятые вначале проекты. Тем не менее реакционные партии нашли, что поддерживать очаг изучения социальных вопросов излишне; это видно из того факта, что когда 31 июля 1849 г. в Законодательном Собрании представитель Эна, Розелли-Молле, потребовал вместе с некоторыми левыми товарищами назначения комиссии из тридцати членов для рассмотрения предположений, могущих содействовать развитию труда и предусмотренных 13 статьей конституции, то он добился только того, что в ответ на его предложение последовал враждебный доклад, в котором его обвиняли в хищнических намерениях по отношению к капиталу; и палата, отказавшись принять в соображение его требование, решила передавать все вопросы, касающиеся труда, в *комитет вспомоществования*. Это достаточно ясно указывает на перемену настроения умов. Призрак социализма появился только один раз на трибуне Законодательного Собрания; это было тогда, когда 7 января 1850 г. обсуждалось предложение Пеллетье и Дефонтена об устранении нищеты и уничтожении рабского состояния пролетариата. Он произвел зловещее впечатление, которое поспешили скорее рассеять. Предложение, хотя и более умеренное, чем предложение Прудона в 1848 г., встречено было ропотом негодования и получило, как и прудоновское, только два голоса.

Вернемся к Учредительному Собранию. Кроме комитета труда, оно создало другое орудие реформ. После сильной речи, произнесенной 16-го мая Билло, оно решило устроить большую анкету, которая касалась бы вопроса о труде и охватила бы все части территории, даже Алжир. В главном городе каждого кантона местная комиссия, составленная из избранных в равном числе делегатов от хозяев и рабочих, под председательством мирового судьи, должна была записывать ответы по пунктам опросного листа. Он заключал в себе не менее двадцати девяти вопросов, которые можно разделить на три группы: первая группа относительно материального положения трудящихся, о их заработной плате, о продолжительности рабочего дня, о санитарных

условиях их образа жизни, об их одежде и пище; вторая группа имела отношение к условиям их духовной жизни (общее и профессиональное образование, моральное и религиозное воспитание); третья заключала в себе требования и пожелания рабочих в целях улучшения их судьбы и приостановления эмиграции деревенских жителей в города, что было навязчивой идеей людей 1848 г.

Судьба этой громадной анкеты была странная. Сначала был издан декрет (25 мая), требовавший, чтобы она была закончена в месяц, срок, очевидно, слишком короткий, если принять во внимание большое количество поставленных вопросов. Но срок был превышен так щедро, как архитекторская смета. Анкету затянули по различным причинам. Мэр Парижа, которым тогда был Марраст, всеми силами противился избранию делегатов от хозяев и рабочих, он боялся, как огня, возрождения Люксембургской комиссии. Итак, тот зонд, который хотели внести в самую глубь рабочих мансард и рабочего сознания, заменен был анкетой, произведенной *Торговой палатой* с большой тщательностью, но по совершенно другим методам. В провинции, особенно в некоторых больших городах, рабочие, созывавшиеся газетами или по старинному обычаю звуками трубы, не решались являться, опасаясь полицейского допроса. Июньские дни внушили им законные сомнения насчет намерений, которые питали по отношению к ним. Нужно прибавить, что во многих местах хозяева и агенты власти обнаруживали весьма мало охоты призывать рабочих измерить свою нищету и формулировать свои пожелания.

Однако кое-как анкета была произведена. Из 2.847 кантонов только 177 не прислали вовсе ответа. Но доставленные сведения, которые были весьма неравной ценности в зависимости от способности мировых судей, руководивших опросом, или секретарей, записывавших ответы, опочили в папках глубоким сном. Время от времени какой-нибудь любопытный депутат спрашивал, куда девалась анкета. Обещали сообщить в ближайшем будущем об ее результатах и не делали этого. Только по прошествии двух с половиной лет, 18 декабря 1850 года, был наконец сделан доклад по этому предмету в Законодательном Собрании. Он был составлен членом консервативного большинства Лефевром-Дюрюфле и был столь же краток, сколь длинен был срок, употребленный на собирание материалов. Однако, он сообщил

некоторые интересные вещи: что много документов исчезло, что из 2.600 приблизительно осталось только 1800—1900, что, к несчастью, исчезнувшие документы были самыми важными, такими, которые должны были осветить положение в Руане, Лионе, Париже. Прибавлю, что в уцелевших рукописях, сохраненных в архивах палаты, напрасно искали бы материала, касающегося Лилля, Страсбурга, Бордо, Сент-Этьенна, целых департаментов; как департамент Нижней Сены или Верхнего Рейна; одним словом, по странной случайности пробел касался рабочих центров и социалистических округов, откуда приходили самые сильные жалобы. Постарались заполнить эти непринятые пробелы с помощью департаментских и коммунальных архивов, как это сделали по отношению Северного департамента. Таким образом докладчик, указав на некоторые местности Франции, где с его точки зрения настроение умов опасно, могу все-таки с удовлетворением указать на консервативные настроения, обнаруженные в общем изуродованной таким образом анкетой. Со спокойствием весьма зажиточного человека он поучал: будем религиозны и нравственны и все будет хорошо, и с развязностью заключил, что ничего порядочного нельзя извлечь из этой исписанной бумаги, разве только для крупных земледельческих работ; что разумные пожелания, заключающиеся в них, уже удовлетворены принятыми или предполагаемыми законами. Меньшинство, устами Паскаля Дюпра, выразило некоторый протест. Оно указало на жалобы, по поводу произвола, существующего в отношениях между хозяевами и учениками, по поводу ростовщичества в деревнях; на требования начального образования и правильной помощи больным. Докладчик ответил, что в деле образования Франция может по праву занять место в рядах самых передовых наций; что если говорить о жалобах, то не следует забывать и жалоб многих местностей, сожалеющих об общественном строе, предшествовавшем февральскому, что они вообще законны, так как революция привела к пятнадцати месяцам нищеты и уничтожила капитал; что для извлечения зла достаточно поступать, как предшествующие правительства, никогда не пренебрегавшие интересами трудящихся.

После этого обмена мнений Собрание быстро перешло к очередным делам, и, наконец, в январе 1851 г. документы большой

анкеты, начатой в 1848 г., были отправлены в архивы министерства земледелия и торговли или, по выражению одного вмешавшегося в прения депутата, в катакомбы, и там они остались похороненными в пыли и забытыми, не принеся никакой другой пользы, кроме той, что они, быть может, кое-где пробудили в рабочих и особенно в крестьянах сознание своих интересов и своей силы, а также приготовили для историков драгоценный, хотя и неполный материал.

Было бы, однако, несправедливо свести к одному отрицательному итогу все заботы о трудящихся со стороны правительств и собраний второй республики. Мы приступаем к рассмотрению изменений, внесенных законом в режим труда.

Перед нашими глазами пройдут все вопросы, которые профессиональные ассоциации пытались решить сами: продолжительность рабочего дня, размер заработной платы, время ученичества, меры безопасности, приискание занятий безработным, ограничение конкуренции, и вместе с тем отношения хозяев и рабочих, в вопросе о договоре, и о несогласиях между ними.

Рабочий день.—Продолжительность рабочего дня была одним из первых предметов, которыми занялось законодательство. Временное правительство, уступая требованию, исходившему из Люксембурга, решило 9-го марта, что максимум рабочих часов в мастерских должен быть уменьшен с одиннадцати до десяти в Париже и с двенадцати до одиннадцати в провинции. Позднейший декрет от 4 апреля грозил штрафом, а в случае рецидива—тюремным заключением парижским хозяевам, которые не будут соблюдать приведенного постановления. Приводилось два мотива. Хотели, чтобы рабочие, вместо того, чтобы быть занятыми слишком продолжительным трудом, имели бы досуг для жизни у семейного очага и для жизни политической, к которой их только что призвали; хотели также уменьшением продолжительности рабочего дня побудить хозяев увеличить число занятых рабочих.

Этот декрет, ограничивавший рабочие часы, имел большое значение. Это был во Франции первый со времени великой французской революции случай вмешательства государства в целях *защиты взрослых рабочих*. В Англии билль 1847 г. сократил, правда, рабочий день до десяти часов, но он касался только рабочих текстильного производства. Здесь же покровительственная рука государства распростерлась на всех рабочих, достигших совершеннолетия.

На него поэтому напали консервативные газеты и сторонники системы невмешательства. Комитеты Учредительного Собрания получали петиции за и против. Хозяева во многих местах посмеялись над этим новым предписанием и продолжали заставлять работать по четырнадцати и пятнадцати часов. Некоторых из них оштрафовали. Однако, пока народ был или казался сильным, отменить декрета не осмеливались. Но на следующий день после июньских событий можно было вернуться вспять без всяких опасений. В первом заседании рабочего комитета после восстания (30 июня) экономист Воловский предложил просто отменить декрет, ограничивавший рабочие часы. Его товарищи, несколько испугавшись такой поспешности, находили такое предложение мало подходящим в тот момент, когда умеренные республиканцы пытались привлечь на свою сторону хоть часть рабочих. Но Воловский ответил, что пора *Национальному Собранию дать возможность* рабочим, сбитым с пути ложными теориями, услышать голос истины, т.-е. ортодоксальной политической экономии, и в заключение заявил, что некоторые рабочие сами требовали предоставить им свободу работать 13 или 14 часов и более, если это им угодно.

Предложения не затянули, как анкету. 5-го июля был сделан доклад Паскалем Дюпра. Докладчик был в затруднении, потому что в комитете он говорил против Воловского. Он делал поэтому некоторые оговорки; он заявлял, что государство имеет, конечно, право вмешиваться в сферу экономических отношений, что оно это делало уже несколько раз, что оно не может позволить истощать жизненные силы рабочего; но, прибавлял он, временное правительство нарушило нормальные условия промышленности, стараясь их видоизменить; оно затруднило конкуренцию французской промышленности с промышленностью иностранной в такой момент, когда первая уже и без того получила сильный удар; и он сделал заключение, благоприятное тому предложению, которое он раньше оспаривал.

Прения начались 30 августа и продолжались несколько дней. В виду отсутствия Луи Блана, удаленного за несколько дней пе-

ред тем с депутатской скамьи, ни один из членов Временного Правительства не взошел на трибуну, чтобы защищать декрет, подписанный ими всеми. Тем не менее схватка была горячая, и снова обнаружились те три мнения, которые служили предметом споров в области социальной экономии. Одно, радикальное и социалистическое, склонялось в сторону идей, которые Пьер Леру назвал «бессмертным декретом» Временного Правительства. Другое мнение, диаметрально противоположное—это мнение экономистов, проповедывавших правительственное невмешательство. Третье мнение занимало среднее положение: оно допускало вмешательство государства, но повышало до двенадцати количество дозволенных законом рабочих часов.

Пьер Леру произнес длинную речь, менее многословную, чем обыкновенно. Он указал прежде всего, на то, что договор, заключенный между капиталистом, у которого есть деньги и который может обождать, и рабочим, который под страхом смерти должен немедленно найти какую-нибудь работу, не может быть по справедливости назван свободно заключенным договором, он утверждал, что государство имеет право воспрепятствовать тому, чтобы, под предлогом уважения к этой призрачной свободе договоров, уничтожали истинную свободу; что государство всегда пользовалось своей прерогативой защищать слабых от притеснений сильных, ограничивая, например, известным размером денежные проценты или запрещая пользоваться в промышленности трудом детей раньше известного возраста. Дать хозяевам право, говорил он, заставлять человеческие существа работать 14, 15 и более часов, значило предоставить им право убивать людей. Корбон на этот раз был согласен с социалистами. Он напомнил, что уже в 1840 году рабочие восстали, требуя десяти часов труда и уничтожения работы с торгов. Он задавал вопрос: неужели хотят постоянно обращаться с рабочим классом как с несовершеннолетним, низшим классом, лишенным навеки средства развить свои умственные способности. Он восстал против ораторов, осмеливавшихся обвинять в лености людей, работающих гораздо больше их.

Противоположное мнение встретило сильную поддержку. Бюффе заявил с почти циничной откровенностью, что декрет 2 марта мог показаться необходимой уступкой на следующий день после

революции, когда рабочие были страшны, но что теперь он стал бесполезным. Заявление это заставило демократа Гамбона потребовать, впрочем, безрезультатно, чтобы члены Временного Правительства заявили, хотели ли они, подписывая декрет, просто выиграть время, обманув народ. Вместе с Леоном Фоше, Бюффе пытался доказать, что декрет был неблагоприятен для рабочих; что он вызвал закрытие многих мастерских, следовательно усилил безработицу и нищету. Воловский прибавил, что у покровительствуемых таким образом рабочих будет меньше энергии не только для работы, но и для подготовления своего освобождения. Они сказали также (и этот аргумент был более серьезен), что декрет виновен в создании неравенства между Парижем и провинцией; что нужен или однообразный регламент или вовсе никакого регламента, иначе рабочие устремятся в те отрасли промышленности, где можно будет заработать больше, работая больше часов. Они заявили, что декрет убивает французскую промышленность, и один оратор оценил ежегодные убытки, вызываемые им, в 750 миллионов. Они сказали, что декрет был, кроме того, неприменим; что он оставлял в стороне самую несчастную категорию трудящихся, тех, которые работают на дому и которым нельзя помешать оставаться за работой шестнадцать или семнадцать часов, даже если бы иметь в распоряжении армию инспекторов. Они сказали, что, регламентировав продолжительность труда, нужно было бы вслед за этим установить размер заработной платы, цену продуктов, что было, очевидно, невозможным и противоречащим закону предложения и спроса. Они далее указывали на то, что декрет ставит совершенно произвольные ограничения: почему одиннадцать часов? Почему не девять или не восемь? Наконец, они заявили,—и это был их последний и неопровержимый аргумент,—что это было скрытым социализмом. Леон Фоше привел следующие слова, которые он, будто бы, слышал из уст одного из членов Временного Правительства: «социализм, это чума». И на это он будто бы ответил: «Вы правы, но вы все больны чумой».

Во время прений обе стороны с удивлением услышали, что правительство предлагает среднюю меру. Хотел ли министр внутренних дел Сенар искупить то легкомыслие, с которым он бросил обвинение в грабеже июньским повстанцам? Как бы то

ни было, он высказал большое сожаление по поводу преувеличений экономистов, высмеял их претензию знать интересы и желания рабочих лучше, чем сами рабочие, заявил, что можно вполне запретить слишком длинный рабочий день, губительный для здоровья, так как уже запретили некоторые вредные для здоровья производства; что принцип в общем один и тот же в обоих случаях. Затем, опираясь на мнение руанской торговой палаты и на доклады многих префектов, он утверждал, что ограничение рабочего дня двенадцатью часами отвечает как истинным потребностям промышленности, так и желаниям населения.

Это вмешательство правительства в кампанию решило успех сражения. Некоторые ораторы, ободрившись, заявили, что если социализм—чума, то они согласны прослыть зачумленными; что во всяком случае это лучше, чем эгоистичная и чисто отрицательная доктрина невмешательства.—Затем они доказывали, что рассуждение экономистов покоится на непроверенных теориях; что уменьшение количества рабочих часов не означает неизбежного уменьшения количества продуктов, потому что менее утомленные люди могут производить лучше и больше. Они рассеяли призрак иностранной конкуренции, указывая на то, что капиталисты соседних стран будут вынуждены своими рабочими пойти в свою очередь на уступки, по примеру французских собратий; прогрессивный пример еще раз окажет свое действие и будет исходить от Франции. Что касается фабрикантов, то для них это так мало разорительно, что некоторые из них уже приняли гуманную идею минимума заработной платы, обеспечивающего трудящемуся, по меньшей мере, его существование.

Экономисты могли сколько угодно кричать, что они не допустят компромисса между двумя непримиримыми принципами, тиранией и свободой; что они протестуют против установления деспотического режима, достойного египетского паши. Предложение правительства было передано в комиссию, и после нового доклада и новых прений Учредительное Собрание приняло принцип законодательного ограничения рабочих часов. Гамбон и Пьер Леру внесли поправки об установлении максимума в 10 часов, потом в 11; эти поправки были отвергнуты громадным большинством (616 против 67). Но предел в 12 часов был принят. В то же время было допущено, что в случаях исключительных

можно, с согласия мэра и примирительной камеры, нарушать этот предел, но с условием, что при этом сверхурочный труд будет оплачен особо. Нарушения этого закона должны караться штрафом от 5 до 100 франков; штраф увеличивался соответственно числу незаконно занятых рабочих, однако, не мог превысить 1000 франков.

Воскресный отдых. — К этой реформе можно отнести и предложение, внесенное совместно католиками с социалистами о прекращении работ в праздничные дни; для одних это было празднование воскресенья и церковных праздников, для других это было необходимое признание законом еженедельного отдыха. Монталамбер сделал в этом смысле доклад (10 сентября 1850 г.), но самый закон не обсуждался. Только министерскими циркулярами (20 марта 1849 года—10 ноября 1851 г.) было приказано прекращать все общественные работы по воскресеньям, чтобы проявить «традиционное уважение, которое оказывалось во все времена дню, посвященному религией, отдыху, культу и семье».

Тут было больше уважения к церкви, чем симпатии к рабочим. Об этом можно судить по плохому соблюдению закона о двенадцатичасовом рабочем дне. Жалоб и угроз стачкой было множество; нарушения наказывались шуточным образом, иногда штрафом в один франк; рабочие общества очень редко оказывались достаточно сильными, чтобы заставить уважать регламенты. В мае 1851 года декретом были внесены многочисленные исключения в статью 1-ю закона 9 сентября 1848 года. Несмотря на все это, следует все-таки приветствовать эту дату. Она является отправным пунктом всего законодательства, которое с того времени во Франции и в других странах стремится обеспечить рабочему классу право на отдых.

Покровительственные законы для женщин и детей. —Были сделаны и другие шаги на этом пути, и прежде всего в пользу женщин и детей.

Дети находились под защитой закона, принятого в 1841 г. Женщин закон не коснулся. Воловский, который не хотел, чтобы защищали мужчин, под тем предлогом, что они достаточно сильны, чтобы самим защитить себя, был более великодушен по отношению к женскому полу. Он предложил *комитету труда* ряд мер, предназначенных для защиты женщин против слишком су-

ровой эксплоатации, которой их подвергали. Законопроект, представленный им в Учредительное Собрание, хотя и был поддержан генеральными советами и генеральным мануфактурным советом, но никогда не ставился на обсуждение: он остался в числе добрых намерений, которыми Бурбонский дворец был вымощен, как ад.

Дети были включены в этот же законопроект. Воловский потребовал в *комитете труда*, чтобы законный возраст для допущения детей в фабрично-заводские предприятия был увеличен с 8 до 9 лет, комитет щедро увеличил его до 10 лет. Один из его членов, Дюбуа, предложил, чтобы маленькому труженику было, по крайней мере, двенадцать лет и чтобы он умел читать и писать для того, чтобы быть допущенным к работе. Но против него выступил Фаллу. По мнению последнего, ребенку лучше в мастерской, чем в семье, а что касается обязательного умения читать и писать, как условия поступления в мастерскую, то он высказался против, «потому что он не понимает, как можно запретить человеку работать на том основании, что он не получил образования». *Нельзя себе представить более лицемерной* попытки оправдать насилие во имя свободы. Другой депутат спрашивал, по какому праву будут препятствовать отцу семейства извлекать пользу из труда своих детей. Комитет тем не менее признал по отношению к детям обязательность посещения школы, абсолютное запрещение ночного труда и ограничение времени действительной работы 10-ю час. до 12 лет и 12-ю час. до 16 лет. Кроме того, он высказал пожелание, чтобы им предоставили полный воскресный отдых. Наконец, он требовал местного и бесплатного надзора, который предлагал возложить на инженеров путей сообщения.

За непринятием этого проекта дети были лишены новых гарантий в крупной промышленности, но зато они воспользовались регламентацией ученичества в мелких мастерских с менее чем двадцатью рабочими, ускользавших до тех пор от внимания государства. Рабочий Пепен предложил (9 августа 1848 года) в Учредительном Собрании, чтобы число учеников было ограничено, старый вопрос, служивший, начиная с средних веков, предметом ссор подмастерьев с мастерами. По его предложению, мастера должны удовлетворять некоторым условиям возраста и нравственности, применение всякого телесного наказания запрещается; предоставляется право возбуждать против мастеров преследование, если они будут пренебрегать своей обязанностью профессионального обучения и морального воспитания детей, доверенных их заботам. Далее Пепен требует, чтобы ученику было, по крайней мере, 12 лет; чтобы он работал не больше 10-ти часов в день и пользовался полным воскресным отдыхом; чтобы он посещал промышленные школы и курсы; чтобы у него были своего рода опекуны в виде кураторов *). Эти требования были сужены уже докладчиком де Парье, который принял их только в общих чертах. Они еще более сузились, когда нерешенный вопрос снова предстал перед Законодательным Собранием (4 марта 1850 г.). Новый проект, исходивший от министра торговли Ж. В. Дюма, был гораздо менее определенным. Он рекомендовал, конечно, хозяину, согласно старинной формуле, вести себя по отношению к ученику, как добрый отец семейства; но позволял ему нанимать детей всякого возраста и в каком угодно числе; это была одна из самых нежелательных мер для рабочих, которые *сильно рисковали лишиться работы всюду, где их можно заменить* детьми. Закон устанавливал десятичасовой рабочий день до 14-тилетнего и двенадцатичасовой до 16-тилетнего возраста, с этого возраста могла начинаться уже и ночная работа. Воскресный отдых начинался только с полудня; утро до 10 часов должно быть посвящено уборке мастерской. Два часа в день отводится для начального обучения и религиозного воспитания. В случае спора разбирательство, как и по первоначальному проекту, подлежит примирительной камере.

Закон таким образом претерпел изменения, сильно ослабившие его значение. Это не помешало экономистам найти его слишком суровым, а хозяевам—слишком стеснительным. Он плохо соблюдался, как и закон о детях, работающих на фабриках. Для учеников вовсе не было установлено инспекции; отправлявшие эту обязанность по отношению к другим категориям рабочих не получали жалованья; часто это были фабриканты, не грешившие

*) Любопытно заметить, какое влияние имеет возраст первого причащения у католиков на окончание школьного периода и вступление в активную жизнь. У протестантов, например, в Швейцарии, ввиду отсрочки этой религиозной церемонии до 16-ти лет, посещение школы было уже в 1848 г. признано обязательным до наступления этого возраста.

по отношению к своим собратьям чрезмерным усердием и строгостью. Вот почему пятнадцать лет спустя экономисты констатировали, что ночная работа для маленьких мучеников промышленности не прекратилась, что не устроены ни смены для обеспечения им некоторой передышки, ни фабричные школы для пополнения их образования. Увы! Это часто повторяющаяся песенка, когда дело идет о рабочих законах. От их существования на бумаге до действительного и правильного их применения далеко.

Несчастные случаи и гигиена труда.—Следует все-таки отметить при второй республике эти начинания и опыты, носившие тот же характер защиты труда.

Ответственность за несчастные случаи при работе определялась в то время общим правом. Вопрос о том, существуют ли между хозяином и рабочим особые отношения, контракт, совсем не ставился. Их рассматривали как двух лиц, отношения которых определялись статьей 1382 гражданского кодекса: «Всякое действие человека, причиняющее другому вред, обязывает того, по чьей вине это случилось, исправить этот вред». Отсюда следовало, что на хозяине лежала только уголовная или мнимоуголовная ответственность и что рабочий для получения вознаграждения должен был доказать, что тут была вина хозяина. Весьма понятно, насколько это бывает трудно.

Судебная практика расширила мало-по-малу такое понимание вопроса; она приравнивала рабочего или к путешественнику, которого транспортная компания обязалась доставить в целости на место назначения, или к взятой на прокат вещи, или животному, которых наниматель обязан вернуть в полной целости, или же приравнивала машины к злым животным, хозяин которых должен возместить вред, причиненный ими (статья 1385).

Принцип ответственности по договору со стороны хозяина начал таким образом проникать в умы. Затем несчастные случаи в рудниках по своему ужасному трагизму и несчастные случаи на железных дорогах, вследствие того, что им подвергались люди всех классов, способствовали внесению этого принципа в закон.

В 1848 году стали подумывать о том, чтобы гарантировать безопасность трудящимся. Решили, что, пожалуй, следовало бы предупреждать несчастные случаи и болезни, которые являются результатом работы. Предложение Луазе, депутата Северного департамента, внесенное 2 июля 1848 года, имело целью причислить всякое фабрично-заводское заведение, пользующееся механическим двигателем, к заведениям опасным и сопряженным с неудобствами для населения, которые нельзя открывать без разрешения; выставлялось также требование, чтобы несчастные случаи были предметом особых докладов и расследований, чтобы таким образом можно было предписать меры предосторожности, во избежание их. Автор предложения определил число ежегодных жертв в Лилле в фабрично-заводских предприятиях, работающих паром: 125 на 1000 и прибавил: «Февральская революция и большие сражения менее стоят, чем этот ежегодный налог, уплачиваемый рабочими». В ожидании, пока можно будет создать «кодекс безопасности и здоровых условий труда», он представил записку об ограничениях, которые следует внести в каждую специальную отрасль промышленности. Он совершенно не говорил ни о штрафе для хозяев, ни о вознаграждении для рабочих. Флокон только намекнул на вознаграждение, так как это вещь, которая сама собою понятна, но его предложение, переданное в *комитет торговли и промышленности*, не вернулось оттуда. Имеется только циркуляр министра общественных работ от 15 декабря 1848 года, предписывающий предпринимателям, работающим для государства, устраивать амбулатории, организовать для раненых и больных помощь, которая должна быть оказана частью общественными кассами, частью путем вычетов 2% из сдельной платы. Этот же циркуляр устанавливал обязательную толщину стенок паровых котлов. Но эти предписания применялись пока только в общественных работах; частная промышленность была от них избавлена.

То же самое нужно сказать по вопросу о гигиене, который еще не был разрешен. Уже известно было, что употребление свинцовых белил в краске опасно для рабочих. Старались заменить их цинковыми белилами. Многие министерские циркуляры от 1848 до 1852 г. предписывали исключительное употребление безвредного, но более дорогого вещества в работах, исполнявшихся за счет государства, департаментов и коммун. Таким образом государство-хозяин становилось образцовым хозяином для частных лиц; оно явилось инициатором в робких попытках, имевших

целью защитить от нерадивости частных лиц такую бесконечно дорогую вещь, как человеческая жизнь *).

Бюро для приискания занятий и Биржи труда.—Заботы были направлены еще на один предмет, имеющий для рабочих большое значение: *приискание работы.*

Для приискания занятий безработным Временное Правительство приказало завести в каждой мэрии книгу, куда записывались бы бесплатно и параллельно спрос и предложение занятий. Но декрет применялся только вначале, и конторы для найма, лишившись на время своего дохода, скоро опять начали накладывать на безработных налог, тем более тяжелый, что он падал на них в тот момент, когда они находились без работы и часто без денег. Рабочие общества постоянно указывали на конторы как на разбойничьи притоны. Не следует поэтому удивляться, что в Законодательном Собрании появились три предложения об уничтожении или уменьшении оброка, уплачиваемого таким образом за счет будущей заработной платы. Два проекта имели в виду учреждение справочных бюро, которые ничего бы не стоили: но этих проектов не обсуждали; третий проект предложил создание Биржи труда, а рабочие требовали учреждения, зародыши которого можно найти в конце XVIII века под именем бюро найма, и которое взяли под свою защиту некоторые экономисты, как, например, Молинари, согласно своим принципам, он хотел, чтобы игра предложения и спроса происходила совершенно свободно. Идея стала облекаться в конкретную форму. Она обсуждалась 3 марта 1851 года. В музее Карнавале (в Париже) существует даже модель *Биржа труда* со следующей надписью: Проект, представленный в муниципальную комиссию гражданином Дюку, с планом, составленным гражданином Дювалем, архитектором.—Но это значило бы поощрять группировку рабочих сил, делать возможным и общераспространенным коллективный договор. Поэтому предпочли предоставить рабочих в жертву разным конторам для приискания занятий, промысел которых несколько месяцев спустя стал монополией.

Работа в тюрьмах, монастырях и военных мастерских. Рабочим не посчастливилось и с протестами против страшной конкуренции тех заведений, где работающие, подчиненные особой дисциплине, обязанные жить в одном месте и вести особый образ жизни, могли производить дешевле, хотя в этом пункте интересы рабочих совпадали с интересами хозяев. Учреждения эти были трех родов: тюрьмы, монастыри, казармы. Декретом 24-го марта Временное Правительство приостановило работу в тюрьмах и военных мастерских; оно объявило в неопределенных выражениях, что в заседаниях, так называемых благотворительных, дело будет регулировано таким образом, чтобы не вредить свободному труду. Мотивом выставлялись соображения, относительно режима арестантов, которые, будучи присуждены к каторжным работам, играли роль рабов, эксплоатируемых в пользу предпринимателя, взявшего поставку на изготовляемые ими продукты; затем декрет ссылался на сильное понижение заработной платы, от которого страдало особенно швейное ремесло, когда ему приходилось бороться с такого же рода работой, исполнявшейся по дешевой цене в домах трудолюбия для женщин и в сиротских приютах.

Декрет не был применен ни в казармах, где нестроевые роты были сохранены по настоянию генералов, ни в религиозных учреждениях, которые, не платя за патенты, продолжали вести торговлю под вывеской благотворительности, за исключением тех мест, где они были закрыты, как в Лионе, силой рабочими, или как в Реймсе—буржуазной национальной гвардией. В тюрьмах он соблюдался. Но начальники центральных мест заключения не замедлили выступить с протестами; из одной беды попали в другую; с обреченными на безделье арестантами труднее было справляться; расходы государства стали более значительными, так как раньше часть заработка арестантов шла на их содержание. К этим протестам присоединились корыстные жалобы предпринимателей, лишившихся прибыли, которую раньше они имели в своем распоряжении, пользуясь скудно оплаченным трудом заключенных.

18 августа 1848 года был представлен проект возвращения к прежнему порядку. Но между заинтересованными сторонами завязалась ожесточенная борьба. Рабочие, фабриканты, торговые палаты протестовали против этой конкуренции с неравными силами. Тюрьма превращалась в ремесленную школу, выходившие из нее мужчины и женщины понижали заработную плату в тех

*) Во имя этого же принципа была вновь регламентирована (8 июля 1850 г.) продажа ядовитых веществ.

ремеслах, которым они выучились. Предприниматели, получившие настоящую привилегию, дошли до того, что заставляли изготовлять рубашки по 25 сантимов за штуку. Рассказывали, что одна фабрика шерстяных изделий в Париже не могла бороться с центральной тюрьмой в Мюлэне, что краснодеревщики в С.-Антуанском предместье разорились благодаря тюрьме в Пуасси. В Труа число получающих пособие бедных поднялось с 3500 до 6000, и это увеличение приписывали соседству тюрьмы в Клерво. Один только религиозный орден выбросил в течение года на рынок на 40000 франков товару, который он распродавал по очень низким ценам. Шельхер выдвинул, кроме того, соображения гуманности. Нимские арестанты, которых плохо кормили, и которые занимались таким убийственным делом, как обработка на кардах шелковых оческов, давали 22—23% чахоточных, тогда как обычный средний процент,—4—5.

После серьезных дебатов работа в монастырях была разрешена негласно, а в казармах формально; в тюрьмах разрешалось отдавать работы с торгов или вести их хозяйственным способом. Только продукты предложено по возможности поставлять государству, т.-е. вместо того, чтобы продавать их, употреблять на нужды армии, флота, больниц. В общем, вернулись почти к порядку, практиковавшемуся до 1848 года, к эксплоатации арестантов и к их разорительной конкуренции для свободного труда. Но этот порядок давал повод к столь резкой критике, что, когда произошел государственный переворот, стали снова подумывать о реформе.

Работа с торгов.—Некоторые из мер, которые мы только что рассмотрели, касались отчасти отношений между хозяевами и рабочими. Но были и такие, которые затрогивали их более непосредственно.

Декрет 2 марта 1848 г. уничтожил работу с торгов. Этот термин имел в то время троякое значение. Прежде всего он означал уступку предприятия подрядчику, который становился посредником между главным предпринимателем и рабочими и который, понятно, эксплоатировал и иногда притеснял людей, находившихся под его начальством, так как ему нужно было выручить деньги, уплаченные предпринимателю. Это практиковалось особенно в строительном деле. *Работа с таргов* означала также поштучную работу. В таком случае она называлась *поштучной работой с торгов.* Наконец, в третьем своем значении это была такая работа, которая распределялась между рабочими, вошедшими в ассоциацию, т.-е. одна из разновидностей коллективного договора о труде.

Из этих трех видов работы с торгов только один первый был уничтожен Временным Правительством, и в декрете об этом говорилось в определенных выражениях. Но в последующей полемике пренебрегали этими различиями. В своей книге «*О собственности*» Тьер все время аргументирует так (была ли это ошибка или беззастенчивая ловкость?), как будто хотели уничтожить поштучную работу. Во всяком случае работа с торгов стала одной из тех форм труда, которые буржуазная реакция силилась восстановить. Работа, взятая с подряда откупщиком, который становился ответственным за нее, весьма облегчала крупным предпринимателям их дело. Так как уничтожение ее было объявлено тем же декретом, который ограничивал рабочие часы, то хотели разом отменить оба постановления. Бюффе заявил в своей речи, что следует восстановить работу с торгов; в противном случае, говорил он, это значило бы запретить способным рабочим надеяться на повышение, стать в свою очередь старшими и хозяевами. Ничего, однако, не было решено, потому, быть может, что предпочитали молча уничтожить постановление, ценное для рабочих. Но оно не было отменено, так что, когда вопрос этот снова возник, министру торговли оставалось только декретом 10-го августа 1899 года восстановить действие статьи, просто вышедшей из употребления.

Статья 1781.—Было обращено внимание и на другие частности договора труда. Гражданский кодекс отличался умеренностью в деталях по этому предмету. Он ограничивался двумя предписаниями: с одной стороны (статья 14), он говорил, что рабочего нельзя нанимать на срок больше года, по крайней мере, в том случае, когда он не является помощником мастера или надсмотрщиком над другими рабочими, и когда в качестве такового он не пользуется жалованием и условиями, выговоренными на основании определенного акта; с другой стороны (статья 1781), он предоставлял хозяевам громадное преимущество, установив сле-

дующее правило: «*хозяину* должны верить на слово по вопросу о размере жалованья, об уплате заработной платы за истекший год и о заработной плате, выданной в счет текущего года». Рабочий, значит, был поставлен в зависимость от добросовестности хозяина и в положение неравное с ним перед законом. 8 июня 1848 г. Лемонье предложил уничтожить этот остаток старины. Но проходили месяцы, а с ними исчезали благие намерения Собрания. Когда начались прения, Брюнель, депутат из Финистерра, в нагло-консервативной речи отверг самую мысль коснуться священной твердыни, гражданского кодекса. Оратор насмехался над утонченным равенством, с которым скоро дойдут до того, что станут сносить колокольни; он представил в виде скандальной и смешной сцены перспективу появления перед мировым судьей хозяина, находящегося в конфликте со своим слугой. Учредительное Собрание не пришло ни к какому решению. Но в Законодательном Собрании бывший каменщик Надо энергично и умело возобновил кампанию против 1781-й статьи, которая затрагивала достоинство рабочих еще в большей степени, чем их интересы. Доклад о сделанном им предложении отменить эту статью поступил в Собрание 18 месяцев спустя (31 марта 1851 года); он был составлен в неблагоприятном для предложения духе. Большинство Собрания одинаково не хотело как гражданского, так и политического равенства между нанимателем и нанимаемым. Не согласились даже на введение особой книги, куда записывались бы условия, заключенные между хозяином и рабочими; исключение было сделано только для ткацкого и прядильного производств, где сложность расчетов делала эту меру необходимой. Всюду настойчиво сохраняли название *хозяин*, которое приравнивало рабочих к слугам и которое в то время отвергалось, как оскорбительное, как английским, так и французским пролетариатом.

Минимум заработной платы и привилегия заработной платы. Собраниям пришлось также заняться и вопросом о заработной плате. 26 августа 1848 г. были допущены в *комитет труда* делегаты прядильщиков шерсти. Они представили проект, исходивший от одного собрания в Реймсе, на котором участвовали фабриканты севера, востока и северо-запада. В числе других предложений имелось и предложение установить *минимум заработной платы*, который определялся бы хозяевами и рабочими в каждом промышленном центре и для каждой специальности, и соответственно этому *минимум цены на кусок материи*, который основывался бы на действительной стоимости продукта, включая все расходы, и ниже которого никто из фабрикантов не мог бы продавать. Этой мысли не было дано ходу. Но зато депутат департамента устья Роны Астуэн попытался внести в Учредительное Собрание изменение текста гражданского кодекса о *привилегиях заработной платы*. Статья 2101 постановляла, что в случае несостоятельности находящийся в услужении персонал получает свое жалованье преимущественно перед другими кредиторами. Требовали распространить эту привилегию на рабочих по отношению заработной платы, причитающейся им за три последние месяца до банкротства. Рабочий, не получающий доли в прибылях капитала, не должен подвергаться риску участвовать в его потерях. Но большинство Собрания, приравнивавшее рабочих к слугам, когда это было невыгодно для них, отказалось поставить их на ту же степень тогда, когда такое приравнивание было бы в пользу рабочих. Предлогом выставили то, что предоставить рабочим эту привилегию, значило бы принести им вред, так как предприниматели, которым будет угрожать обязательство уплатить полностью заработную плату, не сумеют уже так легко найти кредит, и поэтому будут предпринимать меньше работ. Итак, в существовавшем положении ничего не изменилось.

Рабочая книжка. Был также поднят вопрос о рабочей книжке. При том страхе, который чувствовали к рабочему классу, не было никакого желания освободить его от обязательства держать при себе эту маленькую книжку, которая должна быть подписана хозяином, мэром или полицейским комиссаром и заключать в себе список авансов, выданных нанимателем своему наемному рабочему и гарантированных вычетом из будущей заработной платы. Когда в октябре 1848 года стали требовать паспорт у рабочего, желавшего переселиться из одного департамента в другой, то на него охотно наложили обязанность приносить с собой, при перемене мастерской, этот вид удостоверения о благонадежном поведении. Депутат Надо безуспешно требовал отмены этой меры, свидетельствовавшей о недоверии к трудящимся (в июне 1851 г.). Пытались, по крайней мере, ослабить те условия,

которые ставили рабочего не под надзор власти, а в экономическую зависимость от хозяина. Если только данный хозяином аванс был довольно велик, рабочий оказывался иногда на всю жизнь арестованным за свой долг; он оставался привязанным к фабрике, как средневековой крепостной к земле. Некоторые депутаты высказались за то, чтобы запретить записи подобного рода в рабочей книжке. Министр предложил ограничить только тридцатью франками разрешенный законом аванс, так как в некоторых случаях он был единственным средством к жизни для рабочего. Это мнение взяло верх, и рабочая книжка продолжала существовать в слегка смягченном виде.

Примирительные камеры. Как ни заботились о сохранении первенства хозяев, все-таки пришлось обратить внимание на возможность споров между ними и их рабочими и на законные меры к их улаживанию. Для этого существовали третейские суды, по крайней мере, в некоторых городах и для некоторых категорий рабочих. Когда Флокон стал министром торговли, он попытался расширить их. Кроме того, он хотел, чтобы третейские судьи избирались уже не только лицами, имевшими промысловые свительства (почти всегда хозяевами), но также и рабочими и подмастерьями, которые прожили шесть месяцев в данном округе. Желая осуществить сотрудничество и примирение классов, он хотел, чтобы обе эти группы были представлены равным числом судей и чтобы председателем суда был по очереди представитель той и другой группы. Кроме того, он требовал, чтобы выборы этих судей производились двойным голосованием, т.-е., чтобы делегатов от хозяев выбирали рабочие из списка кандидатов, составленного хозяевами, а делегатов от рабочих выбирали хозяева из списка кандидатов, составленного рабочими. Проект этим не ограничивался. Он стремился создать целую судебную и даже административную организацию в экономической области. В каждой коммуне, где заинтересованные лица этого требовали, должен быть учрежден *специальный совет*, который бесплатно улаживает споры, возникающие в находящейся в его ведении промышленной группе. Деревни не были исключены, и в *комитете трудящихся* был поднят вопрос о сельских третейских судах. Даже в самом Законодательном Собрании было внесено (27 марта 1851 г.) депутатами Надо, Греппо и Кольфаврю

предложение об образовании особой категории, заключающей в себе сельских рабочих и рабочих тех профессий, которые до сих пор оставались вне ведения этой специальной юстиции. Предложение, это, впрочем, было отвергнуто. Но вернемся к проекту Флокона. Кроме *специальных советов*, проект этот предусматривал образование *семейных советов*, которые избираются из среды первых и которые должны работать в качестве апелляционных палат, бюро для приискания занятий, справочных учреждений об условиях труда, посредников в сношениях с властью и депо фабричных клейм *).

Проект показался слишком смелым. Он был принят *комитетом трудящихся* только отчасти; перед Учредительным Собранием он предстал урезанным во всем том, что должно было расширить компетенцию советов. Пожертвовали цельностью ради того, чтобы покончить с ним поскорее. Чтобы быть избирателем, нужно было быть в возрасте двадцати одного года и прожить в данной местности шесть месяцев; чтобы иметь право быть избираемым,— двадцать пять лет и жительство в течение года; собрание прибавило еще требование уметь читать и писать. Особенно оспаривались два пункта. Депутат департамента Роны Ферруйля и большинство рабочих депутатов требовали, чтобы делегаты каждой группы непосредственно назначались самой этой группой; чтобы реальный антагонизм интересов не был замаскирован преждевременным и внешним примирением, которое могло бы извратить результаты выборов. Однако, сложный способ выборов, предложенный Флоконом, взял верх. Другим спорным вопросом был вопрос о том, куда отнести помощников мастера и старших в мастерских. Должны ли они голосовать с рабочими, к которым принадлежали по своему происхождению, или с хозяевами, доверенными и уполномоченными которых они являются. Принято было последнее мнение. Было только постановлено, что они не могут составлять больше четверти общего числа представительства от хозяев. Министерский декрет от 6 июня прибавил дополнительные постановления для некоторых городов, как Лион, Ним, Сент-Этьенн, где налицо были не две, а три группы заинтересованных лиц: рабочие, фабриканты и между ними старшие в мастерских, которые, состоя сами на жалованьи, в то же время

*) В 1851 г. был внесен специальный проект о фабричных клеймах.

являлись и нанимателями по отношению к рабочим. Из затруднения вышли таким образом, что примирительная камера должна быть выбираема на трех избирательных собраниях, вместо двух.

Новый закон был далек от совершенства. Он не коснулся женщин. В нём не предлагалось вознаграждения делегатам, что обращало в довольно тяжелую повинность ту честь, которую им оказывали их избиратели. Третейские судьи не стали тем, чем они могли и должны были сделаться по мысли Флокона,—мировыми судьями в области промышленности и земледелия. Но тем не менее этот закон был одним из тех, которые больше всего делали уступок рабочим, так, что хозяева, с своей стороны, жаловались на то, что они недостаточно представлены в новом суде, ибо при голосовании рабочие охотнее выбирали судьями помощников мастера, чем хозяев. Однако, закон изменениям не подвергся.

Таковы в общих чертах те изменения, которые были внесены в условия труда при Второй Республике. В редких случаях они были обязаны инициативе хозяев, чаще—деятельности рабочих обществ, иногда местной власти и чаще всего вмешательству закона. Хотя они касались самых разнообразных предметов, их можно подвести под три главные категории, по мысли их авторов: они имели целью или охранять физическое и моральное здоровье трудящихся, или обеспечивать им свободу и равенство в их отношениях с хозяевами, или же предупреждать и улаживать конфликты, возникавшие между ними и их, нанимателями. Конечно, они далеко не достигали намеченной цели: каждый шаг вперед по большей части сопровождался последующим шагом назад. Но, несмотря на нерешительность движения и на попятные шаги, созданы были новые средства к улучшению условий жизни пролетариата. Синдикалистское движение, рабочее законодательство, социальная экономия, вот чем отмечен 1848 г., и вот что явилось могучим фактором пробуждения рабочего класса!

ГЛАВА VI.

Учреждения для вспомоществования и благотворительности.

Этот очерк новых условий, созданных для труда, был бы не полон, если бы мы обошли молчанием *учреждения для вспомоществований и благотворительности*, которые были тогда организованы или предложены. Они составляли две различные и родственные группы, носившие тот общий характер, что обе не имели ни целью, ни результатом своим освобождение пролетариата; они стремились и приводили только к тому, чтобы сделать для него жизнь более легкой и более обеспеченной; при этом первые могли бы взять своим девизом:—«Помогай себе, и тебе помогут!», а вторые обещали помощь тем, кто уже не может без нее обходиться.

Здесь не приходилось сталкиваться с неизбежной оппозицией господствующего класса, желающего удержать рабочий класс в экономической от себя зависимости. Не было также речи о постепенном поднятии рабочих до уровня хозяев, а только о том, чтобы обеспечить им или побудить их самих обеспечить себе средства существования на черный день. Вопрос шел уже не о справедливости, а о коллективной или личной благотворительности. По общему признанию, здесь нужно было «кое-что сделать». В частности католики, которые дружно старались вместе с экономистами удержать трудящихся в их подчиненном положении, относились благосклонно и по принципу, и по традиции к попечительству богатых над бедными, к покровительству бедному классу со стороны класса зажиточного.

Учреждения вспомоществования. — К группе учреждений, в которых участники их ставят себе целью обходиться без помощи извне, относятся кассы взаимопомощи, страховые, сберегательные и пенсионные.

Общества взаимопомощи.—Общества взаимопомощи, не признанные законом, существовали во Франции давно. В одном Париже их насчитывали более 250, в Бордо более 40; в деревнях они встречались редко. В 1848 году их образовалось много при первом порыве братских чувств, когда принцип ассоциации представлялся

даже официальным сферам средством против социального зла. В Учредительное Собрание внесено было множество предложений об увеличении числа обществ взаимопомощи и о мерах к их поощрению; высказывались пожелания, чтобы в каждом кантоне, даже в каждой коммуне было по такому обществу. По этому поводу был сделан доклад Ферруйля и затем внесен особый законопроект (19 февраля 1849 г.). Однако, Собрание не решилось следовать за Вальдеком-Руссо и Рувером по пути, на который они смело вступили; один обязывал коммуны, департаменты и государство оказывать регулярно денежную помощь вспомогательным кассам; другой облагал хозяев обязательными взносами; тем не менее предоставляя обществам полную свободу самоуправления, все-таки стремились создать кантональные комиссии, которые были бы своего рода «школами братства», рассеянными по всей Франции и задачи которых заключались бы в поощрении зарождающихся обществ и в выработке для них образцовых уставов, которыми они могли бы руководствоваться. Общества эти признавались учреждениями общественно-полезными, они могли получать имущества по завещанию, пожертвования и помещения для собраний от коммун, взамен этого им ставили условием, чтобы они были открыты для всех трудящихся обоего пола и не брали на себя обязательства оказывать помощь безработным. Этот проект не обсуждался. Идея его опять всплыла при Законодательном Собрании; но в то время уже стали относиться с недоверием к ассоциациям и постоянно опасались, как бы под их флагом не укрылась какая-нибудь опасная политическая или социальная тенденция. Правительство требовало, чтобы в каждом обществе взаимопомощи председатель назначался главою государства, чтобы имелись почетные члены, которые служили бы гарантией его консервативного духа, так как они необходимо принадлежали бы к зажиточному классу. Закон 15-го июля 1850 года несколько ослабил эти ограничения; но он все-таки предписывал, чтобы в этих обществах, за исключением указанных законом случаев, было не менее 100 и не более 2000 членов; он ставил их под надзор муниципалитета и префектуры; для изменения их устава и их закрытия требовалось утверждение правительства; закон обязывал их регулировать взносы, сообразуясь с официальными таблицами о движении заболеваемости и смертности. Итак,

общества не были вполне свободными. Они разделялись на общества свободные, составившиеся на основании существующего закона и общества, для которых требовалось особое разрешение власти. Из числа первых были утверждены только десять. Эти общества с одинаковым недоверием относились к милостям власти, как и к ее вмешательству. И не без основания. Многие подверглись преследованию под предлогом, что они занимаются политикой, а на самом деле потому, что они главным образом состояли из республиканцев. При одном только втором министерстве Леона Фоше (апрель—октябрь 1851 г.) двенадцать обществ были закрыты и четыре отмечены, как опасные. Циркуляр Бароша от 25-го июля 1850 года и административное распоряжение от 14-го июня 1851 года усилили законодательную регламентацию и скорее сдерживали, чем поощряли движение.

Но зато общества избавились, хотя отчасти, от произвола администрации и только благодаря этому признанию законом получили возможность медленно развиваться. Для обществ взаимопомощи, кооперативов и синдикатов эпоха второй республики является одной из важнейших фаз существования.

Приюты для рабочих. Одна из статей закона запрещала обществам взаимопомощи обещать устройство приютов, на том будто бы основании, что такие чрезмерные притязания были бы для них опасны. Полагали, довольно разумно, что для обеспечения рабочих убежищем требовалось устройство специальных учреждений. Англия дала в этом отношении пример в 1833 г.; во Франции инициативу взяли на себя некоторые хозяева-филантропы, в особенности Дольфус из Мюльгаузена и *Промышленное общество* того же города. Здесь устроено было убежище на 50 престарелых рабочих; денежный фонд образовался путем вычета 3% из заработной платы, к которым хозяева прибавляли от себя 2%. С их стороны это было одновременно и выражением гуманного чувства и ловким расчетом; они видели в этом средство благородно и наверняка привязать к себе рабочих. Еще до 1848 г. вырабатывался законопроект о повсеместном устройстве такого рода учреждений. Учредительное Собрание снова вернулось к нему и расширило его. Один из членов собрания, Вальдек-Руссо, требовал с самого начала учреждения национальной вспомога-

тельной кассы. В докладе, прочитанном по этому поводу (19 февраля 1849 г.), говорилось:

„Цель, которую мы себе поставили, заключается в том, чтобы создать под гарантией государства учреждение, которое путем удачной комбинации элементов ассоциации, вероятных шансов смертности и накопления процентов обеспечило бы вкладчику взамен его безвозвратных взносов пенсию на старости лет, соответствующую общей сумме сделанных им взносов и времени, истекшему до начала пользования пенсией, разумеется, достаточно отдаленному".

Проект был выставлен как гарантия порядка; надеялись создать между государством и рабочим общность интересов: говорили, что эра революций будет закончена в тот день, когда рабочий будет иметь возможность в свою очередь сказать: государство—это я. Впрочем, всякий обязательный взнос, в виде вычета из заработной платы, был устранен; желали, чтобы сбережения делались добровольно и, следовательно, представляли собой большую заслугу. Деньги предполагалось помещать в государственных фондах. За помещенный таким образом капитал уплачивалось 5%; максимум пенсии, права на которую нельзя было передавать другому и на которую нельзя было наложить ареста, был установлен в 480 франков. Интересным нововведением было то, что женщина, в случае отказа от нее мужа или отсутствия его, могла получить право приобрести личную пожизненную ренту.

Законодательное Собрание закончило то, что Учредительное Собрание только наметило. Закон, вотированный 18 июня 1850 г., рассматривался как средство «заинтересовать все классы в поддержании общественного здания». Некоторые депутаты были не без основания убеждены, что только обязательность этого закона могла сделать его действительным; они требовали, с одной стороны, чтобы наемные рабочие были обязаны принимать участие в образовании пожизненной ренты, которая впоследствии им же возвратится, и что хозяева, с другой стороны, обязаны были делать взносы пропорционально взносам и числу своих рабочих. Некоторые, менее смелые, хотели, по крайней мере, чтобы взносы поощрялись премиями. Собрание отказалось принять их мнение. Оно предоставило рабочим свободу делать или не делать взносы в *Национальную пенсионную кассу*, и некоторые из его членов сделали это не без задней мысли, чему свидетельством служат следующие слова Тьера, доказывающие, что некоторые рассчитывали на вероятную неудачу и просто желали показать, что они что-то делают:

„Мы не достигнем никакого результата, если рабочему предоставят свободу; он не будет делать взносов и попрежнему доживет до старости в том же состоянии беспечности.—Таковы многие из них...".

Буржуазия испугалась размера капитала, который накопится таким образом на имя рабочего класса; испугалась трудности заведывания им, и Тьер, протестуя против «этого нового коммунизма», так мотивировал преимущество, отдаваемое системе необязательности:

„Почему? Да потому, что, независимо оттого, что следует уважать свободу человека, будет гораздо меньше лиц, делающих взносы, и поэтому меньше придется преодолевать трудностей при взимании и помещении их сбережений, а это значит, что чем меньше будет достигаться цель этого учреждения, тем легче оно будет осуществимо".

Кроме того, Собрание предоставило вкладчикам свободу отдавать свои деньги безвозвратно, или с условием возврата капитала наследникам в случае смерти. Оно повысило максимум пенсии, который могут получать пенсионеры, до 600 франков и признало ее не подлежащей аресту в сумме до 360 франков. Оно постановило, чтобы принимались всякие взносы, даже ниже пяти франков, и чтобы шансы смертности рассчитывались по таблицам Депарсье, наиболее благоприятным для будущих рантье. Несмотря на то, что филантропы увеличили наполовину или на треть взносы первых подписчиков, не было заметно, чтобы рабочий класс особенно шел на эту приманку; предвидения, можно было бы почти сказать надежды Тьера, что вкладчиков будет мало, оправдались. Ежегодный взнос в сумме пятидесяти франков приблизительно был все еще слишком велик для множества мелких наемных рабочих *). Неотложные нужды текущего дня мешали думать о будущих нуждах, и откладывание сбережений на старость, повидимому, было доступнее мелкой буржуазии, чем пролетариату.

Сберегательные кассы.—Кроме того, у маленьких людей были, на основании недавнего опыта, причины не вполне доверять государству хранение их скромных сбережений. Авантюра с

*) **Тьер определял среднюю дневную заработную плату в $1^1/_2$ франка и даже ниже.**

сберегательным кассам оставила неприятные воспоминания. 24-го февраля в них было 355.427.117 франков. Но правительству Луи Филиппа пришла в голову несчастная мысль заменить денежные вклады рентой и акциями; и когда вкладчики, под влиянием паники, массами явились за получением своих вкладов, они очутились перед кассой, явно бессильной удовлетворить их требования. За один только день 15-го марта ей нужно было уплатить 3.353.544 франка. Временное Правительство, оказавшееся жертвой безрассудства предшествующего правительства и ответственным за него, устранило опасность, насколько было в силах. Оно постановило (9 марта) возвращать по книжкам только 100 франков звонкой монетой, а остальное уплачивать облигациями казначейства и 5% рентой по нарицательной стоимости. Но облигации были на четырехмесячный срок, а рента значительно упала; средство это было по существу лишь частичным банкротством, которое к довершению бедствия наносило ущерб классу, наиболее безденежному. Оно неожиданно опровергло экономистов и филантропов, которые издавна на все лады восхваляли мелким кошелькам сберегательную кассу, как последний рессурс в случае нужды.

Одной из первых забот Учредительного Собрания было уплатить, чтобы выполнить свои обязательства, долг более священный, чем другие, потому что он касался копейки наиболее бедных людей. *Финансовый комитет* предложил, чтобы выдаваемая взамен вкладов пятипроцентная рента считалась вкладчикам по пониженному курсу в 70 франков. Несколько позднее министр финансов Гудшо дополнил это предложение требованием, чтобы по тем книжкам, взносы по которым не превышали 70 франков, уплачивалось звонкой монетой, и после обсуждения (5-го июля) все эти меры были приняты с поправкой Дюклерка, которая устанавливала в 80 франков, по курсу того дня, стоимость ренты и размер взносов по книжкам, уплачиваемых звонкой монетой. После того, как потеря вкладчиков была таким образом кое-как возмещена, оставалось принять меры, чтобы предупредить повторение. Закон 30 июня 1851 года ограничил вклады по книжкам сберегательной кассы суммой в 1000 франков. В случае, если эта сумма будет превышена вследствие накопления процентов, на имя вкладчика покупается десятифранковая рента. Установлен был также предел в 8.000 франков для вкладов обществ взаимопомощи. Процент был понижен с 5 до $4^1/_2$. Эти постановления должны были вызвать сокращение притока денег в сберегательные кассы. Но еще вопрос, до какой степени выгодно для народа держать без движения в сберегательных кассах громадную часть своего капитала, и не есть ли это симптом инертности и робости, мало благоприятствующих производству и торговле. Во всяком случае вклады, начиная с этого момента, достигали менее высоких цифр, и значительное уменьшение их доказывает, что бедному классу пришлось жить на свои запасы и что он потерял в течение этих годов смуты сравнительно, по крайней мере, столько же, сколько и капиталистический класс.

Годы.	Количество книжек к концу года.	Сделано в течение года взносов.	Возвращено взносов.	Кассовый остаток.
1847	736.951	127 милл.	156 милл.	358 милл.
1850	565.995	98 „	40 „	135 „
1851	611.086	97 „	73 „	158 „

Страхование.—К мероприятиям, предохраняющим от превратностей судьбы, нужно прибавить проект министра Дюклерка о всеобщем государственном страховании от огня. По этому проекту государство заменяло собою все страховые общества, вознаградив и заменив их личный состав. Государство становилось страхователем всего движимого и недвижимого имущества. Отныне всякий риск убытка сводился к минимуму, потому что он разделялся между всеми гражданами, связанными между собою круговой порукой. Обязательное взаимное страхование становилось таким образом общественным делом; не преследуя целей наживы, оно гарантирует имущество каждого человека при минимуме расходов. Проект был представлен в июне 1848 года. Но, по обычному ходу вещей, это учреждение взаимного страхования,—которое существовало беспрепятственно на пороге Франции, например, в кантоне Во,—после июньских дней стали обвинять в социализме. Большего и не требовалось, чтобы сохранить за страховыми обществами прекрасные доходы, которые они клали себе в карман; Гудшо взял проект обратно 14-го июля. Проекты сельско-хозяйственного страхования от града, мороза, эпизоотии, наводнения по-

коились на тех же принципах. Вслед за Ламартином повторяли, что самый сильный вид помощи это помощь 35-ти миллионов людей 35-ти миллионам людей. Риск рассчитывали покрыть обязательными взносами, взимаемыми пропорционально стоимости земледельческих продуктов, застрахованных таким образом. Учреждались: специальная касса, комиссии, на обязанности которых лежит определение убытков, с возмещением их в размере $^4/_5$. Судьба этих проектов была та же, что и всех предшествующих. Все было предоставлено частной предприимчивости и спекуляции.

Общественная и частная благотворительность.—От законов, пытавшихся организовать то, что Консидеран называл *гарантизмом*, незаметно переходим к законам о помощи в собственном смысле слова.

Нужда была громадная. В Париже, куда стекались из провинции все не имеющие заработка, насчитывалось в 1836 году 100 нищих на 1.232 человека и 9 умерших в богадельне на каждые 24 умерших. Зимой 1847 года в Париже приходилось оказывать помощь более чем трети всего населения; квитанции на получение хлеба выданы были 450.000 лиц, и этот факт должен бы открыть глаза историкам, которые продолжают думать, что причины февральской революции были чисто политические. Промышленные города представляли такую же или еще худшую нищету. В Лилле на трех жителей приходился один, не имеющий возможности прокормить себя. Частная благотворительность со своим нерегулярным притоком пожертвований, по большей части приходила на помощь этой нужде. В особенности церкви, согласно своим принципам и своим интересам, занимались благотворительностью, которая была для них старой традицией и громадным средством поддерживать свое влияние. Общества Сен-Венсен-де-Поль и Сен-Франсуа-Ксавье являлись среди католиков обычными раздавателями той манны, которая падала на низшие классы из высоких общественных сфер. Виконт Арман де Мелэн, основавший в 1847 году *Общество благотворительной экономии*, как говорят, также считался профессиональным, национальным и международным филантропом, и не один республиканец, как, например, Трела, Ламартин, Ледрю-Ролен, присоединился к нему, чтобы облегчить пауперизм. Легальная благотворительность присоединялась к другому виду благотворительности. В ведении городов, департаментов или государства находились больницы и богадельни, ломбарды, приюты для слепых, глухо-немых, сумасшедших, подкидышей, сирот. Кроме того, в 37.000 коммунах имелось 7.599 благотворительных бюро, из которых около 4.000 действительно функционировали. Но все эти учреждения имели очень неодинаковые доходы и независимую администрацию, так что ответственность, разделенная между многими лицами, фактически сводилась почти к нулю; помощь плохо распределялась; она была весьма недостаточна; нужно было организовать и развить общую связь между этими учреждениями.

В этой области мы снова находим столкновение индивидуалистических доктрин с идеями государственного вмешательства. Спор шел о необходимости отделить частную благотворительность от благотворительности общественной; а так как первая главным образом отличалась характером религиозным, то это часто приводило к глухой борьбе между церковью и государством.

Вначале, в тот краткий период, когда партии сближались между собою, было сделано усилие демократизировать частную благотворительность и придать ей светский характер. Отсюда возникло общество под названием *Дело братств* или семей, каждый член которого должен был взять на себя заботу об одной бедной семье, посещать ее, оказывать ей помощь. Отличительным признаком здесь был дух равенства. По определению Армана де Мелэна, благотворительность, вместо того чтобы быть покровительницей, протягивающей сверху руку тем, кто внизу, превратилась в преданную сестру, идущую к семье, которая терпит нужду, чтобы разделить с ней ее страдания и ее жизнь. В различных кварталах Парижа, в коллежах, в лицеях, в высших школах дело это имело некоторый успех, но, будучи республиканским по происхождению, оно подверглось нападкам, когда прошел первый порыв, а затем было поглощено католическими или реформатскими обществами, будучи по тенденции выше религиозных различий. Всего этого было недостаточно для того, чтобы удовлетворить нужду. Коллективная благотворительность более чем когда-либо оказывалась необходимой.

Учредительное Собрание отвергло право на помощь, которое казалось ему похожим на право на труд. Но статья 13-я, содержавшая в себе, по выражению того времени, «клапаны социальной

машины», налагала на общество обязанность обеспечить существование нуждающихся. Проектов было множество. Сейра, занятый вопросом о бедных в деревне, для которых не существовало никаких учреждений, которых «даже не жалели», заявил о крайней необходимости ассигновать миллион для инвалидов деревенских коммун. Гиг говорил, что следовало бы учреждать в каждом департаменте дома призрения для нищих и собирать туда бродяг. И должность адвоката для бедных при каждом гражданском суде. А так как нищета—мать пороков и преступлений, то мы можем сюда же отнести требования, вызванные тюремным режимом, резкие протесты Шельхера против «этих высших школ разбойников и убийц, основанных под именем каторжных тюрем». Было много проектов реформы системы наказаний, но дело ограничивалось только интересными докладами. Депасс требовал учреждения для городских бедняков 50-ти убежищ в Париже, а Сенар предложил (28 августа 1848 г.) преобразовать ломбарды, где рабочие составляли $^7/_{10}$ клиентуры. Робочим бесплатно вернули часть вещей, которые они заложили в черные дни своей нужды.

Эта операция пролила луч света на печальные учреждения ломбардов. По словам Дюклерка, «из учреждений благотворительных они мало-по-малу стали орудиями торговли и наживы. Государство продавало там свою помощь по дорогой цене; процент за ссуду был ростовщический; в Париже он достигал $9^1/_2{}^0/_0$, а в некоторых местах $15^0/_0$. Доходы, которые в одном Париже исчислялись в 10 миллионов франков за период с 1805 до 1843 года, частью шли на богадельни, так что нищете одних помогали за счет нищеты других. Значительная часть доходов прилипала к рукам оценщиков, которые занимались гнусной торговлей ломбардными квитанциями. Поэтому Сенар требовал трех реформ: образования для ломбардов капитала, который даст возможность понизить процент до $3^0/_0$; уничтожения при ломбардах должности комиссионеров, которая продавалась за деньги и на которую ежегодно отчисляли сумму почти в полмиллиона, назначения для заведывания каждым из этих учреждений ответственного директора. Законопроект, принятый не Учредительным Собранием, а Законодательным 24 июня 1856 г., поставил во главе ломбардов административный совет, под председательством мэра коммуны, организовал пожертвования в их пользу, предоставил им право употреблять излишек доходов на увеличение капитала и постановил, чтобы условия выдачи ссуд под залог устанавливались административным путем ежегодно. Это было некоторое улучшение, но еще далеко не организация дешевого кредита для бедных. По крайней мере, закон 19 декабря 1850 года, после двух неудачных попыток, признал нужным карать штрафом и тюремным заключением виновных в ростовщичестве.

Все эти разрозненные меры или предложения стушевываются перед двумя общими проектами, представленными Дюфором и касавшимися организации *общественной благотворительности*—один в Париже, а другой во Франции. Это слово, говорил Дюфор, новое в языке законов. «Впервые, прибавил он, христианская заповедь становится базой целого административного кодекса». Дело, конечно, было не столь уже новое, как предполагал министр; но со времени первой революции ни одно французское собрание не призывали так торжественно заняться законодательством в этой области.

Занялись тем, что было всего неотложнее—Парижем. Три основные черты характеризовали этот проект. Власть была централизована в руках единственного директора, назначенного министром и пользующегося значительными полномочиями; осуществлять их он должен был под контролем комитета надзора; в частности он являлся опекуном сирот, подкидышей, сумасшедших. Далее, учреждение это было разделено на два отделения: первое заведывало больницами и богадельнями; второе—оказанием помощи на дому. Наконец, врачи и хирурги назначались по конкурсу или же, как заставил прибавить доктор Труссо, избирались своими коллегами. Комиссия, которой был передан проект, попыталась ослабить то, что она называла всемогуществом директора, подчинив его административному совету, в котором должны были участвовать священники. Комиссия намеревалась также децентрализовать дело помощи на дому, распределив его по округам. Но Учредительное Собрание, увлеченное идеей единства и сильной правительственной власти, предпочло министерскую систему.

Что касается проекта, который касался всей территории республики, то бесполезно рассматривать его в подробностях, так как он никогда не был осуществлен. Достаточно отметить два

существенных нововведения. Во-первых, учреждения кантональных комитетов по образцу тех, которые были декретированы в 1793 году и в которых сведующие лица участвовали на ряду с врачами, священниками и представителями муниципальной власти. Комитеты пользовались помощью кантональных врачей и аптекарей, которые были настоящими чиновниками на жалованьи, как это было, например, в департаменте Нижнего Рейна с 1815 г.; при этом комитеты должны были ограничивать благотворительность пределами своей местности, чтобы сделать свою работу более продуктивной, а также заниматься судьбой молодых арестантов и лиц, отбывших наказание, и наблюдать за работой на фабриках. Во-вторых,—учреждение высшего совета, члены которого должны принадлежать к высши морганам государства и иметь инициативу в области улучшений, которые предстояло произвести. Следует отметить еще опыт трудовой помощи, заключавшийся в учреждении во всех кантонах временных мастерских, которые, вместе с общественными работами на государство и коммуны, должны были ослаблять зло случайной безработицы. При этом предполагалось сдавать работы и за меньшую плату, чем в частной промышленности. Это был принцип национальных мастерских, только применявшийся с большей осторожностью, чтобы ни говорил министр, который изо всех сил старался избежать этого названия.

Довольно многословный доклад пастора Коккереля по этому вопросу ясно показал, как боялись всего, что могло бы превратить неимущего в кредитора общества. В докладе предлагалось запретить префекту налагать добавочные «сантимы» на упорствующие коммуны, не допускался никакой налог в пользу бедных, как в Англии, никакая помощь рабочему в случае стачки или даже во время кризисов, вызванных введением в производство машин. В общем проект, измененный и суженный комиссией Собрания, «покоится, как писал докладчик, на проявлении возможно большей инициативы зажиточных классов в деле благотворительности». Он не был, он не хотел быть уплатой общественного долга.

Если Учредительное Собрание не осмеливалось пойти на решительный шаг вперед в этой области, то Законодательное Собрание было еще более робким. Арман де Мелэн, решительно заявивший в одной брошюре о необходимости «вмешательства общества для предупреждения и облегчения нищеты» и даже специального министерства, обязанного организовать защиту бедняка, начиная с его детства до старости, потребовал при самом вступлении своем в палату назначения комиссии из тридцати членов, чтобы составить, наконец, законы официальной благотворительности. Но в этой комисси, где преобладали буржуазные и католические консерваторы, отнеслись подозрительно к тем идеям, которые он проповедывал, видя в них намеки на социализм. Его проекты подверглись критике со стороны архиепископа Парижского, который с прискорбием смотрел на вторжение государства в область, которая в течение веков, как и дело воспитания, находилась в распоряжении духовенства. Брошюра его единоверца исторгла у епископа крик, шедший из самого сердца: «все это сочинение задумано и составлено так, как будто церкви не существовало». К тому же, с точки зрения католического большинства, это было банкротством католической демократии. Проекты виконта Мелэна нашли себе противника в Тьере и защитника в Эммануиле Араго, что, по словам виконта, окончательно погубило их. Широкого общего плана уже не было! Тьер, назначенный докладчиком, произносит фразы о Провидении, допускает только добровольную и самопроизвольную благотворительность, заявляет, что и при прежних порядках общество достаточно хорошо выполняло долг благотворительности и предпринимать еще что-нибудь в этой области нет необходимости. Оно с плеча критикует все обещания 13-й статьи, называет их химерами или глупостями и сводит задачу Собрания к нескольким успокоительным мелким роформам. Большинство из них мы уже указали. Сюда нужно прибавить еще следующие меры: *для детей*—учреждение детских приютов и яслей, попечительства о молодых арестантах и проект мер в пользу подкидышей; *для стариков*—требование дать больше воздуха и света в богадельнях и закон 13 августа 1851 года, который обязывал принимать неимущих в больницы того кантона, где они заболели, даже если их постоянное местожительство находится в другой коммуне; но этот же закон давал больницам право требовать возвращения расходов по содержанию больных от их семей или от коммун, откуда

они были родом; для *совершеннолетних*—постройка дешевых бань и прачешных, юридическая помощь, бесплатное совершение гражданских актов при браках лиц неимущих и при узаконении их детей, родившихся вне брака.

Занимал всех и вопрос о рабочих жилищах. Известно, какой ужасной славой пользовались в то время подвалы и чердаки города Лилля. У экономиста Бланки есть негодующая страница по поводу вертепов Руана, «неуместно украшенных названием жилищ»; к этому он прибавляет: «нужно, чтобы все во Франции знали, что среди нас есть тысячи людей, которые живут в положении худшем, чем дикари». Еще Люксембургская комиссия предлагала устроить большие рабочие слободы с сотней квартир в каждой, которые давали бы рабочим за дешевую плату помещение с отоплением, освещением и со всеми удобствами, до сих пор предоставленными одним богатым. Но план этот не был приведен в исполнение. Учредительное Собрание, с своей стороны, согласилось на освобождение от налогов на пятнадцать лет всякой постройки, предпринятой с 1-го января 1849 года и предназначенной под рабочие квартиры. Этот вопрос не был оставлен. Февральские и июньские дни обратили внимание буржуазии на те удобства, которые представляют для постройки баррикад старые узкие и кривые улицы. Холера, переходившая из бедных кварталов в богатые, вызвала у богатых чувство солидарности,— И вот бульвары и площади стали мостить; спекулянты стали прославлять «деревянную мостовую, мостовую-охранительницу», перестройка городов началась во имя гигиены. В одном Париже решено было закончить Лувр и соединить его с Тюльери, снести старые постройки, затесавшиеся между двумя дворцами; продолжили улицу Риволи, начали постройку центральных рынков, первый камень которых был заложен принцем-президентом в сентябре 1851 г. Таким образом подготовлялся новый Париж, извлеченный из своего прошлого спокойствия и традиций, Париж, освеженный, более здоровый, более кокетливый, более космополитичный, столица удовольствий для праздношатающихся и иностранцев, охваченный центробежным движением, которое отправляло в предместья его рабочее население и отодвигало в западную часть элегантные и аристократические улицы.

С этим переустройством стоял в связи закон 13 апреля 1850 года, который дал назначенным муниципальными советами комиссиям приказ произвести осмотр квартир и предоставил им власть закрыть те, которые окажутся вредными для здоровья. Нужно отдать справедливость тем, кто проводил эти меры общественного оздоровления; им не было чуждо чувство сожаления к несчастным, заживо гнившим в конурах. Под тем же впечатлением вотирован был закон Граммона, запрещавший дурное обращение с животными. Законодательное Собрание не было неспособно к гуманным чувствам, когда интересы буржуазного класса не ставились на карту. Эти приступы благотворительности представляли собой уже кое-что: нельзя пренебрегать ничем, что избавляет от горя человеческие существа. Но этого было мало, если подумать о том, чего ждали трудящиеся в первые дни революции. Великую реку надежд и энтузиазма, которая тогда катила свои волны подобно могущему и величественному потоку, казалось, поглотили пески, и она превращалась в ничтожные ручейки.

ГЛАВА VII.

Сельскохозяйственное и промышленное производство.

После теорий, законов и учреждений внимания нашего требуют к себе факты материальные. Что представляло из себя экономическое производство в своих двух главных формах, *сельско-хозяйственной и промышленной*, в эти годы общего возбуждения?

Революции не мешают солнцу сиять, золотить нивы и виноградники. Пока безопасность в деревнях не нарушена внешней или гражданской войной, политические события не оказывают глубокого влияния на полевые работы, и тощие и жирные коровы продолжают следовать друг за другом по мало известным еще законам, управляющим их сменою.

Насколько позволяют об этом судить весьма неполные данные, земледелие при второй республике процветало. Площадь посева увеличивалась. Увеличение это касалось пахотных земель и виноградников. Именно в 1849 году достигает своего максимума

с начала столетия площадь земли под пашнями и виноградниками. И как побочное, но вполне естественное следствие, площадь степей, лесов и лугов уменьшилась. Результатом этого был урожай хлеба и вина. Однако, общий сбор пшеницы и даже средняя производительность гектара понизилась; понизилась также средняя цена гектолитра и притом больше чем на половину, сравнительно с цифрами голодного 1847 года. Это указывало на начало кризиса, в сельском хозяйстве, чему, без сомнения, способствовал ввоз иностранных хлебов.

ПШЕНИЦА.

Годы.	Засеяно гектаров.	Собрано гектолитров.	Урожай с гектара.	Средняя цена гектолитра.
1847 . .	5.979.311	97.611.140	16.32	29.46
1848 . .	5.9.....	89.9.....	14.73	16.27
1849 . .	5.9.....	90.6.....	15.21	15.39
1850 . .	5.999....	87.9.....	14.78	14.33
1851 . .	6.090....	85.9.....	14.33	14.63

ВИНО.

Годы.	Собрано гектолитров.	Средняя цена гектолитра.	Изготовлено алкоголя гектолитров.	Гектаров под виноградной культурой.
1847 . .	54.316.000	40.85	844.951	—
1848 . .	51.622 ...	28.45	1.097 ...	—
1849 . .	35.555 ...	25.78	1.194 ...	2.193.053
1850 . .	45.266 ...	28.08	959 ...	—
1851 . .	39.429 ...	28.95	1.035 ...	2.169.165
1852 . .	28	—	—	—
1853 . .	22	—	—	—
1854 . .	10	—	—	—

Что касается вина, то в 1847 и 1848 гг. было перепроизводство его, но, как это часто случается, благодаря нашему экономическому строю, излишек богатства оказался разорительным. Его нельзя было ни хранить, ни сбыть за хорошую цену. Кроме того, качество вовсе не соответствовало количеству. Шампань и Юг понесли убытки от продажи. В 1848 году в Оверне вино продавалось по одному су за то количество, которое *можно выпить в час*. Чтобы утилизировать то, что осталось в погребах, потребовали отмены городских пошлин; стали также изготовлять спирт и думали уже денатурировать его, чтобы он мог служить

для освещения. В течение всего этого периода спирт давал ежегодно 100 миллионов государству и от 28 до 29 миллионов в виде городских пошлин. Но с 1849 г. началось постоянное уменьшение сбора винограда и площади, занятой виноградниками. К тому же появился страшный бич, цвель, и это было новой причиной стеснительного положения деревни. Этой ли или другим причинам, может быть, политическим, нужно приписывать падение цен на землю, которое давало себя чувствовать между 1848 и 1851 г.? Общую ее стоимость определяли в 1851 году в 63 с половиной миллиарда, а среднюю стоимость гектара в 1291 франк; тем не менее были констатированы цены *ниже* существовавших в 1847 году, как в отношении стоимости земли, так и в отношении арендной платы, что указывает на трудность продать землю или сдать ее в аренду; напротив, процент по ссудам возрос, из чего следует заключить, что капитал стал более редким и рискует осторожно.

Годы.	Чистая арендная плата за гектар.	Продажная цена.	Проценты.
1847 . .	15.90	481	3.30
1848 . .	15.70	451	3.48
1849 . .	15.56	443	3.51
1850 . .	14.96	422	3.56

Этим подтверждается существование кризиса, от которого страдает деревня. Между тем число собственников (63 на 100 единиц кадастра), значительно:

Год.	Число собственников.	Количество земельных участков.
1851 . .	7.845.724	12.394.366

Однако официальная статистика признает, что больше трех миллионов, около, половины всех собственников в городах и в деревнях, были освобождены от личного налога, как, несомненно, неимущие. Итак, это служит доказательством того, что в этой стране крайне раздробленной собственности клочок земли, «носовой платок», уже не был в состоянии прокормить своего владельца.

Правда, мы видим в эти годы увеличение количества скота и развитие шелководства, но зато добывание материалов, нужных для сельского хозяйства и промышленности, уменьшилось. Так

было с солью и в особенности с углем. Количество добытых тонн каменного угля не достигало количества 1847 года. В течение этого периода была заброшена работа во многих рудниках, и из этого факта видно, что промышленное производство испытало более тяжкий удар, чем сельскохозяйственное.

Несмотря на то, что в деревнях начинает чувствоваться кризис, именно при второй республике сельское хозяйство получило своего рода вознаграждение за преимущества, которые промышленность и торговля получили в царствование Луи-Филиппа. К этой эпохе относится попытка вызвать отлив городского населения в деревни; вторая республика могла похвалиться тем, что улучшила положение деревенских жителей. Последние воспользовались тем, что составляли 57% французского населения (20.352.000 в 1851 году) и, следовательно, большинство избирателей. Консерваторы и социалисты и президент Собрания осыпали их ласками и обещаниями; и этим вызывалось не только пробуждение в отупевшей массе политической и умственной жизни, проникавшей в нее через посредство газет, брошюр, альманахов, избирательных собраний, но и появление у нее совершенно новых потребностей.

Анкета, предпринятая в 1848 году, выяснила главные пожелания сельского населения. Она была как бы «крестьянским наказом». Деревенские жители прежде всего страдали от недостатка капиталов. Не имея денег, они их занимали, но на тяжелых условиях. Ростовщичество прямо пожирало некоторые департаменты, и весь Эльзас был жертвою базельских евреев. Для устранения этого зла крестьяне требовали открытия сельскохозяйственных банков, организации земельного кредита, реформы ипотечной системы. Они показывали на ростущую дороговизну рабочих рук, вызванную уходом молодых людей, которые отправлялись в солдаты, в услужение или на фабрики и заводы, если не эмигрировали в Африку или Америку. Негодуя на то, что по меньшей мере, два миллиона собственников не обрабатывают своих земель, некоторые требовали освобождения от военной службы старшего сына крестьянина с условием, чтобы он сам обрабатывал землю. Они жаловались на дороговизну удобрения, на налог, падавший на них большей тяжестью, чем на других, налог на соль, тяжелый для тех, кто занимался скотоводством; прямой налог, тяготевший на земельной собственности, тогда как движимые имущества были от него освобождены. Они жаловались на предоставленное кредитору право забрать дом крестьянина, тогда как на государственные процентные бумаги ареста накладывать нельзя было; на закон, который представлял только одному землевладельцу право пользоваться прибавочной стоимостью, созданной трудом фермера. Для улучшения своего положения они требовали введения у них домашней промышленности, чтобы использовать свободное зимнее время; раздела или распашки остатков коммунальных земель, чтобы расширить площадь посева и предоставить безработным землю для обработки; улучшения проселочных дорог и понижения издержек за провоз; учреждения хлебных запасных магазинов, чтобы можно было хранить там для неурожайных годов излишек обильных урожаев. Они желали, чтобы были составлены хорошие уставы для сельской полиции и чтобы в национальных лесах позволяли соседним жителям собирать хворост и валежник. Они призывали государство насадить деревья на оголенных скатах, запрудить ручьи, устроить орошение или дренаж на полях, предписать чистоту в деревенских домах, распространить агрономическое образование. Они составили такой список работ, которые нужно совершить, что выполнение его, говоря словами докладчика, могло бы занять, по крайней мере, столетие.

В этой анкете можно также отметить заботу о поднятии достоинства земледельцев. Многие из тех, кто говорил от их имени, придумывали для этого курьезные средства. Они предлагали установить ежегодный праздник землепашцев и знаки отличия, которые предоставлялись бы им; для поощрения земледелия они требовали увеличения количества конкурсов, премий, наград, богаделен для инвалидов земледельческого труда, издания специальных сочинений, даже учреждения должности разъездных проповедников, на которых лежала бы обязанность разъяснять величие и красоту деревенской жизни.

В деле, хранящемся в архиве Палаты, часто не хватает документов, в которых перечислялись эти крестьянские требования. В таких случаях примечание указывает, что они взяты подлежащим министром, а это доказывает, что им придавали большое и законное значение. Учредительное Собрание выказало в этом отношении похвальное рвение: было внесено предложение создать специальное министерство земледелия и проект организации пред-

ставительства интересов земледелия; проект этот закончился в Законодательном Собрании 20 марта 1851 года устройством съездов, палаты земледелия в каждом департаменте и Главного Совета Земледелия в Париже. Своей инициативой особенно выдвинулся министр Турре. Он провел через Собрание грандиозный план сельскохозяйственного образования (3 октября 1848 года). В каждом департаменте должны были устроить ферму-школу, где обучение было бы элементарным и практическим; далее учреждались окружные школы, число которых предстояло определить, и, наконец, национальный агрономический институт, который предполагалось устроить в Версали и который должен был играть роль высшей Нормальной Школы Земледелия. Бюджетные затруднения не позволили осуществить всего того, на что надеялись; но, по крайней мере, расширили или преобразовали уже существовавшие учреждения Гриньона, Соссе, Гранжуана. Создано было много более скромных учреждений того же рода и в консерватории искусств и ремесл, введены были курсы агрономии и сельскохозяйственного законодательства. Ветер так сильно дул в этом направлении, что даже наука и литература повернулись в эту сторону. В 1851 году появляется *«Элементарный курс земледелия»* Жирардена и Дюбрейля; в 1851 г. *«Очерк земледелия»* Пеана и Ришара. Жорж Занд в свою очередь, отказавшись от любовных и социальных романов, занялась рассказами о деревенской жизни и описанием живописных нравов своего Берри. 11 февраля 1851 г. был поднят вопрос о назначении новой комиссии для исследования причин сельскохозяйственного упадка и отыскания средств устранения его.

Явилась мысль колонизовать Алжир; без колебаний вотировали 50 миллионов на этот предмет; предлагали даже, чтобы каждый департамент метрополии устроил поселок в этой заморской Франции; произведены были анкеты о земледельческих колониях Швейцарии, Бельгии, Голландии. Анфантен считал, что следует ввести гражданское управление и устроить обширные предприятия, где июньские повстанцы и туземцы получили бы одинаковое занятие и одинаковую прибыль. Но предпочтение отдали системе, которая соединила в себе идеи Трелла с идеями Бюжо, Бедо и Ламорисьера. Закон 15 сентября 1848 года постановил отправить 12.000 колонистов-добровольцев во французскую Африку; закон приняли тем охотнее, что таким путем надеялись, как в Риме во времена Гракхов, выгодно и гуманно освободиться от излишка городского населения. В результате были основаны двадцать два поселка. Каждой переселенческой семье давали участок в 10—12 гектаров, готовый дом, земледельческие орудия, семена, немного скота и денежную помощь. Владельцы этих маленьких поместий становились собственниками только по прошествии шести лет. Но большая часть горожан, неожиданно попавши в новые условия, оказалась плохо подготовленной к предстоящему делу; она с трудом мирились с тяжелой опекой военных начальников, которые скоро стали полными хозяевами. Первые результаты были весьма посредственные, и первоначальный порыв скоро прошел, что не помешало, однако, Алжиру приобрести за этот период еще около 40.000 колонистов, из которых почти половина были французами; остальные другими европейцами.

В самой Франции осушали болотистые местности, как, например, в Солони. Многие департаменты были снабжены водоподъемными машинами, которые находились в заведывании специального инженера; переустраивали конские заводы; были ассигнованы миллионы на проселочные дороги и на посадку деревьев вдоль больших дорог (одна из любимых идей Пьера Леру); исследовали и одобрили вопрос об обработке коммунальных земель и пустощей и т. д.

В общем, вторая республика является эпохой для французского земледелия, если не по своим непосредственным результатам, то, по крайней мере, по тому толчку, который она дала. В течение целого века оно претерпевало постепенные изменения, благодаря введению культуры новых растений и новых способов обработки, вследствие развития культуры огородных растений и технических растений, что стояло в связи с ростом городов: и хотя рост его превышал рост населения, однако при Луи-Филиппе оно было отодвинуто на второй план лихорадочным развитием промышленности. Потрясения 1848 года вывели его из относительного оцепенения, а вместе с тем пробудился и занятый им класс населения; оба они опять заняли почетное место и стали на пути научного и быстрого прогресса.

Напротив, промышленность испытала за это время значительную приостановку. Французская промышленность, можно сказать,

получила удар от европейского кризиса 1847 года. Во многих местах она начинала переходить от строя мелкой промышленности к крупной, от ручного труда к труду машинному. Это в особенности относится к металлургии и ткацкому производству. Переход этот всегда дорого обходится хозяину, потому что он требует обновления орудий производства, и всегда тяжко отражается на рабочих, потому что он временно уменьшает число рук, занятых в данном производстве, и позволяет замещать их другими более дешевыми (подручными, женщинами, детьми); во Франции переход этот имел обычные результаты: прежде всего,—увеличение общих расходов, возместить которые хозяева пытались увеличением продолжительности труда, уменьшением цены на рабочие руки, обязательными вычетами из заработной платы для покрытия стоимости двигателей и освещения, иногда просто предательством рабочих; затем,—перепроизводство, вызываемое тем, что железные мускулы машин не знают усталости, а также и тем, что каждый владелец предприятия вынужден заставлять их работать без отдыха, чтобы вложенный в них капитал не оставался в бездействии; сверх того под влиянием национальной и заграничной конкуренции он требует от них максимума деятельности, нисколько не заботясь о соответствии между количеством продуктов и существующим на них спросом на открытых рынках. Все это отражалось на рабочих и положение их достигло наиболее бедственного состояния во Франции приблизительно к 1840 г.; в то же время для хозяев создалось весьма непрочное благополучие, продолжавшееся только до образования первых залежей на загроможденном рынке. Но если прежние мелкие ремесла могли существовать и страдать в одиночку, то различные отрасли производств при существовании крупной промышленности, требующей прежде всего разделения труда оказываются связанными друг с другом круговой порукой. Достаточно приостановки бумагопрядильного производства, чтобы это тотчас отразилось на ткачах, механиках, на кабельных заводчиках, продавцах масла, горнорабочих и многих других категориях трудящихся. Стесненное положение, безработица распространяются, как эпидемия. Экономический кризис превращается в разорение.

В 1848 году экономический кризис увеличился еще благодаря политическому кризису и еще более благодаря социальной борьбе, которая составляла сущность революции и вовлекла в борьбу друг с другом две большие категории производителей, нанимателей и нанимаемых. Труд отказывается от работы или угрожает. Капитал скрывается или обращается в бегство. С той и другой стороны царят недоверие, недоброжелательство, недоразумения, кончающиеся кровавыми столкновениями. После июньских дней дела стали возобновляться; но наступают президентские выборы, выборы в Законодательное Собрание, отчаянное предприятие 13 июня 1849 года: во Франции, расшатанной многочисленными потрясениями, превратившейся будто в мимозу, которая трепещет и свертывается от малейшего толчка, достаточно каждого из этих событий, чтобы взволновать умы и задержать возврат к нормальной жизни.

Те, кто не боится бесконечных фактических подробностей, могут обратиться за сведениями к двум исследованиям: к Бланки-старшему, который был официальным представителем Академии моральных и политических наук, и к Одигану, изложившему свои личные наблюдения в ряде статей, из которых он впоследствии составил две книги; они могут также справиться с данными неизданной анкеты, о которой мы уже упоминали; затем с данными анкеты, которая произведена Парижской Торговой Палатой и материал которой занимает громадный том in folio в 1008 страниц; наконец, с многочисленными оригинальными документами, имеющимися в государственных, департаментских и коммунальных архивах.

Здесь же мы можем только сделать беглый обзор мануфактурных округов и больших промышленных городов, чтобы констатировать те затруднения и те убытки, которые перенесла промышленность в 1848 году. Адольф Бланки оценивает понесенные потери в 10 миллиардов; цифра, без сомнения, преувеличенная, в которой сказывается недовольный экономист; по Одигану, производство уменьшилось приблизительно на половину, и общую потерю можно оценивать в 850 миллионов для хозяев и в $312^1/_2$ миллионов для рабочих. Цифры эти трудно проверить, тем более, что на статистику того времени можно полагаться меньше, чем на какую-либо другую. Благоразумнее предпочесть на время этим внушительным и проблематичным обобщением мелкие, но более точные факты. Я укажу их на всей территории.

Север пострадал, повидимому, больше юга (не потому ли он и отнесся менее враждебно к государственному перевороту?) и притом, именно потому, что он носил более промышленный характер, а также и потому, что ему больше покровительствовали в предшествующую эпоху. Повсюду в тех отраслях промышленности, которые раньше требовали помощи и покровительства, которые признавали себя таким образом слабыми и больными,—например, льняное производство,—быстро наступила агония. За ними больше всего затронуты были отрасли промышленности, которые производили предметы роскоши и которые во время революции страдают прежде всего (шелковое производство, ковровое, хрустальное, перчаточное и т. д.). Затем идут те отрасли, где рабочий зарабатывает меньше всего в обычное время: низкая заработная плата доказывает всегдашнюю трудность их существования. В Лилле и в его соседстве насчитывали в феврале 1848 г. 34 бумагопрядильных предприятия, имевших 240.000 веретен для тонкой пряжи и 160.000 сучилен. В июле того же года 164.000 веретен уже бездействовали. Другие работали 11, 9 и даже 6 часов в день. Производство тюля было сокращено наполовину, и рабочие в этой отрасли зарабатывали 25 сантимов в день за выделку узоров. В Туркуэне было 8000 безработных, в Калэ 9000 из 12000. В Монтрейле (в департаменте Эн) производство галунов занимало только 8 рабочих из 17. Во всем округе льнопрядильное производство переживало банкротство. А так как заводы закрывались, так как постройка железных дорог приостановилась, то в результате страдала и металлургия. В Сен-Кентене две трети мастерских закрылись, хотя правительство сделало в этом городе заказ на шерстяную материю для обмундирования солдат.

Если перенестись в Руан и его окрестности, то там мы увидим, что заваленным магазинам не удавалось освободиться от товаров; в Эльбефе из 1400 рабочих продолжало работать несколько сотен. После целого ряда драк иностранные рабочие были прогнаны или уволены. Только у вязального производства рынок остался почти нетронутым. В Эльзасе и на востоке, где промышленные заведения были менее скучены, где хозяева лучше относились к своим рабочим, кризис был менее силен. Однако в Мюльгаузене ремесленные заведения в течение нескольких месяцев стояли или работали только по полдня. В Седане $^2/_3$ рабочих остались без дела. В Труа льнопрядильщики находились в самой отчаянной нужде. В Реймсе пришлось основать коммунальные мастерские. На безансонской ярмарке, где ежегодно продавались тысячи тонн железа, в 1848 году не было продано ни одной. В Лионе, где мастерские работали только на заказ, а не на рынок, у шелковых фабрик не было другой работы, кроме изготовления шарфов и знамен по заказу Временного Правительства. В Сент-Этьенне $^2/_3$ рабочих вынуждены были бездействовать; 27 печей из 37 были потушены на стеклянных заводах Рив-де-Жьер. В Ангулеме 12 бумажных фабрик из 25 были закрыты. Заработная плата в округе понизилась на половину, местами на $^2/_3$. На юге, в Каркассоне, по данным анкетного бюро, «суконное производство пало, и нет надежды на то, чтобы оно могло подняться». Даже овечьих стад стало меньше, потому что уменьшилось число станков для тканья шерсти. На западе, в Бретани, полотняное производство, ставшее уже жертвой машин, было совершенно парализовано.

Остается Париж. Здесь бедствие проявилось всего острее. Все его 325 отраслей производства потерпели страшный крах. Все ремесленники: краснодеревщики, ювелиры, граверы, литейщики, токари, плотники, слесаря, каменщики, столяры, сапожники; портные и т. д., не считая 7.653 лиц, не имеющих профессии, пополняли ряды безработных, устремившихся в национальные мастерские. После июньских дней больше всего пострадало мебельное производство, строительное дело, металлургия, обработка драгоценных металлов, прядильное и ткацкое производства, затем изготовление специально парижских изделий («articles de Paris»). Сокращение личного состава и дел, достигавшее в среднем 54%, в этих отраслях дошло до 75%. Правительству пришлось оказать денежную помощь двум из этих отраслей: 400.000 франков мебельному производству и 200.000 бронзовому. В экипажном производстве, в виду стачки богачей, продажа уменьшилась на 80—90%. Типографии, печатавшие книги, потеряли 50%, другие только 25%, благодаря газетам, афишам, циркулярам. Только в производстве, занятом обмундированием солдат, заметно было увеличение на 29%, потому что приходилось одеть национальную гвардию.

В промышленном Париже преобладало мелкое производство. Из 64.000 зарегистрированных хозяев 32.000 работали само-

стоятельно или с одним только рабочим. Что касается рабочего населения, состоявшего из 342.530 лиц, в том числе 112.981 женщины и 24.714 детей моложе 16-ти лет, то его можно разделить на четыре социальные группы, условия жизни которых и характер довольно различны.

На первом плане стоят рабочие собственно парижского производства (ювелиры, бронзовщики, рабочие, изготовляющие веера, игрушки и т. д.). Это самые настоящие парижане. Они живут семьями, оседло. Занимаясь ремеслами, близкими к искусству, они отличаются живым умом и утонченными потребностями; они чувствуют себя весьма близкими к хозяевам и не отчаиваются в возможности завести собственное дело, когда у них будут некоторые сбережения. Это класс, который стремится попасть в ряды мелкой буржуазии, к которой он близок, но который был резко отброшен в ряды пролетариата первым же кризисом, когда ломбарды стали заполняться предметами домашнего хозяйства и жалкой рухлядью.

Другие рабочие больше зависят от капиталистической промышленности. Самыми несчастными из всех являются работающие иглой. Среди них насчитывается много женщин, и они принадлежат по большей части к старой и вечно новой системе *разбросанного производства*, работы на дому. Более эксплоатируемые, в виду своей большой изолированности, вечные затворники, порабощенные своим трудом, при котором воображение работает вместе с пальцами, они отличаются надломленным организмом и от покорности легко переходят к экзальтации. В последнем случае они с жаром набрасываются на теории, которые обещают им облегчение их страданий. В 1847 году отмечено было, что портные фигурировали во всех больших политических процессах.

Затем идут работающие на постройках; это, главным образом, строительные рабочие, которых нанимают на Гревской площади. Они приходят из Лимузена, Крезо, из других мест и составляют $^7/_8$ всего пришлого рабочего населения Парижа. Так как у них нет семей в Париже, то большинство из них ютится в жалких меблированных комнатах, артелью в 10 или 15 человек, помещаясь иногда по двое на одной кровати. Это все трезвые и скорее скупые, чем расточительные, трудолюбивые люди с спокойным характером и мало развитым умом. В 1848 г. меблированные комнаты, в которых они жили, переполнились, потому что многим пришлось заложить в ломбард свою мебель и матрацы; часто у всех членов артели оказывалось только одно чистое платье, которым они пользовались по очереди, когда приходилось выходить на поиски работы. Другие оставались в это время в кровати, и это имело еще ту выгоду, что меньше возбуждался аппетит.

Эти рабочие, жившие раньше в центре города, стали переселяться в предместья и пригороды, где начались постройки. То же движение по направлению к городским укреплениям замечается и среди последней группы рабочих, о которой нам остается упомянуть, среди работающих на фабриках и заводах и скученных в больших мастерских. Это—прядильщики, красильщики, рабочие механического производства, изготовляющие бумажные обои. Эти рассуждают, спорят, вступают в ассоциации. Доступные новым идеям, развитые, энергичные, они легко меняли места и слыли за людей немного буйных. Ситценабивщики отмечены были в 1847 г. как люди с особенно беспокойным нравом.

Всем этим категориям, которые отличались массой оттенков, по которых сближала общая нужда, пришлось жестоко страдать в течение 1848 года. Цифры грубо резюмируют эти страдания. Общая сумма парижского производства достигала в 1847 году 1463 миллионов; в 1848 году эта цифра упала до 677 миллионов, т.-е. произошло уменьшение на 800 миллионов. Число уволенных рабочих равнялось 186.405, и если прибавить, что мелкие хозяева были ничуть не более счастливы, что это бедствие усиливалось разочарованиями, высылками, тюремным заключением, то понятно станет, почему в течение долгих месяцев, как констатировала это анкета Торговой Палаты, сердце не лежало к работе у этих парижских рабочих, обыкновенно так быстро оправлявшихся.

Об этой заминке промышленности свидетельствует также следующая таблица количества выданных патентов на изобретения.

Годы.	Патенты на изобретения.	Патенты на усовершенствования.
1847	2150	787
1848	853	338
1849	1477	476
1850	1687	585
1851	1836	626

Цифры указывают на некоторое повышение с 1849 года. То же наблюдалось во всех отраслях производства, не только потому, что острый период страха прошел, и равновесие казалось более устойчивым, но также и потому, что пагубное влияние экономического кризиса ослабло, заваленные товарами магазины мало-по-малу опустели, и спрос, особенно из-за границы, поднял ослабевшую энергию. Условия, заключенные с Сардинией и Португалией, стремились оградить от подделки литературные и художественные произведения. Вывоз поощрялся премиями, и президентское послание от 12 ноября 1850 года констатировало, что снова начали возникать промышленные предприятия. Вот число предприятий, возникших в первые полугодия четырех последних лет:

1847 г.—92; 1848 г.—68; 1849 г.—65; 1850—89.

Другой факт также доказывал упорную живучесть, эластичность французской промышленности. Я говорю о выставке 1849 г. в Париже. Она должна была быть международной; мысль о ней возникла в совете министров. Но то, что имело международный характер, не пользовалось в то время симпатиями буржуазного класса. Буржуазия боялась нарушения своих интересов и потому довольствовалась национальной выставкой. Здесь были выставлены не только предметы роскоши, но были хорошо представлены и ходкие изделия, полезные вещи. В ней приняли участие 4.532 экспонента, на $^1/_{10}$ больше, чем в 1844 году. Она заняла площадь на 3000 квадратных метров больше предыдущей выставки. Эта выставка показала прогресс в металлургии, вызванный производством рельс, локомотивов, паровых машин; здесь же было выставлено недавнее изобретение, тесно связанное с железными дорогами—электрический телеграф, при помощи которого уже сверяли станционные часы, и которым скоро стали пользоваться и для сношений между частными лицами; маяки Френеля, предназначенные освещать все наши берега; чесальная машина Эльманна, которая уничтожала вредную пыль, поднимающуюся в воздухе при чесании хлопка и шерсти, но которая,—увы, как всякая новая машина,—лишала заработка значительное число рабочих.

Французская промышленность, ободренная смотром, который она сделала сама себе, приняла участие во всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. Эта первая всемирная ярмарка, устроенная нацией, которая в то время занимала бесспорно первое место в промышленности и была в этом отношении вожаком других народов, послужила как бы официальным признанием того международного рынка, который машинное производство делало необходимым, а применение пара для путей сообщения делало возможным. Французы не ударили лицом в грязь; их было немного на выставке в Лондоне, но они получили много медалей. В списке наград они занимали первое место после Великобритании, и это соответствовало истинному положению вещей. Франция в этот момент стояла на втором месте, хотя довольно далеко от Англии, по значению своих изделий и количеству фабричных продуктов.

Таким образом производительная деятельность Франции опять стала на ноги и не с большим запозданием, так как кризис был всеобщим в Европе. Прерванная эволюция продолжалась в том же направлении, в каком она шла до революции,—я хочу сказать, что она пошла по пути машинного переустройства фабрик и заводов и развития крупной капиталистической промышленности, но с тенденцией рассеивать по деревням фабрики, скученные в городах, а также с постоянным воспоминанием о страхе, вызванном требованиями рабочих, и, следовательно, с мыслью, что во всяком случае нужны предосторожности и некоторые изменения. Бланки старший присоединил программу реформ к своему академическому докладу, и искусство Елисейского дворца заключалось в применении на практике этой двойной программы по социальному вопросу.

ОБРАЩЕНИЕ.

ГЛАВА VIII.

Кредит и торговля.

Но производством все не исчерпывается, а нужно сбывать, обменивать продукты. Денежное обращение, обращение товаров, письменные сношения и передвижение людей имеют громадное значение во всех современных обществах. Следовательно, мы

встречаем перед собою ряд вопросов, относящихся к торговле: кредит, таможни, дороги, каналы, железные дороги и т. д.

Розничная торговля и кооперативные потребительные общества.—Торговля всегда терпит от революции. Конечно, торговля на наличные и в розницу, имеющая дело с предметами первой необходимости, не может прекратиться. Нужно же есть, одеваться, отапливаться. Тем не менее она страдает, потому что потребление сокращается. Но в 1848 году эта мелкая торговля увидела, что ей угрожают две враждебные силы, между которыми ей скоро пришлось очутиться, как между молотом и наковальней: большие магазины и кооперативные потребительные общества. Громадные капиталистические базары, где разнообразие предметов торговли понижает общие расходы и увеличивает количество сделок, и склады, куда производитель мог сложить свои продукты, чтобы получить под них ссуду, составляли грозную конкуренцию полуоптовым торговцам.

Что касается рабочих обществ, для совместной продажи и покупки, то их было еще немного. Идея их встречается у фурьеристов, как и у Луи Блана и Прудона. Проект о «снабжении нуждающихся классов припасами», заключавшийся в устройстве с помощью общественных касс в каждой коммуне комитета, который закупал бы оптом и перепродавал бы за наличные и по оптовой цене всякого рода съестные припасы, был отвергнут Учредительным Собранием, в качестве меры социалистического характера, разорительной для мелких торговцев и обещающей ничтожные результаты (19 июля 1848 г.). Однако в Дионе существовали с 1835 года кооперативные бакалейные лавки. Они продолжали существовать и умножаться при второй республике. *Общество объединенных рабочих*, основанное в 1849 году, спустя два года имело уже семь бакалейных лавок, булочную, две мясные лавки, два угольных склада, винный склад, кондитерскую с шоколадной фабрикой. Члены ассоциации каждый вечер сами прислуживали своим клиентам, и их назвали поэтому ночными лавочниками. Они продавали ниже рыночных цен, и тем не менее у них оставался значительный приход, который они целиком отдавали на общественные дела: так, они основали две начальные школы и давали пенсию больным товарищам. Другие общества (*Бобры*, *Экономные рабочие* и др.), которые распадались

на независимые группы, «на рой», как только число их членов достигало известной цифры, казались более скромными по своим стремлениям, но, не имея претензий создать сразу организм, в котором были бы гармонично связаны между собой производство и потребление, они отчетливо понимали, что эта форма кооперации является средством избежать покупок в кредит, этого источника разорения бедных хозяйств, и в то же время получить товары по более дешевой цене и лучшего качества. Закон 27 марта 1851 года, карающий употребление неверных весов и фальсификацию пищевых продуктов, показывает, что злоупотребления, с которыми боролись эти кооперации, были совсем не вымышленными. Хотя к ним часто придирались, они стали приобретать серьезное значение, как вдруг 3 декабря 1851 года генерал де-Кастеллан попросту уничтожил их, отдав распоряжение о немедленной ликвидации их через посредство полицейского комиссара. Общество Борегари в Вьенне получило такой же суровый удар несколько недель спустя. Такова была почти повсюду судьба этих «Ассоциаций для удешевления жизни»: в Валансе, Монтелье, Клермон-Ферране, в Лилле, где «Человечество» доставляло своим членам выгоды «в цене на хлеб, мясо, уголь, самые существенные предметы потребления», в Валансьене, в Сен-Кентэне, в Вервене, в Седане, где кооперативная бакалейная лавка имела 1.400 членов, в Нанте, где булочники, в силу своей монополии, отказали в учреждении кооперативной булочной, в Париже, где основалось *Общество домашних хозяйств*, и т. д. К учреждениям этого рода так сильно придирались, за ними так гонялись, их так преследовали, что, насколько мне известно, сохранился только один из тех потребительных кооперативов, которые рассеяны были тогда по всей Франции. Это гренобльский кооператив пищевых продуктов. Мэр города, Толье, вместе с Мишелем Ладишером и другими депутатами, отправился в Женеву, чтобы познакомиться там с обществом, о котором он прослышал, но не нашел заслуживающего подражания; решившись однако на этом не останавливаться, он собрал подписку, заставил город снять помещение, выбить жетоны, купить необходимую мебель и утварь, и 5 января 1851 года новое общество начало действовать. Ему посчастливилось пережить другие общества и преуспеть, и хотя бы по одному этому не следует о нем забывать.

Если розничная торговля была таким образом на время спасена от опасной конкуренции, то торговля, основанная на кредите, рассчитывающая на распродажу товара для расплаты в срок, тотчас же пострадала в наиболее существенных своих интересах. Чрезмерное и беспорядочное производство превысило спрос еще до 1848 года. Кроме того, спекулятивная горячка, свирепствовавшая в предшествующие годы, завалила рынок громадным количеством бумаг, имевших сомнительную ценность. Множество фирм и предприятий, операции которых далеко превышали их платежные силы, существовали только в силу прежнего доверия к ним, которого теперь они уже не заслуживали; они висели на волоске, капиталы их были фикцией. Было высчитано, что из 15 миллиардов, составлявших тогда общую сумму французских оборотных средств, звонкой монеты было только на два с половиной миллиарда, банковых билетов на 400 миллионов, остальное, около 12 миллиардов, состояло из срочных обязательств. Стремительная ликвидация, вызванная французской революцией, была ужасна. Произошла бы масса банкротств, катастроф, если бы торговые платежи не были отсрочены на десять дней, начиная с 26-го февраля. Но опасность продолжала существовать и была невозможным длительный революционный период

Сравнивая первую революцию с революцией 1848 г., Прудон сделал следующее весьма справедливое замечание, а именно, что французская нация в средине XIX века существует уже не на счет собственности, как это было в конце предшествующего столетия, но живет на счет оборотов, кредита, а это объединяет все богатства круговой между собой порукой, и поэтому делает

Необходимо было принять это в расчет. Торговля, как и после 1830 г., потребовала от Временного Правительства непосредственной помощи; но у него было мало денег в распоряжении, и потом, если предоставить миллионы коммерсантам, то сколько потребуется разделить между рабочими, которых гораздо больше и которые еще больше нуждаются. Потерявшие голову купцы, банкиры, биржевики и с ними парижская торговая палата хотели вырвать у этого упорствующего правительства отсрочку всех платежей на три месяца. Это было признано целью

манифестации 9-го марта. Но ею не добились ничего. Тогда вместо того, чтобы приостановить торговую жизнь, попробовали воскресить ее.

Особенно важно было восстановить действие кредита. Он был плохо организован. Деньги были очень дороги не потому, что они были редки; увеличение числа вкладов в сберегательные кассы достаточно доказывает обратное. Но они оставались мирно спрятанными в денежных сундуках и шкапах; их не умели или не осмеливались пустить в обращение, чтобы приспособить их к потребностям растущей торговли. В деревнях ростовщичество сделалось бичом; в городах кредит доставляли французский и департаментские банки, не считая частных. Французский банк, учреждение привилегированное, был полезен только толстосумам; с одной стороны, он не мог заменить расплату звонкой монетой при мелких сделках, потому что до 1847 года не выпускал билетов ниже 500 франков, и, когда, наконец, выпустил в этом году, с разрешения правительства, билеты в 200 франков, то не было недостатка в людях, пророчествовавших ему несчастие (в числе таких пророков был и Тьер) и кричавших, что это дело безусловно разорительное. С другой стороны, для дисконта торговых векселей, т.-е. для выдачи авансов купцам, он требовал трех подписей и значительной премии. Учетный процент никогда не спускался ниже 4% и поднимался, например, в 1846 году, до 5%. Если принять во внимание, что банк таким образом учел в 1847 году 1.854 миллиона, то можно высчитать те прибыли, которые достались на долю его акционеров. Несмотря на все это, он находился в затруднительном положении. Ему пришлось купить в России большое количество золота, чтобы поднять свою кассовую наличность, упавшую в 1846 г. до 59 миллионов. У французского банка было 15 отделений в провинции. Кроме того, существовало 9 департаментских банков, которые наравне с ним пользовались правом выпускать бумаги. Они хотели объединиться в союз; но их могущественный соперник, французский банк, восстал против этого на основании своего договора с государством, и эти низшие банки, которые можно было открывать только на основании специального закона, были стеснены в своих операциях множеством ограничений. Они могли учитывать только век-

селя купцов того города, где были учреждены, не имели права взыскания в других местах и т. д.

Республиканская партия давно поняла необходимость децентрализовать, объединить и демократизировать этот кредит, который был ограничен несколькими большими городами, очень неравномерен по округам и всюду доступен только немногим. Она даже объявила о своем намерении «национализировать» его, и писатели-социалисты с своей стороны действовали в этом же направлении. Луи Блан требовал учреждения государственного банка, потому что, говорил он вслед за Ло, суверен должен давать кредит, а не получать его. Он требовал, чтобы прибыль, до сих пор попадавшая в сундуки нескольких крупных финансистов, доставалась отныне всей нации, и, главное, чтобы возможность получить ссуду под умеренные проценты была доступна наименее зажиточным классам. Представлялся удобный случай для осуществления этой программы. У Временного Правительства не хватило смелости осуществить ее целиком; но часть ее, по крайней мере, оно осуществило.

24-го февраля в кассе французского банка имелось 200 миллионов звонкой монетой. Но, как это бывает при всякой панике, держатели бумаг, желавшие обменять их на золото, накинулись на кассы банка. Кассовая наличность быстро упала до 140 миллионов и ниже. Портфель же, т. е. груда учтенных торговых векселей, раздулся чрезмерно, так что банк оказался настолько же обремененным бумагами, насколько в нем уменьшился запас звонкой монеты.

С 8-го марта Временное Правительство стало основывать, под именем *пособия мелкой торговле, учетные конторы*, где для учета векселей требовались только две подписи, и которые, следовательно, были доступны средним коммерсантам. Основной фонд этих контор должен был составляться из трех равных долей: пособие от государства, пособие от того города, где открывалась подобная контора, и пособие, собранное путем частной подписки. Государство и города, отказываясь от всяких процентов за свою ссуду, гарантировали, кроме того, возможные потери в размере суммы своих вкладов. Казначейство ссудило 11 миллионов; остальная сумма, хотя и с большими затруднениями, была собрана в несколько дней, и кон открылись в Париже и в провинции. В мае их было уже 44, и во многих местах проценты по ссудам спустились с 15 до 6%. Это произошло не без борьбы, и многие финансисты не скрывали своей надежды, что учреждение это будет столь же временным, как и самое правительство. Но конторы эти слишком отвечали настоятельной потребности, для того, чтобы им угрожала серьезная опасность. В 1849 году число их доходило до 67 с капиталом в 110 миллионов; они произвели учет векселей на 385 миллионов; их кассовая наличность доходила до 800 миллионов.

Но больше того: было найдено ловкое средство заменить вторую подпись, которую часто трудно было получить коммерсанту, находящемуся в стесненном положении. Основаны были отделения (в одном только Париже их было 14), которые принимали в залог товары, документы, солидные ценности. Это привело к учреждению *общих складов*, обширных ломбардов, куда складывались как сырые материалы, так и фабрикаты в виде залога (их было 4 в Париже и 51 в провинции). Товары подвергались экспертизе, и в получении их выдавались квитанции, которые для банка заменяли на векселях третью подпись, а для учетных контор вторую. В случае неуплаты ссуды, залог мог быть продан с аукциона в пользу того учреждения, которое выдало ссуду. Это нововведение было заимствованием из социалистических теорий того времени, хотя и неполным, потому что Луи Блан предлагал, чтобы *квитанции* или *варранты* заложенных таким образом товаров стали ходячей ценностью, настоящими бумажными деньгами, чем-то вроде частных ассигнаций. Государству должно быть предоставлено право продавать на базарах, открытых и находящихся под его наблюдением, те предметы, хранение которых ему доверено, и это могло бы послужить источником крупных доходов для него. Таким образом уничтожалось посредничество между потребителем и производителем, которое вызывает повышение оптовых цен при продаже в розницу в три и четыре раза. Этим самым предоставлена была бы трудящимся возможность ждать с продажей своих продуктов, продолжая работу. Но государство в роли продавца всякого рода товаров представлялось чудовищной несообразностью людям, проникнутым доктриной невмешательства. Остановились на полумере, которая не дала существенных результатов. Действительно, перспектива про-

дажи с аукциона продуктов, сданных в склад, не могла обеспечить учетные конторы. Известно, насколько теряет свою ценность всякая вещь при продаже с молотка. Итак, помощь этого рода была полезна только производителям или владельцам таких продуктов, которые не могли ни испортиться, ни слишком падать в цене. Но и в таком виде это учреждение, поддерживаемое государством (казначейство дало беспроцентную ссуду в размере 500.000 франков на три года учетной конторе строительных предпринимателей), оказывало помощь и отчасти демократизировало кредит, который перестал быть западней, не говорю для рабочего, но, по крайней мере, для среднего коммерсанта и мелкого фабриканта.

Между тем торговля еще не вошла в свои нормальные условия (три раза пришлось отсрочивать платежи). Банк также не вышел еще из затруднения. 15-го марта его кассовая наличность в Париже спустилась до 59 миллионов, а толпа не переставала осаждать его, требуя звонкой монеты. У него было в обращении на 345 миллионов билетов, оплачиваемых по предъявлению, и если исключить из кассовой наличности 45 миллионов, которые он должен был правительству, то у него оставалось для выполнения своих обязательств всего 14 миллионов в Париже и 63 в провинции. Управляющий Д'Аргу прибежал испуганный в министерство финансов с криком:—Мы погибли!—он требовал от государства спасти банк. Большинство Временного Правительства было того мнения, что нужно провозгласить принудительный курс банковых билетов. Луи Блан высказал пожелание, чтобы воспользовались этим обстоятельством для замены национальным кредитом кредита привилегированного банка, который в спокойные времена кладет в кассу громадные прибыли, но во времена бурные вынужден прибегать к защите государственного кредита. Что такое, в сущности, принудительный курс, как не временное преобразование французского банка в государственный? Что дает ценность его бумажным деньгам, как не та же правительственная гарантия? Это полдороги к национализации кредита. Но на этом и остановились. Мысль еще не созрела в умах. Не хотели трогать краеугольного камня системы банкократии, установленной буржуазией. Удовольствовались тем, что банку разрешили выпустить стофранковые купоны, ограничили находящиеся в обращении билеты суммой в 350 миллионов и обязали его публиковать еженедельно в «Moniteur» отчет о положении дел.

Благодаря такой поддержке, акции банка стали снова подыматься, и его билеты начали приобретать доверие. Средний курс акций, при нарицательной цене 1.000 франков, был в 1848 году 2.197 франков, а дивиденд поднялся до 75 франков, что было более чем солидно. В течение того же года банк учел векселей на 1.643 миллиона. Он имел возможность выдавать ссуды не только правительству, которое этого заслужило, но и крупным торговцам и промышленникам. Департаментские банки также извлекли пользу из принудительного курса; это было справедливо. Но их билеты могли быть пущены в обращение только в своем департаменте, и это условие ставило их в худшее положение, обрекавшее их на гибель. Вот почему произошла тогда реформа, желательная как французскому банку, так и правительству. Департаментские банки превратились в отделения французского банка, который отныне стал пользоваться как бы государственной регалией, правом выпускать бумажные деньги. Капитал его поднялся после этого до 91 миллиона, и ему разрешено было выпустить в обращение билетов на сумму до 425 миллионов.

Благодаря этим мерам, банк благополучно перенес грозу. Принудительный курс был отменен за минованием надобности 6-го августа 1850 года. Приводимые ниже цифры свидетельствуют, что положение банка упрочилось. Банк вышел, следовательно, из затруднительного положения, операции его разрослись и окрепли. Унификация торгового кредита превратила его привилегию в настоящую монополию. Она сосредоточила в руках компании, управлявшей им, громадную силу, но в то же время она все больше и больше ставила его под контроль государства. Таким образом буржуазная республика продолжала начавшуюся капиталистическую эволюцию к выгоде финансового феодализма; но, создав ему в некотором роде одну голову, республика тем самым внушала на будущее время желание снести ее одним взмахом в пользу всей нации и давала к этому полную возможность.

ФРАНЦУЗСКИЙ БАНК.

Годы.	Учет.	Кассовая наличность минимум—максимум.	Портфель минимум—максимум.
1848	1.643.7..	(Март—66) от 92 до 249	от 168 до 303
1849	1.025.7..	— — 269 — 420	— 116 — 164
1850	1.176.4..	— — 438 — 477	— 100 — 139
1851	1.241.4..	— — 476 — 623	— 94 — 149

Цифры 1847 г. были достигнуты и превзойдены в 1853 г.

Первые проекты о национальном банке, которые были внесены во французскую палату, относятся как раз к 1848 г. Прежде всего один такой проект находился в предложениях люксембургской комиссии; затем был другой от 30-го августа 1848 года, подписанный Брюне, депутатом Верхней Вьенны. Но особенно ухватился за эту идею Прудон.

Он допускал только один способ подойти к социальной проблеме, а именно со стороны обмена. По его мнению, для преобразования производства нужно преобразовать обращение. Он провозгласил и намеревался организовать *право на кредит*. Система его заключалась в организации дарового кредита, в уничтожении всяких оброков в пользу капитала, этого деспота, который господствует над трудом и угнетает его. Тогда все орудия производства станут доступны всем, желающим пользоваться ими, продукты будут обмениваться только на продукты же и останется только при посредстве особого банка установить непосредственный обмен между производителями и потребителями. Прудон метил, таким образом, в самое сердце; он посягал на накопление капиталистического богатства, которое происходит как будто автоматически, на самом же деле за счет трудящихся; он хотел лишить собственность ее сеньоральных прав, позволявших ей жить тунеядцем; это был косвенный способ добиться того, чтобы праздный собственник, содержание которого лежит всей своей тяжестью на трудящемся, совершенно исчез.

Для достижения своей цели Прудон придумал три различных проекта, которые все вытекали из принципа взаимности (т.-е. обмена услуг) между всеми членами общества.

Первый проект, в котором он призывал государственную власть притти на помощь застою в делах, это—знаменитое предложение, обсуждавшееся в заседании 31 июля 1848 года (см. выше). Согласно этому предложению, с 15 июля вво-

дится налог в размере третьей части доходов от движимого и недвижимого имущества, заменяющий все другие. Следовательно, все собственники домов и земель, все держатели бумаг иностранных и необеспеченных ипотекой, все владельцы акций или ренты должны сделать сбавку своим квартирантам, фермерам, должникам в размере третьей части следуемой от них суммы. Государственным чиновникам и пенсионерам должен быть соответственно уменьшен их оклад. В такой же пропорции должна быть уменьшена заработная плата. Образовавшиеся таким образом свободные суммы, которые исчислялись в 1500 миллионов, вернутся наполовину должникам, наполовину—государству. Половина, которая попадет в руки частных лиц, послужит для оживления промышленности. Вследствие общего понижения расходов понизятся и все цены, и, благодаря дешевизне продуктов, все категории населения возместят себе то, что они потеряли из своих доходов. Доставшаяся государству половина должна быть употреблена на понижение судебных издержек на 30%, на уничтожение косвенных налогов, на основание учетных контор и банков и на обеспечение трудящимся сбыта их продуктов (за вычетом 10% из стоимости товара).

Таковы были существеннейшие пункты проекта. Не лишены были значения и некоторые другие, но они имели временный характер. Известно, какую бурю вызвало это предложение, какими ругательствами осыпали Прудона; но вместе с тем предложение подверглось и обсуждению. Тьер оспаривал финансовые построения своего противника. Он утверждал, что если у всех в равной мере понизятся доходы, то никто ничего не выиграет и не потеряет; что все останется по старому, и перемена будет только кажущаяся. Он не соглашался также с тем, что жертва будто бы будет равная для всех частей населения; он настаивал на том, что мелкие собственники, живущие в своих домах, сами обрабатывающие свое поместье, ничего не потерпят, тогда как на других эта реформа падет всей своей тяжестью (этого, конечно, и желал Прудон). Затем он утверждал, что эта необычная мера достигнет обратной цели, что, вместо того, чтобы воскресить торговую и промышленную деятельность, она убьет ее, напугав капиталы. Наконец, он оспаривал цифры Прудона, утверждая на основании сомнительной статистики, что этот налог в

размере третьей части доходов даст не три миллиарда, а едва 320 миллионов; что половина, которая придется на долю государства, не превысит 160 миллионов, и что, следовательно, надежды, основанные на этом дополнительном бюджете, были совершенной химерой.

«Так как Тьер занимается шутовством,—отвечал Прудон между прочим,—то я займусь чародейством». Оставим ораторские выражения и приемы, которыми он пытался заколдовать свою аудиторию, и грозное заявление, которое он бросил ей к концу: «Капитал боится, и его инстинкт не обманывает его; взоры социализма устремлены на него; ростовщики больше не вернутся; я им запрещаю это». Что касается серьезных аргументов, то мы находим их в следующем:—это средство осуществить право на труд, потому что труд будет обеспечен, если производству не поставлено будет границ, а производству не поставлено будет границ, если обществу дана будет возможность потреблять по своим потребностям. Средством же увеличить потребление является освобождение обращения от всех сдерживающих его оков, уничтожение всяких пошлин, которые под разными наименованиями замедляют взаимный обмен продуктов и услуг или препятствуют ему. Одним словом, гарантией права на труд является даровой кредит.—Рассматривая затем шаг за шагом доклад Тьера, Прудон доказывал, что, несмотря на все свое искусство жонглировать цифрами, ловкий парламентский деятель делает странные ошибки и, быть может, с целью напугать буржуазию громадностью требуемой от нее жертвы, удваивает цифру, приведенную Прудоном, как вероятный результат предложенного налога, но при этом произвольно уменьшает общую сумму доходов, на которые должен пасть этот налог. Он повторял, что общая дешевизна продуктов и кредита выгодна уже по одному тому, что она поощряет обмен, а при всяком обмене продавец и покупатель необходимо выигрывают, иначе не существовало бы и обмена. Он прибавлял, что эта дешевизна приведет к нивелировке имуществ и приблизит экономическое равенство, так что куртки превратятся в сюртуки, а сюртуки с своей стороны не потеряют своих фалд. Ему возражали, что кредит вытекает из доверия, а доверие, как и любовь, не может являться по заказу. На это он отвечал, что те реальности, которые имеются налицо—собственность, предложение труда, продукты,—конечно, стоят тех штыков, которыми хотят вернуть утраченное доверие. Он признавал, что его налог падет не на всех одинаково, но где же такой налог, который падает одинаково на все категории населения?

Нужны были иные аргументы, хотя бы и не для того, чтобы обратить в свою веру противников, которые не желали этого, но чтобы сделать понятной и желательной для толпы ту всеобщую ампутацию, которой требовал Прудон. Но он добился единственного успеха, которым мог похвастаться—он устроил скандал и испугал собственность, требуя, чтобы она отказалась от своего абсолютного права владения и от злоупотребления этим правом и превратилась в простое пользование.

Он повторил свой поступок, ошеломив Учредительное Собрание вторым своим предложением, которого не стали и обсуждать. Оно заключалось в декретировании, с одной стороны, принудительного и прогрессивного займа в два миллиарда, которые следовало взыскать в четыре года со всякого дохода, превышавшего 20 франков, и в обращении, с другой стороны, французского банка в банк государственный. Банк, сделавшись национальным, превращался в обменный. Комбинация эта основывалась на уничтожении звонкой монеты, которая становилась ненужной. В самом деле, ее заменил бы особого рода вексель. Оплачиваемый по предъявлению и без срока всюду, без различия места, времени и предъявителя, такой вексель стал бы почти единственной монетой; золото и серебро низведены были бы к роли, которую играют теперь медные деньги. Но как дать ценность этой общественной бумаге? Кто ее обеспечит, кто будет оплачивать ее? Она будет обеспечена подписчиками банка, которыми явятся все производители и все торговцы нации, оказывающие таким образом друг другу кредит. Оплачиваться она должна самими продуктами, которым всегда будет соответствовать облигация. В сущности, комбинация эта аналогична той, из которой возникли во время первой революции ассигнации, первоначально представлявшие собою участки земли. Но здесь все возможные ценности были бы мобилизованы и представлены в виде векселей, которые можно было бы выпускать только при условии, что за ними действительно будет реальное обеспечение.

Этот банк производил бы все операции обыкновенных банков и учетных контор: выпуск бумаг, учет торговых векселей, выдача авансов под документы,—кроме того, продажа и покупка на комиссию, кредит под поручительство и под ипотеку, бесплатное взыскание долгов. Он должен при этом довольствоваться 1% комиссионных на покрытие общих расходов; никакой прибыли ему не нужно. Государство могло бы записаться в число членов, и, в таком случае, оно распорядилось бы принимать банковые бумаги в государственных кассах; взамен этого банк представлял бы ему авансы в размере до 500 миллионов.

Прудон рассчитавал на эту комбинацию, чтобы убить проценты, уничтожить ипотечные долги, погасить государственный долг, сделать таможню бесполезной, уменьшить налоги и, что не менее важно, воспрепятствовать стачкам и безработице и превратить мало-по-малу праздных собственников,—тех, которым труд уплачивает пенсию в форме квартирной и арендной платы, в рабочих, обязанных трудиться. Выгоду, которую нация получила бы от этого национального банка, Прудон исчислял в 7 миллиардов.

Но эта комбинация так и осталась в парламентских кругах, в которых лежит под сукном столько проектов; и Прудон, не ожидая ничего от Собрания, остановился на идее учреждения такого банка, в котором государство не играло бы никакой роли. Он назвал его *Народным банком.*

Акт об его основании и устав общества, взявшего на себя осуществление Народного банка, были подписаны 31 января 1849 года. По мысли его основателя, цель этого банка экономическая, а именно, организация кредита на демократических началах, что сделало бы доступным для всех орудия труда и облегчило сбыт продуктов. Но, кроме того, у него была и политическая цель, а именно, дать толчок народной инициативе, показать, что можно обходиться без правительства и произвести революцию снизу, опираясь на взаимную поддержку всех граждан. Народный банк, следовательно, не должен быть ни банком государственным, ни банком, работающим для небольшой кампании крупных акционеров; он должен быть собственностью всех граждан, которые будут пользоваться его услугами. Прудон предвидит момент, когда, благодаря колоссальному количеству своих подписчиков, банк будет

избавлен от необходимости иметь особый капитал для обеспечения своих операций. Но, чтобы начать работу, ему нужен основной капитал в 15 миллионов, и капитал этот должен составиться из акций по 5 франков, что дает возможность даже небогатым людям принять в нем участие.

Бумаги, выпускаемые им, должны состоять из меновых знаков, *бонов*, которые явятся вечными чековыми книжками, оплачиваемыми по предъявлению каждым членом товарищества и пайщиком «продуктами или услугами в своей отрасли промышленности или профессии». Все пайщики обязаны принимать их в уплату. Эти боны обмениваются без всяких вычетов потери в цене. Банк делается как бы громадным центром дарового кредита и прямого обмена. Для облегчения операции создаются два органа: 1. Всеобщий синдикат производства; 2. Всеобщий синдикат потребления. Этот двойной синдикат функционирует, как двойное статистическое бюро, регистрирует во всех областях предложение и спрос и составляет сравнительную их таблицу. Синдикат производства должен организовать свободные корпорации, которые явятся в будущем кадрами трудящихся, координировать отношения, которые возникнут, получать и контролировать продукты, распределять работу между теми, кто ее ищет (впоследствии он организует взаимное страхование и центральную пенсионную кассу). Синдикат потребления займется тем, что будет брать на склад сырые материалы и изготовленные продукты и устраивать им сбыт. Он должен создать с этой целью большие магазины, где всякий может делать свои закупки. Производитель приносит туда продукты своего труда и получает аванс под залог этих самых продуктов, сбытом которых должен озаботиться синдикат.

Таким образом, приближаясь к земледельческим и промышленным федерациям, задуманным Фурье, и вдохновляясь проектами организации кредита, выработанными некоторыми фурьеристами и в частности Куанье и Жюлем Лешевалье, Прудон дошел до представления о будущем обществе, как о большом производительном кооперативе, работающем на большой потребительский кооператив.

Народный банк имел своих сторонников. Их подписалось более 20.000 человек в течение шести недель; Прудон радовался успеху,

как вдруг его посадили в тюрьму. Лишившись своего главы в самый разгар организации, общество очутилось в критическом положении и распалось. Его основатель упрямо дал себе слово в будущем возобновить это дело. События не позволили ему этого, и так как идея его не была проверена на опыте, то практическая ее ценность осталась под вопросом.

Во время своего тюремного заключения, с ноября 1849 года по май 1851 года, Прудон обменялся целым рядом открытых писем по вопросу о теоретическом обосновании своей идеи с экономистом Фредериком Бастиа. Как и бывает в этого рода полемике, каждый остался при своих положениях, несмотря на некоторые взаимные уступки. Оба противника подходили к вопросу с двух различных сторон, и понятно, что они не могли притти к соглашению. Бастиа стал на точку зрения, которую можно назвать частной экономией, на точку зрения отношений одного частного лица к другому частному лицу; с этой точки зрения ему не трудно было доказать, что право собственности, если его допускать по старому определению, как право употреблять присвоенные вещи и злоупотреблять ими, отчуждать их и передавать другим по наследству или иным путем, влечет за собою законность *процента, квартирной платы, аренды*. Ибо собственник, давая взаймы или сдавая в наем то, что ему принадлежит, лишается пользования, он подвергается также риску, и квартирная плата, арендная плата, проценты являются или страховой премией за этот риск или вознаграждением за это лишение. Он полагал, что эта рента капитала может уменьшаться безгранично с прогрессом общего богатства. Но он не думает, что она может совершенно исчезнуть, и не может признать ее несправедливой. Прудон стоял на точке зрения, которую можно назвать экономией коллективной или «социальной», как он сам ее называл, на точке зрения отношений не между двумя лицами, а между массой потребителей и массой производителей; он утверждает, что вещи меняют свой вид, если рассматривать таким образом совокупность общества. Аргументация его была такова: проценты имеют свой смысл, как рабство или крепостничество; они могли даже некогда иметь прогрессивное значение. Они имели смысл при том риске, какому подвергался выданный в ссуду капитал. История доказывает, что высота процента уменьшалась вместе с прогрессом цивилизации, который вел за собою уменьшение риска. Почему бы этому проценту не дойти до нуля? Для этого достаточно, чтобы исчез всякий риск. Но риск исчезнет, если выданная ссуда будет гарантирована всем обществом, если все заимодавцы будут обеспечены круговой порукой всех заемщиков. Это будет в таком случае кредит *социализованный, взаимный* (mutualisè). При таких условиях он может теперь уже стать бесплатным или, по крайней мере, с таким ничтожным процентом, с которым можно не считаться.

Как видите, Прудон неустанно защищал принцип кооперации в применении его к кредиту. На этом принципе были с тех пор основаны все *народные банки* Германии и Италии. Они не дали тех гигантских результатов, каких ожидал от них Прудон; но они, по крайней мере, доказали, что его идея вовсе не была химерой. Другая современная комбинация *(Социальное счетоводство* Сольвея) показала, что обращение ценностей может *стать* почти даровым. Таким образом были сделаны некоторые опыты приближения к системе Прудона, которые удались; и кто может сказать, что известные учреждения, с трудом уживающиеся при капиталистическом строе, будут неприменимы при строе, в котором капитал потеряет свои привилегии? Этого достаточно, чтобы избавить положительные построения. Прудона от того презрения, с которым к ним относятся. Широкая критика имела, таким образом, и своего рода творческое значение.

Чтобы покончить с вопросом о кредите, отметим, что было много других проектов, имевших целью организацию его. Особенно много занимались земледельческим кредитом. Насчитывают не менее 50.000 подписей под петициями с требованием его и от 150 до 200 проектов, переданных в земледельческий законодательный и финансовый комитеты. Предложение Тюрка, Геккерана и Прюдомма, единственное, которое обсуждалось в Учредительном Собрании, было, по признанию самих авторов, подсказано фаланстерской школой. Оно имело в виду пополнить недостаток в звонкой монете и убить ростовщичество в деревнях, путем передвижения земель и превращения государства в крупного заимодавца для обремененных долгами собственников. Существеннейшие положения его были следующие: последовательный выпуск ипотечных бумаг на сумму до двух миллиардов; принуди-

тельный курс для этих бумаг, обеспеченных недвижимым имуществом, которое он будет представлять. Проект этот был принят сначала благосклонно, но затем разбился о враждебное отношение к нему финансовой знати, которая, конечно, боялась, как бы не иссяк один из главных источников ее доходов. Управляющий французским банком заявил, что банк будет убит новым ипотечным банком, который затем и сам разорится. Хотя докладчик Фланден энергично защищал этот проект, он не устоял перед ударами Леона Фоше, который настаивал на том, что бумажные деньги—синоним фальшивых денег, и что подобное учреждение равнялось бы финансовому террору, и особенно перед нападками Тьера, который в замечательной речи вызвал воспоминание об ассигнациях и высказал, вместе с некоторыми справедливыми критическими замечаниями, смелые афоризмы, вроде следующего: в звонкой монете никогда нет недостатка.—Банкир Гудшо, министр финансов, также напал на проект, и земледельцы продолжали кредитоваться по 9, 10 и 12%. Вслед за этими проектами потерпели крушение и другие, как, например, Ланглуа и Воловского, в которых не было речи о принудительном курсе; эти проекты предстали в более или менее измененном виде вновь пред Законодательным Собранием, которое, казалось, расположено было оказать им хороший прием; но ни один из них все-таки не был принят. Спокойные эпохи, следующие за эпохами революционными, часто являются как бы их душеприказчиками. Земельному кредиту суждено было осуществиться при Второй Империи, правда, на основах менее широких и менее демократических. Торжествующая банкократия с Луи Бонапартом во главе пожелала организовать крупные учреждения, которые сумела обратить в свою пользу.

Делая обзор событий этой эпохи, нельзя не поражаться той быстротой, с какой богатые люди восстанавливали свое господство над маленьким людом. Среднее купечество, которое пользовалось покровительством Временного Правительства, в значительной степени лишилось его, как только власть перешла в руки консерваторов. Закон о банкротстве был драконовым законом. Жюль Фавр предложил разрешить *полюбовное соглашение* на шесть месяцев в пользу коммерсантов, приостановивших свои платежи, если на это согласятся две трети кредиторов. Предложение это рассматривалось до июньских дней, затем по его поводу было сделано два совершенно противоположных доклада, и Собрание приняло текст закона, не отменявший ни ограничения в правах, ни лишения чести, которым подвергались банкроты даже в тех случаях, когда причиной банкротства можно несомненно признать так называемую force majeure (непредвиденные обстоятельства). Закон о патентах, дававший повод к бесчисленным злоупотреблениям, вызывавшим в свою очередь протесты со стороны генеральных советов, не был изменен. В этом отношении дело ограничилось составлением проекта. Выше я уже упоминал о том, что было восстановлено лишение свободы за долги. Монополии, созданные в пользу некоторых категорий негоциантов, как, например, мясников города Парижа, продолжали существовать. В торговом законодательстве не произошло никаких перемен, кроме расширения списка избирателей коммерческих судов. Один депутат предлагал избрать их всеобщим голосованием; закон (28 августа 1848 г.) ограничился предоставлением этого права вместо нескольких нотаблей по назначению префекта всем коммерсантам, выбирающим патенты в течение не менее пяти лет, к которым были присоединены капитаны дальнего плавания и шкиперы каботажных судов, занимавших эти должности не менее пяти лет; лишены были этого права все лица, подвергавшиеся наказаниям за уголовные преступления и банкроты, не восстановленные в своих правах. Организация торговых палат также подверглась изменениям: избрание их было передано тому же кругу избирателей, они признаны учреждениями общеполезными, и им поручено заведывание биржами и доставление правительству всех сведений, касающихся сферы их деятельности.

Этим самым французской коммерции вверялось то право инициативы, в котором она нуждалась. Специалисты делали ей серьезные упреки; они обвиняли ее в невежестве, боязливости, рутинерстве; поэтому они требовали, чтобы правительство поощряло ее учреждением коммерческих учебных заведений, удешевлением перевозки грузов, открытием линий пакетботного сообщения с Америкой и французскими колониями, публикацией донесений, присылаемых консулами, заключением торговых договоров, которые ставили бы Францию в равные условия обмена с ее соседями, например, с англичанами, имевшими свободный до-

ступ во все французские порты и не представлявшими такого же права нашим судам, или с бельгийскими, которые облагали высокой пошлиной французские газеты, и в то же время при помощи беззастенчивых перепечаток создавали неблагородную конкуренцию нашей печати *). Таким образом слагалась целая программа, которая не пропала даром для правительства, наследовавшего республике.

Движение торговли.—Что же произошло однако с самой торговлей в эту эпоху? Как и следовало ожидать, она пошатнулась, хотя и не так сильно, как предполагалось. В 1848 и 1849 гг. произошел упадок, но в следующие затем годы—подъем, особенно вывоза. Это не трудно понять. Если во Франции капитал еще не оправился от переполоха, то вне ее ему нечего было бояться, и заказы из-за границы притекали. В это время первое место в ряду покупщиков занимали Англия, Соединенные Штаты, Швейцария, Бельгия, Германия.

ОБЩАЯ ТОРГОВЛЯ.

Движение товаров, действительная ценность в миллионах франков.

Годы.	Ввоз в миллионах морем.	Ввоз в миллионах сухим путем.	Вывоз в миллионах морем.	Вывоз в миллионах сухим путем.
1847	922,9	367,4	796	253,3
1848	475,4	232,9	700	236,2
1849	674,1	347,2	964,8	304,7
1850	735,5	384,3	1.109,4	325,9
1851	693,5	400,3	1.179,7	340,6

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
(в миллионах франков).

1847 . . . . . 1,675.7 1851 . . . . . 1,923.2

Следовательно, уже в 1851 г. специальная торговля дала цифры выше полученных в 1847 году.

Чем же был обусловлен этот подъем? Целым рядом часто случайных причин. Одно неожиданное событие очень кстати пришло на помощь против денежного кризиса, стеснявшего коммерцию:—я говорю об открытии золотых россыпей в Калифорнии. Авантюристы толпами устремились в эту страну самородков и

*) В 1850—1851 г. были подписаны договоры с Сардинией, Великобританией, Тосканой, Бельгией, Пруссией, Данией и Швецией.

пластов золота, где, казалось, достаточно нагнуться чтобы подобрать на земле целое состояние. Многие из пустившихся в путь, слепо веруя в этот мираж, погибли от утомления, нищеты и безумных страстей, вызванных алчностью в беспорядочном обществе, где были перемешаны бандиты и труженики, и где карты, разврат, револьвер увеличивали число жертв. В Париже этот новый род желтой лихорадки отозвался в виде лотереи золотого слитка, которая сильно смахивала на мошенничество. Тем не менее, в слитках ли или в порошке, драгоценный металл был пущен в обращение в изобилии, и это вызвало такое увеличение обращавшейся звонкой монеты, какого мир не видывал даже в XVI столетии. Статистики разно определяют количество золота, вывезенного из этого Эльдорадо. Относительно той части золотого дождя, которая выпала в эту эпоху на долю Франции, имеются точные данные:

Годы.	Привоз золота во Францию.	Чеканка монет, Золото.	Чеканка монет, Серебро.
1847	21 миллион	7.707.020	78.285,157
1848	42 „	39.7	119.7
1849	12 „	27.1	206.5
1850	61 „	85.1	86.4
1851	116 „	269.7	59.3

Но и последствия этого золотого наводнения дали себя почувствовать. Одновременно с нарушением валютного отношения между золотом и серебром, что давало повод и к спекуляциям и к разного рода затруднениям, начало замечаться общее вздорожание; цены на товары повышались, а так как заработная плата обыкновенно повышается в таких случаях гораздо медленнее, то ко всем страданиям рабочего класса в течение нескольких лет прибавлялось еще одно лишнее. Зато обилие звонкой монеты облегчало сделки; капитал снова стал делать обороты и уже не прятался боязливо. Другие факты повлияли в этом же смысле. Купцы умели и могли составлять между собой ассоциации при лучших условиях, нежели рабочие, ибо у них было больше денег, опытности и свободы действий. Сверх того, до 1-го января 1849 года торговля получала двоякого рода подарки: субсидии от городов и премии за вывезенные товары—мера сомнительной за-

конности, стоившая государству четыре с половиной миллиона, но оживлявшая вывоз.

Однако два обстоятельства затрудняли обращение: городские пошлины на внутренних рынках, таможенные—на внеших. Первые, отчасти отмененные после нападков, которым они подвергались, были снова всюду восстановлены; в таможенных пошлинах были изменены ставки на обычные товары: на ткани, соль, сахар. Но нужно было решить вопрос принципиальный; будет ли Республика преследовать в торговле политику свободного обмена при протекционизме? Сторонники свободного обмена по инициативе Бастиа еще до 1848 г. образовали лигу, что сильно беспокоило их противников. После революции обе эти группы соединились для борьбы с социализмом. Теперь, когда общий враг был побежден, они снова очутились лицом к лицу, и между ними возобновилась ожесточенная борьба. Протекционисты, воспользовавшись боязнью, которую внушала всякая экономическая реформа, обнаруживали решимость сохранить наряду со всеми другими также и это преимущество, выговоренное в пользу богатой буржуазии. Они заняли оборонительную позицию. Мишель Шевалье, проповедывавший в своих лекциях в Collège de France свободный обмен, был прямо привлечен к ответственности за распространение превратных идей. Мануфактурный совет вместе с ним обвинял Воловского, Гарнье, Адольфа Бланки, угрожая прекратить им выдачу жалованья. В Собрании прошло предложение потребовать от профессоров, состоящих на жалованьи у правительства, чтобы они преподавали политическую экономию, с точки зрения действующего коммерческого законодательства. Некоторые члены совета и на этом не остановились. Они требовали, чтобы профессор воздерживался от всякого посягательства на существующие законы и от возбуждения своими лекциями взаимного недоверия между гражданами. Это было равносильно требованию подчинения науки государственной доктрине... Но в этой своей части предложение не прошло, и кафедра Мишеля Шевалье была восстановлена после минутного колебания. Это было маленькой победой сторонников свободного обмена.

Они могли также считать некоторым успехом закон 11 января 1851 года, предоставлявший свободный ввоз некоторых алжирских продуктов в порты метрополии. Но не останавливаясь

на многочисленных стычках между обеими партиями, перейдем непосредственно к большому бою, поставившему их лицом к лицу. Бой этот произошел в Законодательном Собрании, когда представитель от Уазы, экономист Сент-Бев *), счел своей обязанностью предложить радикальную реформу французского торгового строя. Основываясь на ст. 13 конституции, гарантирующей свободу труда и промышленности, он предложил отмену всех ввозных пошлин на съестные припасы, сырые продукты, каменный уголь, строевой лес, железо; сверх того понижение на 10—20% всех налогов на мануфактурные товары и, наконец, отмену всех привилегий французского торгового флота.

Прения, происходившие с 26 по 28 июня 1851 года, носили необыкновенно торжественный характер. Сент-Бев заявил, что это «величайший из вопросов, которые только могут занимать умы в данную эпоху цивилизации». После его речи, занявшей полтора заседания, главным противником его выступил самый горячий защитник буржуазных привилегий, сам Тьер. Социалисты не вмешивались: у них не было определенного взгляда на этот предмет.

Аргументы Сент-Бева были следующие: всякая запретительная система является нападением на собственность, потому что, искусственно удорожая предметы, она заставляет людей платить за них дороже их стоимости; санкционируя вмешательство государства в экономическую область, она подает дурной пример и оправдывает существование социализма; покровительственная система по отношению к различным отраслям промышленности ставит их в неодинаковые условия; на ряду с пошлиной в $^1/_2$% на хлеб, пошлина на железо доходит до 63%; эта система весьма несправедлива, так как заставляет одних граждан уплачивать премии в пользу других; она гибельна для трудящихся, ибо увеличивает цены на хлеб, на мясо, на необходимые жизненные продукты; наконец, вызывая повышение цен на уголь и железо во Франции, она мешает развитию в ней промышленности. Но основным аргументом Сент-Бева был пример Англии, опыт свободного обмена, который был ею сделан, и который дал такой блестящий результат. Он напомнил следующие слова Кобдена, идеи кото-

рого тогда пользовались успехом: «как купцы, французы гораздо ниже нас, потому что очень невежественны и отличаются ограниченным умом, как фабриканты, они совершенно нам равны». Оратор высказывал пожелание, чтобы Франция избавилась от подобных упреков, продолжая заслуживать похвалы, и приходил к заключению, что французская промышленность, которая могла нуждаться в протекции в своей юности, теперь уже выросла и способна выдерживать конкуренцию с кем угодно.

Тьер ответил длинной речью, которая то была полна насмешек, то уснащалась цифрами, то льстила Собранию и даже республиканской левой. Он смеялся над экономистами, о которых он говорил как «о малозабавных литераторах». Он называл глупостью знаменитый принцип невмешательства, которым так часто пользовались против социалистов, но который победоносная буржуазия выбрасывала теперь за борт; он требовал для государства права вмешательства с целью заинтересовать производителей, создать для них сильный стимул; потому что, говорил он, «можно сражаться при помощи патриотизма, но шерсти, железа, льна патриотизмом не сделаешь». Он оспаривал результаты сделанного в Англии опыта, продолжавшегося слишком короткое время для того, чтобы можно было судить о его значении; он указал на то, что Россия и Соединенные Штаты, нации молодые и деятельные, решительно держались протекционизма, что Франция и даже Англия стали тем, чем они есть, покровительствуя своим жителям против иностранной конкуренции; что если свеклосахарная промышленность развилась, то благодаря опеке, оказанной ей законом. Он указал на опасность, которая грозит нации, если она поставит себя в зависимость от другой в отношении пищевых продуктов, что всегда и случается, если она свободно допускает на свой рынок хлеб, произведенный в другом месте по более низким ценам. Он напоминал о национальной обороне, которая окажется трудной, если угольная и железная промышленность будет убита во Франции иностранным ввозом, который может прекратиться во время войны. Он заявил, наконец, что французская промышленность, может сохранить свои три существенные черты—универсальность, совершенство, дороговизну — только путем сопротивления ловкой провокации со стороны Англии, которая производит больше и дешевле, но с меньшим вкусом и законченностью. Наконец, он выставил самого себя защитником рабочего класса, который окажется без работы, если фабрики и заводы закроются вследствие неравной борьбы с английским производством, которой они не будут в состоянии выдержать.

Тьер одержал в Собрании победу. Его противников едва выслушивали, но ни те ни другие не касались существа вещей. Задача, которую предстояло разрешить, была чрезвычайно сложна. Здесь сталкиваются интересы рабочего-производителя, нуждающегося в работе, с интересами рабочего-потребителя, нуждающегося в дешевом хлебе и мясе. Интересы метрополии в этом отношении противоположны интересам колоний, более того, интересы города противоположны интересам деревни; противопоставляются даже одни округи другим: свекловичный округ—округу винодельческому, север—югу, потому что соседние страны всегда отвечают на всякую запретительную меру французской таможни повышением у себя ввозных пошлин на французские вина. Но установить свободный обмен—значит уничтожить границы в экономической области и в результате обратить весь мир в конфедерацию государств, которые были бы солидарными членами одного обширного организма. Сторонники свободного обмена были, сами того не сознавая, большими революционерами. Самая глубокая речь была произнесена во время этих прений министром финансов Фульдом, который выступил на помощь Тьеру. Он отметил, что учение приверженцев свободного обмена ведет к следующему выводу: «Следует, чтобы каждая страна производила то, что природа позволяет ей производить по наиболее низкой цене». Но подобное разумное разделение труда между различными нациями планеты, эта специализация каждой из них в тех отраслях земледелия и промышленности, где она не имеет соперников, возможна только в том случае, если человечество достигнет такого развития, при котором нации сумеют улаживать свои споры третейским судом, а не силой. Это идеал всеобщего мира. Для этого, кроме того требуется, чтобы во всякой стране производство и обмен, вместо того чтобы быть предоставленными случайностям индивидуальной фантазии, были организованы, регулированы, контролируемы комиссией, хорошо знающей потребности, которые нужно удовлетворить.—Это идеал социалистический.

Пока не будет осуществлено такое экономическое объединение каждой нации и всего земного шара, свободный обмен и протекционизм будут оба иметь значительные неудобства и будут постоянно сменяться друг другом. В данную эпоху господствовал протекционизм. Предложение Сент-Бева было отвергнуто значительным большинством (428 против 199). Разделение партий по этому вопросу было как политического, так и экономического характера, потому что передовые республиканцы были на стороне меньшинства, а орлеанисты, легитимисты и бонапартисты приняли сторону протекционизма. По странной превратности судьбы девять лет спустя, в 1860 году, случилось так, что свободный обмен был внезапно навязан Франции Наполеоном III, министрами которого были господа, в роде Бароша и Руэра, вотировавших при республике по этому пункту против республиканцев, изгнанных впоследствии тем же Наполеоном.

ГЛАВА IX.

Перевозочные средства.

Развитие промышленности и успехи торговли не могут обходиться без хороших перевозочных средств. Введение машин на фабриках и заводах тесно связано с применением пара на путях сообщения.

Прежде всего это должно было отразиться на почте. По отношению к ней существовали тогда два противоположных взгляда. Для одних она была фискальным учреждением для сбора своего рода налога, идущего на пополнение государственной кассы, и в силу этой идеи они отстаивали повышенную почтовую таксу; для других она все более и более становилась общественным учреждением, пользование которым хотя и не должно быть бесплатным, как пользование дорогами, но которое должно ограничиваться только покрытием своих расходов и, следовательно, должно уменьшать свои тарифы до минимума. Первый взгляд был господствующим, когда разразилась революция. За корреспонденцию, как и за проезд пассажиров, платили дороже или дешевле, смотря по расстоянию. Как это принято и теперь в некоторых странах по отношению к железным дорогам, Франция была разделена на пояса, тариф которых был пропорционален расстоянию; таких поясов было одиннадцать, и пересылка письма стоила от 20 сантимов до 1 франка 20 сантимов. В 1847 году предложено было реформировать эту устаревшую систему и установить для всей Франции единообразную таксу в 20 сантимов. Денежная аристократия, правившая в то время страной, отказала в этой маленькой уступке беднякам, которые мирились с необходимостью реже переписываться или изобретали остроумные комбинации для того, чтобы избавиться от обременительных расходов; торговлю продолжали стеснять как сложные формальности, так и стоимость пересылки.

Подобно избирательной реформе, почтовая реформа восторжествовала в феврале. Не осмеливаясь следовать до конца примеру Англии, которая в 1840 году отважилась ввести «письмо в два су», тем более отклонив предложение взимать за пересылку писем цену себестоимости государству, закон 24 августа 1848 г. понизил таксу на письма весом до $7^1/_2$ грамм до 20 сантимов по всей территории Франции (включая Корсику и Алжир). Это не обошлось без оппозиции. Нашлись люди, утверждавшие, будто, это выгодно для городов в ущерб деревням, где ведется менее деятельная переписка. Это все еще была политика *«своей колокольни»*, уничтожающая солидарность между областями и гражданами одного и того же государства. Недовольных уверили, что понижение таксы обойдется недорого, что доходы быстро поднимутся до прежнего уровня и даже превзойдут его. Тем не менее были колебания, попятные шаги. Реакция оставила свои следы и в этой области. Опыт был разрешен только на срок до 1-го июля 1850 года. После этого таксу подняли с 20 до 25 сантимов; и пришлось ждать несколько лет, пока вернулись к цифре, принятой в 1848 году. Между тем статистика отметила в почтовом движении рост, который дал себя почувствовать с того дня, как реформа вошла в силу (1-го января 1849 г.). В 1854 г. доходы достигли цифр 1847 г., несмотря на понижение тарифов, несмотря на вызванное стеснительными законами уменьшение обращения газет и печатных произведений.

ПОЧТА.

Годы.	Количество писем.	Доход (с писем).	Количество газет и печатных произведений.	Доход (с газет и печатных произведений).
1847	126.480.000	15.048.000	90.275.000	2 миллиона 7
1848	122.140.000	43.9	129.193.000	3 „ 8
1846	158.268.000	32.1	146.528.000	4 „ 3
—	—	—	—	—
1851	165.000.000	38.5	33.968.000	1 „ 0

Телеграфы тоже начинали развиваться. В 1851 году во Франции было 2.313 километров телеграфных линий и двадцать станций, которые переслали за год 9.014 депеш и дали 77.000 франков. В сентябре 1851 года Франция была соединена с Англией кабелем. Сторонникам рутины суждено было понести решительное поражение в ближайшем будущем.

Что касается путей сообщения, то принят был закон о дорожной полиции, ассигнованы средства на постройку и поддержку проселочных дорог, больших дорог, каналов; реорганизован был корпус путей сообщения; устроена была анкета о торговом флоте и о каботаже и т. д. Но крупным злободневным вопросом момента был железнодорожный. Новый способ передвижения пользовался тогда такой громадной популярностью, что для него жертвовали всеми другими способами, не предполагая, что они когда-нибудь будут в состоянии выдержать эту страшную конкуренцию.

Известно, в каком разнообразном состоянии находились тогда железные дороги. Буржуазная Франция Луи-Филиппа приняла относительно них систему, которая являлась компромиссом. Она не осмелилась смотреть на них как на чисто частное предприятие, действующее на свой риск и страх, подчиненное режиму свободной конкуренции, эксплоатируемое коммерческим способом без всякой другой цели, кроме получения возможно большего дохода при возможно меньших расходах. Это было хорошо для Англии и Соединенных Штатов, стран с минимальной правительственной властью и смелой инициативой. С другой стороны Франция не хотела также давать железным дорогам характера общественных учреждений, сделавшихся монополией государства, эксплоатируемых и управляемых непосредственно государством главным образом во имя общей пользы. Это не было бы в духе эпохи и страны, где политическая власть находилась в руках денежной аристократии действовала в пользу последней. Решили,

что железные дороги, временно отторгнутые части национальной собственности, должны когда-нибудь вернуться в общественное владение; вследствие этого их уступали на разные сроки (99 лет, 70 лет и т. д.) частным компаниям, на которые налагали известные обязательства и которые подчинены были официальному контролю, но взамен этого получали субсидии, гарантии и помощь. Государство, которое брало на себя обязанность построить железнодорожные пути, являлось одновременно и сотрудником, и покровителем, и высшим контролером железнодорожных компаний.

Постройка железных дорог, происходившая при этих соблазнительных для капитала условиях, вызвала лихорадочную спекуляцию, разнузданный ажиотаж, громкие скандалы, которые скомпрометировали самых видных лиц в государстве. В грязи этих финансовых интриг пачкались даже министры, даже лица наиболее близкие к королевскому дому. Кроме того, дела велись так плохо, что многие компании оказались вынужденными прекратить свою деятельность за отсутствием средств и чувствовали невозможность довести благополучно до конца возложенные на них работы. Таким образом силою вещей был поставлен следующий вопрос: должно ли государство воспользоваться возможностью выкупа, гарантированной ему контрактом, или правом экспроприации для общественной пользы, неотъемлемым правом, от которого оно не хотело и не могло отказаться? Но выкуп и эксплоатация железных дорог государством не только принадлежали к числу мер, которых требовала люксембургская комиссия,—вместе с прогрессивным налогом и взаимным обязательным страхованием они фигурировали в программе даже умеренной республиканской партии. «National» явился главным защитником этих мер в печати. А так как в апреле две компании, линий Париж—Орлеан и Центральной, сами пожелали отказаться от своих концессий и подвергнуться секвестру, и так как компания линии Париж—Лион находилась не в лучшем положении и также желала сложить непосильное бремя, то министр финансов Дюклерк, по соглашению с Гарнье Пажесом и исполнительной комиссией, внес в первые заседания Учредительного Собрания законопроект о выкупе всех железных дорог, выстроенных и строющихся.

Объяснительная записка (17 мая 1848 г.) представляет собой одну из самых сильных страниц, написанных против эксплоата-

ции железных дорог частными компаниями. Она еще и теперь заслуживает, чтобы ее прочитали со вниманием и уважением.

Дюклерк, резюмируя аргументацию, развитую республиканцами и социалистами, исходит из того принципа, что при каком угодно строе все учреждения, будь то гражданские, экономические или финансовые—должны гармонировать друг с другом. Привилегированные корпорации могут иметь право на существование в аристократической стране, как Англия; они могли иметь место во Франции при конституционной монархии, которая нуждаясь для своего укрепления в аристократии, как умела создавала ее, сосредоточивая в руках небольшого числа могущественных людей заведывание финансами. Но так как с тех пор Франция превратилась в республику, так как благодаря всеобщему избирательному праву, она стала демократическим государством, то следует согласовать ее экономическую жизнь с новым принципом ее политической жизни. Пора отказаться от этого отчуждения общественного имущества, которое, как всякое подобное отчуждение, является симптомом развращения и слабости центральной власти.

Министр перечислял значительные неудобства, которые вытекают из предоставления перевозочных средств частным компаниям: во время войны дороги и вагоны, необходимые для передвижения войск, будут в руках частных управлений, многие члены которых могут быть иностранцами; в мирное время, с экономической точки зрения, это означает передачу в их руки власти регулировать потребление и производство, отчасти устанавливать стоимость и цену всех предметов, могущественно влиять на торговлю своими тарифами, покровительствовать тому или другому округу, или той или другой фирме, увеличивать дороговизну продовольствия в большом городе, привлекать туда или сюда все капиталы, отвлекая их от более полезных предприятий. С точки зрения политической, это значило бы вручать частным лицам значительную долю государственной власти, создавать государство в государстве, давать им возможность, сосредоточивая в своем распоряжении громадный по численности персонал, оказывать развращающее влияние на Собрания; и если позволят расти таким компаниям, то скоро они, пожалуй, станут обращаться с национальными властями как с равными.

Дюклерк приходит таким образом к заключению, что так как компании опасны и, кроме того, не в состоянии довести успешно свое дело до конца, то они должны быть лишены своего права владения на основании закона. Это было бы средством упрочить республику, вернув государству то, что ему принадлежить по праву: свободное распоряжение своими путями сообщения. Трудящимся это обеспечило бы заработок, а для всех вообще дало бы понижение тарифа в ближайшем будущем; в промышленности и торговле это вызвало бы отлив капиталов к другим предприятиям, которые парализованы увлечением, вызванным железными дорогами.

Были сделаны два главных возражения. Первое —что это грабеж. Дюклерк на это отвечал, что выкупать не значит грабить, и что экспроприировать за вознаграждение во имя общественной пользы скорее лишний раз подтверждает право собственности. Второе возражение было то, что это нанесет удар кредиту; министр внутренних дел возразил на это, что, не будучи ни несправедливой, ни неразумной, мера эта не может оказать такого действия, и что следует остерегаться смешивать с кредитом игру и спекуляцию.

Проект заканчивался планом выкупа с разделением компаний на две категории: 16, для которых стоимость подлежавших оплате акций исчислялась по их среднему биржевому курсу в течение шести месяцев, предшествовавших революции, и 8, с которыми нужно было войти с каждой в отдельности в полюбовные сделки. Акции заменялись 5% рентой по курсу того дня, который будет признан нормальным. По отношению к облигациям не было сделано никаких изменений; они подлежали оплате в те сроки и теми способами, которые были указаны первоначальными контрактами. По расчетам министра, расход на этот выкуп казначейства определялся в 623 миллиона, которые раскладывались на несколько лет; закончил он следующими словами: «Граждане, вы держите в своих руках одну из самых крупных организаций республики. Решайтесь!».

Проект Дюклерка был передан в два комитета, финансовый и общественных работ. В то же время его горячо обсуждали заинтересованные лица. Администраторы большинства компаний вначале благоприятно отнеслись к идее выкупа; им трудно было

выполнить свои обязательства; у них были постоянные пелады с рабочими, которые требовали то увольнения иностранных мастеров, то более высокой заработной платы и более человеческих условий труда; поэтому компании обращались к государству за помощью и, не видя лучшего исхода, соглашались на замещение своего управления государственным. Того же взгляда были и крупные акционеры. Но мелкие начали протестовать. Затем некоторые администраторы, из коих многие были народными представителями, как, например, Леон Фоше, с беспокойством задавались вопросом, не достанутся ли при выкупе их хорошо оплачиваемые места республиканцам. Наконец финансисты, мало-помалу ободренные благодушными приемами Республики, начали снова питать надежды. Они соглашались, пожалуй, передать государству те линии, где дела были плохи, но остальные рассчитывали сохранить за собой, так же, как и шансы в будущем получить с них прибыль. Потом, как знать, не удастся ли получить от будущего режима более выгодных условий? В комитеты внесены были предложения обратить уступленные компаниями концессии в вечные и узаконить их расходные сметы. Если уже приходится уступать течению, примиряться с отчуждением в пользу государства, то надо, по крайней мере, взять с него подороже, а потому каждый раз, как шансы на осуществление выкупа увеличивались, акции компаний поднимались, и, понятно, в то же время начинали падать государственные фонды.

Эта перемена фронта со стороны наиболее заинтересованных лиц выразилась появлением множества брошюр, газетных статей, петиций, ходатайств отдельных лиц. Выставлялись поистине странные аргументы: государство-де никогда не будет в состоянии докончить постройку железных дорог; оно должно будет поневоле быстро перейти к бесплатному проезду; оно-де будет строить бесполезные линии, в угоду избирателям, и такие линии привлекут в города слишком много сельских жителей. Но особенно жаркая атака произошла в *Комитете финансов*. Консерваторы, записавшиеся в него в большинстве, опасались, что выкуп проложит брешь в экономической системе, прекрасно организованной к выгоде некоторых. Дюклерк имел неосторожность откровенно признаться в том, что выкуп железных дорог—стержень всех его финансовых комбинаций. Тогда было сделано все, чтобы заставить министра раскрыть свой план, который заключал в себе передачу в руки государства страхования от огня, введение прогрессивного налога и пр., и так как Комитет вовсе не желал всех этих мер, направленных к одной и той же цели, то он высказался и против выкупа, и против применения способов, которые могут дать необходимые для этого средства. Комитет вызвал директоров компаний, взгляды которых он разделял, и Бию, будущий министр Империи, в своем докладе 6-го июля дал заключение в смысле отклонения предложений Дюклерка. Правда, *Комитет общественных работ* в органе своего докладчика, Виктора Лефранка, который требовал только, чтобы размер вознаграждения определялся особым трибуналом в роде третейского (с чем соглашалось и правительство), высказался в противоположном смысле. Собранию предоставлялось выбирать из двух представленных ему противоположных предвзятых мнений.

Но события поставили вопрос о выкупе в связи с вопросом о Национальных мастерских, и это было крупным несчастьем для них обоих. Правительство рассчитывало, и не скрывало этого, использовать незанятых рабочих для тех работ, которые при выкупе окажутся в его распоряжении. Поэтому оно старалось заручиться ими раньше закрытия мастерских, которое желательно было совершить медленно и постепенно. Но это обстоятельство побуждало противников правительства торопить с закрытием мастерских. Таким образом, прения в Собрании о выкупе затягивались, когда правительство обнаруживало желание поспешить; изменяли для этого самый порядок дня, заставляя внести вперед проект закона о паспортах (17 июня). Затем, когда в виду неизбежного восстания мастерских, правительство желало отложить вопрос об их закрытии, ему не дали этой отсрочки, так, что министр, у которого, как и у его товарищей, были в то время другие, более неотложные заботы, не имел даже возможности защищать с трибуны свое предложение.

Главные прения начались 22-го июня, в тот самый день, когда рабочие Национальных мастерских, поставленные в необходимость или покинуть Париж, или поступать в солдаты, находились уже в состоянии брожения. Несмотря на трагический аккомпанемент гражданской войны, прения эти были серьезными и блестящими. Наиболее замечательными из произнесенных речей

были речи Матье де ля Дром и Монталамбера, одна за, другая против проекта (относительно речи Монталамбера см. выше). Аргументы противников проекта можно резюмировать следующим образом:

1) Мера эта несправедлива. Да, конечно, государство имеет право выкупа, но лишь после 15-летней эксплоатации, а срок этот еще не истек. Имеет ли государство право экспроприации? Меньшинство членов *Комитета финансов* отрицает это право, а большинство признает его за правительством; но, даже допуская законность этой экспроприации, в ней нет надобности. Все компании, за исключением двух или трех, в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Принуждать же к расторжению договоров с государством тех, кто этого не желает, значит посягать на священное право собственности.

2) Мера эта противоречит принципам политической экономии. Берется за исходную точку аксиома: «*общественные работы должны оплачиваться теми, кто ими пользуется*», аксиома страшно произвольная, на основании которой должно отнести, пожалуй, постройку порта за счет города, при котором он расположен. Следовательно, если государство берет на свой счет железные дороги, то расходы по операции должны будут пасть на бюджет и, очевидно, будут оплачиваться компаниями, которые ею не будут пользоваться. Мы уже встречались с тем же рассуждением по поводу понижения почтового тарифа. Один из ораторов предлагал признать, что дороги составляют достояние общины, а не нации; таким образом самый узкий индивидуализм противопоставляли идее социальной солидарности, и никто не сомневался в том, что орган может создать потребность, что если облегчить и удешевить передвижение и корреспонденцию, то сельские жители могут пуститься путешествовать и переписываться так же, как горожане. Никто не подозревал, каким могучим дренажем для сельско-хозяйственных продуктов сделаются железные дороги. Защищая компании, думали, что отстаивают свободу против монополии, как будто компании сами по себе не были настоящей монополией. Ссылались на примеры Англии и Америки, хотя эти примеры вовсе не шли к делу; припоминали даже и то, что при первой революции имения духовенства и эмигрантов были проданы частным лицам, а не остались собственностью нации. К этому

прибавляли, что эксплоатация дорог правительством будет непременно разорительной и плохой; что, наконец, в то время, как все говорят о поощрении рабочих ассоциаций, странно было бы экспроприировать компании, которые представляют собой тоже ассоциации.

3) Мера эта неполитична. Не только потому, что пустота казны воспрещает приступать к операции, которая обойдется не в 623 миллиона, как утверждает министр, а в 1200, но еще и потому, что это было бы началом коммунизма. Один оратор, Морен, следующими словами предостерегал от того вала с зубьями, в который попадет общество и который раскрошит его:

„После железных дорог у нас потребуют страхования, затем, конечно, рудники, каменоломни, почтовые дороги, далее, быть может, крупные мануфактуры, словом, все, что является плодом энергичного и сильного развития промышленности. Плачевная система, обращающая государство в главу, регулятора производства; граждан—в армию приказчиков и служащих! Система, парализующая живые силы нации, подчиняя их унизительному и однообразному ярму!“.

Монталамбер приводит следующую цитату из Прудона:

„Да, речь идет о нашей собственности и о нашем обществе, да, речь идет о замещении узурпированной собственности собственностью законной; да, возвращение общественного достояния, средств передвижения государству есть первое звено в той цепи социальных вопросов, которую держит в складках своей тоги достигшая совершеннолетия Революция 1848 года“.

Оратор католик вызывает пред устрашенным Собранием, призрак, которым столько раз пользовались и злоупотребляли; он спрашивает, не желают ли сделать из государства «предпринимателя всех промышленных заведений и страхователя всех состояний»; и по словам другого оратора на декрет нападают как на «выражение системы коммунизма, парижской диктатуры и правительства пашей».

Куда же девались столь настоятельные интересы трудящихся? Кордье попытался ловким приемом доказать, что выкуп противоречит этим интересам; он утверждал, что работа, выполняемая государством, никогда не может быть равноценна той же работе, выполненной частным предприятием. Аргумент был слабый; на нем и не настаивали, в действительности же сыграла свою роль боязнь красного призрака, которую сумели использовать.

В возражениях недостатка не было. Матье де ла Дром, который был демократом, а не социалистом, насмешливо заявил:

„Для людей, которые желали бы сделать мир неподвижным и остановить прогресс человечества, большое счастье, что эта утопия коммунизма явилась на свет"...—„Итак, прибавлял он, государство сделается коммунистическим, если станет собственником железных дорог! Но разве государство не владеет национальными, департаментскими и коммунальными дорогами? Стало быть, государство—коммунист? Разве государство не содержит с большими расходами множество учреждений, армию, магистратуру, университет? Стало быть, государство—коммунист? И Людовик XI, основавший почту, был, значит, коммунист?".

В заключение он сказал, что в таком случае «первые люди, проложившие тропинку на нашем земном шаре, были коммунистами». Другой оратор пытался напомнить, что отношения между размерами частной собственности и собственности коллективной бесконечно изменялись в течение веков, и что в частности, при первой революции, феодальные права, составлявшие с незапамятных времен достояние некоторых фамилий, были выкуплены или даже уничтожены без выкупа. Третий оратор говорил, что пар—это чудесное орудие цивилизации, открытое наукой, должен быть использован республикой, достойной своего имени, ко всеобщей выгоде, а не к выгоде только нескольких лиц. Говорили, что дерзкой иронией звучат речи, в которых смешивают братский дух рабочих ассоциаций с торгашеством, составляющим душу крупных капиталистических компаний. Просили не забывать, что договоры, заключенные с государством, не отличались большой лояльностью, что отдача с торгов была только *надувательством*, что концессии вотировались теми самыми, кто должен был из них извлечь выгоды; что с 24 февраля новые концессии, без особых затруднений стали заключать уже не на 99, а на 45 и даже на 30 лет. Наконец, доказывали, что выкуп—хорошая операция и с финансовой точки зрения, так как, в силу своих обязательств, государству предстояло выполнить для компании разных работ на 311 миллионов, а это равняется как раз половине того, во что обойдется полный выкуп, а в случае войны, наем подвижного состава для перевозки войск, провианта и боевых припасов вызвал бы такие расходы, которые оказались бы для бюджета громадным лишним бременем. История впоследствии доказала, что в этом последнем отношении левые ораторы были хорошими пророками.

Собрание было мало расположено вотировать выкуп. Но ему и не пришлось высказаться по существу вопроса. 23 июня во время обсуждения явился генерал Кавеньяк с известиями о бое, начавшемся на улицах Парижа, и гражданская война поглотила все внимание. Это было смертельным ударом для выкупа железных дорог. Прения по этому вопросу уже никогда больше не возобновлялись. Таким образом не один пролетариат потерпел поражение; можно сказать, что и радикальная программа экономических реформ осталась также на поле битвы. Гудшо, снова сделавшись министром финансов, 3-го июля снял с очереди проекты своего предшественника и в заседании 14-го июля заявил, что отказывается от мысли передачи государству железных дорог. Депутат от Мозеля Антуан пытался, правда, поставить этот вопрос снова на очередь под конец Учредительного Собрания, в мае 1849 года, но его предложение не удостоилось даже чести сделаться предметом обсуждения.

Политика республики по отношению к железнодорожному делу до конца оставалась нерешительной. Постройка линий продолжалась; за четыре года число километров железнодорожного пути удвоилось. После вполне понятной задержки, которой отмечен был 1848 год, происходил непрерывный рост числа пассажиров, количества перевезенных грузов, доходов.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.

Годы.	Товары в тысячах тонн.	Пассажиры в миллионах.	Километры.	Локомотивы.	Валовой доход в миллионах.	Чистый доход.
1847	3.597	12,7	1.880	646	65.2	33,8
1848	2.921	11,9	2,222	729	61,18	26
1849	3.419	14,8	2.861	875	75,1	36
1850	4.271	18,7	3.013	973	95,6	50
1851	4.627	19,9	3.558	1.006	106,2	58

Тем не менее пришлось прийти на помощь некоторым компаниям. Государству даже пришлось выкупать и временно эксплоатировать некоторые линии. Компания линии Париж—Лион потребовала и добилась выкупа (17 августа 1848 г.). Затем государство уполномочено было выкупить линию Париж—Версаль, левый берег, эксплоатировать железнодорожную ветку от Вер-

саля до Шартра (21 апреля 1849 г.). Такое же решение было принято относительно линии от Бордо до Тесты (17 ноября 1848 года). Но бесполезно продолжать список этих мелочных мер. Здесь речь не шла уже о предоставлении нации свободного распоряжения своими транспортными средствами, а о том, чтобы помочь компаниям эксплоатировать свою монополию. По закону 8 июля 1851 года уступлены частному предприятию почтовые пакетботы Средиземного моря. Капитал окончательно победил. Эксплоатация железных дорог шла исключительно в пользу правящего класса. Финансовая аристократия продолжала владеть ими через посредство компаний, которым Беррье произнес похвальное слово. Одной из них уже была гарантирована прибыль (19 ноября 1849 года), и министр давал понять, что концессии могут быть продолжены. Действительно, тотчас после декабря 1851 года одним из первых актов нового правительства было поднесение им от имени государства щедрого подарка, в виде отсрочки на 99 лет всех существующих концессий и гарантии прибылей на вложенный в них капитал.

Демократическая идея, в этой области, как и почти во всех других, была надолго побеждена идеей плутократической.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

ГЛАВА X.

Режим собственности и налоги

Распределение богатства в стране не может совершенно измениться за четыре года, если только не произойдет глубокого потрясения в имущественных отношениях и в общественной иерархии. Известно, что ничего подобного не произошло в 1848 году. Но оно может быть видоизменено непосредственно реформами, внесенными в юридическое право собственности, или косвенно — налогами.

Первый прием был мало употребителен при Второй Республике. Режим собственности оспаривали, ему угрожали; но его защищали до крайности и он держался твердо, как скала. Однако некоторые нападки на права собственности, в существовавшей

форме имелись. Во имя человеческого достоинства уже не допускали распространения этого права на личность. Рабы из вещей обратились в людей. Это не обошлось без сетований со стороны хозяев. Временное Правительство обвинили в том, что оно разорило колонии, и вполне достоверно, что здесь, как и всюду, переход от одной формы труда к другой был не легок. Колонистам предоставили вознаграждение, в котором отказано было рабочим, переходящим от ручного труда к труду механическому. Закон 30 апреля 1849 года назначил им в виде удовлетворения шесть миллионов в виде ренты и шесть миллионов звонкой монеты, из каковых сумм часть была взята на устройство ссудного и учетного банков на островах Дружбы, Мартинике и Гваделупе. Кроме того, сахар, ввозимый из колоний, был освобожден от пошлин; но к прежнему положению уже не вернулись. Было установлено, чтобы нигде на французской земле не было больше рабов, как гласил декрет Временного Правительства. Я указал уже, как такого же рода эмансипация временно облегчила участь должников.

Что касается земельной собственности, то здесь можно лишь отметить запрещение майоратов на второй степени родства, которые являлись неотчуждаемыми имуществами, установленными в пользу старших сыновей знатных фамилий. В этом еще нельзя видеть шага по пути к демократическим реформам; подобно отмене дворянских титулов, это было скорее завершением победы, одержанной в 1789 и 1830 г.г. буржуазией, средством помешать феодальной собственности вновь образоваться. Другой законопроект был направлен против крепостных имуществ учреждений и обществ, которые, никогда не умирая, беспрестанно приобретают и расширяют свои владения: таковы были странноприимные дома, семинарии, религиозные конгрегации. Греви в своем докладе указал на то, что масса этих имуществ изъята из обращения в ущерб национальному богатству (потому что они часто остаются непроизводительными), государственному казначейству и плательщикам налога (потому что эти имущества избавлены от налога при отчуждении и заставляют перекладывать на других повинности, от которых сами освобождены). Он пришел к заключению, что было бы справедливо уравновесить это привилегированное положение ежегодным обложением, и убедил в этом Учредительное Собрание,

которое, несмотря на сопротивления католиков, приняло проект громадным большинством голосов. Сеньоральные права собственности потерпели кроме того ущерб, благодаря крупным работам, вызванным необходимостью оздоровления городов. Как это уже было при постройке железных дорог, пришлось облегчить возможность отчуждения ради общей пользы. Предложен был также законопроект о воспрещении или регламентации слияния обществ, образовавшихся с целью эксплоатации рудников в каменноугольном бассейне Луары. Объединенные таким образом концессии подлежали уничтожению. Этой мерой предполагали воспрепятствовать концентрации промышленной собственности в немногих руках. Но одним из первых актов министерства, назначенного на следующий день после президентских выборов, было снятие с очереди этого проекта. К нему вернулись снова, был сделан доклад, но он так и не обсуждался.

Наконец, выработана была реформа ипотечной системы. Два больших общих проекта, не считая частичного проекта Консидерана, были внесены в Учредительное Собрание Пужаром и Ланглуа и переданы на рассмотрение Государственного Совета. Вопрос остался в числе очередных дел Законодательного Собрания; но у него не было времени закончить его и можно отметить только одну мелкую реформу, принятую 9 января 1851 г. Она гласила следующее:

„Ипотека имеет значение и получает силу только со дня записи ее в реестр. Тем не менее ипотека считается законной без всякой записи для имуществ несовершеннолетних лиц, взятых в опеку, и женщин, во все время их опеки и брака".

В общем, собственность и ее права рассматривались тогда как нечто священное и в то же время хрупкое. По возможности ее не касались. Но ее приходилось сильно затрогивать косвенным путем,—налогами.

Фискальный вопрос, имеющий важное значение во все времена в каждом большом государстве, особенно серьезен в революционную эпоху, когда деньги с трудом притекают в государственные кассы и легко оттуда уходят. Вопрос был тогда тем более важен, что республиканская программа до 1848 года возвещала твердое намерение коренным образом изменить ту налоговую систему, которая практиковалась конституционной монархией. Она желала сложить налоги с бедных, что можно было сделать, только обременив большими налогами богатых или сократив государственные расходы. Эта программа, правда, содержала в себе, как и все оппозиционные программы, обещания бережливости, обязательства сократить бюджет, возобновленные Временным Правительством. Но когда возможно сократить бюджет? Во всяком случае, не в период неурядицы, когда потребности велики и наоятельны. И вполне понятно, что усилия новой области приходилось направлять скорее на способы иной раскладки налогов, чем на изыскания средств уменьшения их. Среди республиканцев уже была распространена идея, что следует уменьшить косвенные налоги, особенно те, которые падают на предметы потребления и являются прогрессивными наизнанку, в том смысле, что они требуют от бедных столько же, сколько и от богатых и, следовательно, пропорционально обременительнее для первых, чем для вторых. Зато сошлись на желании обложить доходы прямым и даже прогрессивным налогом. Прогрессивный подоходный налог не был принят только самыми умеренными республиканцами; его защищали некоторые экономисты, как Жозеф Гарнье и Леон Фоше.

Но на свое несчастие республика рождалась в момент, когда государственные финансы были в очень плохом состоянии. Тьер при обсуждении последнего бюджета монархии сказал, что государство находится накануне катастрофы; дефицит был обычным явлением в предшествовавшие годы. Промышленный и торговый кризис, который свирепствовал с 1847 года, мог только увеличить этот дефицит, а присоединившийся к нему политический и социальный кризис сделал трагическим положение, уже и без того внушавшее опасения. Драма готовилась, развертывалась все шире.

24-го февраля в казначействе имелось 135 миллионов звонкой монетой и 57 миллионов в бумагах, которые нельзя было немедленно реализовать *). Этого было мало, тем более, что в

*) Вот, по официальному докладу Дюко, точное положение к этому дню: **„Итого объявленный долг доходил до 4 миллиардов 295 миллионов. Прежние бюджеты, поглотив запасный фонд погашения, оставили в виде неконсолидированного долга сумму в 281 миллион. Неконсолидированный долг достигал цифры 960 миллионов.—Бюджет 1848 г. был заключен дефицитом более чем в 76 миллионов.—Запасные фонды погашения были поглощены вперед до 1855 и даже до 1859 г.г.**

марте приходилось вынуть 73 миллиона на уплату процентов 5%-й ренты за первую четверть года. Предстоявшие расходы были громадны и безотлагательны. При первой вспышке революции налоги поступали хорошо; но это продолжалось только несколько недель; капиталы спрятались, эмигрировали, сначала из страха, а потом по тактическим соображениям. Дела остановились, и государственному казначейству грозила опасность остаться совсем без денег.

Первой заботой Временного Правительства было найти министра финансов. Но задача, предстоявшая будущему министру, была мало соблазнительна. Она требовала редких качеств, смелости и гибкости воображения, соответствовавших необычайным условиям, в которых очутилась страна. Выбор пал на еврейского банкира Гудшо, который отличался несомненной честностью, прекрасно вел свои дела и таким образом мог внушить доверие капиталистам. Но он отличался характером одновременно и сильным, и робким; рисуясь филантропическими намерениями, он багровел от злости и выражал свой гнев в необдуманных словах, как только при нем заговаривали о социализме. Будет ли он в состоянии возвыситься до энергичных решений, которых требовало революционное положение? Он начал с того, что громогласно возвестил в «Moniteur'e», что ни один из действующих налогов не будет ни отменен, ни видоизменен. Это было мотивировано тем, что Временное Правительство смотрело на всякое изменение в этой области, как на узурпацию прав будущего национального собрания; этим сразу отнималась всякая надежда на какую бы то ни было реформу; этим ее даже признавали невозможной. На республиканцах, получивших власть в свои руки лежали, однако, обязательства, отказаться от которых было бы и нечестно, и неблагоразумно. Гудшо, думая только о том, чтобы успокоить буржуазный класс, приказал оплатить досрочно ренту, что было своего рода детской бравадой, и в конце концов опять усиливало тревогу, которую хотели успокоить. А народ? Было настоятельно необходимо подумать также и о нем. Вот почему Временное Правительство, вопреки своему торжественному заявлению в предшествующие дни, отменило гербовый сбор, тяготевший на повременной печати и мешавший удешевлению газет. Несколько дней спустя, вспомнив о крестьянах, оно отменило с 1-го января 1849 года налог на соль, который при Луи-Филиппе давал около 64 миллионов. Гудшо, не переставший сердиться, беспрестанно метавший громы и молнии против теорий Луи Блана, не стал дожидаться предлога, чтобы уйти. Он заявил, что положение отчаянное, что он отказывается присутствовать при неизбежном крушении. Он говорил, что пустит себе пулю в лоб, если будут настаивать на том, чтобы он оставался. «Г-н Гудшо потерял голову»,—говорит Одилон Барро в своих *Мемуарах*. Словом, он подал в отставку с шумом и резкими выражениями (5-го марта). Нужно было найти ему немедленно заместителя; Гарнье-Пажес, состоявший до тех пор мэром г. Парижа, согласился попытать счастье.

Но что ему было делать? Дебют его был неудачен. Он приостановили возврат вкладов из сберегательных касс, начиная с известной суммы (см. выше). Правда, Гарнье-Пажес думал, что таким образом он нанесет ущерб только крупным вкладчикам, принадлежавшим, как он говорил, к зажиточным людям, и обнаружившим оскорбительное недоверие к государству; но вовсе не крупные капиталисты вносили свои сбережения в сберегательную кассу; в действительности эта мера коснулась мелких торговцев, мелких хозяев, всех мелких буржуа, и представляла собою резкий контраст с той милостью, которая в то же время была оказана держателям ренты в виде досрочной оплаты ее. В этом докладе сказывался и классовой интерес, которому, может быть, бессознательно подчинялся министр финансов, бережно относившийся к богатой буржуазии, делая при этом вид будто бы третирует ее. Но мало было не опустошать казны, нужно было и наполнить ее. В 1847 году был вотирован заем в 350 миллионов в виде 3%-й ренты. Ротшильд взял на себя реализацию 250 миллионов по курсу 72 франка 48 сантимов. Из всей этой суммы им было внесено до 24-го февраля 85 миллионов. Затем в каждый последующий месяц 7-го числа он должен был вносить до 10 миллионов. Но он заявил, что по независящим от него обстоятельствам он не может справиться с этим рассроченным платежом, и нарушил свои обязательства.

В то время возможен был большой национальный заем, которого на этот раз не было необходимости передавать какому-либо крупному банкиру, но можно было покрыть путем народной

подписки. Таким образом новая Франция добровольно покрыла бы расходы, вызванные ее переустройством. Республиканский энтузиазм первых дней мог бы таким образом превратиться в деньги, если бы только нации была предложена подписка на разумных условиях. Некоторые члены правительства, в том числе Ламартин, требовали этого непосредственного обращения к общественному доверию. Увы! Гарнье-Пажес, главной политической заслугой которого было только то, что он был братом выдающегося участника борьбы, умершего раньше победы, упустил благоприятный момент. Это был робкий, мало изобретательный человек, он мало верил в дело, которому служил, а только вера дает смелость. 25-го февраля он написал Одилону Барро: «Известные вам безумцы только что провозгласили республику». Он не осмеливался или, по крайней мере, осмеливался робко. Из займа, который был вотирован в ноябре 1847 года, оставалось еще разместить 100 миллионов. Гарнье Пажес постарался приискать их (9-го марта), предложив в обмен 5% ренту по нарицательной стоимости. Рента же в тот момент продавалась по курсу 60—50 франков. Предложение купить ее по 100 франков могло быть принято только из чувства самоотвержения. «Это—не финансовая операция, говорил министр, это—политическая мера». Но капиталисты, к которым он обращался, не имели никакого желания оказывать, себе в убыток, кредит республике, которая угрожала их привилегиям; заем дал только полмиллиона, и опасность по-прежнему росла.

Предложены были меры революционного характера. Заговорили о конфискации имуществ фамилии Орлеанов; павшие принцы были, конечно, самыми крупными собственниками Франции; но уже прошли те времена, когда революция объявляла национальным имуществом земли и замки эмигрантов. Говорили, будто бы у банкира Деламмара возникла идея принудительного займа, обязательного для самых крупных капиталистов; он будто бы представил даже министру список крупнейших из них. Другой банкир, Ахилл Фульд, был, говорят, того мнения, что следует обратиться к тому средству, которое не стесняясь применял король Людовик XIV, убавляя владельцам ренты одну—две «четверти», т.-е. прекратить на четверть года или на полгода уплату государственных долгов. Это было бы частичным банкротством, ко-

торое в свою очередь нанесло бы удар зажиточному классу. По отношению к сберегательным кассам, где дело шло о бедном классе, подобный декрет был уже издан: но здесь такая мера показалась делом недостойным. Впоследствии никто не хотел поверить, что были подобные планы. Эти планы, от которых отрекались их авторы, несмотря на то, что много серьезных свидетелей подтверждали их существование, не имели во всяком случае никакого шанса получить одобрение Гарнье-Пажеса. Он отказался даже от времени от подоходного налога, для введения которого, по его словам, нужно было слишком много времени.

При таком затруднительном положении забавлялись пустыми демонстрациями; облагали налогом роскошные экипажи, домашнюю прислугу, собак; собирали патриотические пожертвования, которые с большой помпой приносились в Елисейский дворец, где их торжественно принимали Беранже и Ламеннэ; затем о них публиковали в «Moniteur». Парижский архиепископ прислал свой серебряный столовый прибор; служащие, рабочие отдавали свой однодневный заработок, дарили свои часы и цепочки; женщины из народа жертвовали свой кольца, серьги, свадебные подарки. Трогательная, но скудная контрибуция! Несколько капель воды в громадный пустой бассейн! Что мог дать этот своего рода национальный ломбард! От тех, у кого были деньги, ничего не поступало. Капитал эмигрировал или прятался в подполье. Баронесса Бонд писала: «Делая визиты, вы застаете иную даму с очень грязными руками, ибо она только что выкопала в саду яму, чтобы спрятать туда свои драгоценности». Иные богатые люди спешили отправить свои ложки и вилки на монетный двор. Были среди зажиточного класса и такие, которые сокращали свои расходы, отменяли обеды и балы, продавали своих лошадей и экипажи, отпускали своих слуг, бедно одевались, приостанавливали уплату своим поставщикам, рисовались своим безденежьем. Один современник назвал это «экономическим заговором». Модные женские наряды в ту весну продавались по низкой цене. Звонкая монета стала редкостью. Один бульварный завсегдатай, вынув из своего кармана монету в 20 франков, показывал ее кучке зевак со словами: «Смотрите хорошенько! Вот она! Это последняя, показываю за су, позволю дотронуться—за два!».

Произойдет ли банкротство? Пропасть была в двух шагах. Каждое утро центральный кассир говорил Гарнье-Пажесу: «Господин министр, у нас есть еще чем существовать столько-то дней». И число дней уменьшалось ужасающим образом. Как ни бились, а приходилось поневоле прибегнуть к необычным приемам. Запасные фонды для погашения долга расходовались с каждым днем. Министр добился разрешения отчудить: 1) государственные бриллианты, эти роскошные игрушки, которые ни на что больше не годились; 2) земли и леса, доходы с которых шли на содержание короля; 3) часть национальных лесов; он заложил банку часть этого имущества в виде гарантии ссуды в 230 миллионов, которую банк и выдал государству. Этого замаскированного займа было недостаточно, и ораторы революционных клубов требовали или чрезвычайного налога на богатых, или возврата миллиарда, выданного эмигрантам правительством реставрации. Тогда-то Гарнье Пажес, доведенный до крайности, решился потребовать исключительной жертвы от земельной собственности.

16-го марта был объявлен декретом знаменитый *налог в 45 сантимов*, который был дополнен 19 апреля налогом в 1% на ипотечные долги. Он заключался в увеличении на 45 сантимов со ста общей суммы всех четырех поземельных налогов. Списки были совсем готовы, время не было потеряно; таким образом надеялись получить необходимые средства.

Идея эта вовсе не была нова. Гарнье Пажесу ее нельзя приписывать. Первая империя, Людовик XVIII, Луи-Филипп последовательно прибегали к этому средству. Я бы сказал больше, это была идея весьма буржуазная, идея, соответствовавшая экономической эволюции века, в котором мало-по-малу движимое имущество брало верх над имуществом земельным. Революция 1830 года была по существу победой финансовой и промышленной аристократии над аристократией земельной, началом царства банкиров, как наивно выражался Ляфитт. Гарнье-Пажес, сознательно или нет, действовал как представитель городской буржуазии, но, благодаря всеобщему избирательному праву, деревни приобретали такое значение, какого они никогда раньше не имели. Временное правительство недостаточно приняло это во внимание. Его главным образом занимал вопрос о том, распространится ли этот налог

также на мелкую земельную собственность, на владельцев ничтожных кусков земли; эти владельцы носят громкое название собственников, но им нечем жить на своем участке. Луи-Блан и Ледрю-Ролен высказались в пользу этих пролетариев собственников. Они желали, чтобы их формально освободили от налога, обложив больше крупных земельных собственников. Ледрю-Ролен предложил для последних налог в 1 фр. 50 сант. Гарнье-Пажес заявил, что даст распоряжение сборщикам щадить бедных, и что в виду этого налог, который должен дать 190 миллионов будет исчислен только в 160 миллионов. Дюпон де-Лер встревожился; он указал, что сборщики, по самому своему положению и в интересах своей будущности, гораздо более склонны щадить богатых, чем бедных, он опасался, что новый налог заставит крестьян возненавидеть республику. Однако точным образом не было определено, кто имеет право на освобождение от налога, и дело ограничилось неопределенным обещанием Гарнье-Пажеса.

Опыт показал, что это был огромный промах. Слова Дюпона де-Лера оказались действительно пророческими. Петиция клуба Барбеса в пользу мелких деревенских плательщиков налога оказалась весьма своевременной. Со всех сторон поступали заявления с жалобами на привилегированное положение чиновников. Суровый налог, падавший своей тяжестью на людей, для которых сплошь и рядом эта дополнительная повинность была непосильна, был еще и несправедлив, так как он прибавлялся, не к обыкновенному налогу, но ко всей сумме чрезвычайных налогов, которыми обложили себя коммуны для производства полезных работ; результатом этого оказывалось то, что наиболее обремененные и наиболее достойные коммуны были еще отягощены. Это казалось, да и действительно было несправедливостью. Понятно, что ловкие противники воспользовались введением этого временного налога и возбудили в деревнях серьезное неудовольствие. Ламартин, сторонник налога, приписывал ему ту честь, что только его введение дало возможность различным ведомствам правильно функционировать, но если налог спас финансы республики, то он наверно способствовал смерти республики; так, некоторые лекарства излечивают одну болезнь, вызывая вместо нее другую, более серьезную. Кроме того, налог служил доказательством, что Временное

Правительство не желает переносить на людей привилегированных по своему состоянию чрезмерное бремя, тяготевшее на плечах трудящихся.

Налог на ипотечные долги не был удачнее. Он падал на одну отрасль дохода, не затрагивая других; он не был санкционирован; он был бы действительным только в том случае, если бы реестр ипотек мог быть опубликован, а эта обязательная декларация долгов, тяготеющих на недвижимости, явилась бы полным переворотом в финансовой системе Франции Так как Временное Правительство вовсе не предполагало предписать эту публикацию, то оставалось или положиться на честность кредиторов, которые выдадут себя фиску, не пытаясь обмануть его, или на доносы на кредиторов со стороны их должников. Вообще гнусно поощряты доносы, а здесь рассчитывать на них было и бесполезно, потому что должники были сами заинтересованы в том, чтобы не восстановлять против себя своих кредиторов и не колебать своего кредита заявлением, что они должны значительные суммы под залог своей недвижимости. Можно было предвидеть много случаев укрывательства. Если допустить осуществление этой меры, то ее результатом было бы повышение процентов на ипотечные займы и ухудшение положения должников, ибо очевидно налог, уплаченный заимодавцем, будет им взыскан с заемщика путем увеличения процентов за ссуду. Значит, в результате опять-таки обременение тех, кто уже и без того обложен больше всех, и новый удар земельной собственности.

Заполнив таким образом кое-как пустоту государственных касс, Временное Правительство продолжало обещать на будущее время прогрессивный подоходный налог. Оно чувствовало необходимость оставить после себя народу не одно только увеличение налогов, и в последние дни своего существования, в этот период составления завещаний, когда правительство думает о том, как бы заставить о себе пожалеть, и охотно расточает популярные меры, оно уничтожило обыски (31-го марта), которые производились в домах, торгующих напитками, акцизными чиновниками, обычно известными под названием «подвальных крыс» (rats de cave) и отменило (18, 24 апреля и 3 мая) пошлину на мясо при ввозе его в город Париж.

Декрет о напитках начинался великолепным предисловием:

Принимая во внимание, что способ взимания налога с напитков в высшей степени стеснителен и тягостен;

... что обыск (exercice) посягает на достоинство граждан, занимающихся торговлей напитками;

... что унизительная форма этих налогов является постоянной побудительной причиной и как бы оправданием контрабанды.

... Желая ввести дух справедливости в фискальные законы, и т. д.

Это были прекрасные слова. Но мы уже сказали, что самым лучшим намерениям Временного Правительства в этой области не суждено было увенчаться успехом. Облегченные таким образом 330.000 торговцев наверно должны были почувствовать удовлетворение, но увеличение налога на предметы потребления в некоторых департаментах вдвое, втрое, вчетверо против прежнего для возмещения отмененной провозной пошлины падало своей тяжестью на тех, кто не посещал кабаков, и вместе с тем на все виноградные местности. Скоро из многих коммун стали поступать протесты. Взимание нового налога пришлось кое-где приостановить. Временное Правительство еще раз, даже не подозревая этого, оказывало покровительство горожанам за счет сельского населения.

Другой декрет, имевший в виду только Париж и пробивавший брешь в системе городских пошлин на съестные припасы, казалось, мог удовлетворить разом и рабочих, заинтересованных в дешевой цене на мясо, и скотоводов, которым было выгодно увеличение потребления в столице. Но он имел другой результат, из-за того, что не был закончен. Мясная торговля в Париже составляла тогда монополию, и, как в средние века, мясоторговцы-капиталисты покупали и били скот, предоставляя менее богатым мясоторговцам продавать его в розницу, так что публика должна была расплачиваться за увеличение расходов, вызванное вмешательством посредников между оптовой и розничной продажей. Привилегированные мясоторговцы, огражденные от конкуренции, понизили цену только на первый сорт мяса; рабочие же продолжали платить в ресторанах за свои порции по 35 сантимов, и для них не последовало обещанного облегчения.

Не нужно, конечно, забывать при оценке этой фискальной политики тех непомерных трудностей, при которых она развилась. Она старалась захватить, как говорится, «на месте преступления»

те деньги, на которые можно было наложить руку. Не нужно также забывать, что честь этих импровизированных правителей осталась незапятнанной. Инсинуации и клеветы, пущенные в ход некоторыми газетами на счет Кремье и Ламартина, заслуживают только презрения и истории следовало бы пригвоздить к позорному столбу фабрикантов лжи, грехи которых она слишком легко придает забвению. Большинство этих лиц, которые в течение четырех месяцев были хозяевами Франции, умерли бедными, очень бедными, и можно только выражать сожаление, что их финансовое искусство не было на высоте их безупречной честности. Но при этом нужно признать, что их способ решения мучительной задачи был столь же нестройным, как и рутинным, и обнаруживал своими колебаниями ту неустойчивость, которою отличалось все поведение Временного Правительства. Нужно, кроме того сознаться, что, благодаря этому способу действия, слишком часто деревни приносились в жертву городам и, наконец, потеряно было дорогое время без осуществления в этой области хотя одной из великих демократических реформ, возвещенных республиканской программой.

Финансовый вопрос остался крупным камнем преткновения для правительств, которые поочередно становились во главе республики. Он был наиболее уязвимым пунктом нового режима. И на этот именно пункт его противники сосредоточили свои нападки. *Финансовый комитет* обратился в их цитадель и с ожесточением отказывал правительству в средствах существования. Кентэн-Бошар заставил внести в конституцию пункт о том, что республика намерена «увеличить достаток каждого путем постепенного сокращения государственных расходов и налогов». Одно время проектировали свести оклады жалованья к размерам, существовавшим в 1822 году. Необходимость соблюдать экономию была аргументом, который консерваторы выставляли против всех реформ, начиная с выкупа железных дорог и кончая бесплатным обучением. Затем, так как министры поочередно предлагали разные способы обеспечить себя средствами, принята была тактика отклонять один за другим все их проекты, равно как и все декреты Временного Правительства. Сохранить *statu quo* в этой области значило навязать его и во всех других.

Итак, планы министров рушились, как карточные домики. План Дюклерка был сметен вместе с самим министром июньскими днями. Однако принцип прогрессивного подоходного налога, названного одним из членов Временного Правительства единственно справедливым и единственно действительным налогом, продолжал держаться, хотя и поколебленный. Он был применен до 1848 г. в некоторых больших городах, в Париже, Лионе, к движимому имуществу и наемной плате. Налог на двери и окна не был пропорционален. Вычет из жалованья чиновников был прогрессивным. Гудшо, от имени умеренных республиканцев, предложил еще 3-го июля применить этот же принцип к переходу имущества по наследству и дарственным записям. В *Финансовом комитете* произошел бой по этому поводу. Сторонники правительства поставили вопрос, следует ли брать налог из необходимых средств существования рабочего или из излишка богатого. Они говорили, что нужно сделать выбор между двумя видами политики по отношению к трудящемуся классу: или политика борьбы, или политика примирения. Но один из членов комитета воскликнул: «Прогрессивный налог, это—коммунизм!». И в Собрании Тьер, вопреки своему формальному обещанию, прибавил к формуле, принятой против проекта Прудона, вводную фразу, выражавшую порицание ненавистному налогу. Этого было мало. Во время обсуждения конституции Сервиер и де-Сез предложили заменить неясный текст комиссии, оставлявший налогу открытые двери, следующим, закрывавшим их: «Всякий участвует в государственных повинностях *пропорционально* своему состоянию». В обвинительном акте против прогрессивного подоходного налога можно указать следующие пункты обвинения: это—подновленная греческая ветошь, деспотическая попытка паши воспрепятствовать существованию богатых; скрытый грабеж; воровство со стороны государства, которое нужно заклеймить; глупость, потому что республике нужно обеспечить себя содействием собственников, в руках которых находятся выборы; химера, потому что определить имущественное состояние каждого из граждан—вещь невозможная; беззаконие, потому что раз Бог создал общественное неравенство, люди не в праве уничтожать его. Указывали также на то, что этот налог требует системы сыска, вызывает укрывательство; что, благодаря произволу при взимании его, он угрожает гибелью круп-

ным состояниям. Для доказательства негодности этой системы ссылались на мнения Робеспьера и Армана Карреля и старались показать, что она противоречит интересам рабочих классов, потому что наносит удар роскоши и вызывает закрытие мастерских. Матье де-ла-Дром, главный защитник проекта, иронически задал вопрос, почему не уничтожают, в силу этих аргументов, косвенных налогов, которые являются прогрессивными навыворот, потому что заставляя платить 150 или 200 франков человека, который может тратить 1000 франков в год, и, самое большее, 2.000 франков, от человека, владеющего рентой в 50.000 франков, они требуют от более бедного $^1/_5$, а от более богатого только $^1/_{25}$ его дохода. На этот довод никто не ответил. Умеренные республиканцы слабо держались за обломок прогрессивного налога, который они сохранили в своей программе. Гудшо, поддержанный Кавеньяком, предложил мировую сделку, которая была равносильна отречению. Текст, который он заставил принять, гласил следующее: «каждый гражданин участвует в государственных повинностях *пропорционально* своим силам и своему состоянию».

Если он думал таким образом спасти остатки своего финансового плана, то вскоре ему пришлось констатировать бесполезность жертвы, на которую он согласился без особенных нравственных мучений. Он попытался сохранить в течение года добавочный налог, который Временное Правительство ввело 19 апреля, на ипотечные долги. Но тут он столкнулся с вечной оппозицией *Финансового комитета* и с справедливым, впрочем, возражением, что таким образом облагают только одну форму собственности, и что справедливее было бы направить удар на все виды дохода. После голосования, изменившего основы его проекта, Гудшо взял его назад и допустил простую отмену декрета 19 апреля. Взамен этого ему предложено было представить проект, касающийся, как об этом его уже просили, всех движимых имуществ, которые до тех пор почти целиком избавлены были от налогов. Один депутат уже потребовал ввести, под именем республиканской десятины, единый налог в размере десятой части всех доходов, каковы бы они ни были. Гудшо ограничился более узким опытом: пропорциональный налог на доходы от движимого имущества должен был дать 60 миллионов, при чем

освобождены от этого налога лица, у которых движимое имущество не достигает определенного минимума. При этом указывалось на то, что цель налога, щадя бедных, установить нарушенное равновесие между земледелием и промышленностью. Назначенная Собранием комиссия одобрила эту меру, превратив только в окладной налог то, что, по мысли автора, должно было быть раскладочным налогом. Но Гудшо покинул свой министерский пост, и 16 января 1849 года проект был взят обратно по указу принца-президента.

Налог на доходы появился тем не менее опять в Законодательном Собрании. Новый смягченный проект внесен был Ипполитом Пасси, экономистом, которого, конечно, никоим образом нельзя было обвинять в социализме. Проект этот и не обсуждался. Точно так же многочисленные блестящие статьи, написанные в пользу единого налога на капитал Эмилем Жирарденом и Прудоном, не нашли никакого отражения в законе. Господствующий класс был за *statu quo*, и все, что можно указать из нововведений, это несколько полезных мер, которые клонились к ускорению и упорядочению отчетности, или к более справедливой раскладке поземельного налога.

Что касается судьбы реформ, которые начали приводить в исполнение, то она была однообразна. Гербовый сбор был восстановлен и увеличен. Налог на провоз напитков, отмененный 31 марта 1848 г., воскрес 22 июня того же года; затем, уничтоженный снова Учредительным Собранием 16 мая 1848 г., он после анкеты был восстановлен Законодательным Собранием 20-го декабря того же года. На соль, освобожденную от всякого налога Временным Правительством, Учредительным Собранием был наложен новый налог 28 декабря 1848 г. Для покрытия дефицитов хватались за классические средства: за традиционные налоги, в той форме, в какой они были установлены Наполеоном I, включая и уплату натурой, сохраненную без изменений; за займы, которые ложились своей тяжестью на будущее, т.-е. увеличивали постоянный долг созданием рент. Государственные долги равнялись к 24 февраля 1848 г. 3.954,085,910 франкам; к 31 декабря 1851 года они составляли 5.709.671.728 франков. Но это не огорчало финансовую аристократию, доказательством чего служат государственные фонды, которые, после падения в апреле 1848 г. до

50 фр. 20 сант., поднимались до очень высоких цифр. Вслед за государственным переворотом 3% рента сделала скачок с 45 до 86 франков, а 5%-я, хотя ей и угрожала конверсия,—с 89 до 106.

Таким образом, после нескольких колебаний фискальная система, в которой во всех странах отражается экономический строй общества, стала опять такой, какой и была, как дерево, на минуту пригнутое бурей, снова выпрямляется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ГЛАВА XI.

Поворотный пункт XIX века.

Если, очертив короткую историю Второй Республики, мы попытаемся подвести ее итоги, то придется констатировать, что Франция на следующий день после этого великого потрясения уже была не тем, чем она была накануне.

Перемены вовсе не коснулись размера территории, хотя экспедиции против кабилов расширили границы Алжира и удовлетворение, полученное в Марокко при пушечных выстрелах, указывает на существовавшее у правящих стремление к расширению колониальных владений, что вполне естественно в стране, где торговля, промышленность и банк вместе с армией держали в своих руках государственные дела. Но изменения, происшедшие в количестве населения, наводят на интересные размышления. За пять лет население увеличилось только на 381.335 человек; это рост меньший, чем в предшествующие и последующие пятилетия. Еще более поразительный факт! Население Парижа уменьшилось. Оно составляло 1.653.900 жителей в 1846 г.; по переписи 1851 г. значится только 1.653.200. Каким причинам приписывать это понижение, когда в других больших городах Франции заметен чувствительный прирост населения за счет деревень?

Нельзя это приписывать уменьшению количества браков. В 1848 г., как и в 1830 г., их заключено было больше среднего количества, потому ли, что революция, вызывая пылкие надежды, побуждает молодых людей основывать свой домашний очаг, или потому, что, следуя за кризисом, стеснявшим желание самостоятельно устроиться, она открывает свободную дорогу для брачных союзов, на время задержанных. Не было и большой войны, которой можно было бы приписать этот факт; наоборот, обычный перевес общего числа женщин над мужчинами уменьшился, обыкновенное явление в мирное время, когда замечается тенденция к установлению равновесия между обоими полами. Другие обстоятельства лучше объясняют отмеченный факт. Прежде всего появление холеры. Но эпидемия была повсеместна и ее недостаточно, чтобы объяснить, почему Париж оказывается особенно пострадавшим. Невозможно в таком случае не подумать о людях, павших в феврале, об обильном кровопускании июньских дней, об эмигрантах, добровольно отправившихся в Африку или Калифорнию, об иностранцах, которых неопределенность политического положения, могла, быть может, удерживать дома в течение 1851 года, в особенности же об арестованных, сосланных и изгнанных, исчислявшихся тогда тысячами. Известно, что после падения республики были две Франции, одна из них заграничная, рассеянная по Швейцарии, Бельгии, Англии и не менее блестящая, потому что она насчитывала массу государственных людей, мыслителей, писателей, ораторов, которые поддерживали среди других наций очаги французской культуры и ненависть к правительству их отечества.

Какую бы долю ни приходилось отводить различным причинам в приостановке роста населения, от которой страдала Франция, во всяком случае этим фактом было подорвано значение той проблемы, которая сильно занимала умы в первую половину XIX века. До сих пор боялись чрезмерного избытка населения; против социалистов выдвигали следующий подновленный аргумент Мальтуса: «Как вы хотите обеспечить всякому существование, достойное живого существа, когда число приглашенных на жизненный пир растет гораздо скорее, чем сумма предметов потребления?». В то время начали бояться противоположной опасности, обезлюдения. Этот новый взгляд на вещи был выражен

в одной из речей Фаллу. Он сравнивал медленный рост французского населения с плодовитостью соседних наций, и из уст его вырвался тревожный крик: «В 1789 г. во Франции было 27 миллионов жителей; в 1848 году у нее 35 миллионов. В Пруссии было 6 миллионов, теперь она имеет 16. В Англии было 14, теперь 29. В Австрии было 28, теперь 39. В России было 33, теперь 70». Он не указывает никакого средства против этого зла, если не считать возврата (неосуществимого и бесполезного в данном случае) к монархии Божьей милостью и к католической религии. Как бы то ни было, Франция хотя и не утонула среди своих усиливающихся по населенности соседей, но уменьшилась и ослабела по сравнению с ними, так как эти последние, стремясь концентрировать свои силы, отнимали у нее преимущество единственной объединенной державы среди раздробленных наций. Она еще сохраняла второе место в мире по своей промышленности и торговым оборотам; деятельность ее далеко еще не замерла в области экономической, как и в области научной; она блистала еще своей литературой и искусством. Но на других поприщах она потерпела значительные перемены и, нужно сказать, уроны.

У всех народов и во все эпохи происходит непрестанная борьба двух, существующих бок о бок, направлений, *идеалистического и реалистического*. Первое заключается в том, чтобы смело пускать в мир теории, проекты, грезы, даже утопии; оно стремится формулировать вещи по построениям разума; это направление пылкое, реформаторское и охотно вступающее на революционные пути; второе заключается в том, чтобы приспособляться к фактам, благоразумно оставаться на твердой почве практики; оно побуждает человека приспособляться к окружающей его среде; оно благоволит очень медленному прогрессу или даже совершенно консервативно. Каждое из этих направлений господствует поочередно, не будучи никогда в состоянии уничтожить другое, которое временно только отступает на второй план.

До 1848 года бесспорно во Франции и Европе преобладал идеализм. Реалистическое направление временно было более слабым. После 1848 года это положение вещей изменилось. Почему же это произошло? Потому что теории преждевременно вышли из книг на улицу; потому что грезы тщетно пытались превратиться в реальность; потому что революция только намечалась и не удалась; потому что поражение, нанесенное республикой, демократией, социализмом, оказалось горестным разочарованием не только для новаторов, веривших в быстрый и легкий успех, но и для народа, упавшего с высоты своих иллюзий разбитым на жесткую землю, с которой он рискнул было подняться до небес. В результате у надеявшихся на быструю перестройку общества появилось чувство горечи и разочарованность; этому соответствовала у других, у тех, кто боялся за свое имущество и за свои привилегии, ненависть к идеям, недоверие к чувствам, желание спокойствия, достигнутого какой бы то ни было ценой.

1848 год является таким образом поворотным пунктом XIX столетия, моментом полного переворота в умственной и социальной эволюции. Соответственно тому ритму, который управляет жизнью народов, как и течениями океана, большинство умов, направляемое долгое время в одну сторону, с силой отхлынуло в противоположную сторону.

Во все сферы вторглась эта реалистическая реакция, которой суждено было длиться почти полвека и у которой, как у всякого человеческого дела, есть своя хорошая и своя дурная сторона. Если брать только Францию, то там эта реакция вначале проявилась в следующих формах:

В мире мысли, первое место заняла наука и главным образом та наука, которая вместо построения широких синтезов замыкается в терпеливый и мелочный анализ фактов; торжествовала позитивная философия, которая отказывается пускаться в таинственные области метафизики, остерегается от всякого полета в область неизвестного и запрещает себе всякого рода умозрения на счет начала всех начал; литература, во имя лозунга «искусство для искусства», отказывалась будить страсть людей и побуждать их к действиям, ограничиваясь только тем, чтобы доставлять им развлечение; возродилось шутовство, эта пародия на все благородное, рыцарское, грандиозное; проза отодвинула на задний план поэзию, которая сделалась точной, бесстрастной, мраморной, научной или низменной; красноречие было обречено на молчание всюду, за исключением церковных кафедр и академических заседаний, прессе зажали рот, и она была вынуждена обходить молчанием крупные вопросы и заниматься хроникой, сплетнями, романами-фельетонами история не только по

несла тяжелый удар в лице Мишле и Кине, речи которых уже не могли доходить до студентов, но и сама довольствовалась учеными монографиями и кропотливыми работами; в театре школа «здравого смысла» заменила этюдами с натуры лирические драмы Виктора Гюго, изгнанные вместе с поэтом, и безумные экскурсии романтиков в мир невероятного и гигантского; критика ставила себе целью анатомировать литературные произведения или писать естественную историю искусства; роман высмеивал сентиментальность, предпочитал наблюдение фантазиям, изучал через лупу пошлость буржуазной жизни и, в полном сознании совершившейся в нем метаморфозы, решительно провозглашал себя, как и живопись того времени, *реалистическим*.

В общественной жизни господствовала забота о комфорте и материальном прогрессе; инженер, химик, врач, банкир стали королями преобразованного общества; но и в виде ходячей морали под дырявым плащом этики, называющей себя христианской или неопределенно-спиритуалистской, проявлялась почти исключительная погоня за выгодой и удовольствием; разнузданность всех вожделений скрывалась под внешностью благочестия; любовь, энтузиазм, героизм, все великие чувства презирались; осмеивались, вышучивались—«blagués»; это выражение «la blague» народилось и должно было народиться в ту эпоху. Смеялись над поляками, которых раньше так жалели, относились с презрением к «старым бородам» республики и наивному краснобайству ее ораторов. Не желали больше терять время на занятие общественными делами. Заботу о них предоставляли одному человеку и нескольким специалистам, избавлявшим других от этого беспокойства. Можно было смеяться и развлекаться под защитой их власти, обеспечивавшей богатых от всякого взрыва низших классов. Набросились на роскошь, на игру, на балы. Почитали и поклонялись только успеху. Охотно повторялись слова современника Людовика XI: «Кому барыш, тому и почет». В самом деле, разве не был у всех пред глазами успех, блеск торжеств знаменитых клятвопреступников, начиная с принца-президента циническое ренегатство так называемых республиканцев, ставших министров того, кто убил республику; корыстное отречение от своих идей, пример чего являл вольтерианец Тьер, сделавшийся клерикалом, или либерал Монталамбер, превратившийся

в сторонника власти? Один восклицал: «Только успех узаконяет все на земле!». Другой, глава молодежи, писал своему другу: «Права нет, существуют только страсти и интересы... Самые смелые высказывают это... Почти все это чувствуют».

Эти скандальные отречения, не считая трусливых коленопреклонений пред победоносным преступлением, внушали плохое мнение о человеке. Франция, деморализованная зрелищем этой неустойчивости характеров, обессиленная в то же время изгнанием своих светочей, обвиненных в поджигательстве; Франция, скомпрометированная в глазах государей и аристократий Европы тем, что отдалась гнусному авантюристу, павшая в то же время и в глазах народов, так как она покинула свой пост в авангарде человечества на пути к справедливости и свободе,— Франция начала сомневаться в самой себе и, казалось, начинала приносить покаяния за благородную инициативу и революционную славу своего недавнего прошлого. Итак, да здравствует политика изворотливости и афер! Место людям практическим, людям сильным, как их называют! Прочь гуманитарные стремления, широкие планы реформ, заоблачные принципы! Здесь, как и всюду, больше чем всюду, идеал был свергнут с своего престола.

Такое же помрачение умов заметно было среди социалистов. Конечно, реформаторы, в которых воплощалась идея и которые страдали в изгнании или тюрьме, сохраняли упорную привязанность к своим убеждениям и своим методам. В то время, как новая Франция стала утилитарной, положительной и сухой, с внешней стороны она оставалась идеалистической. Но вслед за июньскими днями и государственным переворотом было очень трудно говорить о братстве и ждать близкого возмездия в пользу права путем мирной революции. Искренние проповедники примирения, если еще оставались таковые, потеряли свое влияние на тех, кому дикие репрессии показали, к каким неистовствам может приводить классовая ненависть. Влияние их перешло к мыслителям, которые возводили в принцип борьбу классов, которые низвели социализм с облаков на землю, которые упорно цеплялись за реальность, которые выступили поборниками знания и силы, которые рассматривали освобождение пролетариата больше с материальной стороны, чем с моральной, которые рас-

считывали при осуществлении его больше на фатальность экономической эволюции, чем на силу чувств и идей. Другими словами, то была победа Прудона и Бланки над Луи-Бланом, Пьером Леру и Консидераном и победа Карла Маркса над самим Прудоном. Это было концом одного из фазисов жизни социализма. Центр его политической деятельности перенесен был из Парижа в Лондон, и гегемония в области доктрины готова была перейти от французского социализма к тому, что скоро стало германским социализмом.

Таким образом, революция 1848 года является линией водораздела между двумя большими умственными течениями, которые следовали друг за другом и оказались в положении противоположном друг к другу. Она похожа на те узкие и короткие теснины, которые, при переходе через горы, отграничивают подъем от спуска. Одно это могло бы сделать ее выдающимся пунктом на пути, пройденном человечеством; но этого еще мало.

Насколько вероятно, что желание увеличить благосостояние и стремление к лучшему, которые прорвались наружу в эти бурные годы, кончились просто-на-просто выкидышем? Возможно ли, чтобы ничего не произошло, ничего не осталось из этого сложного движения идей, страстей, интересов, которое так сурово потрясло старую Европу? Как поверить тому, что результаты этого движения были так ничтожны?

Факт тот, что всюду, в монархиях, наиболее противившихся переменам, в империях самых автократических, несмотря на то, что новаторы были раздавлены и изгнаны, несмотря на наступившее поверхностное спокойствие, не прекращались с того времени странные судорожные потрясения в мрачной глубине народных масс, в то время как в верхних слоях время от времени проносился живительный ветер над мертворожденными проектами эпохи, покрытой, повидимому, могильной плитой. Стоит только вспомнить о введении всеобщего избирательного права в Пруссии, об уничтожении крепостного права в России, об объединении Италии и Германии, о развитии демократий в Швейцарии, во всем этом нетрудно различить мечты 1848 года, которые, тихо созрев в умах, дали ростки, вышли в свет и превратились в живые реальности, то под влиянием крутого решения умного государя или министра, то благодаря упорному усилию со стороны целой нации. Кто же теперь не знает, что Ибсены, Толстые и многие другие вожаки и великие люди конца XIX века, по собственному их признанию, пили из очарованного кубка, который наполняли благородным вином своей мысли писатели и реформаторы половины прошлого века, в том числе Ламенэ, Жорж-Занды, Пьеры Леру?

Но, не останавливаясь на поисках во всех странах последствий и отголосков этого великого международного движения, посмотрим, каких только следов оно не оставило в самой Франции, где, как мы видели, оно проявилось с таким пылом, разбилось о препятствия с таким шумом и так быстро остановилось!

Не напрасно, республика вторично ожила и попала в западню на той же самой почве, по которой некогда она пронеслась, как ураган. Это возрождение было для нее обетованием скорого возвращения, а насильственная смерть—предостережением от случайных Цезарей. «Знаете ли вы, чему я больше всего удивляюсь?—говорил Наполеон I Фонтану.—Неспособности силы создать что-нибудь. Только две силы существуют в мире, меч и разум, но в конце-концов меч всегда бывает побежден разумом». Наполеону III следовало подумать об этих словах, которые Монталамбер напомнил с высоты трибуны; они заключали в себе тайну его слабости; они предвещали исход героического поединка, начатого теми изгнанниками, которые, подвергаясь преследованию, травле, вынужденные кочевать из одной страны в другую, как нищие бродяги, сильные только своим талантом, своим самосознанием, своей любовью к народу и свободе, объявили беспощадную войну императору-выскочке, который опирался на грозную полицию и армию, на духовенство, чиновников, на банк, на все страхи, объединившиеся и сомкнувшиеся вокруг его трона.

Не напрасно также и в экономической области капиталистический строй, если и не был расшатан, то, по крайней мере, был объявлен несправедливым, и, как таковой, подвергся угрозам и нападкам. Не только часть самой буржуазии почувствовала, что нарушено ее безмятежное господство; она охвачена была сомнениями насчет того, долго ли продлятся, даже законны ли ее привилегии; «интеллигенты», как говорят теперь, упорно задавали

себе вопрос: «каким это образом в руках у трудящихся остается так мало из того богатства, которое они производят? Доказано ли, что нищета должна существовать вечно?». И этими мыслящими, хотя и малочисленными личностями подготовляются в плутократическом лагере те измены, по крайней мере те колебания, то молчаливое соучастие, которые обыкновенно свидетельствуют о близком поражении одного класса другим. Но, кроме того, если большие многолюдные предместья молчат вследствие усталости или вынужденно, то все же они мыслят, мечтают, предаются воспоминаниям. Луч надежды прорезал их мрачное небо; отблеск зари засиял на их горизонте и показал им будущее счастье и равенство. Они думали, что вот скоро коснутся его рукой; и хотя им не удалось схватить его при первом своем порыве, но их глаза все еще были ослеплены этим видением и в сердце осталась упорная вера, что когда-нибудь они его достигнут. Это так верно, что вот уже пятьдесят лет, несмотря на все задержки, толчки, падения, попятные шаги, Франция упорно продолжает развиваться в сторону той «демократической и социальной республики», которая тогда на короткое время мелькнула перед ее умственным взором. Она проходит мелкими этапами тот путь, которого не могли оставить за собой одним скачком. Февральская революция разменивается ежедневно на реформы, под каждой из которых подписался бы человек той эпохи. Свобода печати, собраний, союзов, бесплатное и обязательное начальное обучение, профессиональное образование, всеобщая воинская повинность, сокращенная до двух лет, отделение церкви от государства, могучий расцвет рабочих обществ, уничтожение работы с торгов, ограничение ежедневного труда для женщин, детей и даже взрослых, воскресный отдых, запрещение вредных для здоровья производств, страхование от несчастных случаев, ряд покровительственных законов, составляющих целое рабочее законодательство—вот сколько «утопий», некогда осужденных мудрецами, осуществилось в наши дни! Я еще не упомянул о всех тех, которые фигурировали в программе Второй Республики и ныне готовы выйти на свет божий при третьей*)!

*) Рабочие пенсии, равенство прав на образование, выкуп железных дорог и т. д.

Бедные утописты 1848 г.! Их постигла участь, которая выпадает на долю большинства изобретателей, прокладывающих новые пути! Их не признавали, третировали, поносили. Жертвы злостных легенд, выдуманных теми, на чьи предрассудки они нападали, и кого они заставляли беспокоиться за свою первенствующую роль, им пришлось еще вынести незаслуженное презрение со стороны людей, взявшихся за их дело с другими методами и другими формулами. Народ, неблагодарный по своему невежеству, допустил это. Но теперь, когда мы осуществляем по частям то, что они создали и наметили, пора все простить этим мученикам за то, что они страдали и работали за нас. Пора было бы признать и уплатить наш долг этим предшественникам теперь, когда мы пользуемся их опытом, их удачами, и их ошибками. Пусть эта книга, продиктованная стремлением к справедливости и к истине, способствует тому, чтобы отвести им то почетное место, на которое они имеют право!

Мы жили эти последние полвека, мы живем еще и теперь больше их мыслями, чем взглядами наших более отдаленных предков 1789 и 1793 гг. Они прибавили новые лучи к демократическому идеалу, согревающему и освещающему *Декларацию прав человека и гражданина!* В этом смысле эпоха, в которую они страдали, заслуживает того, чтобы ее записали среди великих дат истории новейшего времени, потому что не только во Франции и Европе, но и на всем земном шаре она надолго поставила на очередь перед человечеством проблему, которой уже нельзя отодвинуть на задний план: найти такую организацию общества, при которой все его члены могут в равной степени и сообразно своим склонностям использовать все материальные и духовные средства, имеющиеся в распоряжении этого общества, для того, чтобы сделаться более свободными, более счастливыми и более совершенными.